

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА THE HISTORICAL EXPERTISE

№ 3(28)/2021

Редакционная коллегия

Научный руководитель — ЭРЛИХ Сергей Ефреимович, д.и.н., генеральный директор издательства «Нестор-История» (Москва)

Ответственный редактор — СТЫКАЛИН Александр Сергеевич, к.и.н., ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Зам. ответственного редактора — ВЕДЕРНИКОВ Владимир Викторович, к.и.н., доцент кафедры Истории отечества, науки и культуры Санкт-Петербургского технологического института (Технический университет) (Санкт-Петербург)

Ответственный секретарь — КАЧАНОВА Елена Федоровна, издательство «Нестор-История» (Санкт-Петербург)

ЕФРЕМЕНКО Дмитрий Валерьевич, д.полит.н., заместитель директора ИНИОН РАН (Москва)

КОНОПЛЯНКО Константин Сергеевич, младший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

КОЧЕГАРОВ Кирилл Александрович, к.и.н., старший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

ЛЕОНТЬЕВА Ольга Борисовна, д.и.н., профессор кафедры международных отношений Самарского государственного университета (Самара)

ПРОЗУМЕНЩИКОВ Михаил Юрьевич, к.и.н., заместитель директора Федерального казенного учреждения «Российский государственный архив новейшей истории» (РГАНИ) (Москва)

ТАНЬШИНА Наталия Петровна, д.и.н., профессор кафедры Всеобщей истории Института общественных наук РАНХиГС (Москва)

ТАХНАЕВА Патимат Ибрагимовна, к.и.н., старший научный сотрудник Института востоковедения РАН (Москва)

ТЕСЛЯ Андрей Александрович, к.филос.н., старший научный сотрудник Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта (Калининград)

ТИХОНОВ Виталий Витальевич, д.и.н., ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН (Москва)

УЛУНЯН Арутюн Акопович, д.и.н., главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН (Москва)

ШОКАРЕВ Сергей Юрьевич, к.и.н., доцент кафедры источниковедения Историко-архивного института РГГУ (Москва)

Редакционный совет

ГЛУШКОВСКИЙ Пётр, к.и.н., зам. директора Института русистики Варшавского университета (Польша)

ГОЛУБЕВ Алексей Валерьевич, к.и.н., преподаватель (assistant professor), Хьюстонский университет (США)

КАСЬЯНОВ Георгий Владимирович, д.и.н., проф., зав. отделом Института истории НАНУ (Украина)

КИЯНСКАЯ Оксана Ивановна, д.и.н., проф. кафедры литературной критики Института Массмедиа РГГУ (Москва)

НЕМЦЕВ Михаил Юрьевич, к.филол.н., доцент Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ-«НИНХ»), сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) (Новосибирск, Москва)

ПАНАРИН Сергей Алексеевич, к.и.н., руководитель Центра исследований общих проблем современного Востока Института востоковедения РАН (Москва)

ПОЛЯН Павел Маркович, д.г.н., профессор, почетный профессор СКГУ/СКФУ, директор Мандельштамовского центра ЕИУ ВШЭ (Москва)

СМИТ Кэтрин Е., PhD, проф., Школа дипломатической службы им. Э. Уолша, Джорджтаунский университет (США)

СПИВАК Моника Львовна, д.ф.н., заведующая филиалом ГМП «Мемориальная квартира Андрея Белого» (Москва)

УСПЕНСКИЙ Федор Борисович, член-корр. РАН, директор Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН (Москва)

УШАКИН Сергей Александрович, PhD, проф. антропологии и славистики Принстонского университета (США)

ФЕЛЬДМАН Давид Маркович, д.и.н., проф. кафедры литературной критики Института Массмедиа РГГУ (Москва)

ХАВАНОВА Ольга Владимировна, д.и.н., зам. директора Института славяноведения РАН (Москва)

ШНИРЕЛЬМАН Виктор Александрович, д.и.н., главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН (Москва)

ШУБИН Александр Владленович, д.и.н., главный научный сотрудник ИВИ РАН, профессор РГГУ (Москва)

Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции журнала

Издается с 2014 г. Выходит 4 раза в год

ISSN 2409-6105

DOI 10.31754/2409-6105-2021-3

Издатель

ООО «Нестор-История»

197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 7

Тел. (812)235-15-86, e-mail: nestor_historia@list.ru, www.istorex.ru

Отпечатано в АО «Первая Образцовая Типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

тел. (499) 270 73 00

Тираж 300 экз.

Заказ № 2603

Дата подписания в печать 30.09.2021

В НОМЕРЕ:

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ

Глобальная память

- 11 **Я. В. ШИМОВ** *Отчуждение и наблюдение. Краткий очерк общественной эволюции*
- 20 *«Извне национального сообщества легче увидеть те или иные моменты, плохо заметные изнутри». Интервью с Дж. Верчем*
- 28 **Е. Н. БЛИНОВ** *Обсуждение книги Дж. Верча «Как нации помнят. Нарративный подход» (2021)*
- 35 **Д. В. ЕФРЕМЕНКО** *В поисках утраченной памяти: как нарративы большие и малые создают и разрушают нации*
- 43 **Л. ИСУРИНА** *Большой мнемонический треугольник. О вкладе Дж. Верча в исследования исторической памяти и не только в них*
- 50 **М. В. КИРЧАНОВ** *«Как нации помнят»: Размышления по поводу интеллектуального влияния научных трудов Джеймса Верча*
- 64 **М. О'ХЭНЛОН** *Когда нации вспоминают: что, где и как. Заметки культурного антрополога на полях книги Джеймса Верча «How Nations Remember: A Narrative Approach»*
- 68 **Е. Ю. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ** *Расширение НАТО, российско-американские отношения и память*
- 76 **Ю. А. САФРОНОВА** *Последствия методологического выбора между процессуальностью коммеморации и национальной памятью как системой знаний и представлений. Отклик на новую книгу Дж. Верча «Как нации помнят. Нарративный подход» (2021)*
- 81 **У. ХИРСТ** *В плену нарративных шаблонов?*
- 90 **ДЖ. ВЕРЧ** *Переступая национальные границы: проблема памяти. Комментарий к книге Джеймса Верча «Как нации помнят: нарративный подход»*
- 96 *Ответы на замечания участников дискуссии по поводу книги «Как нации помнят: нарративный подход»*

Национальная память

- 96 *Путь империи (К 300-летию образования Российской империи). Интервью с С. А. Мезиным*

- 106 *«Эпоха “великих реформ” царя-освободителя — это время появления публичной сферы и оформления того языка общественной мысли, которым во многом мы пользуемся до сих пор» (к 160-летию отмены крепостного права). Интервью с А. А. Теслей*

Актуальные проблемы исторической памяти зарубежных стран

- 116 **Н. П. ТАНЬШИНА** *Страсти по Наполеону и парящий скелет коня в Соборе Инвалидов: арт-инсталляция, провокация или надругательство над национальной историей?*
- 126 *«Введение Парижской коммуны в советский пантеон величайших событий истории было неизбежно». К 150-летию Парижской коммуны. Интервью с А. В. Шубиным*
- 131 *«Целью революции было приобщение Греции к европейской культуре». К 200-летию греческой национально-освободительной революции 1821 г. Интервью с Д. Стаматопулосом*
- 140 *Средневековое и габсбургское наследие Средней Европы: взгляд из Словакии*

Память о Второй мировой войне

- 163 *«Подготовка германской агрессии против СССР и начальный период войны...» сохраняют еще немало “белых пятен”». Интервью с Д. В. Стратиевским*
- 170 **Б. Л. ХАВКИН** *Еще раз о корнях идеологии германского нацизма*

Память о Катыни

- 184 **И. И. БАРИНОВ** *Об уточнении биографии «единственного выжившего в Катыни». Московский год Станислава Свяневича*

Полет Ю. А. Гагарина в памяти современников

- 191 *«Это яркое ощущение праздника осталось навсегда». К 60-летию первого полета человека в космос*

КАК ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

- 200 **В. А. НЕВЕЖИН** *Что могло знать советское руководство о «случае с Гессом» в мае — июне 1941 г.: версии и факты*

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ**Обобщающие исследования**

216 С. С. ЮДИН

Рец.: Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества / ред.-сост. К. А. Пахалюк. М.: Российское военно-историческое общество; Яуза-каталог, 2021. 640 с.

Мир

221 В. Г. ЧЕНЦОВА

Совместное участие в церковных таинствах на христианском Востоке: «неизбежные нарушения». Рец.: Santus C. *Trasgressioni necessarie. Communicatio in sacris, coesistenza e conflitti tra le comunità cristiane orientali (Levante e Impero Ottomano, XVII–XVIII secolo)*. Rome: École française de Rome, 2019 (Bibliothèque des Écoles française d'Athènes et de Rome, fasc. 383), 522 p. (Сантус Ч. *Неизбежные нарушения. Communicatio in sacris, сосуществование и конфликты между христианскими общинами на Востоке (Левант и Османская империя, XVII–XVIII в.)*. Рим: Французская школа в Риме, 2019 (Библиотека Французских школ в Афинах и Риме, вып. 383), 522 с.)

227 К. А. СААКОВА

«Антиимперский империализм» и другие противоречия креольской идеологии. Рец.: Simon J. *The Ideology of Creole Revolution: Imperialism and Independence in American and Latin American Political Thought*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 384 p.

Российская Империя

232 Д. В. СЕНЬ

Народное движение под предводительством С. Т. Разина в историографии середины 1990-х — 2000-х гг. (Новый этап изучения или «Тема закрыта»?)

264 И. В. САБЛИН

Рец.: Прикладная этнология Чукотки: народные знания, музеи, культурное наследие (К 125-летию поездки Н. Л. Гондатти на Чукотский полуостров в 1895 году): коллективная монография / отв. ред. О. П. Коломиец, И. И. Крупник. М.: PressPass, 2020. 468 с.: ил.

269 В. В. МАКСАКОВ

Рец.: Пол Кинан. *Санкт-Петербург и русский двор. 1703-1761*. М.: НЛЮ, 2020. 420 с.

286 М. В. БАТШЕВ

Забывтый Пушкин. Рец.: Пушкин в забытых воспоминаниях современников [составление, вступительная статья, подготовка текстов и коммент. С. В. Березкиной]. СПб.: Дмитрий Буланин, 2020. 368 с.

СССР

- 291 **Ю. Е. СУВОРОВА** *Авангард: отношения науки и искусства в Советской России 1920-х гг. Рец.: Фёрингер М. Авангард и психотехника: наука, искусство и методики экспериментов над восприятием в послереволюционной России / пер. с нем. К. Левинсона, В. Дубиной. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 336 с.: ил.*
- 297 **А. А. ТЕСЛЯ** *Парадокс об авторе. Рец.: Белодурбровская М. Не по плану. Кинематография при Сталине / пер. с англ. М. Мезеновой. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 264 с.: ил. (серия «Кинотексты»)*
- 301 **М. В. СТРЕЛЕЦ** *Фундаментальное исследование на стыке белорусистики, полонистики, советологии. Рец.: Барабаш В. В. Беларусь в советско-польских отношениях в период Второй мировой войны. Гродно: ЮрСа-Принт, 2017. 398 с.*
- 314 *Образы Второй мировой войны в фотографиях солдат вермахта. Три мнения об одной книге . Рец.: Шепелев Г. А. Война и оккупация. Незвестные фотографии солдат Вермахта с захваченной территории СССР и советско-германского фронта. 1941–1945. М.: Издательский дом «Российское военно-историческое общество», Яуза-каталог, 2021. 192 с.*
- 337 **А. В. АНИКИНА, О. П. КАШИНА** *Рец.: Победа-75: реконструкция юбилея / под ред. Г. Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2020. 800 с.; илл.*
- 350 **В. В. ТИХОНОВ** *Тайное становится явным. Рец.: Костырченко Г. [В]. Тайная политика: От Брежнева до Горбачева: в 2 ч. М.: Международные отношения, 2019. Часть 1. Власть — Еврейский вопрос — Интеллигенция. 592 с.; Часть 2. Советские евреи: выбор будущего. 480 с.*

ОСТОРОЖНО! ХАЛТУРА

- 354 **В. Б. АКСЕНОВ** *Археография из ада. Рец.: Хроники жизни в Советской России 1917–1921 гг. Воспоминания очевидцев / сост. и автор предисл. М. А. Ерохова. М., 2020. 624 с.*
- 360 *Требования к публикации статей и материалов*

IN THE ISSUE:

COLLECTIVE MEMORY

Global Memory

- 11 **Y. V. SHIMOV** *Alienation and observation. A brief outline of social evolution*
- 20 *"It is often the case that someone outside a national community might have better insights than those inside it". Interview with J. Wertsch*
- Discussion of the book by J. Wertsch "How Nations Remember: A Narrative Approach" (2021)*
- 28 **E. N. BLINOV** *In the search of the lost memory: how narratives Big and Small are building and destroying nations*
- 35 **D. V. EFREMENKO** *The Great Mnemonic Triangle. On the Contribution of J. Wertsch to Memory Studies and Beyond*
- 43 **L. ISURIN** *"How nations remember": Reflection on the intellectual power of James Wertsch's scholarship*
- 50 **M. V. KYRCHANOFF** *When nations remember: what, where and how. Cultural anthropologist's notes in the margins of James Wertsch's book "How Nations Remember: A Narrative Approach"*
- 64 **M. O'HANLON** *NATO Expansion, the U.S.-Russia Relationship, and Memory*
- 68 **E. Yu. ROZHDESTVENSKAYA** *Consequences of the methodological choice between the commemoration process and national memory as a system of knowledge and ideas. A response to the new book by J. Verch "How Nations remember: A narrative approach" (2021)*
- 76 **J. A. SAFRONOVA** *Trapped in the Narrative Templates?*
- 81 **W. HIRST** *Reaching Across National Boundaries: The Problem of Memory. A Commentary of James Wertsch's "How Nations Remember: A Narrative Approach"*
- 90 **J. WERTSCH** *Responses to comments on How Nations Remember: A Narrative Approach*

National memory

- 96 *The path of the Empire (To the 300th anniversary of the formation of the Russian Empire). Interview with S.A. Mezin*

- 106 *“The Era of the ‘Great reforms’ is the time when the public sphere appeared and the language of public thought was formed that we still use today” (on the 160th Anniversary of the Emancipation Edict). Interview with A.A. Teslya*
- Actual problems of national memory of foreign countries**
- 116 **N.P. TANSHINA** *Debate about Napoleon and the soaring skeleton of a horse in the Hôtel des Invalides: an art installation, a provocation or desecration of national history?*
- 126 *“The introduction of the Paris Commune into the Soviet pantheon of the greatest events in history was inevitable”. To the 150th anniversary of the Paris Commune. Interview with A. V. Shubin*
- 131 *“The Revolution as an attempt to make Greece a part of European culture”. On the 200th Anniversary of the Greek Revolution of 1821. Interview with D. Stamatopoulos*
- 140 *Medieval and Habsburg heritage of Central Europe: a view from Slovakia. Interview with Slovak historians*
- Memory of the Second World War**
- 163 *“The preparation of the German aggression against USSR and the initial period of the war still have a lot of ‘blind spots’”. Interview with Dmitri Stratievski*
- 170 **B.L. KHAVKIN** *Once again about the roots of the ideology of German Nazism*
- Memory of Katyn**
- 184 **I.I. BARINOV** *Clarifying the biography of “the only survivor of the Katyn Massacre”: the Moscow year of Stanisław Świaniewicz*
- The flight of Yuri Gagarin in the memory of contemporaries**
- 191 *“This vivid feeling of the holiday will remain forever”. To the 60th anniversary of the first manned flight into space*
-
- AS IT ACTUALLY WAS**
- 200 **V.A. NEVEZHIN** *What the Soviet leadership could have known about the “case with Hess” in May – June 1941: versions and facts*

REVIEWS**Generalizing studies**

216 S. S. YUDIN

Rev.: Georgievskie chteniia. Sbornik trudov po voennoi istorii Otechestva, red.-sost. K.A. Pakhaliuk. Moscow: Rossiiskoe voenno-istoricheskoe obshchestvo; Iauza-katalog, 2021. 640 p.

The world

221 V. G. TCHENTSOVA

Joint participation in Church sacraments in the Christian East: "inevitable violations". Rev.: Santus C. Trasgressioni necessarie. Communicatio in sacris, coesistenza e conflitti tra le comunità cristiane orientali (Levante e Impero Ottomano, XVII–XVIII secolo). Rome: École française de Rome, 2019 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 383), 522 p.

227 K. A. SAAKOVA

"Anti-Imperial Imperialism" and other contradictions of Creole ideology. Rev.: Simon J. The Ideology of Creole Revolution: Imperialism and Independence in American and Latin American Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 384 p.

The Russian Empire

232 D. V. SEN'

People's movement lead by S.T. Razin at the historiography of the mid 1990–2000s. (New stage of studying or "Topic closed"?)

264 I. V. SABLIN

Rev.: Prikladnaia etnologiia Chukotki: narodnye znaniia, muzei, kul'turnoe nasledie (K 125-letiiu poezdki N.L. Gondatti na Chukotskii poluostrov v 1895 godu): kollektivnaia monografiia, otv. red. O.P. Kolomiets, I.I. Krupnik. Moscow: PressPass, 2020. 468 p.: il.

269 V. V. MAKSAKOV

Rev.: Pol Kinan. Sankt-Peterburg i russkii dvor. 1703–1761. Moscow: NLO, 2020. 420 p.

286 M. V. BATSHEV

Forgotten Pushkin. Rev.: Pushkin v zabytykh vospominaniakh sovremennikov [sostavlenie, vstupitel'naia stat'ia, podgotovka tekstov i komment. S.V. Berezkinoi]. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2020. 368 p.

USSR

291 Y. E. SUVOROVA

Авангард: отношения науки и искусства в Советской России 1920-х гг. Rev.: Feringer M. Avangard i psikhotehnika: nauka, iskusstvo i metodiki eksperimentov nad vospriiatiem v poslerevoliutsionnoi Rossii, per. s nem. K. Levinsona, V. Dubinoi. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2019. 336 p.: il.

In the issue:

- 297 **A. A. TESLYA** *The Paradox about the Author. Rev.: Belodurbrovskaya M. Ne po planu. Kinematografiya pri Staline / Per. s angl. M. Mezenovoj. – M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2020. – 264 p.: il. – (seriya «Kinoteksty»)*
- 301 **M. V. STRELETS** *Fundamental research at the junction of Sovietology, Belarusian and Polish studies. Rev.: Barabash V.V. Belarus' v sovetsko-pol'skikh otnosheniakh v period Vtoroi mirovoi voiny. Grodno: IurSaPrint, 2017. 398 p.*
- 314 *Images of the Second World War in photographs of Wehrmacht soldiers. Three opinions on one book. Rev.: Shepelev G.A. Voina i okkupatsiia. Neizvestnye fotografii soldat Vermakhta s zakhvachennoi territorii SSSR i sovetsko-germanskogo fronta. 1941–1945. Moscow: Izdatel'skii dom «Rossiiskoe voenno-istoricheskoe obshchestvo', Iauza-katalog, 2021. 192 p.*
- 337 **A. V. ANIKINA, O. P. KASHINA** *Rev.: Pobeda-75: rekonstruktsiia iubileia, pod red. G. Bordiugova. Moscow: AIRO-XXI, 2020. 800 p.; ill.*
- 350 **V. V. TIKHONOV** *The secret becomes clear. Rev.: Kostyrchenko G.[V]. Tainia politika: Ot Brezhneva do Gorbacheva: v 2 ch. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia, 2019. Chast' 1. Vlast' – Evreiskii vopros – Intelligentsiia. 592 p.; Chast' 2. Sovetskie evrei: vybor budushchego. 480 p.*

ATTENTION: TRASH

- 354 **V. B. AKSENOV** *Archaeography from hell. Rev.: Khroniki zhizni v Sovetskoi Rossii 1917–1921 gg. Vospominaniia ochevidtsev, sost. i avtor predisl. M.A. Erokhova. Moscow, 2020. 624 p.*
- 360 *Requirements for publication of articles and documents*

Я. В. Шимов

ОТЧУЖДЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ. КРАТКИЙ ОЧЕРК ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Статья посвящена проблемам общественной эволюции в Новое время. В основе лежит предлагаемая автором гипотеза о том, что исторический период, началом которого послужили либерально-демократические революции конца XVIII – XIX в., характеризуется крахом традиционных сообществ и «горизонтальной» солидарности, которую заменяют взаимоотношения граждан и непрерывно усиливающегося государства. Это приводит к атомизации общества, которая на рубеже XX–XXI вв. достигает своего апогея, что ведет к нынешнему кризису демократии и глобального капитализма. Ключевыми понятиями современной эпохи являются отчуждение (граждан друг от друга) и наблюдение (сложившегося альянса государственных и корпоративных структур за гражданами). Это неустойчивая ситуация, которая, вероятнее всего, обернется в ближайшие годы и десятилетия общественной нестабильностью и революционным подъемом в самых разных странах.

Ключевые слова: отчуждение, наблюдение, сообщество, Левиафан, демократия, капитализм, популизм.

Сведения об авторе: Шимов Ярослав Владимирович, чешско-белорусский историк и журналист, выпускник Московского университета, кандидат исторических наук. Специалист по истории стран Центральной и Восточной Европы (Прага).

Контактная информация: j.simov@seznam.cz.

Jaroslav Šimov

ALIENATION AND OBSERVATION. A BRIEF OUTLINE OF SOCIAL EVOLUTION

The main point of the article is that one of important social trends during the modern historical period which has been started by the democratic revolutions of the 18th and 19th centuries in Europe and North America is decline

of traditional communities and “horizontal” social solidarity. Society of communities has been destroyed and substituted by a society where nothing stands between a “solitary” citizen and an almighty state which cooperates successfully with big business structures. Alienation (between the individuals) and surveillance (of individuals by the state and big business) are becoming the main traits of today’s society. It is an unstable situation which would possibly lead to a period of turmoil and revolutionary upheaval in different countries.

Key words: alienation, surveillance, community, Leviathan, democracy, capitalism, populism.

About the author: Jaroslav Šimov, a Czech historian and journalist of Belarusian origin, graduate of Moscow State University, candidate of historical sciences. His speciality is modern and contemporary history of Central and Eastern Europe (Prague).

Contact information: j.simov@seznam.cz.

Роберт Нисбет в книге «В поисках сообщества» (*Quest for Community*) пишет: «Невозможно понять феномен колоссальной концентрации политической власти в XX веке, которая появилась, казалось бы, столь парадоксально — сразу после предыдущих полутора столетий торжества индивидуализма в экономике и морали. Это невозможно понять, если мы не увидим тесную связь, которая на протяжении всего XIX века существовала между индивидуализмом и государственной властью, равно как между ними обоими и размыванием и уничтожением пространства объединений и сообществ, находящихся между человеком и государством» (*Nisbet 1962: 77*).

По-моему, это очень важная мысль, которую необходимо развить, опираясь на выводы того же Нисбета и других — увы, немногих — аналитиков, мысливших подобным образом. Тем более что за почти 70 лет, прошедших с момента написания *Quest for Community*, многое изменилось и еще больше подтвердилось. Начнем с начала — с момента примерно 250-летней давности, с американской и французской революций,

в политическом отношении породивших западный мир в том виде, в каком, пройдя через ряд эволюционных превращений, он существует и сейчас.

1

Эти революции ознаменовали переход от Старого порядка (*ancien régime*) к современной нации и соответствующему типу государственности — назовем его Новым порядком. Такой переход принес ряд очень важных изменений.

Во-первых, начался быстрый распад старых связей — сословных, региональных, локальных, профессионально-цеховых, конфессиональных, клановых и проч., — обеспечивавших относительную устойчивость Старого порядка как иерархически организованного многообразия различных сообществ. Старый порядок был системой децентрализованной, в рамках которой такой «абсолютный» монарх, как король Франции, зачастую не мог преодолеть власть региональных парламентов (в ту эпоху — органов судебной, а не зако-

нодательной власти). А такой деспот, как османский султан, позволял каждому из миллетов (конфессиональных объединений) своей империи жить по собственным правилам — при условии своевременной уплаты налогов и исполнения ряда повинностей.

Человек Старого порядка был с рождения опутан великим множеством связей, избавиться от которых ему было трудно, если не невозможно. Способов вырваться за пределы своего сословия, клана, цеха, провинции и проч. почти не имелось — кроме церкви и отчасти армии, «социальных лифтов» практически не существовало. В то же время принадлежность к той или иной *социальной сети* (не в современном, конечно, смысле слова) могла помочь в кризисной ситуации или дать толчок карьере — но карьере «горизонтальной», т.е. в рамках самой этой сети. Сын мелкого лавочника мог стать крупным торговцем и членом городского магистрата, но почти никогда — графом или министром короля. В каком-то смысле Старый порядок был совокупностью консервативных социальных механизмов горизонтальной солидарности.

Во-вторых, приход Нового порядка означал замену прежнего многообразия унификацией, которая стала следствием торжества доктрины «прав человека и гражданина», в основе которой лежит представление об индивиде как «мере всех вещей». Нация, в отличие от подданства прежних времен, — это объединение индивидов, обладающих стандартизированными правами (и обязанностями), в идеале регулируемы-

ми — на практике, конечно, «есть нюансы» — всеобщим и одинаково применяемым ко всем законом. Нация по своей природе противостоит многообразию, именно поэтому инструментами ее формирования служат такие централизованные системы, как школа и армия, обеспечивающие единство культуры, жизненного опыта и представлений о себе и мире, лежащее в основе каждого национального проекта.

Мирослав Грох определяет нацию как «большую социальную группу, цементируемую не одним, а целой комбинацией нескольких видов объективных отношений (экономических, политических, языковых, культурных, религиозных, географических, исторических) и их субъективным отражением в коллективном сознании». В качестве одной из важнейших таких связей он называет «концепцию равенства всех членов группы, организованных в гражданское общество» (Грох 2002: 122). Таким образом, понятие «нация» предполагает куда большую степень политической абстракции, чем «дворянство», «церковь» или «третье сословие». Под эту абстракцию и подгонялось реальное многообразие.

2

В-третьих, при Новом порядке начался небывалый рост могущества центральной власти как единственной «рамки» либерального общества. Левиафан Гоббса становится реальностью: поскольку те самые «сообщества, находящиеся между человеком и государством», постепенно разрушаются, а строительство нации

происходит за счет инструментов, которые находятся в руках центрального правительства, именно правительство превращается в главного арбитра, командира и палача. Это происходило неравномерно — скажем, в Англии, где нация изначально строилась как совокупность общин, этот процесс шел куда медленнее, чем в большинстве континентальных стран.

С другой стороны, там, где находившиеся в руках государства инструменты унификации по каким-то причинам были относительно слабы, дольше сохранялись традиционные сообщества, а единая нация выстраивалась с трудом. Именно это происходило в континентальных империях вроде Российской, Османской или Габсбургской — и стало основной причиной их краха. На месте рухнувших империй появляются «нормальные» национальные государства, меньшие по масштабам и более культурно однородные [или — в случае с межвоенными Румынией и Югославией — с претензиями на достижение большей национально-культурной однородности унаследованных от прежней эпохи разнородных исторических земель. — *Прим. отв. редактора ИЭ*], а потому более успешно берущие дело унификации в свои руки. Но и там в некоторых случаях элементы прежних социальных отношений какое-то время сохраняются — как, например, в межвоенной Венгрии, чью социальную структуру писатель Шандор Марай описывал как основанную на «отношениях господин — слуга»: «Крестьянская беднота, то есть почти полтора миллиона человека, осталась в рамках этой системы в положении

слуг... поскольку не владела землей и зависела от чиновника, жандарма, нотариуса, которые охраняли власть землевладельцев и управляющих, от всего венгерского официального общественного устройства... служившего феодальной системе и защищавшего ее» (Márai 2019: 67–68). Чем архаичнее была эта система, тем более быстрым и радикальным был ее крах, что и произошло в той же Венгрии в результате социальных потрясений в первые годы после Второй мировой войны: архаичную сословную систему, существовавшую при Хорти, от «модернизационной» коммунистической диктатуры Ракоши отделяли буквально несколько лет.

После краха Старого порядка возникает парадоксальная ситуация: граждане с их формально закрепленными правами, выпав из разорванных сетей традиционного общества, во множестве жизненных ситуаций становятся беззащитными и могут полагаться только на охранную силу государства. Именно государство постепенно берет на себя функции социальной защиты, ранее принадлежавшие традиционным институтам, от родовых кланов и цехов до церкви. Именно государство монополизирует насилие, с одной стороны, подавляя разбой на больших дорогах, а с другой — делая невозможными (вернее, заранее обреченными) крупные городские восстания и сельскую герилью. Революция становится нереальной вне институтов государства и его элиты, ее уже не совершают «внешние» по отношению к государству силы, как сплошь и рядом бывало в средние века (взять хоть какую-нибудь Сицилийскую вечернюю).

Чтобы преуспеть, революционер теперь должен опираться по меньшей мере на какие-то фрагменты государственного аппарата: на сторону большевиков вечером 25 октября 1917 г. перешла часть войск Петроградского гарнизона, а другая часть решила им не мешать.

Так в XX в. возникает общество, в котором между гражданином и государством не стоит практически ничего. Апогея это достигает при разного рода идеологических диктатурах, которые ставят ситуацию, порожденную когда-то крахом Старого порядка, с ног на голову. Французская и прочие либерально-демократические революции выдвигали лозунг освобождения индивида от пут традиционного общества, видя в нации и государстве как выразителе ее воли прежде всего инструменты реализации неотчуждаемых прав человека и гражданина. Напротив, большевизм, фашизм и нацизм говорят о приоритете коллективного начала над индивидуальным, о полном подчинении воли и интересов гражданина воле и интересам государства. Последнее олицетворяет идею совершенного общественного порядка, а значит, только в его рамках, подчинившись и растворившись в нем, может существовать индивид. Государство становится *единственно возможным* коллективом. Унификация достигает своего предела.

3

Демократия идет тем же путем, но по более извилистой траектории. Возникшие в ее рамках институты гражданского общества и само-

управления в ряде ситуаций стали важными механизмами, которые выполняли по отношению к Левиафану контрольные функции, а иногда и представляли определенную альтернативу и конкуренцию его могуществу. Но постепенно ситуация изменилась. Весьма живая демократия 1950–1980-х гг., с массовыми партиями, мощным профсоюзным движением, политизированными субкультурами и т.д., уступает место глобализованному миру разьединенных потребителей, в котором нет места ни естественной солидарности традиционных структур или гражданского общества, ни насильственной солидарности диктатур. Солидарность заменяется *перформансом о солидарности*. Такими перформансами становятся самые разные события, от парламентских или президентских выборов до благотворительных концертов и чемпионатов мира по футболу. В целом интересы государства стремительно сближаются с интересами крупного бизнеса, а набирающая темпы глобализация превращает граждан в атомизированных клиентов государственно-корпоративного Левиафана.

Эта эволюция началась в последние два десятилетия прошлого века, когда в ходе трансформации глобального капитализма наступила эпоха, по выражению британского историка Дэвида Пристленда, «правления торговцев» (точнее было бы сказать — финансистов): «Апогеем правления торговцев стал конец 1990-х. Правительствам “третьего пути”, [в частности], находившимся у власти в США при Билле Клинтоне и Британии при Тони Блэре, казалось, удалось найти равновесие между рынком

и благосостоянием (welfare)... МВФ и Всемирный банк с фанатизмом проповедников распространяли «вашингтонский консенсус» на всех континентах: компактное государство, приватизация, бюджетная дисциплина и либерализация финансовых потоков» (Priestland 2013: 207). Так продолжалось до 2008 г., когда стала видна изнанка «правления торговцев», приведшего к мировому финансовому, а затем и политическому кризису.

Казалось, начинается возвращение в политику, с одной стороны, государства, вновь, как и в 1930-е гг., оказавшегося ключевым инструментом антикризисной борьбы, а с другой — сообществ граждан, отстаивающих свои права. Однако спустя 13 лет после начала кризиса ясно, что если государство действительно вернулось (а на самом деле никуда всерьез и не уходило), то вместо граждан — за некоторыми громкими, но относительно локальными исключениями, вроде движения Black Lives Matter, — на сцену вышли атомизированные массы. В центре популистской политики, ставшей наиболее характерным явлением мировой общественной жизни 2010-х гг., лежат отношения зрителя и выступающего перед ними артиста. Самих зрителей не объединяет ничего, кроме интереса к артисту и того факта, что они купили билет на его концерт. Взлет и падение Дональда Трампа стали яркой иллюстрацией того, что «бунт против системы», если он сводится к выдвижению популистского лидера, который должен «устроить всё так, как надо», не может закончиться удачно. Прежде всего потому, что в таком виде никаким бунтом он

не является. Ведь гражданин-потребитель в те минуты, когда не предается реальному выбору между той или иной моделью трусов, телефона или автомобиля, имеет возможность «выбрать» между двумя доминирующими разновидностями Левиафана, для краткости назовем их Л-1 и Л-2. Популистская политика — не более чем политика, действующая внутри системы их взаимодействия, делая вид, что отрицает ее.

Л-1 — это Левиафан государственный, делающий упор на механизмы образования, социальной защиты, охраны и организованного насилия, которые, как уже было сказано, сформировались еще в XIX в. и с тех пор очень развились и усложнились. В политическом смысле в рамках демократии ориентации на Л-1 соответствуют либо отчетливо левые, либо, наоборот, радикально-консервативные политические силы. (Последнее можно считать еще одним доказательством того, что «праволевое» деление стремительно утрачивает свою адекватность.) В рамках авторитарных систем это патерналистские диктатуры, опять-таки вне зависимости от идеологической окраски.

Л-2 — корпоративный, с акцентом на «чистое» потребление, деловой успех и более плотное и откровенное слияние структур крупного бизнеса с государственными. В рамках демократии такой ориентации придерживаются как праволиберальные политические силы, так и трансформировавшиеся левоцентристы вроде New Labour или СДПГ. В рамках авторитарных систем это модернизационные или олигархические режи-

мы. Могут существовать и гибридные, и «замаскированные» варианты: скажем, российский режим Путина относится скорее к Л-2, однако, учитывая традиционное русское «государственничество», стремится вести себя так, будто он Л-1: государство приватизировано небольшой группой людей в целях получения максимальной прибыли, но эта группа делает вид, что управляет государством со всеми его социальными функциями, историческим наследием, национальной мифологией и проч. Ну а тот факт, что над Китаем, страной победившего брутального госкапитализма, по-прежнему развеивается коммунистический флаг, можно считать выдающимся историческим курьезом.

4

Во всех случаях, однако, речь идет об обществах, где процесс отделения человека от тех или иных «горизонтальных» communities зашел далеко. Это происходит благодаря успешному взаимодействию (а не соперничеству, как раньше) государственных и рыночных интересов, поскольку атомизация общества выгодна и государству, и крупному бизнесу. Оба Левиафана активно взаимодействуют, возникла целая сеть институтов, обслуживающих это взаимодействие, — от ведущих политических партий, которые утратили массовую членскую базу и программную отчетливость, превратившись в PR-проекты, до международных организаций, лоббистских контор, СМИ и шоу-бизнеса.

Взаимодействие Л-1 и Л-2 привело к тому, что главным правом челове-

ка стало право потребления (домен корпоративного Левиафана) и право на безопасность (домен Левиафана государственного). В обмен на потребление и безопасность индивид поступается значительной частью тех самых прав человека и гражданина, во имя которых был когда-то разрушен Старый порядок. Ключевыми словами, характеризующими общественное развитие в первые 20 лет нынешнего века, следует считать *отчуждение и наблюдение*.

Первое — отчуждение — происходит в результате ускорившегося разрушения остатков низовых сообществ, гражданских структур и прочих механизмов социальной солидарности. Можно лишь с грустной улыбкой вспомнить наивные надежды 15–20-летней давности на то, что новейшие интернет-феномены, прежде всего социальные сети, принесут торжество солидарности нового типа и станут прочными сообществами, новыми структурами гражданского общества, способными поставить под вопрос всемогущество Л-1 и Л-2. В действительности они оказались не приспособлены к выполнению этой функции, разве что строго технически — «сегодня в 7 вечера собираемся там-то». В условиях упадка культуры «горизонтального» взаимодействия — некоторые впечатляющие успехи вроде сетевой кампании Обамы в 2008 г. не меняют общей картины — альтернативой государственному давлению там и тогда, где и когда оно становится нестерпимым, выступает слабо организованный бунт. Он не порождает, в отличие, скажем, от восточноевропейских революций 1989 г., прочных альтернативных гражданских

структур, способных перехватить власть. В этом смысле украинские активисты Майдана, французские «желтые жилеты» и египетские протестующие с площади Тахрир стоят в одном печальном ряду. В лучшем случае такой бунт заканчивается передачей власти другой — а иногда и слегка замаскированной той же самой — фракции прежней элиты. В худшем — бунт подавляют, или же он сходит на нет, или наступает бессмысленный хаос. «Улица корчится, безязыкая», ибо язык ей вырвала прекрасно взаимодействующая парочка Левиафанов.

Второе — наблюдение — усиливается, поскольку, с одной стороны, в силу всего вышеперечисленного слабеют механизмы контроля за деятельностью государства, а слежка является частью этой деятельности с древнейших времен. С другой стороны, этому способствует распространившийся культ безопасности, являющийся производным возросшей роли потребления: успешно потреблять способен только человек, безопасность которого обеспечена. Нынешняя пандемия Covid-19 дала толчок тому и другому: угроза заражения и карантинные меры усиливают взаимное отчуждение, и они же являются удобным предлогом для более пристального наблюдения за людьми со стороны государственной власти. Естественно, масштабы и отчуждения, и наблюдения отличаются от страны к стране и неодинаковы в демократиях и авторитарных режимах — обитатель Нью-Йорка по-прежнему куда свободнее и в частной, и в общественной жизни, чем житель Синьцзяна. Но зоны манипуляции, наблюдения и контроля за гражданами, в том чис-

ле и благодаря новым технологиям, стремительно расширяются и там, где отказ от наследия революций, заложивших основы Нового порядка, еще не кажется окончательным.

Откровенно говоря, никакого оптимистичного заключения из этих рассуждений не вытанцовывается. Вполне вероятно, что мы находимся на исходе какого-то очень крупного исторического этапа, начавшегося около 250 лет назад крушением Старого порядка и возникновением Нового, либерально-демократического. Если это так, то трудно сказать, что может прийти ему на смену — или же произойдет некая его очередная эволюция. Понятно, движение в каком направлении могло бы оживить и придать несколько больше смысла общественной жизни западного (в широком понимании этого слова) мира: больше самоуправления, больше разнообразия, меньше государства, погони за ростом экономики и потребления любой ценой, меньше отчуждения и наблюдения. Не совсем понятно, как этого добиться и каких потрясений будет стоить понимание того, что мы зашли куда-то не туда. Возможно, после какого-то периода безвременья вновь настанет время революций.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Grox* 2002 — *Grox M.* От национальных движений к сформировавшейся нации // *Нации и национализм.* М.: Праксис, 2002.
- Márai* 2019 — *Márai S.* *Čtěl jsem mlčet.* Praha, 2019.
- Nisbet* 1962 — *Nisbet R.A.* *Community and Power (formerly The Quest for Community).* NY, 1962.

Priestland 2013 — *Priestland D. Merchant, Soldier, Sage. A New History of Power*. L., 2013.

REFERENCES

Grokh M. Ot natsional'nykh dvizhenii k sformirovavsheisia natsii. *Natsii i natsionalizm*. Moscow: Praksis, 2002.

Márai S. Chtěl jsem mlčet. Praha, 2019.

Nisbet R.A. Community and Power (formerly *The Quest for Community*). NY, 1962.

Priestland D. Merchant, Soldier, Sage. A New History of Power. L., 2013.

Обсуждение книги Дж. Верча «Как нации помнят. Нарративный подход» (2021)

«ИЗВНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ЛЕГЧЕ УВИДЕТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ МОМЕНТЫ,
ПЛОХО ЗАМЕТНЫЕ ИЗНУТРИ».

Интервью с Дж. Верчем

В интервью профессор Верч рассказывает о своей новой книге «Как нации помнят. Нарративный подход» (How Nations Remember. A Narrative Approach. New York: Oxford University Press, 2021), как соотносятся между собой различные типы его классификации нарративов памяти, каким образом эти нарративы воплощаются в национальных памятях России, США и Китая, насколько они применимы к анализу памяти других стран и о своих творческих планах.

Ключевые слова: национальная память, специфический нарратив, схематический нарративный шаблон, привилегированный событийный нарратив, национальный нарративный проект.

Сведения об авторе: Верч Джеймс, профессор Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США).

Контактная информация: jwertsch@wustl.edu.

“IT IS OFTEN THE CASE THAT SOMEONE OUTSIDE A NATIONAL COMMUNITY MIGHT HAVE BETTER INSIGHTS THAN THOSE INSIDE IT”.
INTERVIEW WITH J. WERTSCH

In his interview Prof. Wertsch tells about his new book How Nations Remember. A Narrative Approach (New York: Oxford University Press, 2021), how different kinds of his classification of memory narratives are related each other, regarding specific embodiments of those narratives in national memories of Russia, the US and China, if his classification is applicable to memories of other countries and about his academic plans.

Key words: national memory, specific narrative, schematic narrative template, privileged event narrative, national narrative project.

About the author: Wertsch James V., Professor of Department of Anthropology Washington University in St. Louis (USA).

Contact information: jwertsch@wustl.edu.

Джеймс В. Верч (James V. Wertsch) профессор Вашингтонского университета в Сент-Луисе, автор книг: *Vygotsky and the Social Formation of Mind*. Harvard University Press, 1985; *Voices of the Mind: Sociocultural Approach to Mediated Action*. Harvard University Press, 1991; *Mind as Action*. Oxford University Press, 1998; *Voices of Collective Remembering*. Cambridge University Press, 2002; *How Nations Remember. A Narrative Approach*. New York: Oxford University Press, 2021.

Это интервью является введением к дискуссии по поводу новой книги профессора Верча «Как нации помнят. Нарративный подход» (*How Nations Remember. A Narrative Approach*. New York: Oxford University Press, 2021). Существуют три причины для того, чтобы эта книга вызвала интерес у российских исследователей:

1. Автор благожелательно настроен к нашей стране. Запуск советского спутника в 1957 г. столь впечатлил десятилетнего подростка, что, поступив в Иллинойский университет, Верч решил изучать русский язык. Он неоднократно посещал Москву начиная с 1967 г. С 1975 г. плодотворно сотрудничал с советскими исследователями, в том числе и со знаменитым психологом А. Р. Лурия. Одной из целей научной деятельности Верча является улучшение взаимопонимания русского и американского народов.

2. Российская национальная память является важнейшей эмпирической частью теоретического исследования Верча. Его подход помогает увидеть те аспекты нашей национальной памяти, которые для нас «прозрачны», поскольку мы воспринимаем их как нечто само собой разумеющееся.

3. Россия для Верча это не только «поставщик» эмпирических данных. Он подчеркивает, что одним из важнейших интеллектуальных источников его концепции коллективной памяти выступают работы М. М. Бахтина и Л. С. Выготского. Профессор Верч внес большой вклад в ознакомление западного научного сообщества с идеями Выготского: перевел его работы и написал книгу «Выготский и социальные предпосылки формирования мышления» (*Vygotsky and the social formation of mind*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985). Усилия Верча вызвали растущий интерес к идеям российского гения. Сегодня Выготский входит в число наиболее цитируемых классиков гуманитарной мысли.

Подход Верча к памяти включает два новаторских момента.

Прежде всего, это функция *опосредования*, в процессе которой нарратив преобразует индивидуальный опыт в устойчивые сообщества памяти. До сих пор раздаются скептические высказывания по поводу концепции

«коллективной памяти» Мориса Хальбвакса. Эта критика частично оправдана, поскольку отсылка Хальбвакса к общей «точке зрения группы» туманна и мы нуждаемся в «осязаемом» инструменте опосредования индивидуальной и коллективной форм памяти. Опираясь на наследие Эрнста Кассирера и Льва Выготского, указавших на опосредующую роль языка, Верч сделал решительный шаг для представления нарратива в качестве незаменимого инструмента опосредования: индивид нанизывает «мясо» личного опыта на «шампур» нарратива, выкованного общими усилиями членов мнемонического сообщества; в то же самое время публикация личного опыта изменяет нарратив, который этот опыт структурировал. Взаимодействие коллективной и индивидуальной форм памяти протекает исключительно через посредничество нарратива. Верч подчеркивает, что нарративные инструменты сообщества памяти выступают в качестве «соавторов» индивидуального опыта. Таким образом, нарратив является ядром памяти. Можно возразить, что «нет ничего нового под солнцем» и многие исследователи ранее Верча говорили о нарративе применительно к памяти. Действительно, трудно обсуждать этот феномен, не упоминая нарратив, хотя основателю нашей дисциплины Морису Хальбваксу это удалось. В его основополагающем исследовании «Социальные рамки памяти» слово «нарратив» отсутствует. Я считаю, что Верч осуществил концептуальный прорыв, поскольку не просто использует слово «нарратив» применительно к памяти, но убедительно демонстрирует *нарративный принцип* ее устройства, состоящий в том, что нарратив играет незаменимую

опосредующую роль в формировании не только национальных, но и всех других сообществ памяти.

Другой концептуальный прорыв — это идея схематических нарративных шаблонов памяти. Верч применяет это понятие к национальной памяти, что позволяет, в отличие от других исследований, которые рассматривают такие очевидные нарративные схемы памяти, как «прогресс», «упадок» и т.д. (см., например: E. Zerubavel in *Time Maps. Collective Memory and the Social Shape of the Past*. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2003), получить неожиданные результаты. Таков, например, обнаруженный автором нарративный шаблон российской национальной памяти — «Изгнание чужеземного врага», который не был замечен отечественными исследователями. После чтения работ Верча, посвященных этому сюжету, я с изумлением спрашивал себя, почему эта убедительная идея прежде не приходила мне в голову? Ведь этот нарративный шаблон в значительной мере объясняет не только наше восприятие российской внешней политики далекого прошлого, но и недавние конфликты с Грузией и Украиной.

В заключительной главе своей книги Верч обсуждает идею Астрид Эрл (см. ее книгу: *Memory in culture*. New York: Palgrave MacMillan, 2011) о двух этапах развития исследовательской памяти. Первый из них был провозглашен работами Мориса Хальбвакса, Аби Варбурга и Фредерика Бартлета, которые в 1920–1930-х гг. определили предмет коллективной памяти. Второй этап начался в 1980-х работами Пьерра Нора, Яна

Ассманна и других исследователей, сосредоточившихся на темах национальной памяти и ее травматических аспектов (Холокост, ГУЛАГ, колониализм и т.д.). Эрл задается вопросом, каково будет содержание будущего (с ее точки зрения) третьего этапа исследований памяти? Я считаю, что третий этап уже стартовал в 2002 г., когда была опубликована книга Верча «Голоса коллективного воспоминания» (*Voices of collective remembering*. Cambridge: Cambridge University Press), но инерция нашей дисциплины не позволила это заметить. По моему мнению, проблемы

Беседовал С. Е. Эрлих.

С. Э. Какие изменения в вашей новой книге претерпела концепция опосредующих инструментов памяти?

Д. В. В своих прежних работах я уже пытался сделать предметом дискуссии использование различных понятий психологии. Это всегда было частью моего подхода к теме памяти. Раньше я делал упор на понятие схемы, но совсем недавно обратился к понятию привычки. Разумеется, эти идеи имеют почтенную историю: «привычку» ввел Уильям Джеймс в книге «Принципы психологии» (1890), а «схему» — Фредерик Бартлетт в книге «Воспоминание» (1932). Но с тех пор их идеи получили дальнейшее развитие в когнитивной психологии, когнитивистике и нейробиологии. Моей главной задачей был поиск междисциплинарных подходов к такой проблеме, как национальная память. В начальный период моей исследовательской деятельности

нарративной структуры ядра памяти и опосредующей роли ее нарративных инструментов должны стать центром нынешних исследований памяти.

Новая книга профессора Верча представляет развитие его плодотворной концепции. Его всеобъемлющая теория национальной памяти содержит ряд дискуссионных моментов, которые требуют конструктивной критики коллег. Я считаю, что обсуждение книги «Как нации помнят» будет способствовать прогрессу нашей дисциплины.

я в своих попытках развивать идеи Выготского, прежде всего, опирался на лингвистический и дискурсивный анализ, и эти дисциплины для меня до сих пор важны. Но в последнее время я пытаюсь расширить свой научный инструментарий, используя два основных пути. Во-первых, я пришел к пониманию той силы, которую нарратив приобретает в качестве культурного орудия и инструмента опосредования. Во-вторых, я стал больше интересоваться привычкой как ключевым понятием психологии. Поэтому сейчас я уделяю наибольшее внимание нарративным привычкам как полю исследования, где сходятся лингвистика, нарративный анализ и психология.

Мой возрастающий интерес к привычке во многом мотивирован практическими соображениями. Более десяти лет я был директором-основателем Международной научной академии Мак-Доннелла при Ва-

шингтонском университете и в результате приобрел большой опыт общения со студентами и коллегами из различных, особенно азиатских, стран. Я был поражен, с каким упорством собеседники отстаивают свои несовпадающие взгляды на мир, порожденные различиями обществ, в которых они получили воспитание. Эти различия столь велики, что порой становятся причиной серьезных конфликтов. Часто приходилось с изумлением наблюдать, как представители разных стран взаимно не верят в то, что их собеседник искренне излагает свои взгляды по тому или иному вопросу. Для меня это становилось дополнительной демонстрацией той разновидности «мнемонического противостояния», описанного в первой главе моей новой книги, который я впервые испытал в беседах с моим советским другом Витей¹. На сегодняшний день лучшим способом описания этого феномена я считаю понятие привычки, которое играет важную роль в моих попытках понять и найти способы управлять острыми конфликтами по поводу прошлого.

С. Э. **Ваша прежняя классификация нарративов национальной памяти включала два пункта: *специфический нарратив* (specific narrative) и *схематический нарративный шаблон* (schematic narrative template). Сейчас вы расширили список за счет *привилегированного событийного нарратива* (privileged event narrative) и *национального нарративного проекта* (national**

narrative project). Как эти четыре понятия соотносятся друг с другом?

Д. В. Привилегированный событийный нарратив сочетает сильные стороны специфического нарратива и схематического нарративного шаблона. Я ввел это понятие после длительного общения с китайскими коллегами, от которых много слышал о «Столетии унижения» (эпоха от начала опиумных войн 1839–1860 гг. до провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 г.). Как внешний наблюдатель я постоянно приходил в изумление от того, что китайские коллеги постоянно ссылались на этот период национальной истории даже при обсуждении вопросов, которые с моей точки зрения никак не были с ним связаны. Это привело меня к мысли, что в китайской национальной памяти «Столетие унижения» выполняет ту же функцию, что Великая Отечественная война играет для многих русских. Для представителей национальных сообществ риторическое обращение к этим специфическим нарративам обладает огромной эмоциональной силой, позволяющей во многих случаях усилить аргументацию в гораздо большей мере, чем это способен сделать нарративный шаблон.

Идея национального нарративного проекта основана, прежде всего, на работах морального философа Аласдера Макинтайра. Она имеет отношение к «нарративному поиску» (narrative quest), направляющему мышление в сторону будущего,

¹ Джеймс В. Верч. Хиросима в оптике национальной памяти: Россия vs США // Историческая экспертиза. 2019. № 3(20). С. 9-16.

прежде всего к общей цели. Как таковой нарративный проект не имеет отношения к тем схемам событий прошлого, на которых фокусируются нарративные шаблоны. Законченность прошлого играет ведущую роль в определении смысла исторических событий. Отличие нарративного проекта состоит в том, что он устремляет индивида либо нацию к будущему, у которого нет predetermined конца, но тем не менее существует понятие цели, которую мы стремимся достичь. Я и прежде читал Макинтайра, но его идея нарративного поиска лишь недавно открыла для меня новые перспективы, которыми я стремлюсь воспользоваться. Я надеюсь и в будущем двигаться в этом направлении.

С.Э. Привилегированный событийный нарратив является одним из специфических нарративов. А как соотносятся национальный нарративный проект и схематический нарративный шаблон? Является ли национальный нарративный проект одним из схематических нарративных шаблонов, или эта схема залегает под нарративными шаблонами?

Д.В. Национальный нарративный проект это уникальная история, траектория (arc) которой простирается в будущее и тем самым создает рамку для схематических нарративных шаблонов и других национальных нарративных форм. Национальный нарративный проект — это не шаблон, поскольку шаблон воплощается в интерпретации многих исторических событий. Кроме того, национальный нарративный проект отличается от схематического narra-

тивного шаблона отсутствием «конца истории». Именно это «чувство завершенности» придает нарративному шаблону общий «закрытый» смысл, прилагаемый к интерпретации несхожих событий прошлого. Взамен национальный нарративный проект обладает общей целью в том роде, в котором в России обсуждается «национальная идея». Это больше похоже на миссию, налагаемую на индивида или нацию, чем на отчетливое завершение истории, присущее нарративному шаблону. В случае России «Изгнание чужеземного врага» является, по моему мнению, нарративным шаблоном, т. к. используется для придания смысла множеству событий прошлого и настоящего, в то время как «Москва — третий Рим» и другие подобного рода миссии или национальные идеи являются целостной историей («биографией») нации и ее предполагаемого будущего развития. Точно можно сказать, что национальный нарративный проект должен быть совместимым со схематическими нарративными шаблонами, но это разные виды нарративов, которые не могут быть сведены один к другому.

С.Э. Описывая российскую национальную память, вы отмечаете, что среди ее специфических нарративов важную роль играют истории германского, французского, шведского и других вторжений, под которыми лежит общая «формула» схематического нарративного шаблона «Изгнание чужеземного врага». Современным привилегированным событийным нарративом является Великая Отечественная война 1941–1945 гг., которая не просто выступает самым ярким

воплощением нарративного шаблона «Изгнание чужеземного врага», но также представляет «линзу», сквозь которую русские воспринимают современную внешнюю политику. Я полностью согласен с таким пониманием первых трех понятий вашей нарративной теории. Вопросы возникают относительно понятия национального нарративного проекта. В российском случае таковым, по вашему мнению, является «Русская идея» с ее «знакомой практически каждому русскому» манифестацией «Москва — третий Рим» (р. 191). Вы пишете, что это символ вечной жизни нации («Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать»), конца которой не предвидится, и в этом смысле он отличается от российского нарративного шаблона с финальным изгнанием чужеземного врага (р. 190). Вы отмечаете, что «бесконечность» является общей чертой любого национального нарративного проекта. Однако американский нарративный шаблон «Град на холме» также не имеет завершения, и с этой точки зрения он сходен с нарративом «Москва — третий Рим». Кроме того, оба этих нарратива прямо относятся к сфере духовных и даже религиозных ценностей. Как вы считаете, может, «Град на холме» это не нарративный шаблон, характеризующийся закрытым финалом, но национальный нарративный проект, устремляющий американскую нацию в будущее?

Д. В. Вы суммировали ключевые моменты моей концепции, и я продолжаю работать над тем, каким образом идея «Град на холме» должна вписаться в мой анализ. Идет ли

в данном случае речь о нарративном шаблоне либо о нарративном проекте? Я более склоняюсь к тому, что американским нарративным национальным проектом является понятие «более совершенного союза», основанного на демократии, но я продолжаю думать над этим вопросом. Неважно, что другим сложно поверить в то, что американская идея по поводу нашей миссии состоит в поисках свободы и демократии, и неважно, сколь циническим образом эта идея порой используется в американском политическом дискурсе, я ее рассматриваю в качестве своего рода базовой нарративной привычки. Дональд Трамп был исключением в этом смысле. Но недавние заявления Джо Байдена звучат в том же духе, что и у Обамы и предшествующих им президентов, и отражают более глубокий набор нарративных привычек, чем волна обидчивого популизма, которую поднимал Трамп.

С. Э. Применительно к России вы описали все четыре типа нарративов вашей концепции национальной памяти. При этом есть отсутствующие элементы в вашем описании американской (привилегированный событийный нарратив) и китайской (схематический нарративный шаблон) национальных памятей. Почему вы не упомянули о них?

Д. В. Вы снова правы. Я считаю, что ваши замечания будут способствовать прогрессу моих исследований. Я бы отметил, что *извне* национального сообщества легче увидеть те или иные моменты, плохо заметные *изнутри*. Француз Алексис де Токвиль часто цитируется как один из наиболее глубоких наблюдателей аме-

риканских традиций и идей, так что, возможно, для нас — американцев настало время прислушаться, как мы воспринимаем со стороны, в том числе и российскими коллегами. Согласно бахтинской перспективе, диалог такого рода было бы неплохо предписать в качестве стандартной аналитической процедуры. При этом надо учитывать, что американцы (как и другие народы на их месте) будут возмущены тем, что иностранцы рассказывают им, кем они являются на самом деле, так что это более сложное занятие, чем обыкновенная когнитивная процедура. Сейчас в *внутри* США идут жаркие дискуссии по поводу того, что считать базовым национальным нарративом нашей страны. Берет ли он начало в 1619 г. вместе с «первородным грехом» рабства, или он начинается в 1776 г. как своего рода поиск свободы?

С. Э. Ваша классификация четырех видов нарративов национальной памяти создана на базе американской, российской и китайской памяти. Считаете ли вы, что она применима к другим странам? Могли бы вы привести примеры?

Д. В. Я действительно считаю, что классификация нарративов, которую я наметил в книге «Как нации помнят», может быть применима к другим национальным сообществам, но я и так высказал слишком рискованные соображения применительно к случаям России, Китая и США, поэтому воздержусь от высказываний по поводу других наций. Я вижу перспективу в комплексном рассмотрении случаев малых наций. Мой эстонский товарищ Пеэтер Тульвисте как-то сказал, что национальные памяти и наррати-

вы малых наций обладают своей ярко выраженной спецификой. Кроме прочего, я полагаю, у них должны существовать нарративы о том, что малые нации могут быть завоеваны, захвачены и т. д., но, вопреки этому, не прекратят своего существования. В этом смысле показательны случаи армян и евреев. Что-то мне подсказывает, что в подобных случаях речь идет о национальных миссиях и поиске нарративов, которые принципиально отличаются от рассмотренных мной случаев России, Китая и Америки. Пока нет конкретных исследований нарративной специфики памяти малых наций, было бы слишком рискованно высказывать суждения по этому вопросу.

С. Э. И заключительный вопрос о ваших научных планах.

Д. В. Мы с Родди Рёдигером получили грант по проблеме формирования коллективной памяти и подобрали группу исследователей, многие из них молодые и нуждаются в особом нашем внимании, чтобы начать дискуссию. Этот проект преимущественно направлен на проблемы формирования поля коллективной памяти и традиции ее исследования и во многом посвящен битвам памяти, которые развернулись в последнее время в США. Как я уже упомянул выше, своей задачей в этом проекте я вижу работу над национальным нарративным проектом как особой исследовательской темой. Я предполагаю, что мы с Родди проведем дополнительные эмпирические исследования на основе опросов общественного мнения и, возможно, попытаемся собрать более детальные данные о нарративах национальной памяти и проанализировать их.

Е. Н. Блинов

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ПАМЯТИ: КАК НАРРАТИВЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ СОЗДАЮТ И РАЗРУШАЮТ НАЦИИ

Статья является полемическим отзывом о книге американского известного американского исследователя коллективной памяти профессора Джеймса Верча «Как нации помнят. Нарративный подход». Работа рассматривается одновременно как методологическая рефлексия о формировании нарративного подхода в исследованиях коллективной памяти и попытка его практического применения на сравнительном примере американской и советско-русской национальной памяти, которые рассматриваются как производное от нарративных шаблонов исторически сложившихся «мнемонических сообществ». Оценивается релевантность применения концепта диалога Бахтина к анализу политических нарративов и обоснованность самого понятия «национальной памяти». Выдвигается ряд гипотез о потенциале нарративного подхода в интерпретации Верча и его возможном применении для прагматического дискурс анализа.

Ключевые слова: мнемоническое сообщество, национальная память, нарративные шаблоны, унификация языка, сакральная география, Бахтин, диалогизм.

Сведения об авторе: Блинов Евгений Николаевич, магистр программы Еврофилософия Эразмус Мундус, кандидат философских наук (ИФРАН), PhD Университета Тулузы. Профессор кафедры новой истории и международной политики Тюменского государственного университета, ассоциированный сотрудник сектора Социальной эпистемологии ИФ РАН.

Контактная информация: e.n.blinov@utmn.ru.

E. N. Blinov

IN THE SEARCH OF THE LOST MEMORY: HOW NARRATIVES BIG AND SMALL ARE BUILDING AND DESTROYING NATIONS

The article is a polemical response to the book of a well-known American specialist in collective memory James Wertsch “How Nations Remember. A Narrative Approach”. The book is discussed as a deep methodological reflection on

© Е. Н. Блинов, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-28-34

the genesis of the narrative approach to collective memory studies and at the same time as an attempt of its practical implication as a part of the comparative analysis of American and Soviet-Russian national memories. The later are presented as based on the narrative templates of historically established “mnemonic communities”. We estimate the relevance of Mikhail Bakhtin’s concept of dialogism and the legitimacy of the very notion of “national memory” and put forward some hypotheses about the potential of its use in political discourse analysis.

Key words: mnemonic community, national memory, narrative templates, language unification, sacral geography, Bakhtine, dialogism.

About the author: Blinov Evgeny N., MA (Erasmus Mundus Europhilosophie), Candidate of Philosophical Sciences (Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences). Professor of the Department of Contemporary History and World Politics, Tyumen State University.

Contact information: e.n.blinov@utmn.ru.

Интереснейшее исследование Джеймса Верча «Как нации помнят. Нарративный подход» — редкая книга, в которой политическая актуальность сочетается с глубокой методологической рефлексией. Она является результатом многолетних исследований автора в области коллективной памяти, и, по аналогии со знаменитым трактатом Декарта, ее можно было бы назвать «рассуждением о методе», и вместе с тем — это острое полемическое высказывание на злобу дня. Как выражался классик — это «очень нужная и своевременная книга», которая ставит под сомнение шаблоны западной политической публицистики последних десятилетий. При этом крайне импонирует интеллектуальная честность автора, который не пытается представить себя всесильным демиургом, без гнева и пристрастия препарирующим национальные нарративы, а осознает себя полноценным членом американского «мнемонического сообщества». Именно данное обстоятельство создает ощущение драматического внутреннего диалога при сопоставлении оценок различных

исторических событий, зафиксированных в нарративах, из которых складывается любая национальная память. По оценке автора, подобные события являются узловыми точками национальной памяти, которые позволяют наглядным образом судить о принципиальной разнице в трактовке исторических событий, как, например, столь поразившее автора расхождение в оценках бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в СССР и США в середине 70-х.

Неоспоримым достоинством книги является демонстрация динамики формирования и внутренних конфликтов мнемонических сообществ. За счет этого автору удается избежать сведения комплексных и противоречивых процессов формирования того, что можно назвать «национальной памятью», к навязанной сверху «идеологии», которая предположительно формирует восприятие истории в так называемых авторитарных государствах. Верч неоднократно подчеркивает важность не только официального дискурса власти, через который

выстраивается гомогенный национальный нарратив, но и, если можно так выразиться, мнемонических импульсов, исходящих «снизу вверх». Из этого следует, что любой политический деятель, сколь бы авторитарной ни была его стратегия лидерства, не может быть полностью независим от уже сложившихся шаблонов своего мнемонического сообщества или радикально изменять их волюнтаристским путем. В качестве примера приводится пресс-конференция Путина 2008 г., во время которой он объяснял западным журналистам мотивы принятия решений о проведении операции, которую официальные российские СМИ называли «принуждением к миру», а западная пресса — «агрессией в отношении Грузии». Верч подчеркивает, что многочисленные исторические экскурсы Путина, непонятные западным читателям и зрителям, объясняются не его личным безумным планом по восстановлению СССР, а разделяемыми значительным числом его избирателей шаблонами восприятия общей истории постсоветского пространства. И в конкретном случае Путин (как и любой другой спикер) может быть репрезентативной фигурой, которая просто озвучивает определенные шаблоны национальной памяти, разделяемой его сообществом. Чтобы понять мотивы действий политических лидеров, необходимо научиться воспринимать их как представителей своего мнемонического сообщества, что делает нерелевантным разделение на «демократические» и «авторитарные» государства. В конце концов, высокомерное представление о «честном» и «беспристрастном» подходе к истории в «демократических»

странах — всего лишь «нарциссический миф» западных обществ.

Иными словами, устами Путина в определенной ситуации может говорить «русская история», в том виде, в каком она воспринимается не только и не столько профессиональными историками или политическими элитами, а мнемоническим сообществом в более широком смысле, внутри которого вырабатывается определенный консенсус по поводу исторических событий. Подобный консенсус не навязан населению посредством идеологической обработки, а напротив, может оказывать сильнейшее воздействие на политических лидеров, которые оказываются не в состоянии изменить определенные шаблоны, в соответствии с которыми функционирует национальная память.

При этом стоит отметить, что здравому призыву к «депутинизации» политического дискурса о России не всегда следует сам автор: так, он утверждает, что скандально известный в России сатирический фильм «Смерть Сталина» (2017) «стал предметом ярости Путина» (р. 129), не выдвигая гипотез о восприятии фильма усредненным русским или даже постсоветским зрителем. Если Хрущев в коллективной памяти часто предстает персонажем анекдотическим, то, например, изображение национального героя маршала Жукова солдафоном, «не знающим слов любви», скорее всего, покоробит среднестатистического представителя русского мнемонического сообщества. Вполне определенно можно сказать, что в России данный фильм никем не был воспринят как коме-

дия, включая оппозиционно настроенных критиков, выступивших против отзыва у него прокатной лицензии. Маловероятно, что комедия про атаку на Перл-Харбор пользовалась бы успехом у среднего американского зрителя, и, скорее всего, она вызвала бы тяжелые чувства не только у Трампа и его сторонников.

Автор совершенно верно отмечает то центральное место, которое занимает Великая Отечественная война в русской национальной памяти и ее фактический статус гражданской религии, или, как он выражается, «привилегированного событийного нарратива» (р. 135). Он приходит к выводу, что в русском мнемоническом сообществе она соответствует шаблону «изгнания чужеземного врага», который был заново актуализован Сталиным в начале войны и едва ли не заменил официальную марксистскую идеологию. Здесь стоит отметить, что автор явно недооценивает восстановление русского национального пантеона, которое началось во второй половине 30-х гг., начиная с отмечания столетия смерти Пушкина. В методологическом аспекте он, с моей точки зрения, упускает момент гибридизации (если использовать излюбленный термин Бахтина) различных мнемонических нарративов: русского патриотического и советского эмансипационного, которые при этом не были «герметичными», а активно взаимодействовали друг с другом. В этом смысле характерна допущенная им фактическая неточность: он утверждает, что Чапаев смотрится лишним в пантеоне национальных героев, т. к. «никогда не воевал с врагами за пределами России» (р. 111). Чапаев был унтер-

офицером царской армии, воевал в Галиции во время Первой Мировой войны и был Георгиевским кавалером. Унтер-офицер с боевыми наградами был достаточно типичной фигурой красного командира (Чапаев, Буденный, Жуков, Рокоссовский), которых избирали солдатские комитеты, что также в значительной степени связано с общей памятью ветеранов войны как вновь сформированного мнемонического сообщества, бросающего вызов старой иерархии.

Подобная недооценка гибридности нарративов, из которых складываются шаблоны национальной памяти, проявляется и в некоторых других оценках, выносимых автором. В целом ряде случаев он не анализирует сами шаблоны, а скорее судит о них с точки зрения тех, кто их не разделяет. Однако в этом случае не соблюдается столь важный для Бахтина критерий, как *точка зрения* того индивидуального или коллективного сознания, которое выносит суждение о чуждой «стилистике» (у Бахтина) или «разделяемой памяти» (у Верча). Так, в приводимом диалоге Путина с британским журналистом он уверен, что вопрос о вторжении на территорию Грузии «разрушает шаблон об изгнании иностранных чужеземного врага» (р. 169). Однако для Путина, именно как для представителя своего мнемонического сообщества, от имени которого он выступает, изгнание захватчиков прямо подразумевает «освободительный поход», что видно из приведенного ответа. То есть вопрос журналиста исходит из его представлений (также разделяемых внутри его собственного сообщества) об актуальных

и признанных границах Грузии, тогда как национальный нарратив, как продемонстрировали Бенедикт Андерсон и другие исследователи национализма, всегда подразумевает «сакральную географию», которая находится в сложных отношениях с национальной памятью. Поэтому в смысле Бахтина данное противоречие не является внутренним для «Путина» (как репрезентативной фигуры), а связано с представлениями британского журналиста, игнорирующего «долгую память» постсоветских обществ, для которых воображаемые границы не совпадают с юридическим статусом и международно признанными границами. Если реконструировать русские представления о том, чем должен быть «Град на холме», то они, скорее всего, будут сильно отличаться от американских и станут скорее источником недоразумений, чем основой для диалога.

Другим не вполне проясненным вопросом остается соотношение национальных нарративов с тем, что автор называет «аналитической историей», хотя он совершенно справедливо указывает, что профессиональная история в ряде случаев может быть менее точной, чем «народная память», и столь же часто является предметом различных манипуляций. Насколько можно судить, данное соотношение подвергается своеобразной методологической редукции: автор дает понять, что для изучения национальных нарративов зачастую следует избегать их «исправления» профессиональными историками, как в исследовательских целях, так и по той причине, что они обладают высоким потенциалом сопротивления. Однако в некоторых случаях

остается непонятным, являются ли суждения автора цитатами из этих нарративов или апелляцией к «аналитической истории». Так, при описании Пятидневной войны у незнакомого с контекстом читателя может возникнуть впечатление, что Абхазия или Южная Осетия стали отколовшимися регионами в результате военных действий между Россией и Грузией в августе 2008-го (р. 168). Данное утверждение не соответствует ни российскому, ни грузинскому, ни абхазскому или осетинскому национальным нарративам, в рамках которых конфликт определенно начался задолго до боевых действий. Проблема, на мой взгляд, не столько политическая или интерпретационная, сколько методологическая: автор полностью опускает исторический контекст, который позволил бы объяснить конфликт различных национальных нарративов и связанных с ними сакральных географий. Несмотря на выдвинутый им тезис о важности «медленного мышления» в интерпретации исторических событий, вокруг которых формируются мнемонические сообщества, он предлагает ряд сомнительных обобщений, наподобие того, что в Грузии и Эстонии «неоспоримым фактом» является идея о том, что события ВМВ «привели скорее к оккупации, чем к освобождению» (р. 170). Не нужно быть специалистом по постсоветским национализмам, чтобы усомниться в том, что «шаблоны» национальной памяти в Прибалтике в значительной степени отличаются от распространенных в Грузии, хотя автор объединяет их по принципу отличия от стандартных советских или русских. На что, стоит это признать, обращает внимание сам автор, ссылаясь

на исследование о распространенном в Грузии «бивокализме» национальной памяти.

В некоторых пассажах то, что представляется автором как выводы «аналитической истории», представитель русского мнемонического сообщества скорее воспримет как продукт того самого «быстрого мышления», которое осуждается автором на примере поведения американского генерала во время мирных переговоров по Боснии. Именно это игнорирование исторического контекста, которой приписывается американскому мышлению не только русским, но и в более широком смысле европейским мышлением, может объяснить провалы стратегического планирования на Ближнем Востоке или Восточной Европе. Однако в этом сознательном «стирании» истории — главная сила великого американского мифа о Новом Свете, прибытие в которой в определенном смысле означает пересечение Леты. Но, похоже, старые американские божества далеко не столь всемогущи по другую сторону Океана и посвященный им культ Конца истории стремительно теряет своих сторонников.

Если сравнивать русский/советский и американские исторические нарративы, то можно предположить, что отличаются не только принципы отбора, оценки и составления иерархий в запоминании/забвении исторических событий, но и само отношение к их возможной верификации. Так, на мой взгляд, пресловутое русское «правдоискательство» является не просто «нарциссическим мифом», а базовым принципом селекции национальной памяти с точки зрения

самих русских. Подтверждением этой гипотезы служит глубокий кризис национальной памяти 80-х гг., связанный с открытием событий Большого террора, имевший серьезные политические последствия. Ничего сопоставимого по масштабам не произошло в США после формирования ревизионистских нарративов об эксплуатации черных или уничтожении коренного населения Америки. Если же мы обратимся, к примеру, к японскому национальному нарративу, то в нем возможная «правда» об исторических событиях вообще не имеет принципиального значения: для японцев позицией по умолчанию является скорее наличие различных перспектив и интерпретаций, а не некая универсальная интерпретация, возможность которой для воюющих сторон практически полностью исключается.

Насколько я могу судить, автор принципиально не предлагает классификаций национальных нарративов, ограничиваясь их эмпирическим описанием и делая акцент скорее на центробежных, а не центростремительных тенденциях, если использовать другое излюбленное выражение Бахтина. Он избегает оценочных суждений и стандартных шаблонов, наподобие «мессианизма», который принято употреблять для характеристики имперских нарративов, таких как русский и американский, или «самовиктимизации», часто используемой для описания антиимперских нарративов, таких как эстонский, грузинский или афроамериканский (при том что они не являются взаимоисключающими, а виктимность часто включена во враждебные имперские нарративы). Однако в таком

случае можно поставить под сомнение фокус книги именно на «национальной памяти», поскольку современные нации одновременно являются продуктом и фабрикой «разделяемой памяти». Мы оказываемся в ситуации герменевтического круга, схожего с представлением о национальном языке, который, по Бахтину, всегда «не дан, а задан», и непонятно, предшествует ли создание нации стандартному языку или следует за ним. Требуется объяснить, с чем связаны центробежные и центростремительные тенденции, взлет и подъем определенных нарративов, которые из «внутренне убедительных» становятся «авторитарными» и обратно. Для Бахтина диалогизм

романа, в противоположность эпической и гражданской поэзии, был воплощением именно центробежной тенденции, свидетельствующей о социальном расслоении и возрастающей гетерогенности общества. Если опираться на бахтинское определение диалогизма, то исследования памяти должны изучать не формирование единого мнемонического нарратива, а скорее процесс его разложения и динамику внутренних конфликтов. Тогда мы сможем понять, не только как помнят или забывают «нации», но и как распадаются и объединяются различные мнемонические сообщества на фоне столкновения различных политических сил.

Д. В. Ефременко

БОЛЬШОЙ МНЕМОНИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК. О ВКЛАДЕ ДЖ. ВЕРЧА В ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И НЕ ТОЛЬКО В НИХ

В новой книге американского исследователя Дж. Верча предложен ряд оригинальных подходов к исследованию национальной памяти и исторических нарративов. В статье рассматривается потенциал этих идей применительно к изучению политики памяти в США, Китае и России. Анализируются ситуации антагонизма исторических нарративов и острого соперничества между мнемоническими сообществами.

Ключевые слова: политика памяти, исторические нарративы, мнемонические сообщества, идентичность, дилемма мнемонической безопасности.

Сведения об авторе: Ефременко Дмитрий Валерьевич, доктор политических наук, заместитель директора Института научной информации по общественным наукам РАН (Москва).

Контактная информация: efdv2015@mail.ru.

D. V. Efremenko

THE GREAT MNEMONIC TRIANGLE. ON THE CONTRIBUTION OF J. WERTSCH TO MEMORY STUDIES AND BEYOND

American researcher J. Wertsch's new book proposes a number of new approaches to the study of national memories and historical narratives. The article examines the potential of these ideas in relation to the study of memory politics in the United States, China and Russia. Situations of antagonism of historical narratives and acute rivalry between mnemonic communities are analyzed.

Key words: memory politics, historical narratives, mnemonic communities, identity, dilemma of mnemonic security.

© Д. В. Ефременко, 2021

Статья отражает результаты исследования, проводимого в Институте научной информации по общественным наукам РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 17-18-01589П.

DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-35-42

About the author: Efremenko Dmitry V., Dr. Sc., deputy director of the Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences (Moscow).

Contact information: efdv2015@mail.ru.

Новая книга Дж. Верча «Как нации помнят. Нарративный подход» (2021) важна по меньшей мере для двух направлений социально-гуманитарных исследований. Во-первых, она, безусловно, вносит крупный вклад в развитие теоретико-методологических оснований и аналитического инструментария *memory studies*. Во-вторых, рассматривая проблематику исторической памяти США, Китая и России — трех ключевых игроков современного мирового порядка, — Верч способствует пониманию мотивов их поведения на международной арене. Несколько метафорично это можно назвать большим мнемоническим треугольником. Анализируя интеракции этих трех международных акторов, мы обнаруживаем сегодня, что одни лишь установки политического реализма в духе Г. Киссинджера не дают исчерпывающего объяснения их действий. Образы желаемого будущего и выбор актуальных политических опций Америкой, Китаем и Россией в немалой степени определяются тем, как там вспоминают прошлое.

Глубокий раскол американского общества охватил сферу культурной памяти, что, в свою очередь, начинает затрагивать и привычные приемы легитимации внешнеполитического курса США, заключающиеся в отсылках к историческому прошлому, в котором коренятся истоки американской исключительности. Сама возможность сомнения в непогрешимости отцов-основателей и их главного творения — американской демо-

кратии — уже подтачивает идеологические и риторические основания глобального доминирования США. Этот эффект многократно усиливается, когда часть американских интеллектуальных и политических элит принимает в качестве новой нормы тезис о «первородном грехе Америки» (*Gordon-Reed 2018*), заключающийся в том, что восходящие к началу XVII в. практики рабовладения и отъема населенных коренными американцами «пустующих» земель не просто сопровождали, но оказывали содержательное воздействие на развитие демократических институтов. Раскол между элитами в отношении базовых оценок американской истории продолжает углубляться. Как пишет Н. Фергюсон: «Правые по-прежнему отстаивают традиционную версию основания республики — освобождение от британского владычества, — отбиваясь от попыток “бдительных” левых превратить американскую историю в рассказ сперва о рабстве, а затем о сегрегации. Но мало кто с обоих краев политического спектра ностальгирует по эпохе глобальной гегемонии, которая началась в 1940-х годах» (*Niall Ferguson 2021*).

Так или иначе, резонанс глобального имперского перенапряжения и подрыва исторической и моральной легитимности американского доминирования значительно усиливает впечатление о США как о стране, теряющей уверенность в своих силах. Даже если это только впечатление, оно может иметь и уже имеет серь-

езные последствия для мирового порядка.

Китай, напротив, настойчиво пестует образ уверенной в себе и восходящей державы, но при этом для легитимации власти КПК и проводимой ей внешней политики продолжает использовать нарратив виктимности. «Столетие национального унижения» вполне уместно характеризовать в качестве привилегированного событийного нарратива КНР, хотя его «приравнение» к нарративу Великой Отечественной войны, как это делает Верч, неизбежно вызовет ряд оговорок, поскольку последняя гораздо более глубоко укоренена в индивидуальной и семейной исторической памяти граждан бывшего СССР, чем у китайцев — длинный перечень разнородных событий, происходивших на протяжении целого века. Следует также учитывать, что нарратив столетия национального унижения все же нельзя рассматривать в качестве константы политики памяти КНР. Эпоха Мао Цзэдуна отличалась доминированием триумфализма в описании исторического пути КПК и ее вождя. Усиление акцента на виктимность одного из не самых продолжительных периодов пяти тысячелетней истории Китая происходит уже после событий на площади Тяньаньмэнь, когда потребовалось укрепить власть КПК подчеркиванием ее роли не в классовых сражениях, а в защите общенациональных интересов. У партнеров Китая на международной арене апелляция к травматическому опыту «столетия национального унижения» вызывает определенные опасения (Wang 2020) хотя бы потому, что не все исторические «счета» были

«закрыты» в 1949 г. Само сохранение модели «двух Китаев» типологически (да и эмоционально) может быть включено в перечень унижений, поскольку главным фактором, обеспечивающим ее устойчивость, является позиция Вашингтона. Москве же не следует забывать, что в этот список входят Айгунский (1858) и Пекинский (1860) договоры, более чем заметная роль российских воинских формирований в подавлении восстания ихэтуаней и взятии Пекина войсками альянса восьми держав в 1900 г., погромы и изгнание китайцев из Благовещенска в том же году, ведение войны с Японией на китайской территории в 1904–1905 гг. В политико-дипломатическом смысле основные проблемы были урегулированы российско-китайским Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2001 г., но в плане политики памяти привилегированный событийный нарратив существенных изменений не претерпел. Разве что доступ российских посетителей к историческим экспозициям некоторых музеев в приграничной провинции Хэйлунцзян, рассказывающих о двусторонних отношениях, в последнее время намеренно ограничивается (Поправко 2019).

Россия в «большом мнемоническом треугольнике» занимает промежуточное положение. В XX в. у нее за плечами двойной опыт кризиса оснований национальной идентичности, помноженный — в отличие от США — на крах государственности. В то же время укрепление постсоветских государственных институтов, усилия по преодолению травматического синдрома, связанного с распадом СССР, нарратив

«вставания с колен», который на Западе интерпретируется как ревизионизм в отношении постбиполярного мирового порядка, сближают Москву с Пекином и его усилиями по преодолению векового «национального унижения». Важные стимулы форсирования российской политики памяти исходят как раз из сферы международных отношений, одним из подтверждений чему служат статьи президента РФ В. В. Путина по историческим проблемам.

В своей последней книге Дж. Верч применительно к России/СССР рассматривает наиболее детализированный перечень нарративов, позволяющий с необходимой полнотой составить представление о российской национальной памяти. При этом, как представляется, подход Верча уместно соотнести с наработками Г. Гилла (*Gill* 2011; 2013; см. также: *Малинова* 2018), в центре внимания которого также находится наша страна. Гилл исследовал советский метанарратив — совокупность «дискурсов, в упрощенной форме представляющих идеологию» (*Gill* 2011: 3). По сути, метанарративы идеократических режимов — не просто редуцированные идеологемы, но целый механизм их трансляции в повседневную реальность и репрезентации норм и ценностей, имеющих конституирующее значение для режима, при помощи определенного набора символических средств (язык, визуализация, физическое окружение, ритуалы). Метанарратив в известном смысле облегчает приспособление индивида к таким особенностям идеократии, как неопределенность фактов и порочный круг, «по которому движутся все объяснения» (*Геллнер* 2004: 161).

Одновременно идеократический метанарратив выступает средством экспликации континуума «прошлое — будущее», тем самым включая в себя исторические нарративы и лежащие в их основе смыслопорождающие мифы. В последнем случае идеократический метанарратив берет на себя функции верчевского национального нарративного проекта. Но при этом особенно интересно, как в рамках метанарратива происходит репродукция российского нарративного шаблона, который, согласно Верчу, состоит в изгнании чужеземного врага. В советский метанарратив этот шаблон входит почти с самого начала благодаря декрету СНК «Социалистическое отечество в опасности!» (21.02.1918), автором которого, скорее всего, был Л. Д. Троцкий (*Гончарова* 1991). Сам декрет, подготовленный в момент немецкого наступления на Петроград после провала переговоров в Бресте, был своеобразной калькой с декрета Национального собрания Франции 11.07.1792, начинавшегося словами «Граждане, Отечество в опасности!» и опубликованного в сходных обстоятельствах внешней военной угрозы революционному режиму. Декрет 1792 г. выполнял мобилизационную роль, но одновременно являлся и актом нацистроительства. Используя термин «Отечество», Троцкий апеллировал к аналогичным чувствам, к родовой связи с предками, которые защищали определенную территорию, хотя и не мыслили ее в качестве «социалистического отечества». Для массовой аудитории, к которой был обращен большевистский декрет, понятны были вовсе не отсылки к французской революции, а то, что призыв к защите Отечества перекликался с патриоти-

ческой пропагандой периода Первой мировой войны, т.е. воспроизводил знакомый нарративный шаблон.

Нарративный шаблон защиты Отечества от внешних и внутренних врагов был значительно и целенаправленно усилен при И.В. Сталине сначала в рамках идеологии о построении социализма в одной стране в условиях враждебного окружения, а затем в ходе «патриотического» разворота 1930-х гг. Сталинскому режиму было необходимо показать с использованием всех имеющихся в распоряжении средств пропаганды, символической и мнемонической политики, что проводящая коллективизацию и индустриализацию власть не является чуждой русскому народу и, напротив, выступает прямым продолжателем дела Александра Невского, Ивана Грозного и Петра Великого — правителей, проводивших мобилизацию внутренних сил для отражения угроз существованию русской/российской государственности. Эффект был противоречивым, поскольку оказались запущены процессы консолидации русско-советской идентичности на массовом уровне (*Бранденбергер* 2009: 11), тогда как идеократический метанарратив оставался лишь внешней оболочкой, которая спустя столетия продемонстрировала свою уязвимость. Когда рухнул Советский Союз, а вместе с ним ушел в небытие и советский метанарратив, именно нарративный шаблон не просто устоял, но стал основой сборки нового мнемонического конструкта, продолжающейся на наших глазах.

И еще один сюжет. Дж. Верч пишет о «мнемонических противостояниях», когда несовместимость исто-

рических нарративов переводит обсуждение вопросов исторического прошлого из модальности диалога несогласных в режим диалога глухих (в частности, спор о Хиросиме). Таких примеров можно найти немало внутри большого мнемонического треугольника. Но все-таки это нарративы игроков, играющих на глобальной шахматной доске. Здесь сказывается эффект масштаба, или дальностей. Самые напряженные столкновения исторических нарративов — не между «дальними», а между «ближними», теми, у кого сфера прежде «совместного наследия воспоминаний» (Э. Ренан) весьма обширна и ее сегодня приходится делить. Здесь уже надо смотреть на другие треугольники или двойки: Россия — Украина — Беларусь, Грузия — Абхазия — Южная Осетия, Китай — обе Кореи — Япония, Сербия — Хорватия — Босния, Сербия — Косово — Албания, Азербайджан — Армения — Турция, Турция — Греция и т.д. Сами дискуссии о прошлом в этих случаях имеют совсем другую энергетику, поскольку происходит секьюритизация исторических нарративов и связанных с ними символических практик (*Mälksoo* 2015), включающая в себя и стратегически ориентированное воздействие на эмоции представителей мнемонического сообщества (*Wertsch* 2021: 89). Вновь отталкиваясь от проблематики теории международных отношений, я называю такого рода клинчи исторической памяти дилеммами мнемонической безопасности. Схематично это можно представить так:

Исторический нарратив, служащий «мифом основания» для государства А или играющий большую

роль в сплочении стоящего за этим государством сообщества, на систематической основе начинает оспариваться влиятельными силами, выступающими от лица сообщества, стоящего за государством В. Настойчивое оспаривание нарратива, значимого для «биографии» сообщества и стоящего за ним государства, в конечном счете подрывает уверенность представителей сообщества в устойчивости его существования. Если институты государства В оказывают явную поддержку этим усилиям, то политические элиты государства А оказываются перед выбором: игнорировать такого рода действия или разработать свой комплекс мер, направленных на противодействие подрыву «своего» нарратива и дискредитацию исторических нарративов, значимых для сплочения сообщества в государстве В. Стремясь разрушить «миф основания» государства А, мнемонические акторы государства В нередко пытаются из его обломков сконструировать свой собственный «миф основания» и, таким образом, усугубляют конфликт, переводя его на уровень антагонизма идентичностей (Севастьянова, Ефременко 2020).

Очевидно, что, например, динамика российско-украинских взаимодействий по вопросам исторической памяти достаточно быстрыми темпами приближается к состоянию дилеммы мнемонической безопасности, которая в конечном счете способствует фиксации конфликта на уровне социокультурной идентичности. Но даже когда сам этнополитический или межгосударственный конфликт фактически исчерпан, дилемма мнемонической безопасности еще мо-

жет сохраняться длительное время, затрудняя постконфликтное урегулирование. Так, хотя конфликт Сербии и Хорватии остался в прошлом, а интересы двух стран подталкивают их руководство к развитию сотрудничества, сербо-хорватская дилемма мнемонической безопасности далеко не изжита. В результате каждый год воспроизводится одна и та же траектория: сербские и хорватские политики сначала предпринимают усилия по восстановлению конструктивного партнерства, а затем они же либо другие представители политических элит каждой из стран в очередную годовщину ключевых событий сербо-хорватского конфликта 1991–1995 гг. просто не могут не делать заявлений, сводящих на нет многие усилия предшествующих месяцев по нормализации двусторонних отношений (Pavlaković 2009).

Высокая степень инерционности антагонизма исторических нарративов связана с тем, что Дж. Верч характеризует как нарративную привычку, но этим дело, разумеется, не ограничивается. Здесь очень важна готовность к выходу из дилеммы мнемонической безопасности влиятельных мнемонических акторов, а также наличие различных групп (в частности, поколенческих когорт), воспринимающих антагонизм нарративов как естественное и даже безальтернативное состояние. Большое значение имеет и то, произошла ли существенная коррекция нарративного шаблона в условиях дилеммы мнемонической безопасности.

Из сказанного можно сделать вывод, что разработанный Дж. Верчем подход, в центре внимания которого

находится опосредующая функция нарративов в процессах консолидации мнемонических сообществ, будучи сам по себе весьма продуктивным, оставляет простор для дальнейшего развития. Применение данного подхода ни в коем случае не ограничивается большим мнемоническим треугольником, но при анализе мнемонических конфликтов высокой интенсивности, скорее всего, требуется его совершенствование.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Бранденбергер 2009 — *Бранденбергер Д.* Национал-большевизм: Сталинская массовая культура и формирование национального самосознания, 1931–1956. СПб.: Академический проект, ДНК, 2009. 416 с.

Геллнер 2004 — *Геллнер Э.* Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. М.: Московская школа политических исследований, 2004. 224 с.

Гончарова 1991 — *Гончарова С.М.* К вопросу об авторстве Декрета СНК «Социалистическое Отечество в опасности!» (1918) // Вопросы истории КПСС. 1991. №9. С. 99–101.

Малинова 2018 — *Малинова О.Ю.* Политика памяти как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти. Сборник научных трудов под ред. А.И. Миллера и Д.В. Ефременко. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. С. 27–53.

Поправко 2019 — *Поправко Е.А.* Образ России (СССР) в экспозициях китайских музеев // Журнал фронтальных исследований. 2019. Вып. 4 (2). С. 346–362.

Севастьянова, Ефременко 2020 — *Севастьянова Я.В., Ефременко Д.В.* Секьюритизация памяти и дилемма мнемонической безопасности // Политическая наука. 2020. № 2. С. 66–86.

Gill 2011 — *Gill G.* Symbols and Legitimacy in Soviet Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 356 p.

Gill 2013 — *Gill G.* Symbolism and Regime Change in Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 326 p.

Gordon-Reed 2018 — *Gordon-Reed A.* America's Original Sin. Slavery and the Legacy of White Supremacy // Foreign Affairs. 2018. Vol. 97. No. 1. P. 2–7.

Mälksoo 2015 — *Mälksoo M.* “Memory must be defended”: Beyond the Politics of Mnemonical Security // Security Dialogue. 2015. Vol. 46. No. 3. P. 221–237.

Niall Ferguson 2021 — *Niall Ferguson* on Why the End of America's Empire Won't Be Peaceful // The Economist. 21.08.2021. URL: <https://www.economist.com/by-invitation/2021/08/20/niall-ferguson-on-why-the-end-of-americas-empire-wont-be-peaceful> (дата обращения: 20.08.2021).

Pavlaković 2009 — *Pavlaković V.* From Conflict to Commemoration: Serb-Croat Relations and the Anniversaries of Operation Storm // Serbo-Croat Relations: Political Cooperation and National Minorities. Ed. by D. Gavrilović. Sremska Kamenica: CHDR, 2009. P. 73–82.

Wang 2020 — *Wang L.* ‘The Century of Humiliation’ and the Politics of Memory in China // Leviathan. 2020. Vol. 11. No. 1. P. 38–42.

Wertsch 2021 — *Wertsch J.V.* How Nations Remember. A Narrative Approach. New York: Oxford University Press, 2021. 280 p.

REFERENCES

Brandenberger D. *National-bolshevism: Stalinskaya massovaya kultura i formirovanie natsionalnogo samosoznania, 1931–1956.* St. Petersburg: Akademicheskij proekt, DNK, 2009. 416 p.

Gellner E. *Uslovyia svobody. Grazhdanskoe obschestvo I ego istoricheskie soperniki.* Moscow: Moskovskaya shkola politicheskikh issledovanij, 2004. 224 p.

- Gill G. Symbols and Legitimacy in Soviet Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 356 p.
- Gill G. *Symbolism and Regime Change in Russia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 326 p.
- Goncharova S.M. K voprosu ob avtorstve Dekreta SNK "Socialisticheskoe Otechestvo v opasnosti" (1918). *Voprosy istorii KPSS*. No. 9. P. 99–101.
- Gordon-Reed A. America's Original Sin. Slavery and the Legacy of White Supremacy. *Foreign Affairs*. 2018. Vol. 97. No. 1. P. 2–7.
- Malinova O.Yu. *Politika pamyati kak oblast' simvolicheskoy politiki. Metodologicheskie voprosy izucheniya politiki pamyati*. Ed. by Miller A., Efremenko D. Moscow – St. Petersburg: Nestor-Istoria, 2018. P. 27–53.
- Mälksoo M. "Memory must be defended": Beyond the Politics of Mnemonical Security. *Security Dialogue*. 2015. Vol. 46. No. 3. p. 221–237.
- Niall Ferguson on Why the End of America's Empire Won't Be Peaceful. *The Economist*. 21.08.2021. URL: <https://www.economist.com/by-invitation/2021/08/20/niall-ferguson-on-why-the-end-of-americas-empire-wont-be-peaceful> (accessed 20.08.2021).
- Pavlaković V. *From Conflict to Commemoration: Serb-Croat Relations and the Anniversaries of Operation Storm. Serbo-Croat Relations: Political Cooperation and National Minorities*. Ed. by D. Gavrilović. Sremska Kamenica: CHDR, 2009. P. 73–82.
- Popravko E. A. Obraz Rossji (SSSR) v ekspozitsiah kitajskih museev. *Journal of Frontier Studies*. 2019. Vol. 4. No. 2. P. 346–362.
- Sevastyanova Ya. V., Efremenko D.V. Sek'uritizatsia pamyaty i dilemma mnemonicheskoy besopasnosti. *Politicheskaya nauka*. 2020. No. 2. P. 66–86.
- Wang L. 'The Century of Humiliation' and the Politics of Memory in China. *Leviathan*. 2020. Vol. 11. No. 1. P. 38–42.
- Wertsch J.V. *How Nations Remember. A Narrative Approach*. New York: Oxford University Press, 2021. 280 p.

Л. Исурина

«КАК НАЦИИ ПОМНЯТ»: РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ ДЖЕЙМСА ВЕРЧА

В своем докладе я рассуждаю по поводу влияния, которое оказали на меня научные труды Джеймса Верча. Мой собственный опыт исследований коллективной памяти формировался под воздействием его вдохновляющего призыва двигаться вперед, не признавая существующие дисциплинарные рамки, его влиятельного нарративного шаблона «Изгнание иностранного врага», его особого внимания к противостоящим взглядам (counterpoint) в процессе познания национальных памяти, а также присущей ему широты интеллектуального охвата исследовательского поля национальной памяти. Я представила примеры из моих работ, чтобы показать, какие взгляды Верча разделяю и с какими не согласна. Доклад скорее посвящен интеллектуальному влиянию одного ученого на идеи коллег, чем детальному разбору книги «Как нации помнят» (2021).

Ключевые слова: междисциплинарность, коллективная память, память о Второй мировой войне, нарративные шаблоны, противоположная точка зрения, мнемоническое противостояние.

Сведения об авторе: Исурина Людмила, профессор Государственного университета Огайо (США).

Контактная информация: isurin.1@osu.edu.

L. Isurin

“HOW NATIONS REMEMBER”: REFLECTION ON THE INTELLECTUAL POWER OF JAMES WERTSCH'S SCHOLARSHIP

In this paper, I reflect on the impact that James Wertsch's scholarship had on my quest into collective memory. From his inspirational call for ignoring disciplines and forging ahead to his influential narrative templates known as “expulsion of foreign enemies,” from his emphasis on a counterpoint in the exploration

of national memories to his broad intellectual take on the research of collective memory, my own path in the field has been shaped. I have provided specific examples and findings from my research to illustrate the points shared with Wertsch's stance as well as those that challenge it. Rather than focusing on his latest book, *How nations remember* (2021), the paper elucidates the intellectual impact that the scholarship of one academic can have on others.

Key words: interdisciplinarity, collective memory, memory of WWII, Russian collective memory, narrative templates, counterpoint, mnemonic standoff.

About the author: Isurin Ludmila, Professor at the Ohio State University (USA).

Contact information: isurin.1@osu.edu.

Авторизованный перевод с английского С. Е. Эрлиха.

Коллективная память не входила в сферу моих исследовательских интересов ученого, работающего, прежде всего, над психолингвистическими аспектами двуязычия и двуязычной памяти, до тех пор, пока в 2012 г. мне не встретился сборник выдающихся работ под редакцией Паскаля Бойера и Джеймса Верча (*Boyer, Wertsch 2009*). Мне не так часто доводилось читать научную книгу от корки до корки и затем возвращаться к более углубленному чтению ее отдельных частей. Позже я прочла монографию Верча «Голоса коллективного воспоминания» (*Wertsch 2002*). С этих двух книг, которые повлияли на мою академической карьеру в наибольшей степени, началось мое путешествие в мир коллективной памяти. Постепенно родилась идея написать монографию, посвященную как коллективной, так и автобиографической памяти. Хотя у меня большой опыт работы с автобиографической памятью, которая является одной из тем моих семинаров для аспирантов, область коллективной памяти в тот момент оставалась для меня практически неизвестной. В связи с этим мне потребовалось преодолевать многочисленные сомнения в те минуты,

когда я не ощущала достаточной уверенности в своей способности вторгнуться на «чужую» территорию, хотя она была захватывающе интересной и все-таки не полностью чужой. В работе над этим проектом я руководствовалась словами Бойера и Верча, ученых, чьи работы в огромной мере вдохновляли меня в этом странствии: «[Ч]тобы понять эти феномены (коллективную и автобиографическую памяти. — Л.И.), не надо выступать в роли “междисциплинарного специалиста” по приготовлению ведьмовского зелья (concocting a witches' brew) из разрозненных результатов. Скорее надо игнорировать существующие дисциплины и двигаться вперед...» (*Boyer, Wertsch 2009: 1*).

Хотя эмпирическая база моего исследования российской коллективной памяти состояла из представлений россиян и российских иммигрантов в США о различных событиях XX в. (*Isurin 2017*), предложенная Верчем идея нарративного шаблона, проиллюстрированная им на примерах российских нарративов, относящихся к войне (*Wertsch 2002*), присутствовала в моем сознании все время, пока я работала над своей книгой.

Не случайно один из сюжетов моего исследования относится к российской коллективной памяти о Второй мировой войне, или, точнее, о Великой Отечественной войне. Информанты исследования, большинство из которых были отделены от этого события несколькими поколениями, разделяли эмоциональную память о Второй мировой войне, что свидетельствует о чрезвычайном значении памяти о ней для русских как нации. И россияне, и российские иммигранты в США считают Вторую мировую войну самым важным событием, память о котором должна передаваться из поколения в поколение. Эти свидетельства также могут рассматриваться как превосходная иллюстрация того, что Верч именуется схематическим нарративным шаблоном «Изгнание чужеземного врага». Однако именно этот момент вызвал у меня сомнения и тогда, когда я читала «Голоса коллективного воспоминания», и сейчас при чтении недавней книги Верча «Как нации помнят». Я считаю, что надо с осторожностью подходить к ответам на поставленный перед разными нациями общий вопрос «Кто выиграл войну?», который до сих пор вызывает жаркие дебаты в странах, затронутых ею, и приводит к созданию различающихся списков наиболее важных событий Второй мировой войны. Мой анализ как российских, так и американских текстов, относящихся ко Второй мировой войне, показывает, что в советском и постсоветском дискурсах намеренно отсутствует четкое различие терминов Вторая мировая война и Великая Отечественная война. Это заставляет россиян считать, что СССР выиграл войну, независимо от того, каким из двух названных термином она обо-

значается. Случайно (а может, и нет) американские СМИ склонны к тому, чтобы рассматривать не 2 сентября, когда капитулировала Япония, а российский День победы 9 мая как дату празднования годовщины победы во Второй мировой войне. На основе эмпирических находок моего исследования я считаю, «что вечный вопрос *кто выиграл войну*, похоже, глубоко укоренен в существующем недопонимании того, *что* россияне понимают под войной, в которой они объявляют себя единственными победителями. Результаты внутригруппового анализа для обеих групп показали, что те, кто приписывает победу исключительно СССР, на самом деле имеют в виду Великую Отечественную войну, которая без сомнений была выиграна советскими вооруженными силами ценой более 20 миллионов жизней» (Isurin 2017: 202). Другими словами, прилагая понимание россиян, какую именно войну они выиграла (т.е. Великую Отечественную войну), к предложенному Верчем схематическому шаблону «Изгнание чужеземного врага», мы на самом деле можем сказать, что «благодаря героизму и своим исключительным качествам и всем шансам вопреки Россия, *действуя в одиночку* [курсив добавлен] с триумфом сумела изгнать иностранного врага» (Wertsch 2002: 131), и таким образом даже можно закрыть горячий вопрос *кто выиграл войну*.

Концепция нарративных шаблонов Верча как фундамента, на котором строится национальная память, привела к революции в исследованиях коллективной памяти. С этой точки зрения его новая книга «Как нации помнят» не только развивает

положения «Голосов коллективной памяти», она обогащает их привнесением психологической, философской, исторической и лингвистической перспектив. Более того, эта книга предоставляет новые инструменты для анализа нарративов, относящихся к национальному прошлому, что демонстрирует как глубокое понимание Верчем данных нарративов, так и его способность предлагать аналитические инструменты, которые несомненно востребуются в будущих исследованиях. Признавая сложность понятия коллективная память и отмечая существование различных подходов к ее изучению, что в итоге может приводить к различиям при восприятии и определении этого понятия, Верч приходит к выводу, что «различные методы изучения национальной памяти порождают различное видение природы национальной памяти. В отличие от заявления о потребности в единственном правильном (orthodox) методе, в данном случае предполагается, что разнообразие подходов допускается в зависимости от того, что именно требуется объяснить. Но это ставит нас перед проблемой, каким образом результаты различных подходов могут дополнять друг друга в широком смысле. В идеале это могло бы осуществиться в форме единицы анализа, которая позволяла бы нам действовать на перекрестке, где методы и утверждения различных дисциплин могли бы согласовываться» (Wertsch 2021: 2). Такой призыв к междисциплинарности в обращении с предметом коллективной памяти разделяется и другими исследователями. Сходной позиции придерживаются когнитивные психологи Уильям Хирст (William Hirst)

и Дэвид Мэньер (David Manier), считающие, что «...полное понимание коллективной памяти не может быть достигнуто без исследования “проблемы восприятия”. То есть необходимо серьезно рассматривать индивидуальность глубоко укоренена в социальном мире. Чтобы сформировать коллективную память, общество должно конструировать, поддерживать и со временем преобразовывать практики и ресурсы памяти, чтобы эффективно изменять память членов сообщества. Две эти крайности в наборе подходов к коллективной памяти нельзя в конечном счете считать несовместимыми. В действительности они дополняют друг друга» (Hirst, Manier 2008: 192). В моих скромных попытках искать ответы на перекрестках дисциплин и методов я руководствовалась вдохновляющими словами Верча и других исследователей. Рассматривая совместно *производителей* и *потребителей* коллективной памяти посредством текстологического анализа и эмпирических данных и вглядываясь в индивидуальную память, мы часто можем прояснить и заполнить пробелы (gaps) коллективной памяти. Придерживаясь этих принципов, я предприняла исследование российской коллективной памяти, в которой обнаружила интерфейс между миром и сознанием, что представляет наибольший интерес в исследовании коллективной памяти (Isurin 2017). Такое междисциплинарное погружение в нечто столь сложное, как коллективная память, в моем случае было бы невозможным, если бы я не руководствовалась работами Верча. Так совпало, что, когда он заканчивал «Как нации помнят»,

я была полностью вовлечена в другой мой проект по коллективной памяти, который продолжает мое междисциплинарное исследование этого сложного предмета. На этот раз я заинтересовалась, каким образом в эпоху недоверия к СМИ, идеологической предвзятости и схематических шаблонов, присущих российским и американским СМИ, они работают над воссозданием и расширением нарративов, присущих эпохе холодной войны, и тем самым разжигают вражду как в индивидуальных сознаниях, так и в коллективной памяти обеих наций (*Isurin forthcoming*). Роль схематических шаблонов в конструировании национальных нарративов, посвященных как прошлому, так и недавним событиям, как в очередной раз подчеркивает Верч (*Wertsch 2021: 2*), действительно чрезвычайно важна, что подтвердилось и в моем исследовании.

Междисциплинарному исследователю не просто выбрать путь. Что более всего поразило меня в «Как нации помнят», это способность Верча мастерски пересекать границы дисциплин, не теряя при этом фокус своего доказательства и не придавая приоритетного значения ни одному из дисциплинарных подходов. Он смотрит на национальные памяти и на то, как они должны исследоваться, используя комбинацию нескольких подходов, что позволяет делать замечательные находки, основанные на достижениях психологии, философии, антропологии, истории, политических наук, исследованиях коммуникации и литературных исследованиях. Мы редко встречаем среди ученых тех, кто не только обладает огромными знаниями во многих

областях, но и способен представить свои выводы в доступной форме, используя, в частности, любопытные и полные юмора примеры из собственной жизни. Это труд истинного ИНТЕЛЛЕКТУАЛА!

Начав книгу главными для него иллюстрациями из российской и китайской национальных памяти, Верч впоследствии добавляет захватывающие примеры Сербии, Эстонии, Азербайджана, Израиля и Палестины. По его словам, «включение противоположных точек зрения показывает, что национальная память часто раскрывается в полную силу (*flushed out into the open*) только при конфронтации с альтернативной точкой зрения. <...> Использование противостоящих мнений приводит к тому, что нарративные инструменты часто воздействуют через отражения в «радаре» сознания, создавая впечатление, что перед нами прямая, неопосредованная картина реальности» (*Wertsch 2021: 1*). Рассматривая противоположные точки зрения, подобные российской и американской памяти о Второй мировой войне, или китайской и американской памяти о бомбежке китайского посольства в Белграде, или израильскому и палестинскому восприятию одних и тех же событий в качестве «нарративного диалога», когда два нарратива сталкиваются в открытом разговоре (*Ibid.: 5*), мы создаем чрезвычайно благоприятный вызов для нашего понимания событий, исходя одновременно из перспективы двух стран, оказавшихся в мнемоническом противостоянии. Кроме того, те же самые примеры, которые служат настоящей сутью, питающей теоретические/интеллектуальные

аргументы, повторяются в разных главах. При этом они получают новые «трактовки» в зависимости от угла зрения, избранного автором для их рассмотрения в той или иной главе. Я положительно оцениваю этот подход: глубокое рассмотрение нескольких случаев с разных точек зрения предпочтительнее приведения многочисленных примеров. В этом контексте я не считаю, что книга Верча посвящена российской или еще какой-нибудь другой национальной памяти. Фокусируясь на нескольких примерах, автор поднимается над их спецификой, выявляя общие свойства коллективной памяти, что придает чтению книги захватывающий характер.

Продвигаемая Верчем идея учета противоположных точек зрения при изучении национальных памятей оказала большое влияние на мои исследования российских коллективных памятей. Если в первом своем масштабном проекте (*Isurin 2017*) я рассматривала, как события российского прошлого отражаются в России и в США и как они, соответственно, вспоминаются россиянами, проживающими в России, и российскими иммигрантами в США, то мой второй проект сосредоточен на недавних политических событиях (2014–2018), в которые была вовлечена Россия, и на том, как они отражались в российских и американских цифровых СМИ и потом вспоминались жителями двух стран. Я считаю, что без учета противоположностей в исследовании национальных памятей, не важно, относятся ли они к далекому прошлому или к недавним событиям, мы можем упустить из виду, *почему* некоторые

элементы этих памятей становятся ключевыми в нашем понимании мнемонических споров между двумя рассматриваемыми странами. Мнемоническое противостояние, в том виде в каком оно понимается в работах Верча, включая обсуждаемую книгу, действительно является важным понятием, на которое часто опираются исследования памяти.

«Как нации помнят» вносит огромный вклад в аккумуляцию знания о коллективных памятях и вдохновляет исследователей пересекать дисциплинарные границы в поисках сложного и одновременно завораживающего понятия общих (*shared*) памятей. Эта книга вышла весьма своевременно. Я надеюсь, что если не политики, то по крайней мере эксперты, вовлеченные в политические дебаты и в процессы принятия решений, могут углубить свои знания посредством этого научного труда. Недостаток понимания того, как и почему нации по-разному конструируют коллективные памяти, ведет к близоруким политическим решениям и к неудачам во внешней политике. Как я пишу в моей недавней работе, «академическое сообщество не способно разрешать политические кризисы и конфликты или привести больше понимания и широты взглядов в сознание политиков и других людей, принимающих решения. Мы не должны становиться рупорами и оракулами изменчивых идеологий тех, кто стоит у власти, не важно, где мы живем и как сильно желаем быть услышанными» (*Isurin forthcoming*). В этом отношении могучий голос и научное новаторство Верча не только вносят значительный вклад в растущую область коллективной памя-

ти, они также показывают, как интел- лектуал, независимо от того, в какой стране он живет, может преодолевать национальные границы, что соб- ственно доказывается настоящей дискуссией по поводу «Как нации помнят» на страницах российского академического журнала.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Boyer, Wertsch 2009 — Boyer P., Wertsch J. (eds.). *Memory in mind and culture*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009.

Hirst, Manier 2008 — Hirst W., Manier D. Towards a psychology of collective memo- ry // *Memory*, 2008. 16(3). P. 183–200.

Isurin 2017 — Isurin L. *Collective remem- bering: Memory in the world and in the mind*. Cambridge, UK: Cambridge Univer- sity Press, 2017.

Isurin forthcoming — Isurin L. (forthcom- ing). *Reenacting the enemy: Collective memory construction in Russian and U.S. media*. New York; Oxford: Oxford Univer- sity Press.

Wertsch 2002 — Wertsch J. *Voices of collec- tive remembering*. Cambridge, UK: Cam- bridge University Press, 2002.

Wertsch 2021 — Wertsch J. *How nations re- member*. New York / Oxford: Oxford Uni- versity Press, 2021.

REFERENCES

Boyer P., Wertsch J. (eds.). *Memory in mind and culture*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009.

Hirst W., Manier D. Towards a psychology of collective memory. *Memory*, 2008. 16(3). P. 183–200.

Isurin L. *Collective remembering: Memory in the world and in the mind*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2017.

Isurin L. (forthcoming). *Reenacting the en- emy: Collective memory construction in Rus- sian and U.S. media*. New York; Oxford: Ox- ford University Press.

Wertsch J. *How nations remember*. New York / Oxford: Oxford University Press, 2021.

Wertsch J. *Voices of collective remember- ing*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002.

М. В. Кирчанов

КОГДА НАЦИИ ВСПОМИНАЮТ: ЧТО, ГДЕ И КАК. ЗАМЕТКИ КУЛЬТУРНОГО АНТРОПОЛОГА НА ПОЛЯХ КНИГИ ДЖЕЙМСА ВЕРЧА «HOW NATIONS REMEMBER: A NARRATIVE APPROACH»

Современные общества и нации являются акторами памяти, формируя коллективные представления о прошлом и предлагая его различные интерпретации, которые формируют идентичность наций как воображаемых сообществ. В XXI в. академическая историография постепенно утрачивает монополию формировать историческую память наций и социальных классов. Автор полагает, что массовая культура стала ее основным конкурентом, потому что формирует свои версии исторической памяти, ассимилируя достижения профессиональной историографии. Статья представляет собой комментарий к 23-му эпизоду 4-го сезона американского сериала «Звездный путь: Вояджер» в форме заметок на полях новой книги американского психолога Джеймса Верча «How Nations Remember: A Narrative Approach». **Ключевые слова:** историческая память, массовая культура, академическая историографии, локализация исторической памяти.

Сведения об авторе: Кирчанов Максим Валерьевич, доктор исторических наук, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран Факультета международных отношений Воронежского государственного университета (Воронеж).

Контактная информация: maksymkyrchanoff@gmail.com.

M. V. Kyrchanoff

WHEN NATIONS REMEMBER: WHAT, WHERE AND HOW. CULTURAL ANTHROPOLOGIST'S NOTES IN THE MARGINS OF JAMES WERTSCH'S BOOK "HOW NATIONS REMEMBER: A NARRATIVE APPROACH"

Modern societies and nations are actors of memory, forming collective perceptions of the past and offering its various interpretations that shape the identity

© М. В. Кирчанов, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-50-63

of nations as imagined communities. In the 21st century, academic historiography is losing gradually its monopoly to form the historical memory of nations and social classes. The author believes that mass culture became its main competitor because it forms its own versions of historical memory, assimilating the achievements of professional historiography. The article is a commentary to the 23rd episode of the 4th season of the American TV series "Star Trek: Voyager" in the form of notes in the margins of the new book "How Nations Remember: A Narrative Approach" by American psychologist James Wertsch.

Key words: historical memory, mass culture, academic historiography, localization of historical memory.

About the author: Кырчанов Максим В., доктор исторических наук, доцент, профессор, кафедра региональных исследований и экономики зарубежных стран, факультет международных отношений, Воронежский государственный университет (Воронеж).

Contact information: maksymkyrchanoff@gmail.com.

Историческая память в большинстве обществ подвержена манипуляциям со стороны как представителей правящих политических элит, так и интеллектуальных сообществ, которые непосредственно ответственны за формирование компромиссного комплекса нарративов, формирующих представления о прошлом, признаваемые в качестве канонических. Именно поэтому таким версиям истории приписываются характеристики исключительной верности и правильности, хотя в ряде случаев представления современных историков о тех или иных событиях прошлого, которые предыдущими поколениями интеллектуалов локализованы в исторической памяти и институционализированы в ней в качестве мифов, могут быть фрагментированными и поэтому не только неполными, но и неправильными.

На современном этапе пространство, в котором формируются социальные представления о прошлом, не монополизировано профессиональными историками, хотя конкуренты у них были и ранее. По мнению ряда авто-

ров, «интерпретационный поворот дает возможность исследователям не ограничивать себя ложной альтернативой между ориентированной на монокаузальную схему научностью и эстетизирующими отклонениями от нее» (Досс 2013: 27). Вероятно, к числу последних могут быть отнесены и штудии, сфокусированные на роли неакадемических акторов в развитии исторической памяти.

Среди подобных акторов ведущую роль начинает играть массовая культура. Сериалы, исторические, фантастические, детективные, в различной степени обращаются к проблемам идентичности, периодически актуализируя проблемы исторической и культурной памяти. Классикой современной массовой культуры считается американская франшиза «Звездный путь», а в центре авторского внимания в этом обзоре будут проблемы восприятия обществом потребления памяти (на примере 23-го эпизода «Живой свидетель» 4-го сезона сериала «Звездный путь: Вояджер») как мобилизационного ресурса и основы формирования идентичности,

что представляется в достаточной степени актуальным, т.к. и создатели масскульта, и современные западные интеллектуалы в ряде случаев используют схожие тактики и стратегии, основанные на политически и идеологически мотивированном понимании прошлого, что неизбежно отражается и на формах изучения памяти, которая и формирует коллективные представления того или иного сообщества о прошлом.

КЭТРИН ДЖЕЙНВЭЙ: Лучший способ свергнуть правителя — заставить его людей страдать.

ПОСОЛ: Капитан!

КЭТРИН ДЖЕЙНВЭЙ: У нас нет времени на половинные решения. Вы хотели победу? — Скоро вы ее получите. Мостик медотсеку. Статус?

ТУВОК: Фазеры готовы.

КЭТРИН ДЖЕЙНВЭЙ: Нацельтесь на первый город и стреляйте.

ЭКСКУРСОВОД: Военный корабль «Вояджер» — одно из самых мощных судов того времени, оборудованный фотонными торпедами и лучевым оружием. Этот корабль разрушения мог стереть целую цивилизацию в считанные часы. Но именно в этот исторический день нам повезло, потери людей могли быть намного больше. Когда «Вояджер» нацелился на наши города, Тэддер уже начал эвакуацию, были спасены тысячи жизней. К сожалению, это было только началом резни, устроенной капитаном Джейнвэй. Как видите, ее действия произвели длительный эффект на наш мир. Даже сейчас, спустя 700 лет, мы все

еще встречаем последствия столкновения с «Вояджером».

Если еще два десятилетия назад утверждение о том, что «история является представлением о прошлом, тесно связанным с выработкой идентичности в настоящий момент» (Friedman 1992: 195), было вполне рациональным, то к 2020-м гг. массовая культура в определенной степени потеснила историю в этом направлении, взяв на себя часть ее социальных функций. На современном этапе память, национальная и историческая, меняет традиционные аналоговые или «ламповые» пространства своей локализации, постепенно становясь компонентом современной массовой культуры. Точнее, массовая культура стала влиятельна в такой степени, что начинает интерпретировать прошлое, конкурируя в этом сомнительном занятии с профессиональными историками.

Комментируя метаморфозы памяти в современном мире, американский исследователь Джеймс Верч указывает на то, что его «особенно волнует, как внутренняя структура и логика нарративов формирует дискурс и психическую жизнь. Кроме того, мой анализ сосредоточен на нарративах как культурных инструментах, предоставленных культурными, историческими и институциональными контекстами. Также большая часть того, что я исследую, затрагивает схематичные основные коды нарративов и привычки, которые они порождают» (Wertsch 2021: 9), а на современном этапе в индустрии подобного «порождения» одну из ведущих ролей начинает играть массовая культура.

В этом контексте тактики и стратегии интерпретации и реинтерпретации текстов источников, их канонизации или ревизии самым существенным образом влияют на функционирование исторической памяти, а «национальная память отличается от других форм коллективной памяти тем, что она поддерживается современным государством» (Ibid.: X). Поэтому, при непосредственном участии государства или в условиях не столь явной государственной поддержки, одни события могут на современном этапе восприниматься чрезвычайно категорично, т.к. ранее они стали объектами мифологизации, а предшествующие поколения историков могли быть политически и идеологически ангажированными и зависимыми интерпретаторами.

Кроме этого, в такой ситуации историческое воображение неизбежно развивается как дихотомия, основанная на одновременной актуализации образов Самости и Другости, и если первые могут позитивно идеализироваться, особенно в тех случаях, когда речь идет о жертвах и потерях, то на вторых будут проецироваться исключительно негативные и отрицательные характеристики.

В этой ситуации не должно вызывать удивления, почему история, точнее — различные, диаметрально противоположные и противоречащие интерпретации прошлого важны на современном этапе для практикующих политиков как символический ресурс, одинаково успешно используемый как для политических мобилизаций, так и для легитимации сложившихся политических отношений и институтов, основанных в том

числе и на доминировании одних сообществ над другими, что неизбежно актуализирует и фактически легитимирует дискриминационные практики, в том числе — и в сфере исторического воображения, превращая историков в вынужденных или добровольных участников «боев за историю», что, впрочем, редуцирует и саму историю до одного из символических пространств, где нации как воображаемые сообщества воспринимают прошлое как изобретенную традицию, но не очень оригинальную, вынужденно сосуществующую с другими, уже воображенными или еще воображаемыми историями, представленными набором компромиссных нарративов, возведенных в статус канона национальной памяти, интерпретационные отступления от которого признаются нежелательными или вообще воспринимаются как невозможные.

КЭТРИН ДЖЕЙНВЭЙ: Вы говорите как мученик. Очень предусмотрительно. Но вы так горды, что скорее дадите своим людям умереть, чем унижитесь сами? Прикажете им сдаться.

ТЭДРЕН: Вы осрамили нас. Мы могли закончить это сами, мирно, без нее.

КЭТРИН ДЖЕЙНВЭЙ: Сдавайтесь. (Берет бластер и стреляет в спину женщине.)

ТЭДРЕН: Нет. Мы победим. (Джейнвэй берет бластер и стреляет в спину Тэдрена.)

КЭТРИН ДЖЕЙНВЭЙ: Что вас так шокировало, посол? Это — то, чего вы хотели, разве нет?

Американский исследователь Дж. Верч в 2021 г. сформулировал три вопроса, которые давно пребывают в центре исследований исторической памяти: «Что способствует тому, что члены одного национального сообщества так безоговорочно согласны между собой и так резко отличны во мнениях с другими о событиях прошлого? Почему сообщества так убеждены в правдивости своих сведений о прошлом? И как культурным и психическим процессам, порождающим эти закономерности, удастся действовать таким образом, чтобы скрывать свое влияние, затрудняя для нас их обнаружение и управление ими?» (*Wertsch* 2021: 31).

Академическая историография не очень преуспела в ответе на эти вопросы, в то время как массовая культура, активно ассимилируя ее достижения, фактически визуализирует противоречия исторической политики и националистические манипуляции с прошлым, предлагая, правда, свои, совсем неакадемические ответы, сформулированные в соответствии с канонами жанра.

В этой ситуации некоторые визуальные формы масскульта вполне могут «обыгрывать» проблемы, знакомые и академическим историкам под названиями исторической политики, политики прошлого, политики идентичности, политики памяти, культуры памяти, культуры истории и исторического сознания (*Шерпер* 2009), правда, делая это несколько упрощенно и ассимилируя эти концепты в канон массовой культуры. Историческая память о любых событиях прошлого, особенно о тех, кото-

рые в рамках гетерогенных и много-составных обществ содействуют их фрагментации и отделению одного сообщества от другого, всегда подвержена политизации.

Одной из универсальных практик и стратегий такой политизации является виктимизация как целых сообществ, так и их отдельных представителей, которым в зависимости от политической ситуации может приписываться статус жертв и мучеников или отцов-основателей нации. В ряде случаев роль жертвы и отца-основателя нации может совпадать, что стимулирует еще большую мифологизацию как исторической фигуры, так и ее политического наследия. Поэтому история националистического воображения знает не только много примеров того, как политики прошлого усилиями нескольких поколений книжников, писателей, а затем и интеллектуалов и даже профессиональных историков канонизировались и мифологизировались. Националисты в этом отношении в полной степени использовали художественный, мобилизационный и символистический потенциал, унаследованный ими от жанра средневекового мученичества или жития.

В этом контексте националистическая агиография эры романтизма, или национализма, вскормленного стандартизированной системой образования и поддержанная печатным станком капиталистической эпохи, или позднейшего национализма, вдохновленного визуальной культурой общества потребления и массовой культуры, — все в одинаковой степени склонны воспроизводить компромиссный канон

национальной памяти, основанный на проекции современных политических идей (от коммунизма до либерализма, от национализма до религиозного фундаментализма) в спектр возможных интерпретаций тех исторических деятелей, чье пребывание в национальном пантеоне отцов-основателей нации и ее мучеников признано обязательным.

ЭКСКУРСОВОД: Продолжение было кратким и жестоким, 2 миллиона кирианцев были уничтожены за пару дней. Военный корабль «Вояджер» продолжил свой путь, оставив нацию кирианцев в руинах. Восканские лидеры продолжили оккупации наших земель, превращая людей в рабов. Потребовались века, чтобы исправить урон, нанесенный капитаном Джейнвэй. И кирианская борьба за равенство давно закончилась. Эта симуляция и этот музей являются духовным памятником этой борьбы. Надеюсь, пребывание здесь пошло вам на пользу. Если хотите узнать больше о «Вояджере» и о его роли в истории планеты, предлагаю изучить остальную экспозицию. Спасибо за внимание.

Интерпретации истории в большинстве современных обществ — это почти всегда политически и идеологически мотивированные нарративы. В этом контексте историческое воображение актуализирует свою зависимость от политического воображения того или иного сообщества, историю которого оно воображает, изобретает и конструирует. Поэтому в ситуации институционализированной зависимости истории от политики первая может быть в большей или меньшей степени описана

и сконструирована в категориях национальной истории, но она всегда будет наполнена разного рода нарративными конструкциями.

По мнению Дж. Верча, «сказать, что национальная память выстроена вокруг нарративов, едва ли будет оригинальным, однако сосредоточение внимания на том, как нарративы служат инструментами, может стать важным» (Wertsch 2021: 31). Перечень этих нарративов разнообразен, но по мере превращения национализма в универсальное политическое явление такие нарративы постепенно утрачивают свою оригинальность, редуцируясь до относительно легко трансплантируемых в различные национальные контексты нарративов нации, класса, угнетения, освободительной борьбы, дискриминации, равноправия и оккупации.

До недавнего времени эти нарративы были уделом ограниченных интеллектуальных сообществ, но прогресс масскульта и его трансформация в мейнстрим привели к визуализации этих нарративов, превратив саму массовую культуру в участника политики памяти. Поэтому историческая память в этой ситуации становится категорией почти лингвистической, т.к. именно прошлое, институционализированное в форме написанных историй, будь то истории наций, классов, революций или политических идеологий (от национализма до коммунизма или либерализма), играет важную роль в формировании политического языка современных обществ, когда его интеллектуалы предлагают своим согражданам политические идентичности, основанные в том числе

на интерпретации и ревизии как прошлого, так и современности.

ПОСЕТИТЕЛЬ: У меня вопрос об этой истории.

ЭКСКУРСОВОД: Пожалуйста.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Как вы можете доказать, что это правда?

ЭКСКУРСОВОД: Присмотритесь, доказательства вокруг вас.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Заплесневелые окаменелости? Это ничего не доказывает.

ЭКСКУРСОВОД: Я не согласен.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Вы пытаетесь обвинить васканцев во всех неприятностях. У меня нет проблем с вашим видом, у меня много друзей кирианцев, но мне не нравится видеть моих людей, изображенных злодеями в вашей симуляции. И уж точно не хочу, чтобы вашей истории учили моих детей.

Память и история взаимосвязаны, но они предлагают чрезвычайно различные интерпретации прошлого, которые могут быть основаны на восприятии истории как научной дисциплины и как части собственной памяти. Ситуация осложняется в многосоставных обществах, особенно в тех случаях, если память отягощена травматическим опытом оккупации и угнетения одного сообщества представителями другого. В этом случае возможно одновременное и параллельное развитие и сосуществование различных версий исторических памятей, которые стимулируют развитие разных модусов написания истории и конструирования прошлого,

изобретаемого в категориях доминирующей или угнетенной нации, социального правящего или дискриминируемого класса.

В многосоставных обществах памяти различные сообщества могут быть не только взаимоинклюзивны, но чаще они основаны на отрицании и последовательном неприятии и исключении альтернативных интерпретаций одних и тех же событий, что существенно усложняет ситуацию в современном обществе, где история в большей или меньшей степени интегрирована в индустрию культуры, хотя последняя пытается внести свой вклад в преодоление ситуации, описанной Дж. Верчем в категориях оторванности (Wertsch 2021: 18) памяти одной группы от памяти другой — даже в тех случаях, когда память интерпретирует одни и те же события.

Подобно тому как «представители разных национальных групп могут иметь абсолютно разные взгляды на прошлое, из-за чего кажется, что они из разных миров» (Ibid.: 25), различные исторические памяти в гетерогенных обществах функционируют в параллельных каналах памяти, представленных, например, различными историческими музеями, призванными визуализировать героические мифы и актуализировать культурные и политические травмы утраты государственности, потери независимости, этнической и лингвистической дискриминации одной группы, в то время как представители другой, обладая аналогичными институтами (например, музеями), будут продвигать альтернативные версии исторической памяти.

ЭККУРСОВОД: Есть другие вопросы, которые надо решить.

ДОКТОР: Какие вопросы?

ЭККУРСОВОД: Вы — доктор с «Вояджера». У многих возникнут вопросы. В нашем мире искусственные формы жизни считаются разумными и ответственными за свои действия. Вам будет выдвинуто обвинение.

ДОКТОР: Обвинение?

ЭККУРСОВОД: За ваши преступления. Вы разработали биооружие, убившее 8 миллионов кирианцев.

ДОКТОР: Я ничего такого не делал!

ЭККУРСОВОД: Все доказательства указывают, что вы — военный преступник.

ДОКТОР: Какие доказательства? Вот это что ли? Корпус с тройной броней, 30 торпедных установок, 25 фазерных батарей?

ЭККУРСОВОД: Мы реконструировали его из найденных остатков, которые были сильно повреждены коррозией, наверное, мы изобразили несколько деталей неверно.

ДОКТОР: «Вояджер» не был военным кораблем! Мы были исследователями!

ЭККУРСОВОД: Да, я знаю, пытались попасть домой, на Марс.

ДОКТОР: На Землю! Видите, даже это неверно! Кошмар какой-то! [...] В этой комнате была встреча, но разговор был не о боевой тактике. Говорили о дилемме с которой мы

столкнулись. Мы заключили торговое соглашение с васканцами, мы имели дело с их представителем, послом...

ЭККУРСОВОД: Послом Далетом.

ДОКТОР: Далет, точно! Все шло по плану... до тех пор, пока нас не атаковали ваши люди, кирианцы. Они выбрали этот момент для начала войны, а мы оказались в середине.

ЭККУРСОВОД: Кирианцы были агрессорами? Нет, это не может быть правдой.

Память об исторических событиях, хронологически удаленных от современности, может быть ложной и неверной, и подобная ошибочность исторической памяти, точнее — предлагаемых в ее рамках интерпретаций, может, с одной стороны, возникать как результат объективной нехватки археологических или письменных источников. С другой стороны, подобные версии памяти генерируются вследствие политически и идеологически мотивированных интерпретаций. По мнению Дж. Верча, «одним из отличительных признаков национальной памяти является избирательность. Память включает в себя определенные события и акторов, систематически игнорируя при этом другие события и других акторов» (Wertsch 2021: 115), а политическое послание некоторых памятников американского масскульта середины 1990-х гг., вероятно, свидетельствует о том, что их создатели как минимум с подобными идеями были знакомы.

Поэтому ложные и ошибочные идентификации социального, культурного и любого другого статуса, неверные

локализации не так страшны и опасны в силу того, что они устранимы в случае расширения источникового корпуса или ревизии сложившихся представлений путем реинтерпретации. Ситуация может стать критической с политической точки зрения, если принимаемые обществом версии исторической памяти содержат в себе не фактические ошибки (именно подобными ошибками и неточностями такие версии исторической памяти и интересны как явление социального, культурного и исторического воображения), но интегрированы в структуру политических мифов и идеологем, призванных обслуживать интересы политического класса или зависимых от него интеллектуальных элит, включая профессиональных историков, которые профессионально конструируют прошлое, и чем выше уровень их профессионализма, тем естественнее молчаливое большинство потребителей истории воспринимает ее как данность, как нечто правильное и не подлежащее сомнению.

Историческая память в таких политических ситуациях практически всегда актуализирует такое свое измерение как мифичность: если одно общество усилиями нескольких поколений историков сформировало свой образ как образ жертвы, приписывая конкурирующей группе характеристики и качества агрессора и врага, т. е. универсального и неизбежного Другого, такие мифологизированные исторические нарративы будет крайне сложно пересмотреть и деконструировать или даже просто подвергнуть ревизии.

ЭКСКУРСОВОД: Расскажите вашу версию событий.

ДОКТОР: Я помню этого человека.

ЭКСКУРСОВОД: Тэдрен? Он был мучеником.

ДОКТОР: Да уж, мучеником. Он возглавлял кирианскую атаку против «Вояджера».

ЭКСКУРСОВОД: Вы лжете!

ДОКТОР: Я был здесь!

ЭКСКУРСОВОД: Вы пытаетесь защитить себя!

ДОКТОР: Так же как и вы себя, от правды. Разве не совпадение, что кирианцы изображены в лучшем возможном свете? Мученики, герои, спасители... Очевидно, события были реинтерпретированы, чтобы вы думали о себе лучше. Ревизия истории, как удобно!

ЭКСКУРСОВОД: Мы не были агрессорами в Великой Войне. Мы были жертвами! Доказательства повсюду. Кирианцы угнетаются по сей день.

ДОКТОР: Проблемы вашего общества — не мое дело. Я просто рассказываю, что я видел 700 лет назад.

ЭКСКУРСОВОД: Я вам не верю. И никто не поверит!

ДОКТОР: Что вы делаете?

ЭКСКУРСОВОД: Выключаю вашу программу.

В ситуации существования много-составного общества формирующие его группы и сообщества, социальные и этнические, будут неизбежно

иметь различные памяти о формально общем (не исключено, что вынужденно или даже принудительно общем) прошлом. Кроме этого, нельзя исключать, что в таких версиях исторической памяти социальные и национальные границы могут оказаться взаимозависимыми категориями.

Вероятно, некоторые сообщества в таких ситуациях могут оказаться заложниками собственной или чужой исторической памяти, хотя Теодор Адорно полагал, что «от прошлого хотят избавиться: это справедливо, потому что в его тени жить невозможно» (Адорно 2005: 64). Правда, опыт некоторых обществ Восточной Европы в большей степени свидетельствует об обратном. Поэтому одни группы будут формировать и продвигать такие версии прошлого, где они будут позиционироваться в качестве жертв и угнетенных, хотя и их политические оппоненты вряд ли будут своим согражданам по политической и этнической нации предлагать такие версии памяти, где они будут вообразены как источник социального неравенства или языковой и этнической дискриминации.

Если группа-жертва, нация меньшинства будет эксплуатировать потенциал виктимизации памяти, то и большинство может в своей политике проработки прошлого и откровенно конструктивистских манипуляциях с ним сделать ставку на формирование своего позитивного образа, основанного на приписывании себе особой культурной и политической миссии в деле приобщения нации меньшинства или просто другой группы (вне зависимости

от формальных демографических показателей или характеристик) к своей идентичности, воспринимаемой в качестве исключительно верной и единственно правильной.

КИРИАНКА: Я не вижу, что это докажет. Тэдрен умер на «Вояджер» жертвой заговора по покорению моих людей. Какое оружие? Кто стрелял? Это все неважно.

АРБИТР: А был ли заговор? Действительно ли «Вояджер» помог моим предкам начать Великую Войну? Или, как всегда верили мои люди, агрессорами были кирианцы? Это изменит все.

КИРИАНКА: Но это не изменит то, что мои дети не могут учиться в тех же академиях, что и ваши, или то, что мы должны жить вне центра города.

АРБИТР: Сегодняшние проблемы не имеют к этому отношения. Это — история.

ДОКТОР: Слушайте, я не знаю, кто начал вашу войну, все, что я говорю — «Вояджер» был ни при чем.

КИРИАНКА: Я не могу поверить, что вы станете сотрудничать с этим убийцей. Ведь именно вы построили этот музей.

ЭКСКУРСОВОД: Факты оказались более сложными, чем я ожидал.

КИРИАНКА: Мы не должны слушать эту голограмму. Я хочу, чтобы его арестовали и судили за преступление, которое, как мы знали, он совершил.

АРБИТР: Не вам принимать это решение.

КИРИАНКА: Ну конечно, нет, так ведь? Я в этой комиссии только потому, что вам нужно было взять кирианца.

ЭКСКУРСОВОД: Пожалуйста, дело совсем не в расе.

КИРИАНКА: Дело всегда в расе. Вы пользовались любой возможностью, чтобы оставить себя у власти.

АРБИТР: Мне жаль, что вы так думаете. Думаю, мы должны выслушать доктора. Продолжайте ваши изыскания.

ЭКСКУРСОВОД: Да, арбитр.

КИРИАНКА: Вы заплатите за ваше преступление [...]

ДОКТОР: К черту факты. Имена, даты, места, все открыто для интерпретаций. Кто скажет, что действительно случилось? В конце концов, какая разница? Имеет значение только сегодня и завтра вашего народа.

ЭКСКУРСОВОД: Доктор, вы были там. Вы не можете отрицать того, что случилось.

ДОКТОР: Могу и буду. Тэдрен был мучеником для ваших людей, героем, символом вашего стремления к свободе. Кто я такой, чтобы прийти через 700 лет и забрать это у вас?

ЭКСКУРСОВОД: История оскорблена! Мы осуждаем друг друга за то, что случилось в прошлом. Если вы

не поможете нам сейчас, это может занять следующие 700 лет.

В первой половине 1990-х гг. австрийский славист Р. Линднер полагал, что «великие времена историографии наступают во время распада империй» (Линднер 1996: 22). Не менее важным трансформациям историография подвергается и в те исторические моменты, когда имеет место смена культурных парадигм, в частности — переход к массовой культуре общества потребления, с которой академическая историография, вероятно, не планировала конкурировать, но фактически она вынуждена это делать. Реинтерпретация прошлого и ревизия истории — это не столько академическая, сколько политическая проблема, т.к. попытка предложить новые, пусть формально научные и академические объяснения прошлого практически всегда стимулирует политические изменения на уровне иерархических статусов, в особенности — если общество, в котором такие процессы происходят, является многосоставным.

В такой ситуации попытки новых интерпретаций прошлого могут стать стимулами для войн памяти, результаты которых могут быть непредсказуемыми. С одной стороны, мы не можем исключать возможность и вероятность диалога между носителями различных исторических памяти. С другой — не менее вероятно и радикализация исторических дискуссий, их большая политизация, смена странственной и социальной локализации в обществе в направлении превращения в часть политических дебатов и борьбы различных идеологий. Американский масскульт середины

1990-х гг. уловил эту траекторию постепенной политизации академической истории и смог доступными ему визуальными методами показать и доказать, почему «возможны сильные разногласия по поводу прошлого между национальными сообществами» (Wertsch 2021: 3).

Поэтому исторические памяти в таких ситуациях являются крайне релятивистскими категориями, т.к. сама история и историческая память в современном обществе потребления и массовой культуры — не более чем конструкты, отличные от других культурных конструктов только сферой своей культурной локализации. Если в том или ином обществе имеет место кризис исторического описания, признаваемый самими историками (Lindner 1999: 645), то написанием истории охотно займутся непрофессионалы. Иными словами, историческая память в обществе масскульта, представленная специфическими культурными и социальными пространствами, ограниченными академическими журналами как пространствами для дебатов и дискуссий (правда, малоинтересными и не очень привлекательными для массового потребителя, способного воспринимать историю в виде определенных форм, например, массовых книг или еще более упрощенных до восприятия визуальных проявлений масскульта, например, фильмов, несущих конкретный политический и идеологический месседж), — это его элитарный сегмент.

Если в 1992 г. британский исследователь национализма Э. Смит констатировал, что «роль националистически настроенных историков в пропаганде

национализма до сих пор не стала предметом тщательного исследования» (Smith 1992: 60), то в 2021 г. более актуальным представляется вопрос, как националистически ориентированные интеллектуалы проигрывают массовой культуре в противостоянии за право формировать идентичность, интерпретируя память того или иного сообщества. Большинство же представителей технологически развитого общества потребления формирует и черпает свои представления о прошлом из сложившихся ранее представлений, проблема которых в том, что они не только стали крайне устойчивыми, но фактически превратились в мифы, а любое общество, даже общество потребления, будет крайне болезненно воспринимать попытки реинтерпретации прошлого и индустрий профессиональной академической историографии, призванной это воображаемое прошлое обслуживать, особенно в тех случаях, когда попытки ревизии будут исходить извне.

ЭКСКУРСОВОД: Это был ключевой момент в нашей истории. В результате показаний доктора между нашими народами был открыт диалог. Со временем мы обрели уважение к различиям в наших культурах и традициях. Усилия таких людей, как Корон и Доктор, проложили путь к объединению. Корон умер через 6 лет, но он прожил достаточно долго, чтобы увидеть рассвет гармонии, а доктор... Что ж, он был нашим медицинским канцлером много лет, пока не решил уйти.

Распад СССР и других недемократических левых режимов в Восточной и Центральной Европе, а также

на Балканах вдохновил сторонников либерализма в их уверенности, что национализм имеет все шансы стать достоянием истории, хотя именно национализм был среди тех факторов, которые и привели к описанным выше политическим переменам. Появление новых государств стимулировало и выработку новых версий исторической памяти. В этой ситуации, когда «людям свойственно спорить о прошлом» (Wertsch 2021: I), войны памяти стали вполне естественным явлением от Польши до Македонии.

Поэтому в современной Европе «разногласия из-за событий прошлого возникают между целыми группами, включая такие большие группы, как нация, что способствует развитию опасной напряженности», и не только политического конфликта (Ibid.), но и конфликтов между различными памятными. Несмотря на это, ряд интеллектуалов, а также индустрия современного масскульта стремятся продвигать ценности и принципы толерантности, что отражается и на исторической памяти, содействуя ее деформациям и появлению ее маргинальных версий, в большей степени основанных на идеях толерантности и политической корректности, нежели на интерпретации прошлого или ревизии истории.

Вероятно, поддавшись этой общей логике развития западного интеллектуального сообщества, Дж. Верч и подчеркивает, что «наивно полагать, что нации и национальная идентичность исчезнут в ближайшем будущем; наоборот, существуют веские причины для того, чтобы этого не произошло. В конце концов, местные коллективные идентично-

сти являются источником многих хороших вещей в нашем мире, и они могут стать основой для благоприятных последствий национального разнообразия» (Ibid.: XIV).

На современном этапе ситуация, при которой в рамках многосоставных обществ существует уважение «к различиям в культурах и традициях», кажется частью либеральной утопии в силу того, что история за последние два десятилетия вошла в число многочисленных практик этнической и политической мобилизации. Поэтому историческое воображение работает на конфронтацию и углубление конфликта, а ситуация «войн памяти» имеет шансы стать перманентным явлением в целом ряде современных государств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Адорно 2005 — *Адорно Т.* Что значит «проработка прошлого» // Память о войне 60 лет спустя. Россия, Германия и Европа / ред.-сост. М. Габович. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 64–82.

Досс 2013 — *Досс Ф.* Как сегодня пишется история: взгляд с французской стороны // Как мы пишем историю / отв. ред. Г. Гаррета, Г. Дюфо, Л. Пименова. М.: РОССПЭН, 2013. С. 9–56.

Шеррер 2009 — *Шеррер Ю.* Германия и Франция: проработка прошлого // Pro et contra. 2009. Май — август. С. 89–108.

Линднер 1996 — *Линднер Р.* Нязменнасць і змены ў постсавецкай гістарыяграфіі Беларусі // Кантакты і дыялогі. 1996. № 3. С. 20–25.

Friedman 1992 — *Friedman J.* Myth, History, and Political Identity // Cultural Anthropology. 1992. Vol. 7. No 2. P. 194–210.

Lindner 1999 — *Lindner R.* New Directions in Belarusian Studies besieged past: nation-

al and court historians in Lukashenka's Belarus // *Nationalities Papers*. 1999. Vol. 27. No 4. P. 631–647.

Smith 1992 — *Smith A.D.* Nationalism and the Historians // *International Journal of Comparative Sociology*. 1992. Vol. 33. No 1–2. P. 58–80.

Wertsch 2021 — *Wertsch J.V.* *How Nations Remember: A Narrative Approach*. Oxford: Oxford University Press, 2021. 288 p.

REFERENCES

Adorno T. Chto znachit «prorabotka proshlogo». *Pamyat' o voyne 60 let spustya. Rossiya, Germaniya i Yevropa*, red.-sost. M. Gabovich. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye, 2005. P. 64–82.

Doss F. Kak segodnya pishetsya istoriya: vzglyad s frantsuzskoy storony. *Kak my pishem istoriyu*, otv. red. G. Garreta, G. Dyufu, L. Pimenova. Moscow: ROSSPEN, 2013. P. 9–56.

Friedman J. Myth, History, and Political Identity. *Cultural Anthropology*. 1992, vol. 7, no 2, p. 194–210.

Lindner R. New Directions in Belarusian Studies besieged past: national and court historians in Lukashenka's Belarus. *Nationalities Papers*. 1999, vol. 27, no 4, p. 631–647.

Lindner R. Niazmiennasć i zmieny ŭ post-savieckaj historyjahraffii Bielarusi. *Kantakty i dyjalohi*. 1996, no 3, p. 20–25.

Scherrer J. Germaniya i Frantsiya: prarabotka proshlogo. *Pro et contra*. 2009, may — avgust, p. 89–108.

Smith A.D. Nationalism and the Historians. *International Journal of Comparative Sociology*, 1992, vol. 33, no 1–2, p. 58–80.

Wertsch J.V. *How Nations Remember: A Narrative Approach*. Oxford: Oxford University Press, 2021. 288 p.

М. О'Хэнлон

РАСШИРЕНИЕ НАТО, РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ПАМЯТЬ

М. О'Хэнлон считает, что расширение НАТО зашло слишком далеко. Хотя этот процесс не представляет военной угрозы для России, тем не менее русские оценивают его в весьма негативном ключе. С западной стороны считают, что, как показала история, народы Центральной Европы слишком сильно пострадали от двух мировых войн и холодной войны. В связи с этим они заслуживают того, чтобы их свобода была надежно обеспечена. Русские, напротив, видят уроки прошлого в том, что Запад не раз обрушивал на них свою агрессию, и обеспокоены тем, чтобы это больше не повторилось. Национальная гордость русских была уязвлена ослаблением их страны в 1990-е и в начале 2000-х. По мнению многих русских, страны НАТО использовали временное ослабление России, чтобы расширить свой альянс, существование которого в современных условиях ничем не оправдано. С учетом этих доводов мы нуждаемся в новой архитектуре безопасности в Восточной Европе и особенно в том, чтобы НАТО не расширялось впредь, прежде всего через включение в свои ряды тех бывших советских республик, которые сегодня не являются членами альянса. Такой подход не должен рассматриваться как «уступки» Москве или как признание НАТО своей вины и извинение за нее. Он должен сопровождаться требованием к России обеспечивать суверенитет таких стран, как Украина и Грузия, исходя из того, что такая политика является неотъемлемой частью новой архитектуры безопасности в Восточной Европе.

Ключевые слова: НАТО, Джордж Кеннан, Михаил Горбачев, Уильям Перри, пятая и десятая статьи Североатлантического договора 4 апреля 1949 г.

Сведения об авторе: О'Хэнлон Майкл, старший научный сотрудник Института Брукинга (США).

Контактная информация: meo14@columbia.edu.

M. O'Hanlon

NATO EXPANSION, THE U. S.-RUSSIA RELATIONSHIP, AND MEMORY

O'Hanlon argues that NATO expansion has gone far enough. While not creating a military threat to Russia, NATO's growth has predictably been seen quite differently, and more negatively, among Russians. In the West, history taught that

© М. О'Хэнлон, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-64-67

nations in central Europe that had suffered too long through world wars and Cold War finally deserved their freedom. For Russians, by contrast, history taught of a long series of aggressions against them emanating from western Europe, and bred fear about the possibility that could happen again. Russian pride also was wounded, given that Russia's strength in the 1990s and early 2000s was not what it had once been. In many Russian eyes, existing NATO countries then took advantage of that temporary Russian weakness in choosing to expand an alliance that arguably was no longer even needed. For all these reasons, we need a new security architecture for eastern Europe, and especially the former Soviet republics that are not now in NATO, that would not expand NATO further. This concept should not be offered as a "concession" or admission of guilt or apology to Moscow, however, and it should require Russia to protect the sovereignty of countries like Ukraine and Georgia as part and parcel of the overall new architecture.

Key words: NATO, Kennan, Gorbachev, Perry, alliances, Article V, Article X.

About the author: O'Hanlon Michael, Senior Fellow, The Brookings Institution (USA).

Contact information: meo14@columbia.edu.

В своем превосходном исследовании «Как нации помнят» Джеймс Верч обосновывает тезис, справедливость которого мы часто чувствуем, но редко действуем в соответствии с ним: страны вырабатывают собственные взгляды на историю, собственные нарративы и даже собственные мифы. Все это используется не только для понимания прошлого, но и для направления действий в современных условиях, а также для формирования будущего. Как заметил великий американский писатель Уильям Фолкнер по поводу глубинного американского Юга, но уточнил, что это наблюдение применимо ко всей мировой истории: «Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое».

Я часто думаю, насколько эти наблюдения применимы к расширению НАТО. Для США и многих их союзников принятие бывших членов Варшавского договора и даже трех бывших советских республик в Североатлантический альянс — по определению оборонную организацию наций-государств, мыслящих сход-

ным образом, — имело целью распространить демократию на страны Восточной Европы и дать им гарантию, что в будущем не повторится то, что они пережили в прошлом, а именно отсутствие свободы и безопасности. При этом я знаю, что большинство русских видят в НАТО анахронизм холодной войны, существование которого воспринимается если не в качестве военной угрозы, то как психологическое оскорбление, как символ американских стратегических амбиций глобального доминирования.

Я считаю, что широко распространенный русский взгляд на НАТО должен обязательно учитываться при формировании нашей будущей политики. Особенно я не приветствую возможное принятие Украины и Грузии; я бы вообще воздержался от дальнейшего расширения НАТО и предложил бы иные способы обеспечения безопасности в Восточной Европе.

В 1990-х и начале 2000-х, когда Россия была слаба, расширение НАТО

объяснялось не теми соображениями, которыми руководствовалась эта организация до 1991 г. В новых условиях речь стала вестись о продвижении демократии и, говоря в более общем смысле, о создании общего европейского пространства и общей европейской идентичности. В результате чего бывшие члены Варшавского договора и даже три бывшие советские республики были приняты в НАТО.

Хотя у меня эти решения вызывали и до сих пор вызывают вопросы, необходимо отметить, что процесс расширения не имел ничего общего со зловещими угрозами, империализмом и агрессией. Россия, по моему мнению, не должна была реагировать на этот процесс тем образом, как она на него реагировала. Я еще вернусь к этой теме.

Да, реакции России были не только предсказуемы, но и были предсказаны в том числе Джорджем Кеннаном, Михаилом Горбачевым и Уильямом Перри. Более того, расширение НАТО не соответствовало изначальной цели альянса по стратегическому усилению ключевых точек мирового пространства, а именно первых трех из пяти — США, Великобритания, Западная Европа, СССР, Япония — стратегических промышленных и военных центров, намеченных Кеннаном в 1947 г. в анонимной статье «Источники советского поведения» (*The Sources of Soviet Conduct*). Целью было противодействие потенциальным угрозам враждебных сил, представляющих непосредственную опасность. НАТО не рассматривалась тогда в качестве инструмента продвиже-

ния демократии, не ставилась также задача защиты или включения в состав альянса всех достойных американских партнеров в Европе, например, Швейцарии, Австрии, Швеции и Финляндии. Но самоуверенность 1990-х и начала 2000-х привела, на мой взгляд, к изменению этой логики и придала процессу расширения слишком многое от понятия мягкой силы, тогда как главная цель НАТО должна в конечном счете соответствовать пятой статье об обязанностях по взаимной защите Договора об учреждении Североатлантического альянса 1949 г.

Кто-то может упомянуть десятую статью Договора 1949 г., провозглашающую политику «открытых дверей», на основании которой европейские страны уполномочены определять будущие приоритеты альянса. Да, но США в не меньшей мере имеют право определять, в каких именно странах далекой Евразии наши сыновья и дочери будут рисковать жизнью, оказывая помощь по защите союзников.

Речь не идет о пересмотре прежних решений или о том, чтобы упрочить российских коллег во мнении, что их недовольство расширением НАТО является обоснованным. Для их негативных реакций не существует достаточных оснований. И мы не должны распускать Североатлантический альянс или пренебрегать безопасностью каждого из нынешних его членов.

Фукидид учил, что нации начинают войну, движимые алчностью, страхом или уязвленным достоинством. Уязвленное достоинство и гордость

русских — это те чувства, который древнегреческий историк обязательно бы признал значимыми. И мы тоже должны это признать.

Несмотря на все предшествующие успехи, необходимо предвидеть, что дальнейшее расширение НАТО обойдется дорого. Это наверняка ухудшит американо-российские отношения и отношение России к НАТО. Возрастет напряженность в сфере европейской безопасности, уменьшится надежность взаимного сдерживания, все это приведет к нарастанию риска войны с неисчислимыми и принципиально неприемлемыми потерями.

Существуют гораздо более эффективные пути обеспечения безопасной европейской интеграции и сотрудничества, чем любое расширение НАТО, нынешнее число членов которой (30 стран) почти вдвое превышает ее состав (16 стран) в 1989 г.

В заключение я мог бы привести политический аргумент, который может понравиться многим русским, по меньшей мере он будет для них предпочтительнее планов НАТО, утвержденных

Бухарестским саммитом в 2008 г., по будущему принятию Украины и Грузии в состав альянса. Я бы также обратился к русским друзьям с предложением задуматься, в какой мере это решение бросает вызов их историческим взглядам. Американцам необходимо проявлять больше стратегической эмпатии, мы должны приложить усилия, чтобы понимать, как расширение НАТО выглядит с точки зрения русских. Но и русским необходимо переосмыслить их исторический нарратив, чтобы понять, что нельзя считать неверным решение Брюсселя, Вашингтона и других западных столиц с целью обезопасить Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию, Чешскую Республику, Словакию и, да, страны Балтии от повторения истории, когда они были подчинены более могущественным соседям.

Если мы предпримем совместные усилия в этом направлении, мы сможем достичь двойной цели: не допустить дальнейшего расширения НАТО и уменьшить напряженность в американо-российских отношениях, которая во многом возникла в результате предшествующего расширения альянса.

ПОСЛЕДСТВИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ВЫБОРА МЕЖДУ ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬЮ КОММЕМОРАЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТЬЮ КАК СИСТЕМОЙ ЗНАНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. ОТКЛИК НА НОВУЮ КНИГУ ДЖ. ВЕРЧА «КАК НАЦИИ ПОМНЯТ. НАРРАТИВНЫЙ ПОДХОД» (2021)

В статье рефлексирована тематизируемая Дж. Верчем различие коллективной памяти и коллективного воспоминания, что корреспондирует с отличием коллективной памяти «как совокупности знаний» от коллективной памяти «как процесса». Эти два видения коллективной памяти служат и двумя разными отправными точками анализа, связанными с отличающимися методологическими подходами, порождающими разнообразные аналитические картины. Это существенное различие затрагивает и общую проблему, возникающую в ходе анализа национальных идентичностей, идеологий и памяти, — а именно следует ли делать акцент на позиции «сверху вниз», изучая коллективную национальную память через процессы в государственных институтах, или реконструировать восходящие процессы в виде ментальных и культурных факторов. Автор выделяет и обсуждает два момента, которые не бесспорны в концепции Верча и имеют далеко идущие эпистемологические последствия. Один момент связан с пренебрежением процессуальностью коммеморативной работы в пользу нарративного шаблонирования как продукта национальной памяти, несмотря на актуальные тенденции решаблонирования и конфронтации нарративных образцов. Другой момент связан с упущением аффективного и эмоционального поворота, невнимания к преднарративным и перформативным формам артикуляции национальной памяти.

Ключевые слова: национальная память как процесс, методология, аффективный поворот, национальная идентичность.

Сведения об авторе: Рождественская Елена Юрьевна, профессор, доктор социологических наук, департамент социологии факультета социальных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва).

Контактная информация: erozhdestvenskaya@hse.ru.

E. Yu. Rozhdestvenskaya

CONSEQUENCES OF THE METHODOLOGICAL CHOICE BETWEEN THE COMMEMORATION PROCESS AND NATIONAL MEMORY AS A SYSTEM OF KNOWLEDGE AND IDEAS.

A RESPONSE TO THE NEW BOOK BY J. VERCH "HOW NATIONS REMEMBER: A NARRATIVE APPROACH" (2021)

The article reflects the distinction between collective memory and collective remembering, thematized by J. Wertsch, which corresponds to the difference between collective memory "as a body of knowledge" from collective memory "as a process". These two visions of collective memory also serve as two different starting points for analysis, associated with differing methodological approaches that generate different analytical pictures. This significant distinction also touches on a general problem arising in the course of the analysis of national identities, ideologies and memory, namely, should the emphasis be placed on the "top-down" position, studying collective national memory through processes in state institutions, or to reconstruct the bottom-up processes in the form mental and cultural factors. The author highlights and discusses two points that are controversial in Wertsch's concept and have far-reaching epistemological consequences. One point is related to the neglect of the procedurality of commemorative work in favor of narrative templating as a product of national memory, despite the current tendencies of re-templating and confrontation of narrative patterns. Another point is associated with the omission of the affective and emotional turn, inattention to pre-narrative and performative forms of articulation of national memory.

Key words: national memory as a process, methodology, affective turn, national identity.

About the author: Rozhdestvenskaya Elena Yu., Professor, Hab. Dr. of Sociology, at the Sociology Department, Faculty of Social Sciences, National Research University "Higher School of Economics" (Moscow).

Contact information: erozhdestvenskaya@hse.ru.

Вышедшая недавно новая книга Джеймса Верча «Как нации помнят. Нарративный подход» во многом наследует теоретико-методологическую рамку от предыдущей его монографии 2002 г. под названием

«Голоса коллективного воспоминания»¹. Если кратко, подход Верча вполне вписывается в классическую парадигму социальных рамок памяти, с акцентом на функции опосредования, в процессе которого нарратив

¹ «Учет особенностей национальных нарративов должен помочь политикам лучше понять своих собеседников по переговорам». Интервью с Дж. Верчем // Историческая экспертиза. 2018. № 2(15). С. 9–14.

преобразует индивидуальный опыт в устойчивые сообщества памяти. Тень Мориса Хальбвакса здесь вполне ощутима, но, пожалуй, основной вклад Верча — в междисциплинарный комплекс проблем коммеморации на стыке нарратологии, социальной психологии и лингвистики. Внимание к нарративной структуре, ее опривыченным в контексте коммуникации лингвистическим формам, именно навыку нарративизировать событийный ряд, имеющий коннотации с национальными макроидентичностями, — фокус его последней книги. В этом направлении он дорабатывает/расширяет уже предложенную ранее классификацию нарративов национальной памяти. Теперь она включает не только специфический нарратив и схематический нарративный шаблон, но также привилегированный событийный нарратив и национальный нарративный проект.

Из самой книги мы также узнаем (2-й раздел «Набор концептуальных инструментов»), что Верч отдает должное различению собственно коллективной памяти и коллективному воспоминанию/припоминанию, что корреспондирует с различием коллективной памяти «как совокупности знаний» и коллективной памяти «как процесса». Если первый объект — это важнейший элемент культуры, характеризующий данную социальную группу, но видоизменяется с течением времени, то память как процесс представляет собой постоянный диалог социальных групп. Эти два видения коллективной памяти являются одновременно и двумя разными отправными точками анализа. Соответственно они вызывают к различным методам, порождая разнородные ана-

литические картины. В этом пункте теоретизирования Верча есть важное признание того, что переход от одной формы доказательства к другой может привести нас разными путями к пониманию того, какие национальные памяти есть (Wertsch 2021: 32). Таким образом, это существенное различие затрагивает общую проблему, возникающую в ходе анализа национальных идентичностей, идеологий и памяти, — а именно следует ли делать акцент или фиксировать *stand point* «сверху вниз», изучая коллективную национальную память через процессы в государственных институтах, или реконструировать восходящие процессы в виде ментальных и культурных факторов.

Описанного выше, вероятно, достаточно, чтобы выделить два момента, которые не бесспорны в концепции Верча и имеют далеко идущие эпистемологические последствия. Выбор Верча в пользу фокуса на нарративных шаблонах можно трактовать как решение сосредоточиться на произведенных мнемонической работой разного уровня нарративах и их структуре. Для этого нужно в существенной степени пренебречь процессуальностью коммеморативной работы. Явен и выбор Верча в пользу точки зрения сверху на предмет того, как распоряжаются государственные институты идеологическим отбором и функционированием нарративных шаблонов. Почему это решение кажется нам несколько ограниченным?

1. По той причине, что национальные памяти в актуальных контекстах функционируют не в стабильных, а в конфронтирующих режимах, обнару-

живая многослойность национальной памяти, различную дискурсивную силу. Несколько последних десятилетий мы являемся свидетелями публичных дебатов как в стране, так и за рубежом относительно того, как национальные истории мобилизуются в культурных битвах. Речь ли о еврейских погромах и участии в них местных жителей в Литве и Польше или о том, кто же похоронен в Сандармохе, исчезнувших и замолчанных жертвах военной хунты в Аргентине в период с 1976 по 1983 г. или судьбе женщин для утешения в Юго-Восточной Азии под протекторатом Японии во время Второй мировой войны и т.д., — по мнению консервативных правых авторов и активистов, национальным коллективным идентичностям изнутри угрожают различные внутренние «враги». Это могут быть мемориальный либерализм, покушение на ведущие гранд-нарративы национальных историй, культура «покаяния» в странах, разбирающихся с последствиями своих постколониальных иммиграций или, напротив, культура «обороны» в регионах, испытывающих миграционное давление и сложности аккультурации прибывающих мигрантов. Эти широко возобновляемые дебаты как примета времени знакомы нам по дискурсивной среде, полной страхов, подозрений, опасений. Континуум этих дебатов варьирует от оправдательной интерпретации истории и празднования прошлых достижений, так и до откровенно отрицательной позиции, направленной против признания ответственности за прошлые события. Поскольку закрепление ведущей версии — прерогатива политического мейнстрима, она может принять форму последователь-

ной доктрины, но вполне может быть ограничена и слабо связанными нарративами. Игра мифологий, обращение к моральным оценкам, претензии на исключительность национальной идентичности — черты эссенциалистски понимаемой и презентуемой как единое целое нации.

Запрос на общую идентичность в нациестроительстве в целом понятен, он рационален ввиду необходимости принять общие правила и институты. Хабермас к этому добавляет необходимость понимания социального порядка, а также общую интерпретацию европейской истории (*Habermas 1995: 2001*). Действительно, без коллективной идентичности «за пределами национальных общин», усилия по институционализации общих политических решений, процедур, а также затратных обязательств могут завершиться неудачей. Общая национальная идентичность считается обеспечивающей коммунитарный фундамент для преодоления глубокого конфликта и принесения жертвы в расчете на общее благо. И хотя Роджерс Брубейкер и Фредерик Купер (*Brubaker, Cooper 2000*) предлагали заменить этот термин другим, например, чувством связанности, тем не менее «коллективная идентичность является неотъемлемой концепцией культурной и политической социологии для того, чтобы теоретизировать и проводить эмпирические исследования о ценностных коллективных действиях (*Giesen 2004*). Важный аспект этой дискуссии — сильные и слабые коллективные идентичности. Коллективные идентичности в сильном смысле развиваются через идеолого-политические конфликты, но сдвиг

от «сильной» версии к «слабой» форме коллективной идентичности имеет существенный резон — «на самом деле это является центральным достижением цивилизации либерального правового государства и современной представительной демократии — организация политической жизни с помощью процедур разрешения конфликтов без давления в целях достижения ценностного консенсуса. В демократической стране граждане имеют право быть разными, и далекими друг от друга» (Kantner 2006: 515). Как следствие, шаблонирование национальных памятей именно как совокупности знаний о прошлом нации (по Верчу) встречает противопоток расшаблонирования, вынуждающий к разомкнутости нарративного моношаблона, разрушению гранд-нарратива, мультипликации условных мнемонических правд ввиду разрыва официальной и альтернативных памятей или вполне себе демократического их сосуществования.

2. Второе следствие — пренебрежение процессуальностью коллективной памяти — хотя Верч и осознает важность этого направления анализа, но не выбирает его, — также кажется некоторой рассинхронизацией с современными трендами. Что приносит акцент на процессе производства национальных памятей, сосуществующих в дискурсивной борьбе за доступ к публичному пространству и языку поименования события, имеющего солидарный для национальных ценностей эффект? — Понимание того, что не все аффективное содержание национального опыта перетекло в нарратив, тем более шаблонированный. Суще-

ственное содержание нарративного шаблона остается невыраженным, неозначенным, эмоционально не воплощенным в тезаурусе национально-исторического опыта. Но, может быть, оно и не важно? Современные дискуссии явно оставляют промежуточным итогом понимание того, что здесь нет неважных социальных акторов и, более того, сформулирован запрос на реабилитацию и «возвращение имен». Внимание к процессу и преднарративным формам артикуляции национальной памяти приводит нас к упущенному Верчем повороту в социальных науках — аффективному и эмоциональному повороту. То, что аффект обнаруживается как важная тема в социальных науках последнего времени, не является простым совпадением. Начиная с 70-х гг. эта тенденция явилась откликом на нарастающий запрос на преодоление гегемонии репрезентации и дискурсивного означивания. Так, Мари-Луиза Ангерер, реагируя на эту динамику, вводит понятие «аффективного диспозитива» как сдвига от неспешных герменевтических процедур интерпретации и реинтерпретации скрытых слоев смыслов в пользу скорее аффективного их распознавания (Angerer 2007). Если аффект находится в бессознательной «зоне неразличимости» или «зоне неопределенности» между мыслью и действием (это зона досимволического), то перерабатываемый в эмоции аффект имеет возможность быть перенаправленным в символически означенные структуры. Выражение эмоций — уже социальная работа, для этого есть дискурсивно признанный язык и формы репрезентации. Влиять самому и быть затронутым — значит, столкнуться с чем-то пер-

формативным, с каким-то действием и вовлечением в него. Близко к Ангерпер стоят позиции Брайна Массуми (*Massumi 1995*), Найджела Трифта (*Thrift 2009*), Дерека МакКормака (*McCormack 2012*) и других в рамках так называемой «нерепрезентативной теории» (см. *Anderson, Harrison 2016*). Эти авторы тематизируют аффект как интенсивность интерактивных процессов, предшествующих материальному миру. Но аффекты не только спланивают людей, они также их разделяют и сигнализируют о дефиците какой-либо интерсубъективной связи. Предложение К. Хэммингс с идеей аффективной солидарности заключается в том, чтобы политически двигаться от аффективного диссонанса к взаимному распознаванию (*Hemmings 2012*). Существенным является то, что эмоциональное наследие меньше полагается на авторитетные нарративы, нарративные шаблоны (в чем и заключается эвристичность этого поворота) и официальную риторику для формирования и сохранения значения, например, памятных мест. Дополнительно к местам национальной памяти в режимах стабильный — процессуальный следует привлечь иное измерение, которое предлагает уже Джек Сантино, — публичный и перформативный (*Santino 2006*). Различая значения «публичного» как имеющего дифференцированную аудиторию, представленного в институционализированных контекстах (например, в музеях) и выставленного напоказ перед случайными зрителями, Сантино отбирает для анализа спонтанные места коммеморации в режиме перформатива, который задействует телесный опыт и аффекты. Интересна их принци-

пальная разомкнутость, аудитория такого перформатива непредсказуема, участие не регламентировано, интерпретации полисемичны. Подобные перформативные коммеморативы интересны тем, что «переводят социальные проблемы и политические действия в термины личного, и поэтому они сами являются политическими заявлениями. Большая часть их коммуникативной силы проистекает из того, что они персонализируют публичное» (*Ibid.*: 13). Таким образом, дистанция Верча к такому процессуальному аспекту производства национальной памяти элиминирует целый парадигмальный континент, связанный с аффективным поворотом в социальных науках.

В заключение тем не менее отметим, что нарративный подход к анализу национальной памяти остается влиятельным и перспективным ввиду того, что дискурсивный язык апеллирует к довольно устойчивым воспроизводимым нарративным формам. В этом смысле новая книга Дж. Верча длит эту важную дискуссию, укореняя предмет обсуждения на актуальной национально-исторической проблематике. Национальный нарратив о значимом опыте проходит тройную обработку — герменевтический отбор из недифференцированного континуума сырых данных национальной истории или национального воображения, вербализация/нарративизация в вербальные структуры, с помощью которых мы можем говорить о значимом для нас, национальной группы, опыте, и, наконец, придание отобранному и вербализованному статусу национального события. Именно последний аспект и является тем способом

категоризации опыта, который делает его доступным пониманию, оценке и обеспечивает дискурсивными средствами разговора об опыте. И если в этой сложной механике производства нарратива о национальных памятях мы обнаруживаем дополнительно выделенные фрагменты, социальное знание прирастает.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Anderson, Harrison 2016 — *Anderson Ben, Harrison Paul*. (Ed.): *Taking-Place. Non-representational Theories and Geography*. Brookfield: Taylor and Francis, 2016.

Angerer 2007 — *Angerer Marie-Luise*. *Vom Begehren nach dem Affekt*. Zürich/Berlin: Diaphanes, 2007.

Brubaker, Cooper 2000 — *Brubaker W.R., Cooper F.* 'Beyond "Identity"' // *Theory and Society*. 2000, no. 29 (1). P. 1–47.

Giesen 2004 — *Giesen B.* *Triumph and Trauma*, Boulder, CO: Paradigm, 2004.

Habermas 1995 — *Habermas J.* 'Comment on the Paper by Dieter Grimm, "Does Europe Need a Constitution?"' // *European Law Journal*. 1995, no. 1(3). P. 303–308.

Hemmings 2012 — *Hemmings Clare*. "Affective solidarity: Feminist reflexivity and political transformation". *Feminist Theory*. 2012. 13. P. 147–161.

Kantner 2006 — *Kantner C.* *Collective Identity as Shared Ethical Self-Understanding: The Case of the Emerging European Identity* // *European Journal of Social Theory*. 2006, no. 9. P. 501–523.

Massumi 1995 — *Massumi Brian*. "The Autonomy of Affect". *Cultural Critique*, Special issue *The Politics of Systems and Environments*, part 2, no. 31 (September 1995). P. 83–110.

McCormack 2012 — *McCormack Derek*. "Geography and abstraction: towards an affirmative critique". *Progress in Human Geography*. 2012. 36(6). P. 715–734.

Santino 2006 — *Santino Jack*. "Performative Commemoratives: Spontaneous shrines and the public memorialization of death". In *Spontaneous Shrines and the Public Memorialization of Death*, edited by Santino, Jack. 5–15. New York: Palgrave MacMillan, 2006.

Thrift 2009 — *Thrift Nigel*. "Understanding the Affective Spaces of Political Performance". In (eds) *Emotion, Place and Culture*, edited by Bondi, L., Cameron, L., Davidson, J., Smith, M. 79–96. Aldershot: Ashgate, 2009.

Wertsch 2021 — *Wertsch J.V.* *How nations remember: A narrative approach*. New York: Oxford University Press, 2021.

REFERENCES

Anderson Ben, Harrison Paul. (Ed.): *Taking-Place. Non-representational Theories and Geography*. Brookfield: Taylor and Francis, 2016.

Angerer Marie-Luise. *Vom Begehren nach dem Affekt*. Zürich/Berlin: Diaphanes, 2007.

Brubaker W.R., Cooper F. 'Beyond "Identity"'. *Theory and Society*, 2000, no. 29 (1), pp. 1–47.

Giesen B. *Triumph and Trauma*, Boulder, CO: Paradigm, 2004.

Habermas J. 'Comment on the Paper by Dieter Grimm, "Does Europe Need a Constitution?"' *European Law Journal*, 1995, no. 1(3), pp.303–308.

Hemmings Clare. "Affective solidarity: Feminist reflexivity and political transformation". *Feminist Theory*. 2012. 13. P. 147–161.

Kantner C. *Collective Identity as Shared Ethical Self-Understanding: The Case of the Emerging European Identity*. *European Journal of Social Theory*, 2006, no. 9, p. 501–523.

Massumi Brian. "The Autonomy of Affect". *Cultural Critique*, Special issue *The Politics of Systems and Environments*, part 2, no. 31 (September 1995). P. 83–110.

McCormack Derek. "Geography and abstraction: towards an affirmative critique".

Progress in Human Geography. 2012. 36(6). P. 715–734.

Santino Jack. “Performative Commemoratives: Spontaneous shrines and the public memorialization of death”. In *Spontaneous Shrines and the Public Memorialization of Death*, edited by Santino, Jack. 5–15. New York: Palgrave MacMillan, 2006.

Thrift Nigel. “Understanding the Affective Spaces of Political Performance”. In (eds) *Emotion, Place and Culture*, edited by Bondi, L., Cameron, L., Davidson, J., Smith, M. 79–96. Aldershot: Ashgate, 2009.

Wertsch J.V. How nations remember: A narrative approach. New York: Oxford University Press, 2021.

Ю. А. Сафронова

В ПЛЕНУ НАРРАТИВНЫХ ШАБЛОНОВ?

В статье рассматривается предложенный американским исследователем Дж. Верчем нарративный подход, объясняющий особенности функционирования национальных мнемонических сообществ. Автор рецензии анализирует теоретические основания концепции Верча, которым посвящена вышедшая в 2021 г. книга, и предложенные в ней кейсы, на которых проверяется теория. Ставится вопрос о потенциале «этически заряженных» исследований для проблемно поля memory studies.

Ключевые слова: нация, политика памяти, исторические нарративы, мнемонические сообщества, идентичность.

Сведения об авторе: Сафронова Юлия Александровна, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург).

Контактная информация: jsafronova@eu.spb.ru.

J. A. Safronova

TRAPPED IN THE NARRATIVE TEMPLATES?

The article examines the narrative approach by american researcher J. Wertsch who explains the functioning of national mnemonic communities in his new book published 2021 in Oxford University Press. The author of the review analyzes the theoretical foundations of Wertsch's concept and the cases the theory is tested. The article raises the question about the potential of “ethically charged” research for the research field of memory studies.

Key words: nation, memory politics, historical narratives, mnemonic communities, identity.

About the author: Safronova Julia A., PhD (kandidat nauk), associate professor, Department of History, European university at St.Petersburg (St.Petersburg).

Contact information: jsafronova@eu.spb.ru.

Книга Джеймса Верча «Как нации помнят. Нарративный подход» является итогом многолетней работы

по исследованию национальных нарративов и работы памяти, в которой соединены его интерес к нейрпси-

© Ю. А. Сафронова, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-76-80

хологии, лингвистике, нарратологии и исследованиям социальной и культурной памяти. Название является отсылкой к книге 1989 г. «Как общества помнят». Вступая в спор с Полом Коннертоном, Верч предлагает сосредоточиться не на телесном воплощении коммеморативных практики, а на языке как основном культурном инструменте, определяющем то, как мы говорим и думаем (р. xiii). При этом в центре исследования из всех возможных мнемонических сообществ оказывается нация, что помещает книгу в пересечение двух самых популярных в последние четыре десятилетия научных полей.

Первоначальная подготовка автора в качестве психолога и особенно докторантура у А. Р. Лурии в МГУ в 1970-х гг. оказали значительное влияние на предлагаемое в книге объяснение работы национальной памяти. В отличие от многих ученых, пришедших в исследования памяти из гуманитарных дисциплин, Верч не избегает разговора о функционировании индивидуальной психики. Напротив, его концепция нарратива основывается на базовых идеях когнитивной психологии: большинство суждений, в том числе о прошлом, человеческая психика производит автоматически и не всегда дает себе труд по их корректировке с помощью серьезного анализа (р. 104–105). Вместе с тем Верч держит в уме начатый еще в 1920-х гг. спор о том, является ли коллективная память социальной реальностью или просто удачной метафорой, поэтому его обращения к психологии сопровождаются оговоркой, что во всех случаях речь идет об индивидууме как о члене группы (р. 108).

Предлагаемый Верчем «нарративный подход» к исследованию национальной памяти представляет собой сложную многоуровневую теорию, в основе которой находится желание переключить внимание исследователей с акторов коммеморативного процесса на структуры, его определяющие. Иными словами, Верч ставит перед собой задачу уйти от изучения того, как национальные государства и их лидеры создают и используют нарративы о прошлом в своих сиюминутных политических целях, и показать власть нарративных структур над производством таких высказываний. Нарратив как социокультурный инструмент коллективной памяти имеет два уровня: «нарративный шаблон» (narrative template) — абстрактная обобщенная структура, которая создает основу для «специфического нарратива» (specific narrative), содержащего в себе частные детали — даты, акторов, отношения между ними. Так, для российского мнемонического сообщества центральным, с точки зрения Верча, является шаблон «изгнания чужеземного врага». На его основе возможно появление разных нарративов, от комментария В. В. Путина к Пятидневной войне 2008 г. (р. 24) до интерпретации А. И. Солженицыным советского проекта как «нападения» чуждых России западных идей в виде социализма и коммунизма (р. 101).

Несмотря на то, что «специфических нарративов» на основе одного шаблона может быть множество, в каждый конкретный период времени доминирующим является только один — «привилегированный событийный нарратив» (Privileged Event Narrative,

PEN) (р. 133). Для современной России таким является Великая Отечественная война, апелляция к которой происходит практически при любых обстоятельствах. При этом власть нарративных шаблонов так сильна, что созданные на их основе нарративы не могут быть поставлены под сомнение даже с помощью, казалось бы, непреодолимых контраргументов. Для Верча примером поглощения PEN фактов, которые должны были бы его разрушить, служит признание в 1989 г. М. С. Горбачевым существования пакта Молотова — Риббентропа, которое не смогло поколебать интерпретации войны в рамках шаблона «изгнания чужеземного врага» (р. 131–132).

Наконец, хотя PEN являются важной конституирующей частью национальных мнемонических сообществ, ядро каждого из них образуют не они, а «национальный нарративный проект» (National Narrative Project, NNP). Под NNP Верч подразумевает историю нации, которая объясняет смысл существования сообщества и определяет его будущее. В случае с Россией такое положение занимает «русская идея», воплощенная в формуле «Москва третий Рим» (р. 191).

Эта сложная схема появилась из удивления автора простому факту: представители разных национальных сообществ не просто интерпретируют одно и то же историческое событие по-разному, но не способны вообразить, что вторая сторона не введена в заблуждение, а действительно верит в свою версию прошлого. Ситуацию подобного столкновения двух нарративов о прошлом Верч называет «мнемоническим противостоянием»

(mnemonic standoff) (р. 13) и иллюстрирует с помощью различных примеров, в том числе историей из своей юности про невозможность договориться с московским другом Витей (Виктор Голод) о причинах бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. (р. 2). Выход из «мнемонического противостояния» можно найти с помощью инструментов управления национальной памятью, которому посвящена шестая глава книги.

Поскольку любая большая теория, объясняющая функционирование коллективной памяти, неизбежно оказывается под огнем критики, воплощением которой стали слова социолога Дж. Олика о «непарадигматичности, междисциплинарности и бесформенности» исследований памяти (р. 31), Верч посвящает теоретическому обоснованию своей концепции вторую главу — примерно пятую часть книги. В действительности любой тезис в работе сопровождается отсылкой к набору имен от Аристотеля и Канта до А. Макинтайра и Р. Брубейкера. Хотя автор ставит перед собой задачу преодолеть замкнутость теоретического поля, европо- и американоцентричного, делает он это в первую очередь за счет включения концепций Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, М. М. Бахтина, выбор в пользу которых, кажется, определен в основном биографией Верча. Перечисление имен и ссылок на работы из самых разных дисциплин приводит читателя к закономерному вопросу о причинах такого теоретического изобилия и действительной необходимости поместить рассматриваемую автором проблему во все возможные контексты. Действительно

ли для констатации решающей роли нарратива для национальной памяти необходимо обращаться к эволюции вида *homo sapiens* (р. 73)? Добавляет ли теоретического веса работе упоминание «Морфологии волшебной сказки» В. Я. Проппа, если автор не собирается классифицировать выделенные им нарративные шаблоны (р. 78) и т. д.?

Погружение в детали множества работ о принципах функционирования нарратива в человеческой культуре создает напряжение с избранным автором предметом исследования — памятью наций. С одной стороны, Верч подчеркнуто избегает примордиализма (р. 35), придерживаясь конструктивистского подхода в понимании нации как современного феномена и ссылаясь на Андерсона, Брубейкера и т. д. С другой стороны, углубляясь в рассмотрение универсальной природы нарратива, Верч, кажется, пропускает точку, в которой нации как самые молодые из мнемонических сообществ обзаваются нарративными шаблонами и начинают производить «специфические нарративы». Работает ли та же схема для других мнемонических сообществ, и если да, то в чем специфика именно нарративных шаблонов наций? Наследуют ли нации нарративные шаблоны от предшественников или создают свои собственные? Наконец, почему универсальные законы функционирования нарратива как культурного инструмента не порождают конечного набора нарративных шаблонов, сходных с пропповскими функциями?

Тут уместно сравнить два анализируемых Верчем кейса: нарратив-

ный шаблон «изгнание чужеземного врага» (Россия) и PEN «Век унижений», который Верч характеризует как имеющий характер шаблона (*template-like*) (Китай). Уже само по себе введение дополнительных терминов и смешение нарративного шаблона и PEN ломает стройную схему функционирования нарратива. То ли в Китае нет собственного нарративного шаблона, то ли его существование не обязательно для мнемонического сообщества, то ли PEN «Великая Отечественная война» чем-то принципиально отличается от PEN «Век унижений»? Однако главный вопрос даже не в этом. События «Века унижений», перечисляемые Верчем (р. 143), можно вообразить помещенными в нарративный шаблон «изгнания чужеземного врага». Почему этого не происходит в китайском случае? Могут ли разные нации использовать одни и те же нарративные шаблоны, создавая разные PEN? Действительно ли появление этих вопросов спровоцировано тем, что автор этой рецензии принадлежит к российскому мнемоническому сообществу и имеет дело с типичным «мнемоническим противостоянием»?

Этот пример показывает главное уязвимое место книги «Как нации помнят»: большая теория, претендующая на универсальность, проверяется (честнее будет сказать — иллюстрируется) набором кейсов, которые выглядят довольно случайными. Привлечение примеров функционирования мнемонического сообщества США оправдано, с одной стороны, тезисом, что нарративные шаблоны одной нации проявляются только в диалоге/столкновении с нарративными шаблонами второй. С другой стороны,

сам Верч как представитель собственного национального мнемонического сообщества не свободен от власти нарратива и, следовательно, может использовать именно американские PEN и NNP для сравнения с прочими. Куда сложнее увидеть систему в выборе России, Китая, Эстонии и Сербии для анализа работы функционирования национальных мнемонических сообществ, учитывая радикальные различия между ними. Кажется, Верч не руководствуется какими-либо параметрами для сравнения, просто выбирая доступный ему материал. В результате мы получаем не ответ на вопрос «как нации помнят», а набор казусов, проработанных лучше или хуже в зависимости от степени знакомства автора с кейсом. Если российский и эстонский случаи являются глубокими исследованиями, отлично ложающимися в предлагаемые Верчем теоретические наработки, то констатация власти над сербами в памяти о битве на Косовом поле (р. 88) без серьезного анализа кажется упрощением и подрывает доверие к остальной теории.

Наконец, книга Верча — пример «этически заряженного» исследо-

вания (*Radstone 2008*), что в целом характерно для многих работ в поле изучения коллективной памяти. Автор видит своей задачей не просто вскрыть механизм работы национальной памяти, но разработать систему управления «мнемоническими конфликтами» (р. 201). Основным инструментом, с его точки зрения, должна стать аналитическая история, вооруженная нарративным подходом и, следовательно, способная преодолевать нарративные шаблоны (р. 224). Это стремление в разобращенном мире, еще более замкнувшемся в границах государств из-за пандемии, вызывает восхищение. Однако должна ли книга о принципах работы национальной памяти быть манифестом о преодолении национальной розни — решать ее читателям.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Radstone 2008 — *Radstone S. Memory Studies: For and Against // Memory Studies. 2008. Vol. 1. No 1. P. 31–39.*

REFERENCES

Radstone S. Memory Studies: For and Against. *Memory Studies*, 2008, vol. 1, no 1, p. 31–39.

У. Хирст

ПЕРЕСТУПАЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ: ПРОБЛЕМА ПАМЯТИ*

Комментарий к книге Джеймса Верча «Как нации помнят: нарративный подход»

В своей новой книге Верч выясняет, почему люди различных наций по-разному толкуют одни и те же исторические события и почему они столь упорно придерживаются своих интерпретаций. Он доказывает, что нарративные схематические шаблоны задают рамку для рассказов о конкретных исторических событиях и что эти шаблоны глубоко укоренены и поэтому используются автоматически, без интеллектуальных усилий. В настоящем комментарии дается обзор основных положений этой книги и ставится вопрос, в какой мере подход, связанный с нарративными схематическими шаблонами, позволяет понять «мнемонические противостояния». Также рассматривается первостепенное значение социальной идентичности.

Ключевые слова: нарратив, коллективная память, история, мнемонические противостояния, социальная идентичность.

Сведения об авторе: Уильям Хирст, профессор Кафедры психологии Новой школы социальных исследований (Нью-Йорк).

Контактная информация: hirst@newschool.edu.

W. Hirst

REACHING ACROSS NATIONAL BOUNDARIES: THE PROBLEM OF MEMORY.

A Commentary of James Wertsch's "How Nations Remember: A Narrative Approach"

In his recent book, Wertsch explores why people from different nations have different renderings of history and why they hold tenaciously to them. He argues that the Narrative Schematic Templates frame the narratives they tell about historical events and that these templates are deep, by which he means that they are applied automatic, effortless, and without intention. The present commentary reviews his book and asks whether a reliance on the type of pro-

© У. Хирст, 2021

* Написание этой статьи было частично поддержано грантом Национального научного фонда (National Science Foundation) для второго автора BCS #1827182.

DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-81-89

cessing associated with Narrative Schematic Templates is sufficient to account for “mnemonic stand-offs”. The importance of social identity is explored.

Key words: Narrative, collective memory, history, mnemonic stand-offs, social identity.

About the author: William Hirst, Department of Psychology, New School for Social Research, New York.

Contact information: hirst@newschool.edu.

Способы, которыми нации вспоминают свое прошлое, всегда занимали центральное место в процессе национального строительства. Но в последние несколько лет проблемы коммеморации выдвинулись на передний план при драматических обстоятельствах, когда люди вышли на улицы с заявлениями, что повествование об истории должно быть заменено на новое, способное включать не только позитивные, но и негативные стороны прошлого. Причиной долговременного интереса и нынешнего беспокойства по поводу нарративов памяти частично является растущее признание того, что воспоминания членов общества о национальном прошлом основываются на том, как они представляют себе связь с собственной нацией. Под этим подразумевается их самоощущение в качестве граждан своей нации, их представление о смысле ее существования и в конечном счете их понимание того, как их нация действовала в прошлом, действует в настоящем и будет действовать в будущем. Здесь имеется в виду не специфическое (*idiosyncratic*) поведение отдельных членов общества, но национальный консенсус, другими словами, коллективные представления о прошлом, настоящем и будущем.

В своей мастерски сделанной работе «Как нации помнят» Джеймс Верч

изучает расхождения во мнениях, которые возникают в ходе рассказов о национальной истории. Он убедительно демонстрирует, что представители разных наций по-разному рассказывают о тех же самых событиях прошлого. Согласно наблюдению Джерома Брюнера, можно, конечно, считать, что «история нации это прозрачное окно в реальность, а не формочка для печенья (*cookie cutter*), с помощью которой реальности придаются те или иные очертания» (*Bruner 2003: 6–7*). Верч, как и Брюнер, настаивает на том, что достаточно послушать представителей разных стран или различных подгрупп населения одной страны, чтобы убедиться, с каким разнообразием одна и та же реальность прошлого нарезается многочисленными формочками для печенья. Верч начинает книгу со своего спора с русским коллегой по поводу бомбежки Хиросимы. Как и большинство американцев, он считал, что это было ужасный, но неизбежный способ быстро закончить войну. Его русский коллега полагал, что Верч то ли недостаточно осведомлен, то ли введен в заблуждение, а на самом деле бомба была средством, чтобы устроить русских. Каждый из спорщиков непреклонно отстаивал свою позицию. Их взаимная непримиримость свидетельствует, что каждая нация использует собственные формочки

для печенья, когда формирует свою историю бомбардировки Хиросимы. Верч обозначает это несоответствие позиций термином «мнемоническое противостояние», в противоположность гораздо более агрессивному выражению «войны памяти». В «Как нации помнят» ставятся следующие вопросы:

1. Каким образом между национальными сообществами возникают столь сильные разногласия по поводу прошлого?
2. Почему у граждан преобладает уверенность, что точка зрения «своей» нации является истиной?
3. Почему люди так упорно держаться за «свое» видение прошлого?

Ученые не раз обстоятельно изучали каждый из этих вопросов, рассматривая способы, которыми различные нации создают собственные формочки для печенья. В этой связи постоянно рассматривается та значительная роль, которую власть и ее представители играют в формировании национальной памяти. Верч вовсе не преуменьшает усилия, предпринятые в этом направлении, он скорее стремится расширить поле анализа. Как считают многие исследователи национальной памяти, включая отца коллективной памяти Мориса Хальбвакса, «индивиды вспоминают в качестве членов группы» (*Halbwachs* 1980: 48). Верч стремится ответить на три поставленных выше вопроса, рассматривая индивидов, которые вспоминают. Именно здесь вступает в игру нарративный подход, обозначенный в заглавии его книги.

Опираясь на плодотворную (*seminal*) работу Льва Выготского (*Vygotsky* 1986), Верч утверждает, что процесс познания опосредован символически. Люди используют культурные инструменты как строительные леса своего познания, определяющие его форму. По мнению Верча, нарратив занимает ведущее положение в любом индивидуальном наборе культурных инструментов. Используя пронизательное замечание Кеннета Бурка (*Burke* 1998), нарративы являются «оборудованием для жизни» (*equipment for living*). Как утверждает Аласдер Макинтайр (*MacIntyre* 1984: 216), «человек, как в своих практических действиях, так и прибегая к вымыслу, по своей сути является животным, рассказывающим истории». Мы рассказываем истории не только о себе и о других индивидах, но и о нациях. С помощью этих историй мы можем понять прошлое нации, которое задает рамку для критического осмысления ее настоящего и будущего. По наблюдению Верча, истории, которые граждане рассказывают о своих нациях, основаны на общих паттернах. Рассказчики склонны следовать тому, что он именуется *нарративным схематическим шаблоном*. Для русских таким шаблоном является «Изгнание чужеземного врага». В общем виде он выглядит следующим образом:

1. «Начальная ситуация»: мирная Россия не вмешивается в чужие дела.
2. «Беда» (*trouble*): иностранный враг коварно атакует Россию без всякого повода с ее стороны.
3. Россия оказывается в крайней опасности на грани гибели.

4. Благодаря исключительному героизму, действуя в одиночку, Россия, вопреки всем вероятностям, триумфально побеждает.

Подобные нарративные схематические шаблоны предоставляют рамки для рассказов не только об одном историческом событии, как в случае России, о нашествии Гитлера и его итоговом изгнании, но для целого набора событий. Среди них: изгнание Наполеона в ходе войны 1812 г.; беспокоившее Солженицына разрушительное влияние социализма, коммунизма и западного Просвещения на духовные традиции России; западные влияния, обрекавшие Россию, по мнению Достоевского, на нигилизм и атеизм. Вездесущность этих шаблонов задает не только рамку для интерпретации исторических событий, но, если хотите, способ понимания русского национального характера и его идентичности.

Нарративные схематические шаблоны также дают ответ на три перечисленных выше вопроса, поставленных Верчем. В этом контексте шаблоны, по мнению исследователя, носят глубинный, т.е. неосознаваемый при их восприятии и применении, характер. Следовательно, они не осознаются при повествовании специфических нарративов о конкретных исторических событиях. Шаблоны — это тот слон, на спине которого мы путешествуем по жизни. Верч считает, что в значительной мере, не слон служит наезднику, а наездник обслуживает слона. Наездники могут считать, что они контролируют ситуацию, но это обманчивое впечатление. Верч использует различие Даниэля Канемана (*Kahneman* 2011) между Систе-

мами 1 и 2, т.е. быстрым и медленным мышлением. Система 1 действует автоматически, при незначительном либо полностью отсутствующем контроле сознания. Система 2 работает посредством напряженных мысленных усилий. Она ассоциируется с субъективной способностью к действию на основе опыта (*subjective experience of agency*), с выбором и с концентрацией. Люди стараются избегать обращения к Системе 2 в силу, если хотите, когнитивной лени и предпочитают не требующую больших усилий Систему 1. По мнению Верча, нарративные схематические шаблоны работают с помощью Системы 1, которая обходится без рефлексии и часто применяется автоматически без всякого умственного напряжения. Люди не считают, что они прилагают к реальности шаблоны мышления, и в результате верят, что видят вещи напрямую, а не через линзы шаблона. Поэтому не удивительно, что разные нации могут использовать различные нарративные схематические шаблоны. Благодаря этому между гражданами разных стран могут возникать серьезные разногласия по поводу истории, поскольку граждане верят, что они, в отличие от оппонентов, знают истину, и по этой причине чрезвычайно неохотно отказываются от своих представлений об исторических событиях.

Обращение к различиям Систем 1 и 2 при изучении того, как люди используют нарративные схематические шаблоны, когда вспоминают исторические события, представляется обоснованным, но, я предполагаю, лишь до известного предела. Когда Верч спрашивал людей, замечают

ли они, что под их рассказами о национальной истории скрывается готовая схема, людям это не слишком нравилось. Но когда он объяснял им, что схема действительно существует в виде того, что он определил как *нарративные схематические шаблоны*, и описывал шаблон, соответствующий рассказываемой истории, многие собеседники Верча соглашались с его объяснением. После подсказки они признавали, что существует общая нить, на которую накладывается их целостное понимание национальной истории. То, что изначально было неосознаваемым, стало осознанным и в результате стало пищей для размышлений по Системе 2. И, как это признает сам Верч, в такой ситуации люди могут подвергать переоценке и даже отвергать свои прежде незыблемые представления о прошлом. Это открывает возможность для альтернативных версий. Активисты и другие агенты памяти часто стремятся создать условия для переоценки прошлого. Они надеются преодолеть сопротивление людей альтернативным толкованиям, выдвигая на передний план забытые либо не получившие достойного освещения исторические события. И, как показывают недавние демонстрации вокруг памятников спорным и порой действительно обладающим дурной репутацией историческим деятелям, память, воскрешаемая активистами, может обрести силу, позволяющую превращать монументы из мест памяти в места общественной мобилизации.

Разумеется, что активисты памяти это лишь часть из разнообразных игроков, участвующих в процессе, который Верч именуется *национальным*

нарративным проектом. Этот проект сопровождается нескончаемым «нарративным поиском» (narrative quest), усилиями по примирению того, что есть, с тем, что должно быть. Национальные нарративные проекты отличаются от нарративных схематических шаблонов, которые задают основу для повествования о конкретных событиях, ограниченных временными рамками, вроде войны США против Великобритании в 1812 г. По мнению Верча, перспективным кандидатом на звание американского национального нарративного проекта выступает поиск «более совершенного союза», выражение, которое резонирует в национальном сознании с момента создания США, через годы Гражданской войны, вплоть до нынешней борьбы за права человека. Для России это может быть «духовная миссия», поиск русского идеала. Для Китая это возрождение Среднего царства после «столетия унижений». Я принимаю точку зрения Верча о том, что национальный нарративный проект направлен на достижение желанной цели в будущем, а нарративный схематический шаблон представляет рамку для интерпретации событий прошлого. Но при этом я не вижу сущностного различия между этими двумя понятиями. Так, борьбу за более совершенный союз вполне можно рассматривать в качестве нарративного схематического шаблона США, задающего рамку для понимания различных исторических событий. Подобным же образом мы можем рассматривать российский нарративный шаблон «Изгнание чужеземного врага». Верч обращается к нему, когда обсуждает беспокойство Солженицына по поводу разрушительного

влияния социализма, коммунизма и западного Просвещения. Но он также мог бы обозначить это беспокойство как эмблематическое выражение духовной миссии российского национального проекта. Нарративный схематический шаблон не только может служить как общая рамка для конкретных событий, но также может выполнять функцию национального нарративного проекта, воодушевляющего нацию.

Верч заканчивает свою книгу предложениями, как преодолеть цепкую хватку нарративных схематических шаблонов, глубоко сидящих в национальном сознании. Это позволило бы надеяться на ослабление национальных конфликтов, порождаемых непримиримыми различиями в видении прошлого. С учетом привлекаемого в его книге различения Систем 1 и 2 перспектива нахождения общей почвы не представляется особенно сложной. Надо всего лишь обратиться к Системе 2, и все будет если не прекрасно, то по меньшей мере намного проще. Ведь историки обращаются к Системе 2, когда пишут об истории. Можно же и обычных граждан сделать непрофессиональными историками, если найти способы, чтобы переключить их с Системы 1 на Систему 2. Подозреваю, что на практике сделать это совсем не просто. Обращаясь к различению систем мышления, предложенному Канеманом (*Kahneman* 2011), Верч, на мой взгляд, уводит в сторону от понимания важнейшей причины, по которой он и его русский коллега взаимно не могли принять интерпретацию бомбардировки Хиросимы, предлагаемую собеседником. Различие Канемана сосредоточено

на природе двух систем мышления: одна — автоматическая, избегающая усилий, другая — требующая усилий сознания. Но различные памяти Верча и его коллеги о том же событии объясняются не этим, а их национальными идентичностями. Они сопротивлялись интерпретациям друг друга, поскольку, приняв точку зрения оппонента, они причинили бы ущерб собственным — американской и российской — идентичностям.

В своей важной работе о социальной идентичности Генри Тайфел (*Tajfel* 2010) утверждает, что группа, к которой принадлежат люди, должна служить для них источником гордости и самоуважения. Хотя он специально не обращается к тому, как нации вспоминают и как это влияет на социальную идентичность, его рассуждения сводятся к тому, что людям необходима национальная память, благодаря которой они могут испытывать не только гордость за свою нацию, но и возрастающее самоуважение из-за того, что являются ее гражданами. Авторы недавней публикации (*Choi et al.* 2021) обнаружили, что люди без особых затруднений перечисляют и те исторические события, которыми гордятся, и те, за которые испытывают стыд. Но одно дело знать об этих позорных событиях и совсем другое дело включать их в национальный исторический нарратив, который носит положительный характер и порождает гордость и самоуважение. В этом свете неудивительно, что Верч отверг точку зрения своего коллеги, согласно которой Соединенные Штаты бомбили Хиросиму не с целью спасти жизни не только американских солдат и их союзников, но и даже самих

японцев, а чтобы послать угрожающий сигнал России. Кто будет испытывать гордость и самоуважение, будучи членом нации, которая убивает десятки, если не сотни тысяч лишь для того, чтобы подать сигнал геополитическому сопернику? Для того, чтобы поддерживать позитивный взгляд на собственную нацию, необходимо отвергнуть российское толкование этого события.

Эта потребность в преимущественно позитивном нарративе налагает тяжелую ношу на тех активистов памяти, которые пытаются выдвинуть на передний план национальной памяти события, вызывающие не столько гордость, сколько стыд. Психотерапевты, использующие в своей практике наработки нарративной психологии, стремятся оказать помощи клиенту в конструировании «хорошего» нарратива. У каждого в прошлом есть постыдные события либо преследующие его травмы. И хотя люди способны, когда их подталкивают к этому, перечислить подобные события, они тем не менее стараются преуменьшить их значение, вписывая стыд и травмы в такой нарратив, который позволяет видеть историю своей жизни в положительном свете.

Это справедливо и для событий национальной истории. Признание постыдных явлений и включение их в национальный нарратив представляет серьезный вызов естественному желанию продолжать гордиться своей страной. В последние годы многие американские активисты памяти подчеркивают болезненную необхо-

димость признать, что были времена, когда нация, порой даже с энтузиазмом, одобряла рабство. Активисты считают, что рабство должно быть перемещено с нынешнего второстепенного места в центр и во главу американского нарратива. Сложность состоит в данном случае не столько в признании постыдного прошлого. Например, в уже упоминавшейся публикации (Choi et al. 2021) отмечается, что когда американцы перечисляют постыдные исторические явления, то рабство занимает важное место в этом списке. Здесь, как и в случае автобиографических нарративов, проблема состоит в том, каким образом сконструировать нарратив, который бы признавал позорные страницы национальной истории и в то же время соответствовал бы идеям Тайфеля о необходимости гордости и самоуважения. Подозреваю, что недавний обзор американской истории «Проект 1619»¹ (Hannah-Jones, Elliot 2019), в котором рабству отведено центральное место, встретил серьезный отпор, в немалой степени потому, что многие американцы не нашли в нем исторического повествования, которое позволяло бы не только признать позорный факт рабства, но и давало бы возможность — в частности, белым американцам — гордиться своей историей и думать хорошо о себе в качестве потребителей этой истории (см. об этом, например, интервью с американским историком Джеймсом МакПерсоном (James McPherson): Mackaman 2019). Разумеется, создание такого нарратива не могло входить в задачу редакторов «Проекта 1619». Господствующий «белоцентричный» американский

¹ В 1619 г. первая партия африканских рабов прибыла в североамериканскую колонию Виргинию.

нарратив, на подрыв которого направлен «Проект 1619», заслуживает детальной критики, потому что он рассматривает многих американцев в качестве маргиналов. Но критики не предложили альтернативы, которая была бы «хорошей» для всех. Может, такого нарратива пока и не существует, но когда Верч обсуждает национальный нарративный проект, я вижу, что он пытается по меньшей мере обозначить направление для поиска исторического рассказа, который бы позволил чувствовать себя комфортно всем американским гражданам.

Нечто подобное должно наблюдаться и в других странах. В последние годы многие специалисты по исследованиям памяти отмечают, что памяти сегодня пересекают национальные границы, становясь транснациональными и космополитическими. Верч признает этот тренд, но тем не менее нация остается в центре его внимания. Возможно, это объясняется тем, что для многих их национальная память это единственное, что у них есть. Мы еще не создали «хороший» нарратив, с помощью которого представители разных наций могли бы вместе ощущать гордость и это укрепляло бы их самоуважение. Подобный «хороший» нарратив, который, например, позволил бы избавиться от несогласий, возникших между Верчем и его русским коллегой, вряд ли появится в скором будущем. Граждане различных наций, как убедительно продемонстрировал Верч, руководствуются различными нарративными схематическими шаблонами и различными нарративными проектами. Хотя задача по нахождению той или иной формы

примирения чрезвычайно сложна, я разделяю оптимизм, который служит «кодой» рецензируемой книги. Пути для преодоления разногласий, анализ которых составляет ядро этой книги, действительно существуют. В заключительной главе Верч предлагает несколько возможных решений. К счастью, люди будут читать эту книгу и смогут прислушаться к рекомендациям автора.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Burke 1998 — *Burke K.* Literature as equipment for living. In D.H. Richter, ed. // *The critical tradition: Classic texts and contemporary trends.* Boston: Bedford Books, 1998. P. 593–598. (First published in 1938)

Bruner 2003 — *Bruner J.S.* Making stories: Law, literature, life. Harvard University Press, 2003.

Choi et al. 2021 — *Choi S.Y., Abel M., Siqu-Liu A., Umanath S.* National Identity Can be Comprised of More Than Pride: Evidence From Collective Memories of Americans and Germans // *Journal of Applied Research in Memory and Cognition.* 2021. 10(1). P. 117–130.

Halbwachs 1980 — *Halbwachs M.* The collective memory (F.J. Ditter, Jr. and V.Y Ditter). New York: Harper Colophon Books, 1980. [First published in French in 1950.]

Hannah-Jones, Elliott 2019 — *Hannah-Jones N., Elliott M.N.* (Eds.). The 1619 project. New York Times, 2019.

Kahneman 2011 — *Kahneman D.* Thinking, fast and slow. Doubleday Canada, 2011.

MacIntyre 1984 — *MacIntyre A.* After virtue: A study in moral philosophy. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1984. (Second edition)

Mackaman 2019 — *Mackaman T.* An Interview with Historian James McPherson on the New York Times' 1619 Project // *World.* November 14, 2019.

Tajfel 2010 — Tajfel H. (Ed.). Social identity and intergroup relations (Vol. 7). Cambridge University Press, 2010.

Vygotsky 1986 — Vygotsky L.S. Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press, 1986. [edited by A. Kozulin].

REFERENCES

Burke K. Literature as equipment for living. In D.H. Richter, ed., *The critical tradition: Classic texts and contemporary trends*. Boston: Bedford Books, 1998. P. 593–598. (First published in 1938)

Bruner J.S. *Making stories: Law, literature, life*. Harvard University Press, 2003.

Choi S.Y., Abel M., Siqu-Liu A., Umanath S. National Identity Can be Comprised of More Than Pride: Evidence From Collective Memories of Americans and Germans. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 2021, 10(1). P. 117–130.

Halbwachs M. *The collective memory* (F.J. Ditter, Jr. and V.Y Ditter). New York: Harper Colophon Books, 1980. [First published in French in 1950.]

Hannah-Jones N., Elliott M.N. (Eds.). *The 1619 project*. New York Times, 2019.

Kahneman D. *Thinking, fast and slow*. Doubleday Canada, 2011.

MacIntyre A. *After virtue: A study in moral philosophy*. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1984. (Second edition)

Mackaman T. An Interview with Historian James McPherson on the New York Times' 1619 Project. *World*, November 14, 2019.

Tajfel H. (Ed.). *Social identity and intergroup relations* (Vol. 7). Cambridge University Press, 2010.

Vygotsky L.S. *Thought and language*. Cambridge, MA: MIT Press, 1986. [edited by A. Kozulin].

Дж. Верч

ОТВЕТЫ НА ЗАМЕЧАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДИСКУССИИ ПО ПОВОДУ КНИГИ «КАК НАЦИИ ПОМНЯТ: НАРРАТИВНЫЙ ПОДХОД»

J. Wertsch

RESPONSES TO COMMENTS ON HOW NATIONS REMEMBER: A NARRATIVE APPROACH

Прежде всего, я хочу поблагодарить Сергея Эрлиха, ученого и организатора, который собрал для участия в очень продуктивной дискуссии исследователей из России и США. Я всегда с удовольствием приезжал в Россию. В ситуации, когда это сделать затруднительно, мне приятно осознавать, что мы можем общаться по крайней мере виртуально, и я признателен Сергею за эту возможность.

Замечания участников дискуссии по поводу «Как нации помнят» подтолкнули меня к размышлениям в нескольких направлениях. Прежде всего, они напомнили, сколь динамичны и при этом разъединены современные исследования национальной памяти. Например, все еще продолжаются дебаты, действительно ли национальная память столь

сильно отличается от других форм коллективной памяти и отличается ли коллективная память от истории. Билл Хирст поднимает еще более фундаментальный вопрос, отмечая, что исследователи прилагают усилия с целью понять, как «памяти сегодня пересекают национальные границы, становясь транснациональными и космополитическими». Таким образом, ставится под сомнение обычное допущение, что национальная память играет ведущую роль в исследованиях памяти. Тот факт, что участники дискуссии являются вдумчивыми исследователями, означает, что любая попытка ответить на их замечания будет в лучшем случае отличаться неполнотой, поскольку дать на них исчерпывающий ответ — это, скорее всего, свыше моих сил. Но я попробую ответить.

© Дж. Верч, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-90-95

Несколько участников дискуссии задаются вопросом, приложим ли мой нарративный подход к другим формам памяти, таким как «память привычки» (*habit memory*), о которой Пол Коннертон писал в вышедшей в 1989 г. книге «Как общества помнят». В моей монографии я обращаюсь к этой проблеме в ходе обсуждения нарративных *привычек*. В исследованиях коллективной памяти ее воплощения и привычки часто противопоставляются языку. Но это противопоставление перестает быть непреложным, если мы переходим от языковых структур к живой речи. Понятие «привычки», на которое я опираюсь, является психологическим дополнением к используемому мной семиотическому понятию «нарративный шаблон», которое активно воплощается в дискурсе. Елена Рождественская обращает внимание на то, что существуют и другие формы практик памяти. Я согласен, что эта проблема требует дальнейшего обсуждения.

Замечания коллег также позволили мне лучше осознать, что мой подход к национальной памяти в значительной мере обусловлен моим личным опытом. Будучи на протяжении пятнадцати лет вице-канцлером Вашингтонского университета по международным отношениям, я не раз наблюдал диспуты между студентами из разных стран и пытался разрешить возникающее в их ходе взаимное непонимание. При этом я руководствовался тем опытом, который приобрел, живя в Москве в годы холодной войны. В результате этого значительная часть моих усилий как исследователя

и преподавателя начиналась с озабоченности конфликтным потенциалом национальных нарративов и памятей, а также тем, сколь загадочными и неподконтрольными сознанию они продолжают оставаться и в наши дни.

Поскольку я считаю такой подход продуктивным, то для меня важны были замечания по поводу того, что сосредоточенность на конфронтации, мнемоническом противостоянии и т.п. сузила поле моего исследования. Используя мои слова, Людмила Исурина напомнила, что «различные методы изучения национальной памяти порождают различное видение природы национальной памяти». Благодаря этим замечаниям я готов признать некоторую пристрастность моего подхода, выразившуюся, в частности, в том, что я начал первую главу с описания давнего спора с русским другом Витей по поводу атомной бомбардировки Хиросимы. Конфликтные взгляды на прошлое составляют сердцевину многих других случаев, рассмотренных в моей книге. Действительно, существуют другие исходные методологические положения при строительстве и исследовании национальной памяти. Например, можно взять в качестве отправной точки историю того, как нации занимаются поиском своей идентичности, не фокусируясь на мнемонических противостояниях.

Признавая это, я продолжаю считать, что изучение столкновений взглядов на прошлое позволяет нам выявить общие представления и нарративные шаблоны, стоящие за ними. Мы зачастую обнаруживаем скрытые

предпосылки наших воззрений только в момент, когда сталкиваемся с иными точками зрения, иногда разительно отличающимися от наших представлений. На протяжении многих лет я многократно встречался с рационально мыслящими и космополитически настроенными коллегами из других стран, которые поражали меня своими утверждениями по поводу того, «как на самом деле» происходили те или иные события прошлого. Благодаря этому я смог отказаться от части моих взглядов, о существовании которых у себя я до этих дискуссий даже не подозревал. Однако за использование этого метода приходится дорого платить.

Несколько замечаний по поводу мнемонической конфронтации позволили мне основательней задуматься по поводу концептуальных инструментов и методов, применяемых мной во второй главе. Необходимо отметить, что, рассматривая национальную память, прежде всего, с точки зрения конфронтации, мы можем упустить из виду другие дискурсивные моменты, присущие этой памяти. Более того, из-за этого может даже возникнуть представление о том, что национальная память противится изменениям, которые противоречат «процессуальному аспекту производства национальной памяти», упоминаемому Еленой Рождественской. Также, как отмечает Евгений Блинов, может возникнуть представление, что мой подход направлен против понятия «гибридизации» Бахтина. Короче говоря, моя сосредоточенность на конфронтации ставит в центр внимания то в национальной памяти, что является стабильным и сопротивляется изменениям и отодвигает

на второй план динамику нарративных форм, ведущую к согласованию и пересмотру взглядов.

Юлия Сафронова задается вопросом, каким образом я подбирал национальные нарративные проекты в качестве иллюстрации моей концепции. Поднимая этот вопрос, она выражает сомнение, может ли мой анализ, основанный на нескольких случаях, иметь универсальное применение, и справедливо отмечает, что мой выбор примеров основан в большей степени на моем биографическом опыте, чем на заранее сформулированных принципах. Это давнишний вопрос о методах изучения национальной памяти. Прежде всего, он затрагивает вопрос о том, относится ли мой подход к социальным наукам, имеющим универсальное применение, или же это гуманитарный проект, применимый лишь в некоторых, а то и в единственном случае. По моему мнению, в моей книге, как и в большинстве случаев изучения коллективной, в том числе и национальной памяти, содержатся элементы обоих подходов.

Я отдаю отчет, что такой ответ не устроит многих, но это пока все, что мы можем сделать при обращении к сложному явлению национальной памяти. Стандартный упрек взыскательных представителей социальных наук состоит в том, что методы гуманитариев, может быть, и интересны, но они основаны на столь незначительном числе случаев, что невозможно прибегать к обобщениям. Между тем не менее требовательные гуманитарии склонны считать, что методы социальных наук действительно приносят

удовлетворительные результаты при конструировании общих схем (patterns), основанных на больших массивах данных, но при этом они не представляют углубленного понимания этих схем. Я считаю, что лучшим решением является одновременное применение методов обеих наук, что позволяет взаимно обогатить представления двух отраслей научного знания.

Я предпринял такую попытку в четвертой главе моей книги «Как нации помнят», где я привожу данные исследования: Магдалена Абель, Шарда Уманат, Бет Фэйрфилд, Масанобу Таканаши, Хенри Л. Рёдигер III, Джеймс В. Верч. «Коллективная память о Второй мировой войне в 11 странах: Сходства и различия восприятия важнейших событий» (Историческая экспертиза. 2020. № 2(23). С. 19–42). Это исследование основано на очень простом по форме опросе, проведенном в одиннадцати странах, который тем не менее позволил зафиксировать удивительные шаблоны памяти. Особого внимания заслуживает разница между взглядами на Вторую мировую войну русских респондентов и представителей других десяти стран. Что происходит, когда Магдалена Абель, либо я, либо кто-то еще из нашего исследовательского коллектива представляет полученные результаты в США? В любой аудитории их находят удивительными и тут же начинают оживленно строить умозрительные предположения о том, что кроется за этими шаблонами. Это означает, что они ищут смысл, скрывающийся за этими количественными данными, т.е. испытывают потребность в качественном анализе.

Этого можно достичь разными способами. Я пытаюсь сделать это через понимание того, какие национальные нарративы и национальные шаблоны скрываются за схемами, обнаруженными нами в ходе опросов. Количественные подходы сообщают нам о существовании различных систем осмысления событий прошлого, но мало сообщают нам об их природе. В данном частном случае было бы затруднительно получить общую картину без количественных, хотя и не слишком фундаментальных данных. Но без нарративного анализа, которым пользуются гуманитарии, будет затруднительно осмыслить существующие количественные данные о мире концептуальным образом. И, наоборот, если мы рассматриваем незначительное число случаев, мы мало что сможем сказать по поводу каких-либо обобщающих утверждений и по поводу организующей силы, которой обладают нарративы в социальной и ментальной жизни.

В завершение хочу сказать по поводу важного вопроса, заданного Юлией Сафроновой, что, на мой взгляд, удовлетворительный ответ потребует сочетания качественных исследований отдельных случаев в сочетании с большим числом количественных данных, полученных путем опросов и другими способами. Разумеется, это не самый аккуратный и не совсем удовлетворительный с точки зрения методологи ответ, но это лучшее из того, что сегодня просматривается на научном горизонте. При этом ни в коей мере не исключаются чисто количественные и чисто качественные исследования, которые проверены временем и обладают несомненными достоинствами.

Как отметил Дмитрий Ефременко, когда мы полагаемся исключительно на количественные данные, используемые системным анализом и другими подходами, которые не придают значения интуитивным предположениям этнографических или нарративных исследований, мы можем прийти к серьезным, порой трагическим недоразумениям в попытке понять другие нации. В качестве свежего примера такого рода можно упомянуть фундаментальную неудачу США в попытке понять Афганистан. Я признателен Евгению Блинову за то, что он определил мои опыты как «рассуждение о методе», но в настоящее время я озабочен тем, что эта недостаточно упорядоченная методология все еще далека от тех высоких требований, которые подразумевает данное определение.

Анализ Максима Кирчанова, основанный на сериале «Звездный путь», приводит к таким наблюдениям, которые никогда не приходили мне в голову. Кроме того, в глазах моей жены, которая является большой поклонницей сериалов, мой социальный капитал после публикации Максима существенно вырос. Но Кирчанов не только придал юмористическое звучание нашей дискуссии. Он обратился к популярным медиа — наиболее могучей силе, которая в настоящее время формирует национальные нарративы. Эти медиа побуждают к упражнениям в духе Лотмана, когда новые значения возникают при переводе с языка одной культурной системы на язык другой. Некоторые высказывания героев сериала не только основаны на национальной памяти, но и расширяют наше понимание о ней. Когда Доктор гово-

рит: «Проблемы вашего общества — не мое дело. Я просто рассказываю что я видел 700 лет назад», — он затрагивает и углубляет наше понимание того, что любой из нас, включая профессиональных дипломатов, так любит утверждать: «Я высказываю не мнение, я говорю лишь о том, что реально произошло». Комментарии Юлии Сафроновой также касаются роли популярной культуры, и Людмила Исурина упоминает о своем нынешнем проекте, который не просто рассматривает медиа, но изучает, как национальные медиа России и США взаимно стравливают наши народы, что может привести к ухудшению отношений между ними.

В своих комментариях Майкл О'Хэнлон подчеркивает, что мы говорим о прошлом, которое не только не забыто, но которое в действительности прошлым не является. Для него национальная память выступает не столько объектом исследования прошлого в прямом смысле слова, сколько проблемой, угрожающей попыткам урегулировать споры в ходе переговоров и чреватой катастрофическими военными конфликтами. В данном случае речь снова идет о задаче задействовать разные национальные проекты таким образом, чтобы они могли взаимно сообщаться. Понятно стремление занять одну сторону в этом мнемоническом противостоянии, но наша неспособность довести идеи исследований памяти до сведения участников дебатов по поводу международных отношений не только препятствует их успеху, но и создает риски.

Подобные дискуссии указывают на самую важную и чрезвычайно

неприятную проблему национальной памяти: почему мы столь цепко держимся за наши представления о прошлом даже в тех случаях, когда они сталкиваются с опровергающими их фактами и когда они становятся на пути нашего понимания других коллективов? Елена Рождественская указывает на необходимость учитывать «аффективный и эмоциональный поворот» в исследованиях памяти, когда мы пытаемся ответить на этот вопрос. Она справедливо отмечает, что в моей книге этот аспект практически не затрагивается. Уильям Хирст предоставляет свои соображения по этой проблеме в своих комментариях по поводу гордости и самоуважения, которые опираются на классические работы Генри Тайфеля о социальной идентичности. Мы должны лучше понять данные вопросы, если стремимся

узнать, как память и помогает, и препятствует тому, чтобы, говоря словами Хирста, «переступить национальные границы».

Коллеги, принявшие участие в этой дискуссии, составили тем самым замечательную компанию. Многие из них еще довольно молоды, что предвещает прекрасное будущее исследованиям коллективной и национальной памяти в России. Я бы хотел, чтобы наша дискуссия продолжилась в будущем, надеюсь, что мы сможем увидеться либо в России, либо в США. Должен сказать, что ваши важные замечания предоставили мне много пищи для размышлений. Если мне доведется подготовить новое издание «Как нации помнят», можете быть уверены, что я включу в него ответы на поднятые вами вопросы.

ПУТЬ ИМПЕРИИ (К 300-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ). Интервью с С. А. Мезиным

Ништадтский мир (1721) положил конец Северной войне и ознаменовал начало двухсотлетнего имперского пути России. Особенности Российской империи, отношение иностранцев к имперскому статусу России, идеологическое обоснование этого статуса, цена империи для русского народа и обоснованность завоеваний — вот круг вопросов, которые поднимаются в интервью.
Ключевые слова: Петр I, Ништадтский мир, империя, внешняя политика России, руссика, просветители XVIII в.

Сведения об авторе: Мезин Сергей Алексеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России и археологии Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (Саратов).
Контактная информация: mezinsa@mail.ru.

THE PATH OF THE EMPIRE (TO THE 300TH ANNIVERSARY OF THE FORMATION
OF THE RUSSIAN EMPIRE). INTERVIEW WITH S. A. MEZIN

Peace of Nystad (1721) put an end to the Northern War and marked the beginning of the two-hundred-year imperial path of Russia. The peculiarities of the Russian Empire, the attitude of foreigners to the imperial status of Russia, the ideological rationale for this status, the price of the Empire for the Russian people and the validity of the conquests — these are the range of questions that are raised in interviews.
Key words: Peter I, the Nystad peace, Empire, Russian foreign policy, Russia, educators of the 18th century.

About the author: Mezin Sergey A., Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Russian History and Archaeology of the Saratov National Research State University (Saratov).
Contact information: mezinsa@mail.ru.

Беседовал Ю. Г. Степанов

© Историческая Экспертиза, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-96-105

Ю. С. Провозглашение Российской империи в 1721 г. совпало по времени с Ништадтским миром, победоносно для России завершившим Северную войну. Насколько прямой была связь между этими двумя событиями? Связано ли было провозглашение империи прежде всего с желанием закрепить результаты Северной войны, выход России к Балтике? А может быть, оно имело не только внешнеполитическое, но и внутривнутриполитическое измерение? Должно было увенчать весь комплекс петровских реформ, поставить в них своего рода финальную точку, подчеркнув тем самым завершившуюся трансформацию русского государства в некое иное качество и, соответственно, необратимость реформ?

С. М. Связь между завершением Северной войны и провозглашением Петра I императором очевидна. 30 августа 1721 г. в г. Ништадте в Финляндии был подписан договор, завершивший двадцатидвухлетнюю войну, «троевременную школу», как называл ее Петр I. Из этой «школы» Россия вышла победительницей, окрепшей в военном и экономическом отношениях. Договор закрепил за Россией не просто выход к Балтике, о котором мечтал царь, но и всю Восточную Прибалтику. Россия де-факто стала империей. По определению, империя — это государство, образовавшееся в результате завоеваний, со сложным этническим составом населения. Провозглашение Петра I императором юридически оформляло новую политическую реальность. Для того чтобы понять, какой смысл вкладывали в это событие его участники,

необходимо обратиться к документам эпохи. Поднося Петру I титул «Великого, Отца Отечества, Императора Всероссийского» 22 октября 1721 г., канцлер Гаврила Иванович Головкин говорил: «Токмо едиными вашими неусыпными трудами и руководством, мы ваши верные подданные, из тьмы неведения на театр славы всего света, и тако рещи, из небытия в бытие произведены и во общество политичных народов присовокуплены».

Современники видели заслугу Петра в первую очередь в том, что он сотворил новую Россию, сделал свой народ «политичным». Это польское слово близко по смыслу позже вошедшему в русский язык слову «цивилизованный». То есть новому титулу придавалось и очевидное созидательное значение. Заметим, что эту роль демиурга, творца отводили царю не только его русские сподвижники, но и европейские поклонники. Французский академик Фонтенель закрепил миф о «творце новой нации» в европейской общественной мысли, а Вольтер придал ему еще большую популярность.

Весьма показательна была и краткая ответная речь Петра. Он подчеркнул значение заключенного мира, традиционно сославшись на Божью помощь: «Надлежит Бога всею крепостию благодарить; однако ж, надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле, дабы с нами не так стало, как с монархией Греческою». Помышляя о «пользе и прибытке общем» и облегчении народа, царь, в полном соответствии с имперской идеей, призывал не забывать о войне и армии.

Что касается связи провозглашения империи с реформаторской деятельностью Петра I, то она не является прямой. «Регулярное государство» не обязательно должно быть империей.

Ю. С. Вы упомянули определение империи. Что современные авторы вкладывают в это понятие? Как оно соотносится с реалиями петровского времени?

С. М. В последние десятилетия историки много писали об империи, имперской идее применительно к России. Пожалуй, наиболее известное определение империи дал Доминик Ливен, выделив основные ее признаки. Немного упрощая, можно обозначить их следующим образом. Во-первых, обширная территория, во-вторых, многонациональный характер населения, третий признак — насильственный характер строительства государства, четвертый — военное могущество, стремление к региональному политическому доминированию, и, наконец, — культурное доминирование, цивилизующая роль по отношению к завоеванным народам. Два первых признака очевидны: Россия всегда поражала иностранцев необъятностью своих просторов и разнообразием населявших их народов. Что касается следующего признака, то понятно, что у жителей прибалтийских провинций, принадлежавших прежде Швеции, никто не спрашивал согласия на вход в Российское государство. Однако примечательно, что дворянству и горожанам этих провинций Петр сохранил их привилегии и права. Имперский, завоевательный характер внешней политики Петра I

стал проявляться уже в послеполтавский период. О чем ярко свидетельствовала, например, мекленбургская «импровизация» Петра I, когда он ввел русские войска в Мекленбург и, несмотря на протест большинства европейских государств, отказывался их оттуда вывести, а также его стремление закрепиться в Голштинии и Курляндии. Во время тяжелой войны царь говорил своим солдатам: «После трудов воследует покой». Эти слова зафиксированы в «Журнале Петра I». Однако не прошло и года после заключения Ништадтского мира, как Петр отправился в Персидский поход, начав таким образом бесконечную Кавказскую войну.

Что касается культурного доминирования, то ситуация здесь складывалась неоднозначно. Ставшей на путь европеизации России, я думаю, удавалось нести просвещение народам своих восточных окраин. Однако сама она приняла роль ученика по отношению к западноевропейской культуре, и западные соседи нередко посматривали на Россию свысока, памятуя о ее вчерашнем «варварстве». Это европейское высокомерие время от времени смирялось действиями русской армии.

Ю. С. Вы являетесь автором многих видных работ, посвященных французской россике и, в более широком плане, восприятию России в XVIII в. в Европе. Как было воспринято в Европе провозглашение Российской империи?

С. М. Европейские партнеры далеко не сразу признали императорский титул Петра и его преемников

на троне. На Россию многие в Европе смотрели как на непрошеного гостя, нарушившего привычный политический баланс, желаемое равновесие сил. Первыми, почти без промедления, новый статус русского царя признали Голландия и Пруссия. Для прагматичной республики Соединенных провинций Нидерландов, вероятно, это был не принципиальный вопрос, а королевство Пруссия сама была новым членом европейского политического концерта и стремилась изменить привычное доминирование Вены и Парижа. Священная Римская империя германской нации, которую мы условно называем Австрией, а также Англия со временем поняли, что союз с Россией выгоден им в политическом и экономическом плане. Может быть, наиболее показательна в отношении признания императорского титула позиция Франции. Думаю, что и Габсбургам было очень нелегко признать имперский статус России, ведь они считали себя единственными настоящими императорами Европы. Однако и Бурбоны, не имея императорского титула, не хотели признавать таковой за Россией. Тем более что отношения Франции и России традиционно складывались неблагоприятно. Тому была весомая причина: исторически сложилось так, что друзья Франции — Турция, Речь Посполитая и Швеция — были врагами России. Французские короли Людовик XIV (умер в 1715 г.) и Людовик XV относились к России неприязненно, с позиции культурно-политического превосходства. Правда, в конце правления Петра I намечилось некоторое потепление в русско-французских отношениях, но затем вновь наступило охлаждение в связи с заклю-

чением русско-австрийского союза в 1726 г. Сразу после смерти царя французский двор отверг кандидатуру Елизаветы Петровны в качестве невесты Людовика XV. Затем русские и французы скрестили оружие в войне за польское наследство в 1733-1734 гг. Дипломатические отношения были прерваны до 1739 г., когда в Россию прибыл в качестве посла маркиз де Ла Шетарди. Он принял активное участие в подготовке дворцового переворота, приведшего к власти Елизавету Петровну, и стал важной фигурой в ее окружении. Однако врагам Шетарди вскоре удалось доказать, что дипломат очень далек от интересов России и уважения к ее императрице. Это привело к высылке дипломата, а французскому правительству была направлена нота о его неподобающем поведении. Желая сгладить легкомысленное поведение своего посла, Людовик XV признал за Елизаветой Петровной императорский титул в начале 1745 г. А далее Россия и Франция даже стали союзниками в Семилетней войне, однако французы были, конечно, не очень довольны тем, что Петр III заключил сепаратный мир с Фридрихом II. При Екатерине II французские дипломаты затеяли спор о ее императорском титуле, заявляя, что обращение «Votre Majesté Impériale» противоречит нормам французского языка, дескать, достаточно «Votre Majesté». Этот спор длился ни много ни мало десять лет и закончился компромиссом: титул французы стали писать на латинском языке.

Новое имперское положение России наследникам Петра пришлось подтверждать и доказывать с помощью военной силы. Россия доказала

свое влияние на Речь Посполитую в войне за польское наследство, а затем французские дипломаты взяли реванш, выступив посредниками в заключении Белградского мира 1739 г., свели почти на нет всю кровавую работу русской армии в русско-турецкой войне 1735–1739 гг. Россию не признали полноправным участником войны за австрийское наследство в 40-х гг. XVIII в., но в Семилетней войне Россия подтвердила свой статус великой державы. Он безусловно укрепился при Екатерине II, которую называли не только «самой яркой звездой Севера», но и «самой драчливой бабой Европы». Если в 1726 г. французский двор отверг кандидатуру российской невесты для Людовика XV, то в 1810 г. русский двор посчитал неприемлемым брак одной из сестер Александра I с «корсиканским чудовищем», принявшим титул императора французов. Замечу только, что это гордое величие было оплачено кровью сотен тысяч русских солдат.

Ю. С. Как потом в полувековой перспективе рассматривали образование Российской империи французские просветители? Одна из ваших работ называется «Дидро и цивилизация России». Была ли Россия для Дидро и людей его круга частью Запада или же некой иной цивилизацией?

С. М. Французские просветители по-разному оценивали образование Российской империи и рост ее могущества. Вольтер восхищался гением Петра I, оправдывал все его завоевания, хотя и не идеализировал личные качества царя. Он был историком Петра, автором трех сочинений,

в которых Петр выступал главным героем. Самый известный писатель Европы, он был идейным союзником России в Семилетней войне и радовался победам Екатерины II над Турцией, считая, что Россия несет свет просвещения на Восток. Диаметрально противоположной была позиция Ж.-Ж. Руссо, который называл могущество России эфемерным и предрекал скорое падение Российской империи: «она сама будет покорена татарами». Ж.-Ж. Руссо был демократом и полонофилом, что определяло его отношение к Российской империи. Более сложным было отношение к России Д. Дидро. Иной цивилизацией он ее, конечно, считать не мог, ибо цивилизационную теорию в XVIII в. еще не создали. Просветители круга Дидро считали путь цивилизации, т.е. переход от варварства к просвещенному состоянию, единым для всех народов. Он полагал, что просвещенный монарх может лишь содействовать продвижению по этому пути, и возлагал определенные надежды на Екатерину II. Дидро никогда не восхищался никакими завоеваниями. Он полагал, что Россия с ее малой плотностью населения должна особо бережно относиться к крови своих подданных. Он даже предлагал (наверное, многие патриоты возмутятся) отказаться от некоторых наиболее удаленных и дорогостоящих завоеванных провинций. В установленной Петром I императорской власти Дидро явно видел деспотические черты.

Ю. С. Превращение российской государственности в новое качество требовало определенного идейного обоснования. Какое преломление нашла имперская идея в российской

идеологии той и последующих эпох? Русская мысль воспринимала установление российской империи как разрыв с прошлым или отмечала в этом акте некоторую преемственность, т. е. наполнение идеи «Третьего Рима» и других допетровских идеологом неким новым содержанием?

С. М. Начнем с последней части вопроса, будем следовать хронологии. Идея империи не была чужда правителям Московской Руси. Царский титул в глазах его носителей был равен императорскому. Само слово «царь» восходило к римской традиции: цезарь, кесарь. (Кстати, в это очень не хотел верить Вольтер, который, вопреки утверждениям русских академиков, уверял, что это слово татарское или даже персидское.) Царями в Древней Руси называли византийских императоров и монгольских правителей. Иван Грозный, официально принявший царский титул, попрекал европейских монархов в «худородстве» и вел свой род от римского императора Августа, от «Августа-кесаря». Папский посол Антонио Поссевино соблазнял Ивана IV титулом восточного императора в обмен на принятие католичества. В ряде случаев западные соседи в дипломатических посланиях называли московских царей императорами. Этот титул с молодых лет применяли и к Петру I. Яркий пример тому — «Письмо о современном состоянии Московии» — малоизвестный источник, опубликованный в 1699 г. в Амстердаме при участии тамошнего бургомистра Николааса Витсена. Я подготовил публикацию «Письма» в переводе с французского языка для сборника «Век Просвеще-

ния». Это сочинение было написано сразу после завоевания Петром I Азова. Автор трактовал это событие как знак продвижения России на Восток, утверждал, что на берегах Азовского и Каспийского морей Россия будет играть цивилизаторскую роль.

Именованье Петра I императором было столь распространенным, что во время визита царя в Париж в 1717 г. Министерство иностранных дел Франции распространило специальную записку, в которой подданным короля запрещалось называть русского гостя «императорским величеством».

По большому счету переход от царского титула к императорскому не изменил высокого ранга российского монарха, а лишь приобщил его к современной европейской традиции. Как заметила Ольга Гениевна Агеева (крупнейший знаток российских имперских церемоний), Петр I не короновался заново, а лишь принимал обновленный титул. Обращаясь к самой церемонии принятия титула в Троицком соборе Санкт-Петербурга 22 октября 1721 г., можно заметить, что она опиралась на европейскую, римскую традицию. Сенат «именем всего всероссийского государства подданных, просил принять титул Отца Отечества, Петра Великого, императора всероссийского». Конечно, всех подданных никто не спрашивал, но сенаторы представили это как глас всего народа.

Как видим, титул был персональным. Петр I передал его своей супруге Екатерине с помощью специальной коронации, состоявшейся уже в 1724 г. А в 1721 г. церемония в сущности была простой: в Троицком соборе

зачитали мирный договор со Швецией, Феофан Прокопович произнес проповедь, канцлер Головкин выступил с краткой речью, Петр ответил еще более кратким словом. Сенаторы, а затем все присутствующие троекратно прокричали «виват!». Колокольный звон, ружейные выстрелы, пушечные залпы с галер, стоявших на Неве, продолжили действие, которое, конечно же, завершилось пиром и балом, а затем фейерверком. Причем фейерверк тоже отсылал к древнеримской традиции: два воина закрывали врата храма Януса в знак наступившего мира. Историк восемнадцатого века И. И. Голиков, кстати, один из моих героев, первым описал церемонию коронации и восторженно называл все происшедшее «позорищем наивосхитительнейшим». А. С. Пушкин в набросках к «Истории Петра» более трезво оценил происходившее событие. «Петр, — по его словам, — недолго церемонился и принял титул. Сенат, то есть восемь стариков, прокричали “виват”. Петр отвечал речью гораздо более приличной и рассудительной, чем все это торжество». Феофан Прокопович, Феодосий Яновский, Петр Павлович Шафиров и прочие петровские идеологи, конечно, постарались дать этой церемонии «теоретическое» обоснование, эксплуатируя идею «общего блага» и превознося безмерно личные заслуги царя. Однако должен заметить, что концепция «Третьего Рима», отзвуки которой с легкой руки Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского находят в идеологии Петра I, вовсе не была близка ни царю, ни его идеологам. При этом мы знаем, что царь неоднократно указывал на отрицательный опыт византийской государственности, что прозвучало даже

в его ответной речи 22 октября 1721 г. С византийской имперской традицией связал принятие императорского титула, а также и основание Петербурга, известный «баснословец» Петр Никифорович Крекшин, претендовавший на роль первого биографа Петра. Но это был маргинальный, архаичный по своим взглядам автор в контексте русской общественной мысли XVIII в.

Ю. С. Что же означал для России путь империи? И каким он был?

С. М. Путь империи для России был очень непростым. Жизнь империи требует постоянного напряжения сил населения и подтверждения своего превосходства над соседями, она предполагает неустанное раздувание культа правителя. Позволю себе процитировать стихотворение Иосифа Бродского из цикла «Письма римского друга», построенное на древнеримских ассоциациях (и не только!):

Если выпало в Империи родиться,
Лучше жить в глухой провинции
у моря.
И от Цезаря далеко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить,
торопиться.
Говоришь, что все наместники —
ворюги?
Но ворюга мне милей, чем
кровопийца.

Наверное, жителям глубинки империя дает некий покой, стабильность или их видимость. Вспомним еще М. Ю. Лермонтова: «И полный гордого величия покой». Однако за этот покой империя платит кровью. Путь империи — это путь войны. Давайте вспомним, какие правители

императорской России не вели войн? Если не считать очень коротких правлений царственной «портомой» Екатерины I и императора-подростка Петра II, то остается только один император — Александр III, получивший почетное титло миротворца. Хотя и он в первые годы царствования вынужден был завершать начатое еще его отцом Александром II присоединение к империи Средней Азии.

Можно вспомнить, что в бытность великим князем будущий император Павел Петрович оставил даже специальную записку, в которой говорил, что России не следует воевать, а нужно лишь заботиться об охране своих границ. Но, встав на престол, он послал войска не только в Италию, но и в поход на Индию. И, кстати сказать, с детства перед картиной В.И. Сурикова у меня возникал вопрос: что делал Суворов со своими «чудо-богатырями» в Италии и в теснинах Альп? За что боролся? Понятно, что империя легко посылала русских солдат куда угодно для утверждения своих милитаристских амбиций.

Как ни странно, наибольшим воителем в русской истории оказался Александр I. Мы можем вспомнить нашего общего учителя Николая Алексеевича Троицкого, который напоминал об этом факте и своим студентам, и своим читателям. В недавно вышедшей посмертно книге «Наполеон Великий» он вновь указывает, что с 1805 по 1815 г., за одиннадцать лет, Александр I провел одиннадцать войн, причем вел по несколько войн одновременно. И это при том, что Александра Павловича в семье называли ангелом и памятник ему — Александровская колонна — увенчан

фигурой ангела. Но меня больше поражают не эти сухие цифры, а некоторые описания в книге Николая Алексеевича. Он любил и умел ярко живописать войну. В битве при Аустерлице «отброшенные к полузамерзшим прудам русские войска пытались спастись на льду и тонули там целыми полками, ибо Наполеон, державший в своих руках все нити боя, приказал своей артиллерии бить ядрами по льду». И далее приводятся страшные подробности, как люди и лошади бились на середине пруда с наступающим льдом, тонули, умирали тысячами. Каждое из сражений в коалиционных войнах, в которых Россия участвовала, уносило жизни десятков тысяч русских солдат. Англичане буквально кораблями подвозили деньги и снаряжение, а русские поставляли пушечное мясо.

Возвращаясь к петровскому времени, можно заметить, что на европейской арене Россия, по сути дела, заменила Швецию, претендовавшую с начала XVII в. на роль империи. Петр I прервал эту попытку Швеции. Как считает шведский историк П. Энглунд, написавший книгу о Полтавской битве, шведы в определенной степени должны быть благодарны Петру I за то, что он лишил их имперских амбиций: Швеция стала «нормальной» страной, направила все ресурсы на внутреннее развитие, на благо своих жителей и достигла на этом пути немалых успехов. Россия, выбрав путь империи, имела другую перспективу.

Ю. С. Сегодня насколько значимым считают это событие (установление империи) историки, занимающиеся XVIII в.?

С. М. Конечно, это важное событие именно в большой исторической перспективе. Правда, особого ажиотажа по поводу юбилея империи я среди коллег-историков не заметил. Пока попала на глаза лишь одна статья в журнале, издающемся «под высоким патронажем». Я полагаю, что в рамках более значимого, на мой взгляд, юбилея победоносного завершения Северной войны появятся интересные статьи на темы, связанные с этим событием. Уже планируются конференции, посвященные Северной войне и Ништадтскому миру. Наверное, появятся сборники и тематические выпуски журналов, где будут представлены и имперские сюжеты.

Ю. С. Создаются ли какие-то мифы публицистами, близкими к власти историками, которые заняты поиском имперских традиций в российском прошлом?

С. М. Я не очень слежу за всеми идеологическими изгибами современной российской политики. Однако нельзя не обратить внимания, что рассуждения о национальных интересах России, простирающихся до Ближнего Востока и до Африки, могут рождать некие ассоциации с имперской политикой Петра I, который, как известно, ходил в поход на Персию, мечтал об открытии путей в Индию и даже планировал создать русскую колонию на Мадагаскаре.

Строго говоря, империя — понятие историческое. Время классических империй закончилось, но ложно понятый патриотизм побуждает некоторых коллег поднимать на щит милитаристские традиции империи.

Ю. С. Имперская идея очень стара, но ее наполнение и интерпретация постоянно менялись. Священная Римская империя претендовала на римское наследие, ведущую роль в судьбах христианской Европы, ее сменила наполеоновская империя, претендовавшая на объединение Европы вокруг идей, рожденных французской революцией, империя Наполеона III в период своего рождения ставила задачу объединить расколотую нацию вокруг власти, которая обеспечивает социальную справедливость. Какую империю строил Петр Великий?

С. М. Петр Великий строил Великую Россию, которая должна прийти на смену Московии или Святой Руси. То есть он строил совершенно осознанно новую европейскую страну, «политичную», сильную в военном отношении и страшную своим врагам. В этом был элемент утопии: Петр хотел, чтобы его подданные поступали как свободные и предприимчивые европейцы, но в условиях крепостничества и самодержавия.

Ю. С. Сергей Алексеевич, вы процитировали описание Н. А. Троицким страшной сцены гибели десятков тысяч русских солдат в битве при Аустерлице. И это далеко не единственный случай в русской истории XVII–XIX вв. Какова цена, которую, с вашей точки зрения, заплатила империя за то, что люди были расходным материалом для «победного марша империи»? Насколько это было обосновано и оправдано?

С. М. Вопросы о цене империи, цене реформ и обоснованности военных потерь относятся к самым трудным.

Прямолинейные государственники предпочитают таких вопросов не ставить. Конечно, мудрый правитель и дальновидный полководец должны думать о сбережении народа и сохранении жизней солдат. Вместе с тем нельзя не видеть, что выйти с мировых «задворок» и занять место среди европейских государств Россия могла только военным путем. Петр I и вслед за ним Екатерина II вели наступательную, завоевательную политику. Однако можно ли осуждать их за стремление выйти к естественным морским и горным границам, если на протяжении предыдущих веков в результате набегов миллионы русских пленных уводились в Крым, на Кубань, в предгорья Кавказа и продавались на рабских рынках Средиземноморья? Это была постоянная опасность! В 1717 г. крымские и кубанские татары совершили поход в саратовское Поволжье, дошли до Пензы, увели в плен более 12 тысяч человек (это больше, чем все население Саратова того времени). Последний набег крымских татар был отбит в 1769 г.

И все-таки существует тонкая грань между необходимой обороной и стремлением к расширению империи и ее влияния. В последнем случае «слава, купленная кровью», меня, как и Лермонтова, не прельщает.

Ю. С. Сергей Алексеевич, понятно, что в Римской империи доминирование над окружающими народами обосновывалось с позиций римлян как господство над варварами, в том числе и культурное доминирование. Но Российская империя едва

ли могла сказать это в отношении поляков, западных украинцев и западных белорусов, прибалтийских народов, раньше русских воспринявших некоторые принципы европейской цивилизации. Не является ли особенностью Российской империи то, что в ее состав были насильно включены народы, которые в культурном отношении стояли выше, чем коренное население России?

С. М. Неоднородность культурного развития была характерна для Российской империи. Уже Петр I, кажется, осознал разницу в отношении к русской власти, например, жителей Риги и горцев Дагестана. Но дело еще и в том, что большой культурный разрыв существовал внутри самого русского общества. Российская европеизованная элита к концу XVIII ст. ни в чем не уступала образованным полякам или украинцам, но оказалась бесконечно далека от собственного крестьянства. Русские цари даровали особые права прибалтийским провинциям, конституции Польше и Финляндии, но не торопились «облагодетельствовать» подобным образом великорусское население. Эти меры препятствовали консолидации народов. Екатерина II пыталась сгладить эти различия и унифицировать управление национальными окраинами, однако последовательно проводить объединяющую политику русская власть не смогла, скатываясь подчас к насильственной русификации. Все это создавало проблемы для империи, которая оказалась не вечной... И конец ее ознаменовался кровавой Гражданской войной.

«ЭПОХА “ВЕЛИКИХ РЕФОРМ” ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ — ЭТО ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ И ОФОРМЛЕНИЯ ТОГО ЯЗЫКА ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ, КОТОРЫМ ВО МНОГОМ МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ ДО СИХ ПОР» (К 160-ЛЕТИЮ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА).

Интервью с А. А. Теслей

Интервью с А. А. Теслей посвящено эпохе Великих реформ и личности царя-реформатора Александра II. В интервью показаны трансформации места и значения Великих реформ в исторической памяти и мемориальной политике, выделены перспективные пути развития научных исследований. Собеседники обсудили особенности интеллектуальной атмосферы в годы правления «царя-освободителя» и причины разочарования части общества в реформаторском курсе.

Ключевые слова: Александр II, Великие реформы, отмена крепостного права.

Сведения об авторе: Тесля Андрей Александрович, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, научный руководитель (директор) Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград).

Контактная информация: mestr81@gmail.com.

“THE ERA OF THE ‘GREAT REFORMS’ IS THE TIME WHEN THE PUBLIC SPHERE APPEARED AND THE LANGUAGE OF PUBLIC THOUGHT WAS FORMED THAT WE STILL USE TODAY” (ON THE 160TH ANNIVERSARY OF THE EMANCIPATION EDICT). INTERVIEW WITH A. A. TESLYA

The interview with A. A. Tesley is devoted to the era of the Great Reforms and the personality of the tsar Alexander II. The interview shows the transformation

of the place and significance of the Great Reforms in historical memory and memorial politics, and highlights promising ways of developing scientific research. The interlocutors discussed the peculiarities of the intellectual atmosphere during the reign of the “emperor-emancipator” and the reasons for the disappointment of part of society in the reformatory course.

Key words: Alexander II, The Great Reforms, The Emancipation Reform of 1861 in Russia.

About the author: Teslya Andrei A., PhD in Philosophy, Senior Research Fellow, Scientific Director Research Center for Russian Thought, Institute for Humanities, Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad)

Contact information: mestr81@gmail.com.

Беседовал А. Т. Урушадзе.

Урушадзе Амиран Тариелович, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге

А. У. Является ли эпоха Великих реформ актуальным прошлым?

А. Т. Мне кажется — да, более чем.

Понятно, что ушла актуальная в 1990-е попытка найти в той эпохе некое «правильное прошлое», образцовое время — после которого «все пошло не так», но где на короткий момент реализовалось движение в истинном направлении. И в свою очередь та попытка была прямым наследием либеральной историографии — правда, с большим акцентом на культ «царя-освободителя», где сказывалась и монархически-сентиментальная установка о потерянной России.

Актуальность этого рода довольно быстро уходила — она скорее наследие перестройки, в 1990-е стремительно возрастает интерес к сильным фигурам авторитарной модернизации, от Витте к Столыпину и даже Коковцову. Разумеется, это не о строгой последовательности — тот же интерес, а где-то и культ Витте — это уже рубеж 1980–1990-х, но в той перспективе он выступает скорее

своеобразным наследником Великих реформ. Наследником двояким — сначала в плане капиталистического переустройства страны, индустриализации, а затем — движения к представительному правлению. Как Столыпин окажется в 1990-е мечтой о сильной исполнительной власти — и в то же время думском ораторе, политике, взаимодействующем с партиями, но не подчиняющемся им (а скорее — подчиняющим их).

Эпоха Великих реформ в том звучании — будет прежде всего историей о свободе, освобождении и о более или менее успешных реформах, то ли образце, то ли обнадеживающем примере для современности. И история об отказе от этого пути, сворачивании реформ — который в итоге привел к катастрофе революции и т. д.

Актуальность этой же эпохи для последнего десятилетия, как мне представляется, сильно сместилась — в вопросы о том, почему реформы оказываются приостановленными, почему империя так и не приобретает общего представительного органа, почему — вроде бы пусть и с

замедлением, но двигаясь по более или менее общему пути с ближайшими соседями — Австрийской империей и Пруссией / Германской империей, она в итоге к 1880-м гг. оказывается единственной европейской державой без конституции — при том, что по ее же инициативе конституция оказывается дарованной Болгарии, почему сословная система так и остается в силе и не возникает универсального гражданского-правового статуса, почему гражданский кодекс так и не может быть принят, а в ситуации Великих реформ его идея оказывается на задворках и т.д. Но в первую очередь — это актуализация проблематики радикальных/социалистических движений. И отчуждения общества от власти, возникновения начинающей казаться чуть ли не вековой дихотомии «власть и общество», в их взаимном то ли противостоянии, то ли глухоте.

А. У. А мне думается, что сегодня актуальность времени Александра II и Великих реформ заключается именно в контексте истории российской свободы. И дело не в правильности курса Александра II, способностях либеральной бюрократии и возвращении на европейский путь развития. Совершенно согласен, что подобная актуализация памятник историографической, а по большей части публицистической мысли. Но ведь реформы оказались не только государственным делом, они позволили обществу перейти к новым стандартам свободы и ответственности. Земства, состязательные суды, опыт общественно-политической гласности — все это создавало воз-

можности обсуждения действий власти (от «буржуазной публичности» к «политической общественности») и расширяло пространство самоуправления. И здесь интерес смещается от оценки эффективности государства к формам самоорганизации общества, развитию его правосознания, устойчивости и хрупкости общественных стереотипов, подвижности границ социальной девиации. Об этой стороне Великих реформ мы, кажется, знаем очень мало.

А. Т. Да, с этим — во многом согласен. Но я бы еще подчеркнул, что это — очень короткое, быстрое время: т.е. говоря о новых реальностях самоорганизации, общественной деятельности и т.д. — о самосознании действующих лиц — важна более длинная история, 1880-х — начала 1900-х гг. Совсем спрямляя — эпоха Великих реформ прежде всего время сдвига, неопределенности, сумятицы — особенно если говорить о «шестидесятых», когда все движется «в тумане» (и здесь не будет особенной разницы между «властью» и «обществом»). То есть интерес к этой эпохе — взятой в коротком времени — скорее интерес к поискам, от языка и форм выражения своих стремлений, своего понимания (как, например, подаваемые на высочайшее имя адреса) и вплоть до форм самоорганизации.

А. У. Годы царствования Александра II в основном связываются с реформами. Это помогает или мешает нам увидеть Россию 1860–1870-х гг.?

А. Т. Я здесь буду блондинкой — и отвечу: «пятьдесят на пятьдесят».

Любой фокус зрения что-то высвечивает и что-то уводит за пределы зримого. В случае с реформами очевидно, что они — огромная и очень важная часть эпохи.

Когда только начал отвечать на этот вопрос, то сразу же хотел сказать: «картины эпохи». И здесь, мне представляется, другая часть проблемы — более или менее произвольное господство оптической метафоры, попытка нарисовать — или собрать, если использовать метафору мозаики, единую картину или хотя бы несколько картин.

Акцент на реформах, например, выводит в своего рода полуслепую зону 1870-е, что особенно заметно в плане истории общественной мысли, делает значительную часть 60-х своего рода эпилогом к «шестидесятым» в расхожем смысле, т.е. до караковского выстрела. Как становится не то чтобы заметным — но, думается, не вполне проанализированным — возврат дворянства в русском общественном движении и общественной мысли в 1870-е, когда, например, ключевые фигуры народничества и т.д. — вновь приходят из дворянства (и на процессе первомайцев это прозвучит как фиксация наличного положения вещей — с надеждой, упованием на приход других, кому дворяне торят дорогу). Ведь именно в это время возникает, у Михайловского, само понятие «кающегося дворянина» (при этом именно в режиме самоописания).

Другой очевидный момент — протекание процессов в разной длительности. И пространственной разграниченности — и взаимосвязи. Так,

например, вновь обращаясь к интеллектуальной истории — во многом за скобками оказывается до сих пор история разнообразных «областнических» теорий и движений, а ведь в этом плане московское славянофильство начала 60-х гг., украинофильство (прежде всего петербургское, вокруг журнала «Основа») и, например, сибирское областничество тех же лет — части одной истории.

То, что во многом сохраняется — по множеству факторов, начиная с логики источников — это взгляд из центра и взгляд, ориентированный на царствования. Понятно, что можно назвать целый ряд работ, в том числе и уже вполне не новых, которые описывают историю иначе или описывают иную историю — начиная, например, с того, что во многом «оттепель» начинается уже на самом исходе царствования Николая I, — или, например, выдающуюся работу Михаила Долбилова о северо-западных губерниях в эпоху Александра II. Но здесь вновь приходится возвращаться к визуальной метафоре и общему разговору — что эти многочисленные и очень важные темы и сюжеты оказываются если и не отсутствующими, то включенными как маргиналии в общее повествование о 1850–1970-х гг. И здесь вопрос, на который нет готового ответа — какие есть варианты, какие возможности построения другого общего повествования об этом времени?

А. У. Любая картина продиктована источниками. И мы совершенно точно видим время Александра II как большой перелом, видим его таковым в правительственных проектах и обсуждениях элиты.

Но насколько интенсивно это время переживалось и воспринималось реформационным за пределами столиц и губернских городов? Волю крестьяне ждали давно, многие считали, что ее объявил еще Александр I, но вот только помещики скрывали. Было бы очень интересно посмотреть на это в микроисторической перспективе.

А. Т. Микроисторическая — да, открывает массу возможностей — и сразу же можно сказать, на уровне очевидностей, что будет очень разная картина и географически, и в зависимости от того, о ком идет речь — об уездных мелких помещиках, о низовой администрации, о государственных крестьянах и проч. «Реформы» ведь — именно как некое более или менее целое — это и есть объект, возникающий при определенном способе рассмотрения, реконструкции логики действий центра. Для множества действующих на других уровнях субъектов это целое — вне фокуса, не становится предметом рассмотрения/реконструкции, реакция или взаимодействие — относится к конкретным мерам, действиям и проч.

Но, возвращаясь к «обществу» — столицам, губернским и отчасти уездным городам — интересен куда более ограниченный вопрос: как выстраивается «будущее», насколько можно более или менее конкретно реконструировать разные образы «реформ», что под ними понимается и чего от них ждут.

А. У. Принято считать, что поражение в Крымской войне стало спусковым механизмом Великих реформ. Как вы относитесь к этому тезису?

А. Т. Во многом — разделяю. Поскольку ход и итог войны создают широкий консенсус — о необходимости перемен. Начиная с перемен во внешней политике — ведь империя фактически оказалась близка к ситуации международной изоляции — и во внутренней. Здесь показательно, что со своими критическими записками обращаются вслед за Погодиным, первую записку подавшим фактически с санкции императора, все новые и новые — вплоть до Валуева, пишущего «Думу русского...». И что важно — на время исчезает сколько-нибудь идеологически обоснованная консервативная позиция, оппоненты изменений лишь высказывают конкретные опасения — у них нет возможности утверждать существующее положение вещей как не требующее перемен, у позиции, согласно которой в целом все правильно — и нужны лишь отдельные поправки по частным вопросам в рабочем порядке — нет идейной силы. Консервативные позиции разного плана затем начнут отстраиваться — но уже на новой основе, ближе к рубежу 1850–1860-х гг.

А. У. История Крымской войны очень интересна тем, что ее не пытались представить как победу, триумф. Это ведь было вполне в духе времени. В 1845 г. кавказский наместник Михаил Семенович Воронцов предпринимает Даргинскую экспедицию против горцев имама Шамиля. Страшные потери (только генералами трех потеряли) и никакого результата. Но официально все это представлялось как грандиозный успех. Официозные газеты трубили о решающей победе, офицеры получили награды и повышения,

солдаты денежное вознаграждение. С Крымской войной такого не проделывали.

А. Т. Думается, здесь не было подобной попытки именно в силу не только очевидности поражения, но и неожиданности. Очевидность — уже в силу территориальных потерь по Парижскому миру. Неожиданность — контраст ожиданий и риторики 1853 — начала 1854 г. — и реальности 1854–1855 гг.

Пропаганда сильно модифицировалась — делая акцент на подвиге, трагической героике — где центральным эпизодом делается Севастополь. Здесь и тема моральной победы — солдат и офицеров. И элементом этого утверждения становится серия празднований, торжественных встреч «севастопольцев», самая яркая из которых — московский прием, где соединяются власти и самые разные московские круги.

А. У. 1860-е известны как годы гласности. Кого из российских публичных интеллектуалов можно назвать наиболее популярным и влиятельным?

А. Т. Здесь интересный вопрос, поскольку популярность и влиятельность для публициста в это время довольно сильно различаются, т.к. влиятельность связана с той аудиторией, к которой обращается данный публицист и где к нему прислушиваются. Она может быть малочисленной, но влиятельной — и тем самым и публицист имеет влияние. Так, например, голос Ивана Аксакова значим в том числе и потому, что к нему прислушива-

ются на женской половине императорского двора — что укрепитя после брака с фрейлиной императрицы Анной Федоровной Тютчевой, воспитательницей младших детей императорской фамилии. Мария Александровна, после замужества за герцогом Эдинбургским, в каждый приезд в Россию будет видеться со своей бывшей наставницей, голос Аксакова и его круга будет иметь большое значение для двора императрицы — а тем самым и через это влиять на правительственную политику (так, во многом именно с дамским влиянием — и московской общественной атмосферой — военный министр Милютин будет связывать кремлевскую речь Александра II, фактически сделавшую неизбежным вступление Российской империи в войну с Турцией в 1877 г., речь, которая оказалась неожиданностью как для Милютина, так и для по крайней мере ряда других министров государя).

Другой ракурс — это влиятельность в тот момент или в дальнейшей перспективе, изменение масштабов и репутаций (как вырастет, например, фигура Ап.А. Григорьева).

Но говоря в целом — и в рамках того времени, все, на мой взгляд, довольно предсказуемо. С одной стороны, это фигура Каткова (и Леонтьева), решительно набирающая вес с 1856 г., начала издания «Русского вестника». Его «звездный час» придется на 1863 г. — с начала года он получит в аренду «Московские ведомости», а уже в конце января — в феврале обратит на себя общее внимание своей решительной позицией в ситуации польского восстания.

С другой — лагерь радикальных публицистов, прежде всего Чернышевский. И плеяда меньших авторов, так или иначе с ним связанная — от Добролюбова до Антоновича. На конец 1860-х придется сложная перекомпоновка этой части публицистики, когда возникнет новая редакция «Отечественных записок» — знаковые авторы прежнего «Современника», как тот же Антонович или Пыпин, окажутся за ее пределами, а с другой стороны — войдут те, кто ранее принадлежал скорее к благосветловскому кругу, прежде всего Писарев. Позже в журнал войдет Михайловский, который с начала 1870-х станет самым заметным из молодых авторов этого круга — при этом показательно, что «молодость» его более чем условна, он того же поколения, что и Писарев и Антонович: здесь речь скорее о смене тем и сюжетов, о том, что 1860-е уходят — и начинается новая проблематика 1870-х, в том числе связанная с темами этики, с новыми философскими интересами и т. д.

Для начала эпохи — времени с 1856 и до начала 1860-х — большое влияние по всем отзывам современников имеет Герцен и его издания, прежде всего «Полярная звезда» и «Колокол». Его популярность и влияние начинают заметно снижаться с 1861 г., но вплоть до 1863 г. этот спад не кажется непоправимым. Позиция, занятая им (вместе с Огаревым и Бакуниным) по отношению к польскому восстанию, приведет к утрате большей части сочувствующей аудитории — и оправиться от этого и найти новые темы, позволяющие вновь вызвать общий интерес и вернуть часть влияния, у него не получится до конца жизни.

Что также важно — это еще и время появления массовой прессы, от дешевых московских листков, вроде «Современных известий» Гилярова-Платонова, и вплоть до «Нового времени» Суворина, которая взлетит в 1877–1878 гг., прежде всего за счет появления нового читателя — следящего за новостями с театра военных действий (что в свою очередь станет следствием военной реформы, появления армии по призыву).

И, конечно, это эпоха появления «больших писателей» в роли властителей умов — высказывающихся по актуальным политическим, общественным, философским проблемам. Писателей-прозаиков, таких как Достоевский и Толстой — при этом их авторитет и значение будут решительно укрепляться благодаря их публицистической ипостаси, в случае Достоевского это «Дневник писателя», а Толстой, обращающийся уже во властителя умов — это чуть более поздний период, уже прежде всего 1880-е гг.

А. У. Какие события 1860–1870-х гг. обсуждались в российском обществе наиболее интенсивно?

А. Т. Прежде всего — связанные как раз с Великими реформами, прежде всего с крестьянской (и крестьянский вопрос оказывается основной темой на протяжении всех этих лет). А попутно, с «Вопросов жизни» Пирогова, «вопросы» множатся — от университетского до славянского и женского. Много внимания будет уделяться обсуждению нового хозяйственного поведения — ведь 1860-е и 1870-е — это эпоха акционерных обществ, железнодорожного

строительства. Целый ряд тем блокируется — их запрещается обсуждать в прессе, как, например, остзейский вопрос (и в результате этого запрета, возникшего вследствие полемики между «Москвой» и остзейскими газетами, Самарин в конце 1860-х начнет зарубежное издание «Окраин России»).

А. У. А как бы вы оценили степень актуальности различных тем в это время? На первом плане события внешней политики или внутренние дела?

А. Т. На переднем плане в целом — внутренние дела. Внешняя политика — более или менее эпизодична, выходя на передний план в моменты обострения. Помимо прочего — это еще и восприятие внешней политики как сферы личной прерогативы монарха и ее обсуждение — как покушение на недолжное.

А. У. Находил ли сочувствие терроризм народовольцев? Действительно ли общество разочаровалось в Александре II как реформаторе?

А. Т. Какое-то сочувствие — да, хотя стоит отметить скорее несочувствие властям, поведение общества более в роли наблюдателя происходящего. Это положение вещей — в ситуации кризиса 1878–1881 г. — и приведет в итоге к попыткам со стороны властей в эпоху «диктатуры сердца» найти основания для взаимодействия с обществом, вызвать его активную поддержку.

участия высших правительственных лиц и если не самого государя, то членов императорской фамилии в железнодорожных концессиях и других проектах эпохи грюндерства, неопределенности правительственной политики 1870-х гг., финансового кризиса, нарастающего к концу правления. К этому добавлялось и разочарование от итогов русско-турецкой войны 1877–1878 г., когда итоги Берлинского конгресса воспринимались как политическое поражение империи — а сама война привела к резкому возрастанию государственного долга и бюджетного дефицита.

Помимо прочего — это еще и некоторая усталость от долгого правления, построенного во многом на балансировании между разными группами и силами, политике лавирования. Переоценка произойдет после гибели Александра II — но в последние годы царствования он во многом утратил, естественным образом, ореол первых лет правления, прежде всего — просто в силу долгого царствования — ореол надежд, на него возлагаемых. И репрессивная политика, в особенности меры последних лет, плохо вязалась со сценарием милостивого царя, щедрого раздателя благ — а переменить сценарий, встроить в него как часть образа суровость и непреклонность, не было возможности — в связи с чем сами репрессии, санкционированные с высоты престола, воспринимались не только как жестокость, но при этом еще и как некое лицемерие, конфликт с выстраиваемым образом.

А. У. Это разочарование в Александре II как личности и самодержце или в реформах?

Разочарование во многом было — в том числе и в силу череды скандалов (и скандальных слухов) вокруг

А. Т. Все-таки в политике и реформах — ведь об Александре II как о личности может судить не очень широкий круг. Насколько я могу судить — здесь не столько «разочарование в реформах» как конкретных мерах — а в том целом, которое складывается. То есть запрос на последующие перемены (в очень разных направлениях) и на то, как менять сложившееся положение вещей.

А. У. Как бы вы оценили место и значение эпохи «Великих реформ в интеллектуальной истории России Нового времени»?

А. Т. Прежде всего — это время появления публичной сферы и оформления того языка общественной мысли, которым во многом мы пользуемся до сих пор. Понятно, что это происходит во многом с опорой на 1830–1840-е гг., которые выступают моментом выработки — но сформированное тогда выходит за пределы кружков и узких споров прежде всего именно во второй половине 1850-х — 1870-е гг. — и получает развитие и усложнение. Показательно, что идейные позиции этой эпохи уже никак не свести к каким-то двум или трем лагерям — перед нами уже именно пространство, где есть множество позиций и оттенков. И, разумеется, это еще и то время, когда возникает та высокая русская европейская культура, которая становится событием мировым — пока еще сам интерес довольно ограничен, триумф русского романа случится позднее, а русская музыка, например, получит широкое признание уже в начале XX в. — но именно в эти годы создается многое из того, что оказывается частью мирового: от всех «больших» романов

Достоевского и двух главных романов Толстого до «Бориса Годунова» и «Хованщины» Мусоргского.

А. У. А чем содержательно этот язык общественной мысли отличается от языка Радищева, Карамзина и Чаадаева? И как с контекстом Великих реформ связана фигура Герцена?

А. Т. Прежде всего тем, что это — язык общественной дискуссии, в публичном пространстве — журнала, а затем газеты. Он оказывается и ориентирован на конкретное, предполагает выбор для участников, ход от общего к конкретному. Символом перемен и образования нового явится жанр «внутренних обозрений», которыми обзаведется каждый толстый журнал. И здесь Герцен выступает как размыкающая фигура — обозначающая на входе перечень общих тем и сюжетов — и когда это условное единство рассыплется, в том числе через реализацию минимального общего (уровня согласия), тогда его отнесет на периферию.

А. У. Представим себе, что Александр II уцелел 1 марта 1881 г. Что ожидало империю: новый этап реформ или усиление охранительно-консервативных тенденций?

А. Т. Удача покушения 1 марта мне лично представляется одним из самых несчастливых поворотов русской истории — тем моментом, где действительно очень многое зависело от случайного.

Появление публичной политики — партий и партийных дискуссий, неизбежных при той или иной, пусть

самой ограниченной форме общеимперского представительства — с одной стороны, конкретизировало бы линии политических размежеваний, а с другой — способствовало бы автономизации других сфер интеллектуальной жизни.

Можно, думается, более или менее уверенно предположить, что без 1 марта не случилось бы консервативного поворота в отношении к общине — как опоре существующего порядка. И процесс капиталистического преобразования русской деревни пошел бы существенного быстрее.

Другой вопрос — насколько возможной оказалась бы агрессивная поли-

тика индустриализации, связанная с именами Вышнеградского и Витте?

В итоге, как мы знаем, произошло принципиально другое — власть, с одной стороны, оказалась потрясена и в результате этого мобилизована, с другой — получила практически единодушную общественную поддержку, ту, которую так старательно и во многом тщетно искала до этого — и более чем на двадцать лет сняла вопрос о необходимости политических преобразований, выбрав в качестве официальной доктрины учение о специфической, уникальной форме «самодержавия» и т. д.

Н. П. Таньшина

СТРАСТИ ПО НАПОЛЕОНУ И ПАРЯЩИЙ СКЕЛЕТ КОНЯ В СОБОРЕ ИНВАЛИДОВ: АРТ-ИНСТАЛЛЯЦИЯ, ПРОВОКАЦИЯ ИЛИ НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИЕЙ?

Статья посвящена 200-летию со дня смерти Наполеона Бонапарта 5 мая 2021 г. и непрекращающимся дискуссиям, происходящим во французском обществе вокруг его личности и деятельности. В центре внимания статьи — скандал во французском обществе, спровоцированный организацией Музеем Армии выставки современного искусства в Соборе Инвалидов, среди экспонатов которой — 3D-копия скелета коня Маренго, изготовленная скульптором Паскалем Конвером, подвешенная над саркофагом Наполеона Бонапарта. Эта акция вызвала бурную полемику во французском обществе относительно роли Наполеона Бонапарта в истории Франции, его места в исторической памяти и роли истории как таковой.

Ключевые слова: Наполеон Бонапарт, Э. Макрон, П. Конвер, 200-летний юбилей смерти Наполеона, саркофаг Наполеона, конь Маренго, историческая память.

Сведения об авторе: Таньшина Наталия Петровна, доктор исторических наук, профессор кафедры Всеобщей истории Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; профессор кафедры новой и новейшей истории Европы и Америки Московского педагогического государственного университета (Москва).

Контактная информация: horoshovo@mail.ru.

© Н. П. Таньшина, 2021

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-116-125

N. P. Tanshina

DEBATE ABOUT NAPOLEON AND THE SOARING SKELETON OF A HORSE IN THE HÔTEL DES INVALIDES: AN ART INSTALLATION, A PROVOCATION OR DESECRATION OF NATIONAL HISTORY?

This article is devoted to the 200th anniversary of the death of Napoleon Bonaparte on May 5, 2021 and the incessant discussions taking place in French society on his personality and activities. This article focuses on scandal in French society provoked by an exhibition of modern art in the Hôtel des Invalides organized by the Army Museum, including a contemporary artist Pascal Convert's 3D-printed copy of the skeleton of the horse Marengo, suspended over the sarcophagus of Napoleon Bonaparte. This action caused a heated national debate over Bonaparte's role in the history of France, his place in historical memory and the role of history itself.

Key words: Napoleon Bonaparte, E. Macron, P. Convert, the 200th anniversary of Napoleon's death, Napoleon's sarcophagus, Marengo's horse, historical memory.

About the author: Tanshina Nataliya P., Dr. Hab. (History), professor of the General History Department, the Institute of Social Sciences, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; professor of Modern History Chair, the Moscow Pedagogical State University (Moscow).

Contact information: horoshovo@mail.ru.

Во Франции 2021 г. — юбилейный. 5 мая 2021 г. исполнилось двести лет со дня смерти императора Наполеона I. Старейшина французского наполеоноведения Жан Тюлар в свое время подсчитал: каждый день с момента смерти Наполеона появляется новая работа о нем. Каждый день — новые книги, интервью в газетах, на телевизионных и интернет-каналах, круглые столы и публичные лекции. И, как в свое время известный историк-марксист Мишель Вовель вел битву за двухсотлетие Французской революции, так сейчас французские историки ведут битву за Наполеона и памятные мероприятия в честь двухсотлетия со дня его смерти. Очень показательным является название последней книги известного французского наполеоведа, директора Фонда Наполео-

на Тьерри Ленца: «За Наполеона» (Lentz 2021).

В условиях, когда в адрес Наполеона льется поток обвинений в том, что он — расист, диктатор, завоеватель, ксенофоб, женоненавистник, создатель газовых камер и проч., Тьерри Ленц своей книгой и многочисленными интервью защищает не столько Наполеона (потому что историки должны изучать, а не защищать или обвинять), сколько саму историю Франции, ее право быть такой, какой она была, со всеми ее славными и трагическими страницами.

Эпидемия коронавируса существенно повлияла на коммеморативные мероприятия, большинство из которых перенесены на осень. Кстати, в свое время именно Наполеон Бонапарт организовал первую кампанию



вакцинации против оспы и, подавая пример, привил своего сына, но об этом власти предпочитают не вспоминать. Более того, будто намеренно устраиваются акции, воспринимаемые обществом не иначе как провокации. Именно так была оценена недавняя «художественная» акция: французский скульптор-пластик Паскаль Конвер (Pascal Convert) предложил повесить пластиковый 3D-скелет боевого коня Наполеона Маренго над саркофагом императора в Соборе Инвалидов в рамках выставки, организованной Музеем Армии под названием «Наполеон? Еще!» (Napoleon? Encore!). Открытие выставки работ авторов-авангардистов из тридцати стран было запланировано на 7 мая. П. Конвер своей проект назвал «Memento Marengo» — «Помни о Маренго» в память о знаменитой битве при Маренго 14 июня 1800 г., когда Наполеон Бонапарт, тогда первый консул, разгромил австрийскую армию.

Идея этой арт-инсталляции вызвала бурю негодования во французском

обществе, что можно проследить, например, по очень эмоциональным комментариям в социальной сети Facebook под постами известных историков-наполеоноведов об этой акции: «Мир сошел с ума»; «Скажите мне, этот ужас находится в стадии проекта, или это уже реальность?»; «Это шутка?»; «Человеческая глупость не знает границ!»; «Какой ужас! Недопустимо!»; «Очевидно, это не искусство, а бизнес!»; «Мы наблюдаем разрушение истории теми, кто должен ее сохранять на налоги граждан. Вы не представляете, как мне стыдно!» Некоторые пытаются понять логику автора проекта: «Я понимаю, что можно отдать дань уважения лошадям, которые так долго были в забвении... Существует даже молитва, посвященная лошади. Но поместить коня здесь — это оскорбление и святотатство!» Некоторые и вовсе не сдерживаются в своих реакциях по отношению к властям: «Что они курили, чтобы одобрить такую работу?»; «Они сумасшедшие!»; «Это провокация!

Надо протестовать»; «Конь в Инвалидах, осел в Елисейском дворце!» И это лишь малая часть высказываний рядовых французов.

Реакция французских историков была не менее эмоциональной. Тьерри Ленц сразу же после появления этой новости выступил на канале France 5, а на своей странице в Facebook написал: «Вот что даст проект современного искусства Музею Армии! Вопрос заключается не в том, нравится нам это или нет, а в том, должны ли мы уважать национальный некрополь в Соборе Инвалидов. В постановлении о назначении директора Музея Армии он именуется “хранителем могилы Императора”».

А вот реплика другого известного историка, сотрудника Фонда Наполеона Пьера Бранда: «От возвышенного до смешного один шаг. С пластмассовым скелетом лошади Маренго, инсталлированным скульптором Паскалем Конвером не только над гробницей императора, но и рядом с могилами Фоша и Вобана, речь идет уже не о смехе, но о шокирующем гротеске. Невозможно все оправдать современным искусством...»

Или реакция известного французского историка, профессора Сорбонны Эрика Ансо: «Идея повесить пластиковый скелет коня над могилой Наполеона в Соборе инвалидов с целью “очеловечивания” Наполеона уместна. Такое может быть лишь плодом возбужденного ума и необразованности».

А вот мнение известного реконструктора, выступающего в образе

Наполеона, бельгийца Жана-Жеральда Ларсена (Jean-Gerald Larcin): «Во-первых, эта акция объясняется необходимостью сбора средств для реконструкции саркофага, поскольку Музею Армии одному это не по силам. Но заинтересовались ли у “дарителей” их мнением? Во-вторых, эта часть Собора Инвалидов является некрополем и криптой, где находятся две могилы. Спросили ли представителей семьи? Что думают члены семьи Бонапарт? В-третьих, что это за страна, позволяющая совершать подобное над останками одного из руководителей государства? В каком мире мы живем?»

Правда, один голос если не в защиту этой арт-акции, то в объяснение удалось найти: «Эта экспозиция кажется воплощением легкости на контрасте с массивной и грандиозной архитектурой часовни. Входя в храм, художник устремляет свой взгляд в глубину, туда, где покоится Наполеон, в то время как с небес нисходит божественный свет. Это вызывает в памяти батальные полотна художника барона Лежена, на которых кавалерия занимает особое место. Всадники и скакуны погибают вместе, и это напоминает ритуалы предков, хоронивших коня вместе с хозяином. Кроме того, возникают ассоциации с конем, взгромоздившимся над могилой всадника, как это было у алтайцев. Конь был средством переноса духа умершего на небеса. Этот ритуал вдохновил художника и вызвал в памяти образ коня Наполеона Маренго, захваченного англичанами при Ватерлоо, скелет которого выставлен в Национальном музее армии в Лондоне. Кроме того, идея повесить 3D-макет скелета лошади

над могилой Наполеона вызывает воспоминания о полете Пегаса, крылатого коня Беллерофонта, полубога, погибшего из-за гнева Зевса. “Беллерофонт” — это также название английского корабля, доставившего императора в место его окончательной ссылки». Правда, ни одного «лайка» этот пост, интерпретирующий художественную акцию, не собрал.

Данный пост является кратким изложением идей самого автора проекта, 63-летнего Паскаля Конвера, художника-акциониста, проживающего и работающего в Биаррице. В своем интервью от 17 декабря 2020 г., данном им в Соборе Инвалидов, художник подчеркнул: когда к нему обратились с идеей создать нечто к юбилею со дня смерти Наполеона, он был, с одной стороны, польщен, с другой — озадачен, поскольку никогда не делал работы на столь отдаленные исторические сюжеты (он является автором композиции, посвященной Сопротивлению). Но когда он впервые оказался в Соборе Инвалидов, ему в голову пришла идея поместить в огромное пространство часовни маленький скелетик коня. По замыслу художника, этот символический жест позволяет очеловечить как всадника, т.е. Наполеона, так и само пространство: «Подвешивание скромного по размерам предмета, действительно маленького коня, завораживает взгляд и очеловечивает пространство. Возвращение истории ее человеческого измерения вовсе не принижает ее величия». Кроме того, по мнению автора проекта, легкие и тонкие кости скелета лошади, будто бы разделяющие пространство лучами и прорисовывающие его отдельными штрихами, символизируют, что и жизнь человека является

лишь штрихом и зарисовкой (*Convert* 2020).

Художник, конечно, имеет полное право на самовыражение, но публика эту символизацию не оценила. Как отметила главный редактор «Histoire Magazine» Сильви Дюто в своем посте от 25 апреля, «речь идет не о художнике, а о том, кто заказал ему эту работу для данного места и времени. Сомнительна символика не объекта, а принципа. Это забвение исторического персонажа, который, в этой странной взаимосвязи с предметом современного искусства, лишается своего сакрального и исторического измерения, становясь простым предметом искусства. Речь идет о том, чтобы стереть человека, стереть Наполеона, стереть Историю».

Если сразу после появления новости о парящем скелете коня разгневанные французы бросились писать сообщения на сайт Музея Армии, то потом они принялись подписывать петицию. Вот ее содержание: «Паскаль Конвер, “пластический художник”, решил подвесить над могилой Императора французов пластиковую репродукцию скелета наполеоновского коня Маренго. Независимо от того, восхищаемся мы или нет Наполеоном, эта “инсталляция”, является, во-первых, ложной реакцией принимать всерьез произведения “псевдоискусства”; во-вторых, неуважением к месту погребения, тем более когда речь идет о главе государства. Эта буффонада ни к чему хорошему не приведет ни в плане художественном, ни в плане политическом. Эта глупость только изуродует место, пропитанное историей и искусством». Правда, если

комментарии в соцсетях французы оставляют очень активно, то подписи под петицией — не особенно. Так, за первые четыре часа с момента создания петицию подписал 71 человек...

Между тем история с конем только набирала обороты. Французы быстро окрестили ее «вторым Маренго», Жан Тюлар дал интервью по поводу истории взаимоотношений Наполеона с лошадьми, подчеркнув, что Маренго вовсе не был любимым конем Наполеона, да и в целом лошади не были его главной страстью.

27 апреля 2021 г. еженедельник «Le Nouvel Observateur» («L'OBS»), позиционирующий себя как издание социал-демократического направления, опубликовал интервью автора скандальной композиции скульптора Паскаля Конвера (*Convert 2021*). Статья вышла под заголовком, являющимся цитатой из интервью художника: «*Моя работа спровоцировала скандал, поскольку она вторгается в священный круг могилы Наполеона*».

Начинается статья следующим заголовком: «Разве это неуважительно, разместить кости над костями?», а предваряет ее редакционный текст: «Музей Армии был занят поиском современного произведения искусства, которое могло бы вписаться в коммеморации 200-летия смерти Наполеона. В ответ на этот запрос скульптор-пластик Паскаль Конвер предложил разместить над могилой Наполеона в Соборе Инвалидов

3D-репродукцию скелета Маренго, любимой лошади Наполеона. Скелет над останками? Богохульство! Немыслимо! Работа еще не обрела свое место (вероятно, это произойдет только 7 мая), а уже Старая гвардия перешла в наступление». По словам издания, вслед за Тьерри Ленцем поднялась вся «Великая армия реакции» с криками: «Куда мы катимся? Бедная Франция!»

Все это весьма напоминает историю с «Олимпией» Эдуара Мане. Тогда публика тоже, как известно, выкрикивала всякие грубости в адрес непонятого ей «произведения искусства» и видела в Олимпии лишь пошлость и надругательство над общественным вкусом. Только теперь произошла инверсия: уважаемых историков «L'OBS» выставляет как реакционеров, не понимающих сути современного искусства и символического значения художественного жеста.

По словам самого Паскаля Конвера, он не ожидал такой бурной реакции в отношении своего арт-объекта. В интервью он подчеркнул, что лишь выполнял заказ Музея армии, утвердившего его работу. Никакой мысли о провокации и скандале (тут можно вспомнить первые выставки дадаистов, главной целью которых были именно скандал и эпатаж) у него не было, только размышление художника на тему *memento mori*. Поэтому вместо того, чтобы «опуститься до уровня ворчунов, мыслящих в ста сорока знаках» (имеется в виду вероятно, высказывание Тьерри Ленца в Twitter и Facebook), скульптор предпочел дать подробные объяснения.

По словам художника, над этим проектом он работал на протяжении двух лет, и ему было непросто создать 3D-копию коня Маренго, поскольку англичане трепетно относятся к своей реликвии и разрешили ее выставить только в Соборе Инвалидов в рамках мемориальных мероприятий. По мнению Паскаля Конвера, термин «пластиковый» стал лейтмотивом критики его коня со стороны Тьерри Ленца и его сторонников. Он задается вопросом: «Была бы реакция иной, если бы конь был сделан из золота? Стала бы работа более приемлемой?» И сам себе отвечает: «Конечно, нет!» (Convert 2021).

Характерно, что скульптор, заявивший в своем прошлогоднем интервью, что он был очень далек от наполеоновской проблематики и мало что знал о ней, теперь тщательно подготовился и стал большим специалистом по наполеоновской эпохе: «Двухсотлетие смерти Наполеона разбудило старых демонов нации, разделенной на почитателей и хулителей Наполеона, а краеугольным камнем этого конфликта на сей раз стал вопрос о восстановлении рабства Наполеоном в 1802 г.» (Ibid.). Как видим, скульптор транслирует самые распространенные современные обвинения в адрес Наполеона, а еженедельник во вставках «*Что почитать?*» дает ссылки: «Наполеон расист?», «Наполеон и восстановление рабства» и т. д.

Дальше художник в очередной раз объясняет свой замысел: это никакое не оскорбление, а отсыл к древним ритуалам, когда коня погребали вместе с воином; он вспоминает Пегаса, наличие скелетов над моги-

лами в Сен-Дени и т. д. Скелет коня для него — это, как уже отмечалось, вариация на тему *memento mori*. «Помни, что ты умрешь, — эту фразу повторял раб, сопровождавший римского полководца на церемониях в честь его победы. Наполеон должен был вспомнить об этом, прежде чем восстанавливать рабство» (Ibid.). Представляется, речь идет вовсе не об «очеловечивании» Наполеона Бонапарта и пространства часовни, как художник заявлял об этом прежде, а, наоборот, об упреке в адрес Наполеона: Наполеон — расист и тиран, и надо помнить об этом: «Результат политики Наполеона: три колониальные войны, Мадагаскар, Индокитай, Алжир», — делает вывод поднаторевший в изучении истории скульптор. А в завершение своего интервью Паскаль Конвер и вовсе дает назидательный совет историкам: «Труд историков не должен иметь никакой другой цели, кроме служения истории. Нашей общей истории» (Ibid.). История, конечно, общая, только взгляд на нее очень разный.

Тем временем французы напряженно ожидали наступления 5 мая, ведь президент Республики Эммануэль Макрон незадолго до юбилея заявил о своем намерении выступить с официальной речью. И общество застыло в ожидании, какие слова произнесет глава Пятой республики, которого поначалу сравнивали с создателем Первой империи, и произнесет ли вообще.

5 мая Эммануэль Макрон выступил с почти двадцатиминутной речью в Институте Франции сразу после выступления Жана Тюлара. 25 декабря 1797 г. Наполеон Бонапарт был избран членом Института Франции,

и президент Макрон начал свою речь именно со слов Наполеона Бонапарта, произнесенных им в тот самый день о том, что настоящие победы, не вызывающие сожаления, — это победы над невежеством. Борьба против невежества, любовь к знаниям и к своей истории — именно с такими словами президент Макрон обратился к лицеистам, с первых слов подчеркнув, что Наполеон Бонапарт является частью французской истории. «Это часть нас», — заявил он (Macron 2021).

В целом речь президента Макрона является очень взвешенной, сбалансированной и спокойной. Глава государства признает заслуги Наполеона Бонапарта перед страной, подчеркивая, что он был создателем современного французского государства и многих его институтов, и Франция живет этими достижениями по сей день: «Наполеон Бонапарт — это часть нас, потому что его действия и уроки как война, стратега, законодателя и строителя проявляются и в наше время» (Ibid.).

Напомнив лицеистам, что и сам Лицей, и система Университета как целостной системы образования — это все деяния Наполеона Бонапарта, президент Макрон отметил: «Чтобы оказаться в Институте Франции, вы пересекли Париж. Конечно, вы прошли перед Триумфальной аркой, церковью Мадлен, Вандомской колонной, может быть, вы перешли Аустерлицкий или Йенский мосты, прошли по улице Риволи. Все эти архитектурные шедевры появились тоже благодаря Наполеону» (Ibid.). Причем Макрон особо подчеркнул, что в 2021 г. французы собрались

не на «экзальтированную церемонию», как это было 15 декабря 1840 г., во время перезахоронения праха Наполеона, а на церемонию просвещенную, «чтобы взглянуть на нашу историю откровенно и целостно» (Ibid.). Как видим, Э. Макрон призвал к объективному взгляду на личность Наполеона и на историю как таковую.

Конечно, на волне обвинений Наполеона Бонапарта в расизме президент Макрон не мог обойти эту злободневную тему, но был очень сдержан и лаконичен. Он лишь отметил, что в 1802 г. Наполеон восстановил рабство, которое было упразднено Второй республикой в 1848 г., и подчеркнул, что в своих завоеваниях Наполеон никогда не считался с человеческими жизнями, между тем как в современном обществе жизнь человека является высшей ценностью, даже на войне и тем более в условиях пандемии.

Наполеон для Макрона — это продолжатель Революции, а вовсе не ее могильщик. Главная заслуга Наполеона, по словам Макрона, заключалась в том, что он сумел восстановить порядок и закрепить революционные преобразования. Гений Наполеона, подчеркнул президент, заключался в том, чтобы помочь французам окончательно порвать с тем, от чего они решили отказаться в 1789 г., и построить новую Францию с равенством граждан перед законом, воплощенным в Гражданском кодексе, с идеей национального суверенитета и новой административной и политической организацией.

При этом Макрон вовсе не идеализирует правление Наполеона,

подчеркивая, что Франция отказалась от худших моментов империи, т. е. от ее завоеваний, и взяла лучшее. Именно заслуги Наполеона перед Францией и чествуют сегодня французы, — подчеркнул президент. При этом он отметил, что эти празднования должны пройти просто и спокойно, «без соблазна судить прошлое исходя из настоящего и по законам настоящего» (Ibid.).

Макрон отметил, что Наполеон, создатель современной Франции, исходивший в своих действиях из идеи ее величия, важен не только для французской нации как таковой, но и для каждого француза, в котором живет, как и в Наполеоне, «сокровенный отголосок древних добродетелей и современных парадоксов». Жизнь Наполеона, по Макрону, — это ода политической воле. Это пример того, как мальчик из Аяччо может стать властелином Европы и изменить ход истории. Без военного гения Наполеона, без его энергии, его тактики, проявленной в Тулоне, Аустерлице, Фридланде или Ваграме, облик прошлого и нынешнего мира был бы иным, — заявил президент (Ibid.).

Кроме того, подчеркнул Э. Макрон, личность Наполеона так притягательна еще и потому, что вселяет в каждого человека уверенность в его возможностях, дает надежду рискнуть, довериться своей мечте, реализовать свой потенциал, в общем — победить. Его жизнь — это гимн разуму, не только персональному, но гимн науке, технике и прогрессу. Более того, подчеркнул Макрон, жизнь Наполеона, как это ни парадоксально, это гимн свободе. Наполеон был первым романтиком

не потому, что вдохновил писателей и поэтов-романтиков, а потому, что он сам обладал безграничной свободой. В каждое мгновение своей жизни он переосмысливал свое существование и был бесконечно свободен. «Наполеон мог быть одновременно и мировым разумом Гегеля, и демоном Европы», — отметил Эммануэль Макрон (Ibid.).

И закончил свою речь президент обращением: «Вы — лицеисты. Как французы, вы вписаны в историю... Вы можете ее любить и критиковать. Но надо еще понимать ее, знать ее». И в самом конце, отметив, что деяния Наполеона продолжают изменять французов, он произнес, причем очень спокойно и без всякого пафоса: «Солнце Аустерлица еще сияет! Да здравствует Республика! Да здравствует Франция!» (Ibid.). В тот же день президент Макрон возложил венок у саркофага Наполеона Бонапарта в Соборе Инвалидов.

Что касается скандального арт-объекта, то еще до торжественной даты Музей Армии пообещал на время мессы демонтировать на несколько часов инсталляцию. Над саркофагом Наполеона никакие скелеты коней не висели. Сама же выставка «Наполеон? Еще!» открыта с 19 мая 2021 г. по 13 февраля 2022 г.

После 5 мая страсти вокруг коня Маренго быстро улеглись, чего нельзя сказать о страстях вокруг самого Наполеона Бонапарта. Как и в позапрошлом веке, говоря словами Виктора Гюго, французы продолжают то показывать, то прятать Наполеона,

не в силах прийти к окончательному мнению. Битва за Историю продолжается...

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Convert 2020 — *Convert P.* Mémento Morengo. URL: http://www.pascalconvert.fr/temps/marengo.html?fbclid=IwAR0mFKCCbL0DzbrX_h1vsqKKeVFBcgnDg1GIpxLx4EFo-Zyr5N_fI0ECcDVc.

Convert 2020 — *Convert P.* «Mon œuvre fait scandale parce qu'elle entre dans le cercle sacré du tombeau de Napoléon». URL: <https://www.nouvelobs.com/idees/20210427>.

OBS43341/mon-uvre-fait-scandale-parce-qu-elle-entre-dans-le-cercle-sacre-du-tombeau-de-napoleon.html.

Macron 2021 — *Macron E.* Discours du Président de la République à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. URL: <https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-17623-fr.pdf>.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Lentz 2021 — *Lentz T.* Pour Napoléon. Paris, 2021.

REFERENCES

Lentz T. *Pour Napoléon*. Paris, 2021.

«ВВЕДЕНИЕ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ В СОВЕТСКИЙ ПАНТЕОН ВЕЛИЧАЙШИХ СОБЫТИЙ ИСТОРИИ БЫЛО НЕИЗБЕЖНО». К 150-ЛЕТИЮ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ. Интервью с А. В. Шубиным

Известный историк левых политических движений размышляет об опыте и историческом значении Парижской коммуны.

Ключевые слова: Империя Наполеона III, франко-прусская война, французская революционная традиция, Парижская коммуна, социалистическая идеология, прудонизм, анархизм, марксизм.

Сведения об авторе: Шубин Александр Владленович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН (Москва).

Контактная информация: historian905@gmail.com.

“THE INTRODUCTION OF THE PARIS COMMUNE INTO THE SOVIET PANTHEON
OF THE GREATEST EVENTS IN HISTORY WAS INEVITABLE”.
TO THE 150TH ANNIVERSARY OF THE PARIS COMMUNE.
Interview with A. V. Shubin

Prominent historian of left-wing political movements reflects on the experience and historical significance of the Paris Commune.

Key words: Empire of Napoleon III, Franco-Prussian War, French revolutionary tradition, Paris Commune, socialist ideology, proudhonism, anarchism, Marxism.

About the author: Shubin Aleksandr V., doctor of historical sciences, chief researcher of the Institute of General history, RAS (Moscow).

Contact information: historian905@gmail.com.

Беседовал А. С. Стыкалин

А. С. Идеи каких современных Парижской коммуны мыслителей доминировали в сознании ее политических

активистов? Идеи Прудона, Бланки, Бакунина? А насколько влиятельны были идеи Маркса? И каково было

© Историческая Экспертиза, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-126-130

влияние идейного наследия Великой французской революции? Апеллировали прежде всего к якобинской традиции (например, создание Комитета общественного спасения) или также и к другим? И что объединяло людей разных убеждений? Одно только лишь неприятие Второй империи Наполеона III?

А. Ш. В Коммуне имели влияние три идейно-политические течения: прудонисты, бланкисты и радикальные республиканцы (неоякобинцы). Идейное влияние Маркса было совсем незначительным. У него были корреспонденты Серрайе и Франкель, которые просили советов о начале строительства нового общества, но ответы Маркса на эту тему были слишком абстрактны. Франкель и также знакомый Маркса Варлен были прудонистами, Серрайе находился под более серьезным влиянием Маркса, но после того, как был избран в Коммуну на дополнительных выборах, Серрайе не вел в ней какой-то самостоятельной линии, примыкая к прудонистам. Те люди, которые ценили взгляды Бакунина, также не проводили политики, отличной от прудонизма или бланкизма. Конструктивная программа и социально-экономическая политика Коммуны были прудонистскими. Можно также говорить о влиянии идей Луи Блана (без «бланистов»), которые даже у прудонистов уравновесили антиэтатизм Прудона. Прудонисты тоже стали сторонниками государственных мероприятий, направленных на регулирование экономики и социальных отношений.

Если дело касалось организации власти, то здесь преобладание получили

бланкисты и неоякобинцы, которые не выдвигали собственной программы социализма. Зато им нравились тени Великой французской революции — отсюда и КОС (Комитет общественного спасения). А вот против этого прудонисты протестовали очень активно, не желая, чтобы их революция отождествлялась с якобинизмом. Накануне падения Парижа им не без труда удалось поставить КОС под контроль Коммуны.

А. С. Установление этой формы власти, Парижской коммуны, стало возможным благодаря поражению Франции во франко-прусской войне. Во всяком случае среди внешних факторов именно этот оказался решающим. А в силу каких исторических обстоятельств к весне 1871 г. произошел столь сильный сдвиг влево, к революционному радикализму? Почему в той ситуации не смогли удержать власть более умеренные либеральные силы? И какие внутренние факторы ослабляли Парижскую коммуну и способствовали ее падению?

А. Ш. Да, конечно, поражение Франции способствовало радикализации в 1870–1871 гг., как и в России в 1917–1918 гг., и в Германии в 1918–1919 гг. Но вообще-то до начала войны дела у Наполеона III шли неважно, происходили политические волнения. А в ходе войны Париж превратился в воюющий город, своеобразный вооруженный полис. Правoliberalный режим опозорил себя капитуляцией и неспособностью решить социальные проблемы. Социальному взрыву очень способствовала консервативная политика Адольфа Тьера, который как мог восстанавливал

монархию без монарха и требовал от разоренного населения уплаты долгов. Сам социально-политический взрыв 18 марта был вызван неудачным наступлением правительственных сил на национальную гвардию — вооруженных парижан. Как часто бывает — революцию провоцирует власть, а не революционеры.

Левые либералы (гамбетисты) сначала участвовали в выборах в Коммуну, но по мере ее радикальных шагов покинули Париж.

Падение Коммуны было обусловлено множеством причин. Париж не смог перехватить у либералов лидерства во Франции в целом. Крайне неудачной была военная политика Коммуны. Но вот те конфликты, которые раздирали Коммуну изнутри, не вели к ее гибели. Конфликтующие стороны находили компромисс. Конечно, если бы Коммуна на какое-то время победила во Франции в целом — борьба радикалов между собой продолжалась бы. В те годы был прецедент подобного развития событий: в 1873 г. прудонист Пи-и-Маргаль возглавил правительство Испании и при этом вступил в конфликт с еще более радикальными федералистами, контролировавшими ряд городов.

Сохранить компромисс между социалистами и в то же время победить более правые силы было бы очень трудно. Коммуна опережала свое время, и провинция была не готова к восприятию ее идей. Местные попытки поддержать Париж были быстро подавлены. Франция в своем большинстве поддержала парламент и старые порядки, лишь незначительно им обновленные.

А.С. Давайте поговорим об опыте и уроках Парижской коммуны. К осмыслению этого события обращались не только историки. Его уроки учитывали французские политики времен Третьей республики, но прежде всего мыслители левого толка как во Франции, так и за ее пределами. Что привлекало их в Парижской коммуне? Идеи рабочего самоуправления? Непосредственной демократии? Известно, что культ Парижской коммуны чествовался французской компартией. А как относились к этому опыту другие силы левого спектра? Имею в виду, конечно, не только леволибералов-социалистов, относившихся к этому опыту весьма критически. Во Франции всегда были разные левые. Насколько был интересен, к примеру, опыт Парижской коммуны бунтарям 1968 г.?

А.Ш. Оба течения расколотого социалистического движения объявили Коммуну подтверждением своих идей, что способствовало их теоретическому сближению. Под влиянием декларации Коммуны Маркс и Энгельс подчеркнули свое отличие от этатистского социализма, сделав шаг к федерализму и «общинному» социализму в политической области. Вместо нового государства следовало бороться за коммуны-общины. Это не отменяло экономического централизма марксизма, но все же было шагом в сторону тех федералистских идей, за которые выступали Прудон и Бакунин. Федералисты, в свою очередь, приобрели вкус к государственно-политической практике. Такие коммунары-прудонисты, как Малон, потом много сделали для становления социалистической партийной и профсоюзной политики во Франции.

Социалистическая партия Франции (СФИО) была наследницей Коммуны и в ее прудонистском, и в бланкистском выражении, и вошедшие в партию марксисты и социал-либералы отдавали дань этой традиции. Отсюда эмоциональный протест против вхождения социалиста Мильерана в одно правительство с генералом Галифе, давившим Коммуну.

Коммуна привлекала и привлекает левых как первый опыт практического воплощения социалистических идей в масштабах крупного промышленного и культурного центра. Она стала тем зерном, из которого вырастает почти вся социалистическая и коммунистическая практика. Тут есть и экспроприация частной собственности во имя создания новых общественных отношений, и самоуправление, и регулирование экономики, и социальное законодательство, и клубное социальное творчество, напоминающее 1968 г.

А. С. Как отреагировали на Парижскую коммуну ее русские современники в России 1870-х гг., охваченной революционным, в частности народническим движением? В свете недавнего польского восстания 1863–1864 гг. насколько пугало российские власти активное участие в событиях Парижской коммуны поляков, таких как, например, бывший российский подданный Ярослав Домбровский, едва ли не самый успешный военачальник Парижской коммуны? И как осмыслялась в последующие десятилетия Парижская коммуна в русской левой и либеральной мысли?

А. Ш. Российское революционное движение, конечно, отнеслось к Ком-

муне очень положительно, а власти, разумеется — отрицательно. И дело совсем не в Домбровском, который, кстати, каких-то военных побед во время Коммуны не одерживал, зато в период его комендантства версальцы без боя проникли в Париж.

Народничество идейно было очень близко к прудонизму. Потом о Коммуне российскими левыми было написано много положительного (конечно, с разбором ошибок). Достаточно упомянуть работу Петра Лаврова. Однако если есть прославление, то рано или поздно появляются скептики. Например, Виктор Чернов подверг Коммуну придирчивой и, на мой взгляд, несправедливой критике. Большевики всегда относились к Коммуне с большим уважением, Ленин считал ее моделью для пролетарской революции (критикуя, разумеется, то, что считал ее ошибками). Для либералов Коммуна была аномалией, бессмысленным бунтом, который грозил отвлечь Францию от создания республиканской конституции. Лишь позднее становилось очевидно, что конституции — это надстройка над социальными структурами, и без эффективной социальной политики их здания непрочны.

А. С. В советское время день Парижской коммуны 18 марта относился к числу признанных государством праздников, ведь Парижская коммуна считалась первой диктатурой пролетариата, предтечей большевистской власти. Откуда это пошло? Кто и когда в партии большевиков первым предложил чествовать Парижскую коммуну и коммунаров? И менялось ли отношение к Парижской коммуне

по мере эволюции советского режима? И какие мифы, расходившиеся с реальностью, утвердились в советской версии истории Парижской коммуны?

А. Ш. Введение Парижской коммуны в советский пантеон величайших событий истории было неизбежно. При всех принципиальных, на мой взгляд, различиях Коммуны и российского «военного коммунизма» форма советского государства была во многом унаследована от идей Коммуны. Хочешь считаться пролетарским государством — будь как Коммуна. Хотя сама Коммуна, между прочим, именно пролетарским государством не была, хотя рабочие и играли в ней большую роль. Интересно, что в первые 72 дня советской власти «Российская коммуна» была довольно близка к Парижской — Советы еще представляли разные идейные течения, Совнарком (который стал двухпартийным) мало вмешивался в дела местного самоуправления, экспроприация собственности шла очень осторожно, в социальной политике большую роль играли профсоюзы и фабзавкомы. Но Ленин уже готовился сжать властный кулак. Может быть, и Коммуна пошла бы по «большевистскому» пути, если бы просуществовала дольше и во главе ее встал Бланки. А может быть, сила федералистских идей оказалась бы сильнее. Слишком мало времени просуществовала Парижская коммуна, чтобы можно было уверенно судить о ее перспективе.

Советская историография подавала историю Коммуны в марксистской интерпретации — с общим одобрением «пролетарской» революции и с критикой «ошибок» — как реальных (их было множество в военной борьбе), так

и, на мой взгляд, мнимых (отказ от национализации банков, например). Критиковали прудонистов, пытаясь выделить среди них хороших левых и отделить их (весьма искусственно) от плохих правых. Авторитаризм бланкистов воспринимался с пониманием — тоже по понятным причинам. В сталинское время более определенно звучали намеки на предательство как причину поражения. Но особенно ярко эту идею проводил советский фильм «Зори Парижа» 1936 г.

Надо отдать должное советской историографии — она обогатила картину множеством интересных деталей. В СССР были изданы протоколы Коммуны, биографический справочник деятелей Коммуны, который в застойные годы давал читателю картину интереснейшего разнообразия взглядов и судеб.

Само слово «коммуна» стало нарицательным, им стали называть локальные попытки коммунистов и их союзников захватить и удержать власть — вроде Баварской коммуны и Кантонской коммуны. Но это обобщение совершенно разных коммун уходит корнями не к 1871 г., а скорее к XVI в., к Мюнстерской коммуне, которая стала символом радикального локального коммунистического эксперимента. Парижская коммуна в этом ряду открывает другую ветвь — стремления создать демократическое общество социального равноправия. Коммунары, в отличие от сторонников авторитарных моделей социализма, понимали, что социализм как более развитое общество, чем капитализм, невозможен без свободы, самоуправления и гарантий прав людей.

«ЦЕЛЬЮ РЕВОЛЮЦИИ БЫЛО ПРИБЛИЖЕНИЕ ГРЕЦИИ К ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ». К 200-ЛЕТИЮ ГРЕЧЕСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1821 г.

Интервью с Д. Стаматопулосом

В интервью с греческим историком Димитрисом Стаматопулосом, приуроченном к 200-летию греческой революции, подняты такие проблемы, как истоки и суть греческой национальной идентичности, место и роль античного, византийского и османского наследия в современной греческой культуре, влияние на нее событий XX в. Определяется значение греческой революции 1821 г. в национальном самосознании греков, подчеркивается ее европейский контекст. Европейский вектор развития Греции рассматривается также в контексте ее отношений с Россией в исторической ретроспективе и в настоящее время.

Ключевые слова: Греческая революция 1821 г., греческая национальная идентичность, Александр Македонский, Великая идея, Малоазийская катастрофа, византийское наследие, османское наследие, Россия, Европа.

Сведения об авторе: Стаматопулос Димитрис, профессор Университета Македонии в Салониках, специализируется на истории Балкан и поздней Османской империи. Сотрудник Институтов перспективных исследований в Принстоне (2010–2011 гг.) и Фрайбургском университете (2017–2018 гг.), приглашенный профессор Высшей школы социальных наук (Париж), Принстонского университета и Института европейской истории имени Лейбница в Майнце (Салоники, Греция).

Контактная информация: ds@uom.edu.gr.

“THE REVOLUTION AS AN ATTEMPT TO MAKE GREECE A PART OF EUROPEAN CULTURE”.
ON THE 200TH ANNIVERSARY OF THE GREEK REVOLUTION OF 1821.

Interview with D. Stamatopoulos

In the interview with the Greek historian Dimitris Stamatopoulos, timed to coincide with the 200th anniversary of the Greek Revolution explores such issues as the origins and essence of the Greek national identity, the place and role of the ancient, Byzantine and Ottoman heritage in the contemporary Greek culture, and the influence of the 20th century events on it. The significance

of the Greek Revolution of 1821 in the national consciousness of the Greeks is determined, and its European context is emphasized. The European vector of Greece's development is also considered in the context of its relations with Russia in historical retrospect and in the present.

Key words: Greek Revolution of 1821, Greek national identity, Alexander the Great, the Megali Idea, the Asia Minor Catastrophe, Byzantine heritage, Ottoman heritage, Russia, Europe.

About the author: Stamatopoulos Dimitris (Δημήτρης Σταματόπουλος), Professor in Balkan and Late Ottoman History at the University of Macedonia, Thessaloniki. Member of the Institutes for Advanced Studies at Princeton (2010-11) and at the University of Freiburg (2017-18), visiting professor in the École des hautes études en sciences sociales (Paris), Princeton University and the Institute of European History of the University of Mainz (Thessaloniki, Greece).

Contact information: ds@uom.edu.gr.

Д. Стаматопулос является автором множества книг и статей по истории православных христиан в Османской империи, среди которых: Dimitris Stamatopoulos. *Imagined Empires: tracing imperial nationalism in Eastern and Southeastern Europe (18th–20th c.)*, Budapest; New York: Central European University Press 2021; Dimitris Stamatopoulos. *Byzantium after the Nation: The Problem of Continuity in Balkan Historiographies*, Budapest: Central Eu-

ropean University Press 2021; Dimitris Stamatopoulos (ed.) *European Revolutions and the Ottoman Balkans, Nationalism, Violence and Empire in the Long Nineteenth Century*, London: I. B. Tauris 2019; Δημήτρης Α. Σταματόπουλος (επιμ.) *Πόλεμος και Επανάσταση στα Οθωμανικά Βαλκάνια (18ος–20ός αι.)*, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο 2019; Dimitris Stamatopoulos (ed.) *Balkan Nationalism(s) and the Ottoman Empire*, vol. I–III, Istanbul: Isis Press 2015.

Беседовала А.Александрова.

А.А. Господин Стаматопулос, где находится начало координат для греческой национальной идентичности, восходит ли оно ко временам Античности? Присутствует ли в греческом общественном сознании связь с эпохой Древней Греции? В чем она проявляется? Есть ли у современной греческой интеллигенции ощущение того, что Греция при всей периферийности своего положения в Европе — страна особая, ведь это по сути колыбель всей высокой европейской культуры? Насколько

органично присутствуют сохранившиеся следы античной культуры в современной греческой культуре, в определенной мере развивающейся в этих античных декорациях?

Д.С. Бесспорно, современная греческая национальная идентичность основана на представлении о собственной исключительности благодаря связи с Древней Грецией. Это представление, конечно, опирается на языковую преемственность с Древней Грецией (несмотря

на многочисленные колебания относительно того, является ли современный разговорный язык «естественным продолжением» или проявлением «упадка» древнегреческого языка) и, прежде всего, на осознание особо важной роли, которую играют отсылки к Древней Греции в том, что мы называем западной культурой Нового времени: как в эпоху Возрождения и расцвета гуманизма, так и в период религиозных войн последователям Лютера, получившим фундаментальные знания в области греческого языка и культуры, таким как Ф. Меланхтон, и наиболее важным представителям европейского Просвещения было свойственно постоянное обращение к опыту преимущественно Афинской демократии как культурного явления, и его влияние решительно определило переход от авторитарных режимов к современным буржуазным демократиям Запада. Греческая древность утвердилась в европейском сознании задолго до основания в XIX в. нового греческого государства. Однако это сравнение с древними было причиной появления не только «филлэллинских» настроений, но и негативных сравнений в ущерб современным грекам: на самом деле современное греческое сознание — это постоянное возвращение к данному состоянию признания/отвержения со стороны Запада, и, соответственно, оно отвечает на это либо в прозападном, либо в антизападном ключе.

А. А. Одна из самых ярких личностей Древней Греции — Александр Великий. Говоря о связи времен, нельзя не вспомнить недавно офи-

циально завершившийся спор о наименовании нынешней Северной Македонии. В частности, Греция отказывала соседнему государству в праве именоваться Македонией, опасаясь возможных фальсификаций истории. Из тех же соображений — и под прямым давлением греческих властей — памятник на Площади Македония в Скопье был назван «Воин на коне», хотя понятно, что это памятник Александру Великому. В какой степени спор о наименовании Северной Македонии выходил за рамки чисто политических претензий и являлся общественным конфликтом в Греции? Насколько болезненно отреагировало греческое общество на Преспанское соглашение¹?

Д. С. Как это ни парадоксально, ответ на этот вопрос напрямую связан с предыдущим. Действительно, многие представители новогреческого Просвещения критически относились к возможности принятия македонцев как части истории новогреческой нации. Но эти греческие просветители просто повторяли аргументы представлявшего афинскую демократию Демосфена, который называл Филиппа «варваром», но не потому, что не считал его греком, а потому, что тот был монархом (как и персидский царь). Они скорее выразили свои антимонархические и антидеспотические настроения, чем сформулировали теорию о том, кем на самом деле были македонцы. Эта «слабость» греческой историографии была исправлена Константиносом Папарригопулосом в XIX в.,

¹ Соглашение между Грецией и бывшей югославской Республикой Македония, подписанное 12 июня 2018 г., завершившее спор о наименовании нынешней Республики Северная Македония.

заявившим, что битва при Херонее² ознаменовала начало эры македонского эллинизма, поэтому македонцы, конечно же, были греками. Однако многонациональность Македонии в то время допускала соответствующие македонские дискурсы со стороны как болгарского, так и сербского национальных движений. В действительности славяноязычные жители Македонии и Фракии стали объектом более масштабного спора между болгарскими и сербскими, и последние изобрели термин македонские славяне (*Slaves de Macedoine*), чтобы отстранить это население от влияния болгар, которые претендовали на него по причине близости их языков. Вопрос о местонахождении и миф об автохтонности, однако, быстро стали накладываться друг на друга. Подобно тому, как болгары придумали (в одной из своих многочисленных национальных мифологий) свое происхождение от древних фракийцев, точно так же славяномакедонцы (например, в случае с Георгием Пулевским) изобрели мифическое происхождение от Александра Македонского, хотя всем было ясно уже в XIX в., что славяне пришли на Балканы спустя 1000 лет после Александра Македонского. Греки соприкоснулись с этой национальной мифологией только после 1990 г., и им было очень трудно управлять ею по двум причинам: во-первых, потому что средний житель «глобальной деревни» счел бы логичным, что древние македонцы отличались от южных греков, ведь они боролись друг с другом. Конечно, историки, изучающие

древность, напоминают нам, что то же самое имело место и в отношении других городов-государств и даже что язык македонской элиты был разнovidностью дорического диалекта, но все это не принимается к сведению в обычном мире, особенно если он одержим широко распространенной западной фантазией, которая отождествляет Древнюю Грецию с Древними Афинами и, следовательно, с демократическим строем. И во-вторых: помимо того, что македонский вопрос был транснациональным, он также был внутренней проблемой трех упомянутых нами государств: Греции, Сербии и Болгарии, которые разделили Македонию в 1913 г.³ Славяноязычные жители этих стран метались между чисто национальной (болгарской или сербской) и новой гибридной (македонской) идентичностью. Этот этногенез продолжался. Однако он завершился во время Второй мировой войны, когда Тито включил автономную Македонскую республику в состав Югославского государства. Славяноязычные жители греческой Македонии оказались перед дилеммой, усугубленной опытом развернувшейся в то время в Греции гражданской войны: должны ли они перейти через границу, что случилось с тысячами из них — многие стали политическими беженцами в других странах советского лагеря или даже в Австралии или Канаде. Однако греческое государство в значительной степени очистило свои северные районы, решив путем скрытого насилия (непосредственное насилие применялось в отношении

² В битве при Херонее (338 г. до н.э.) македонский царь Филипп II разгромил объединенную армию греческих городов-государств.

³ По итогам первой Балканской войны.

коммунистов-партизан) проблему этого меньшинства, когда не позволило ему вернуться и потребовать назад свое имущество. Таким образом, македонский вопрос не только касался названия соседней страны, но и напоминал обо всем этом травмирующем опыте беженцев — представителей меньшинства, который стал более болезненным, поскольку залечил глубокие раны гражданской войны, когда большая часть этих славяномакедонцев встала на сторону греческих коммунистов, в то время как другая значительная их часть идентифицировала себя с болгарской милицией «Охрана».

А. А. Какое место в современной греческой национальной памяти играет Византия и ее культурное и политическое наследие? Жива ли до сих пор в Греции Великая идея / Μεγάλη Ιδέα? Считают ли греки Стамбул/Константинополь до сих пор «своим», греческим городом? В частности, как в Греции отреагировали на решение Р. Т. Эрдогана снова превратить Святую Софию в мечеть?

Д. С. Византия официально вошла в великое повествование о греческой национальной преемственности в «Истории» Константиноса Папарригопулоса (1860–1874). Конечно, в XIX в. велась большая дискуссия о том, было ли это римское государство (Второй Рим был продолжением Первого Рима) эллинизированным. С этим согласилось большинство историков, в том числе многие зарубежные византилисты. Однако нуж-

но сказать, что для простых людей собор Святой Софии всегда был намного важнее руин Парфенона. Парфенон и классическое прошлое стали считаться важными, когда греки начали изучать и подвергаться влиянию дискуссии о классицизме на Западе. Напротив, обычный грек, отождествлявший себя с православной христианской верой, был убежден, что собор Святой Софии являлся его главным опорным символом. Очень интересно, что революционные планы греков, Ригаса Велестинлиса и членов Филики Этерия, включали восстание в самом Константинополе. Чего-то подобного также опасались османы с марта 1821 г. и в течение примерно 6 месяцев вырезали, изгоняли и истребляли греческое население. Конечно, все изменилось в XIX и особенно в XX в., когда в 1922 г. Великая идея закончилась Малоазийской катастрофой⁴. Тогда произошел резкий сдвиг в греческом сознании от собора Святой Софии к Парфенону. Поэтому мы можем сказать, что определенно шаг Эрдогана вызвал эмоции у широких масс греческого населения, при этом многие из них рассматривали бы и статус музея как скрытое рабство.

А. А. Как сказался на греческой национальной идентичности период османского владычества? Неизбежное взаимовлияние двух культур в данном случае вряд ли подвергается сомнению, вопрос в том, пытаются ли греки перечеркнуть этот многовековой опыт существования в составе Османской империи?

⁴ Турция, подписав в 1920 г. Севрский договор, в дальнейшем под руководством Кемаля Ататюрка предприняла в ходе боевых действий сопротивление навязанным державами-победительницами условиям, которые были пересмотрены на Лозаннской конференции. В результате Греция лишилась прав на какие-либо территории Малой Азии.

Д. С. Существует много дискуссий о том, что было «османским» или «византийским», «балканским» или «греческим» в эпоху Османского владычества. Безусловно, во всех балканских историографиях (и, следовательно, в греческой) на османский период возлагается вина за большую экономическую и культурную отсталость их народов относительно уровня развития на Западе. И это определенно отражало негативный ориенталистский подход. Однако он был заменен позитивным ориенталистским подходом уже в 1990-е гг., когда османские исследования в Греции также переживали расцвет: а именно Османская империя представлялась идеальным примером мультикультурного сосуществования. Сегодня мы знаем, что это не так: Османская империя была многонациональной, а не только турецкой империей, но она не перестала воспроизводить основное различие между своим населением, мусульманским и немусульманским. Первые были гражданами первого сорта, вторые — второго сорта. Османы предприняли несколько попыток преодолеть это в течение длительного периода реформ, но безуспешно. Хотя эта дискуссия ограничивается историографическими кругами, постепенно ее воспринимают и более широкие социальные слои.

А. А. В 2021 г. отмечается 200-летие греческой революции. Это событие считается «точкой отсчета» независимого греческого государства, в том числе и в официальных рамках государственной идеологии. Как часто сегодня в Греции звучат отсылки к греческой революции? В том числе в годы финансово-

экономического кризиса 2010-х гг. неоднократно высказывалось мнение, что Меморандумы, навязанные Греции «тройкой» кредиторов, ущемляют национальный суверенитет страны. Приобрели ли в связи с этим упоминания о событиях 1821 г. новое звучание?

Д. С. Еще с XIX в. существует много прочтений греческой революции. Подход, который подчеркивает проблему национальной независимости, был введен преимущественно марксистской теоретической традицией XX в. Однако сегодня, кажется, преобладает (и это связано с фактом принятия меморандумов) либеральный подход, который подчеркивает, что целью революции было приобщение Греции к европейской культуре. Таким образом, дискуссия о революции связана с дискуссией о степени независимости, которую может иметь государство Европейского союза.

А. А. Как известно, Россия сыграла определенную роль в обретении Грецией независимости. И на протяжении как минимум XIX в. между странами поддерживались довольно тесные дружественные связи. Воспринимается ли Россия в настоящее время в массовом сознании греков как дружественная страна?

Д. С. Я думаю, что всегда и по причине православия, но в основном из-за непрерывных войн, которые Россия вела с Османской империей, отмечалась положительная роль, которую она сыграла в обретении Грецией независимости. Конечно, в антироссийских кругах всегда подчеркивался тот факт, что Россия во время как

Пелопоннесского восстания⁵ (1770), так и революции 1821 г. решительно отказывалась помочь грекам в их борьбе против османов: это был довод в пользу того, что Россия хотела использовать инструмент греческого фактора, но в собственных интересах. Когда с началом господства идеологии панславизма в конце XIX в. для греческих националистов стало очевидно, что Россия тяготеет к их великому сопернику, болгарам, безусловно, отношения ухудшились, и это негативное наследие в значительной мере сказалось и во время холодной войны в XX в.: конечно, в зависимости от принадлежности к какому-либо лагерю оно трактовалось положительно (коммунистами) или отрицательно (либералами).

А. А. В греческой национальной памяти Иоанн Каподистрия остался русским или греком? А королева Ольга Константиновна?

Д. С. Каподистрия считается пророссийским греком. Ольга — русской филэллинкой.

А. А. Говоря о крупных политиках XIX–XX вв., к чьему политическому наследию любят апеллировать греки? Есть ли в стране «иконы», которым поклоняется современный греческий политический класс?

Д. С. Конечно, такие личности, как Колокотронис, Каподистрия, Маврокордатос, действовавшие во время революции, Харилаос Трикупис и Элефтериос Венизелос — политики периода становления государства,

Константинос Караманлис и Андреас Папандреу в XX в.

А. А. Является ли болевой точкой в коллективном греческом сознании тот факт, что Греция на протяжении XIX, да и XX и XXI вв. находилась в сфере влияния иностранных держав? В качестве примера можно привести один связанный и с Античностью, и с событиями рубежа XVIII–XIX вв., но при этом остро злободневный греческий сюжет — борьба за возвращение из Великобритании скульптур Парфенона. В частности, в июне 2020 г. министр культуры и спорта Греции Лина Мендони заявила, что «сейчас настало время для Британского музея доказать, что он уже не колониальная музейная организация XIX века». Воспринимают ли греки историю своей страны в XIX в. (да и в XX в.) как историю государства, зависимого от великих держав? И как это отразилось на греческом национальном сознании, присутствует ли в современном греческом обществе недоверие к нынешним ключевым игрокам на международной арене?

Д. С. Не только XIX, но и XX в.: и Национальный раскол (1915–1917), и гражданская война (1944–1949) считаются периодами прямого вмешательства во внутреннюю политическую жизнь Греции великих держав, как западных, так и России. Однако Греция никогда не становилась колонией: это было государство, зависимое от международных отношений, как и остальные балканские государства. Но никогда оно не находилось под полным протекторатом.

⁵ Греч. Орλωφικά, в западной литературе — Орловское восстание (Orlov revolt).

А. А. Каково место Малоазийской катастрофы в современной исторической памяти греков? Сопоставима ли она по значению с такими событиями, как падение Константинополя или Вторая мировая война?

Д. С. Малоазийская катастрофа, безусловно, стала концом Великой идеи. Но с другой стороны, как я предположил выше, она является важнейшим моментом формирования современного греческого государства. Государство прекращает ставить своей главной целью экспансию и, следовательно, наращивать военные расходы. 1,2 млн беженцев, прибывших из Малой Азии, способствуют развитию промышленности. Оно также использует большое количество беженцев для этнической гомогенизации Македонии и Фракии. Малоазийская катастрофа наступила после подписания Лозаннского договора. И это самый важный момент в истории государства.

А. А. В годы финансово-экономического кризиса греческие политики и журналисты неоднократно сравнивали текущие непростые времена с годами Второй мировой войны. В греческом массовом сознании неизбежно всплывал образ конкретного «врага» — Германии, сыгравшей не последнюю роль в разработке программы международной финансовой помощи Греции. Насколько этот образ, воскресший в последнее десятилетие, оказался «живучим»? Смягчается ли напряженность после окончания «эпохи Меморандумов»? Отходит ли в связи с памятью о Второй мировой войне образ врага-турка, довлеющий над Грецией на протяжении нескольких столетий, на второй план?

Д. С. Разрушения Второй мировой войны очень живы в сознании даже моего поколения, которое не знало войны. Особенно в случае с Германией невозможно мириться с тем, как проигравший в войне может определять вашу жизнь. Это меняется с годами, но я думаю, что у греков нет устоявшегося отношения к этой проблеме, возможно, потому, что они понимают степень экономической зависимости от Германии.

А. А. Какие события оставили больший отпечаток в греческой национальной памяти — Вторая мировая война или последовавшая за ней гражданская война? Слиты ли в массовом сознании эти две войны, произошедшие практически одна за другой, или же они чаще расцениваются как отдельные конфликты?

Д. С. Одно несомненно считается продолжением другого.

А. А. Как вспоминают сейчас греки режим «черных полковников»? Есть ли отличия в воспоминаниях пожилых греков (современников режима) и оценках молодых поколений? Присутствуют ли сегодня ностальгические нотки в этих воспоминаниях и оценках? Изменилось ли коллективное отношение к хунте в годы финансово-экономического кризиса?

Д. С. В Греции со времен гражданской войны всегда имелась большая часть населения, которой были близки идеи крайне правых: иногда она была господствующей (в 1949–1974 гг.), а иногда маргинальной (с 1974 г. по настоящее время). Но это

не значит, что крайне правых нет. Избиратели партии Золотая заря (и это ускользнуло от многих ученых) часто являются детьми и внуками коллаборационистов.

А. А. Снова вернемся к недавнему финансово-экономическому кризису. Останутся ли 2010-е гг. в национальной памяти греков годами тяжелого перелома? Какой коллективный нарратив о кризисе формируется сегодня, по прошествии нескольких лет после его окончания?

Д. С. Эта дискуссия заморожена: мы видим дефицит, но не видим долга. Долг сковал три поколения греков, но уровень жизни греков по-прежнему намного выше, чем во многих странах бывшего советского лагеря. Это противоречие объясняется тем фактом, что в Греции был длительный период «черного богатства», к которому имели отношение широкие слои общества. Однако, хотя экономическое благополучие заставляет нас молчать, если разразится еще один масштабный кризис, подобный кризису 2009–2012 гг., вероятно, эта большая проблема — долг — снова вернется.

А. А. К какому миру больше тяготеют современные греки — европейскому или сугубо балканскому? Чувствуют ли греки свою балкан-

скую идентичность, или же для них гораздо важнее европейские культурные установки? «Славянские» Балканы и Греция — это разные культурные плоскости? Сказывается ли здесь общий для балканских народов период османского владычества? Играет ли сегодня на Балканах объединяющую роль православие?

Д. С. Я бы сказал, что прошло много времени с тех пор, как греков считали гордыми балканцами. Европейская идентичность, безусловно, победила, хотя и не всегда можно об этом говорить в положительном ключе.

А. А. Можно ли поставить знак равенства между словами «грек» и «православный»? В Греции церковь не отделена от государства. Есть ли здесь общественный консенсус, идут ли среди греков дискуссии на эту тему?

Д. С. Положение церкви не так прочно, как думают, однако православная идентичность сильна именно потому, что она использовалась как инструмент для построения национальной идентичности. Конечно, мы говорим о национальном православии, как это происходит в большинстве православных стран, в том числе и в России.

СРЕДНЕВЕКОВОЕ И ГАБСБУРГСКОЕ НАСЛЕДИЕ СРЕДНЕЙ ЕВРОПЫ: ВЗГЛЯД ИЗ СЛОВАКИИ*

В беседе с историками Словакии излагается взгляд словацкой историографии на историю Центральной Европы в средние века и Новое время и на взаимоотношения словаков со своими соседями по региону, с XVI в. в составе империи Габсбургов.

Ключевые слова: словаки, Словакия, Венгрия, монархия Габсбургов, Средняя Европа, межнациональные отношения, травматическая память.

Сведения об авторах: Ян Штейнхюбель, PhD, старший научный сотрудник Института истории Словацкой академии наук (САН);

Петер Шолтес, PhD, старший научный сотрудник Института истории САН, доцент Католического университета в г. Ружомберок;

Юрай Бенко, PhD, старший научный сотрудник Института истории САН;

Юрай Марушьяк, PhD, старший научный сотрудник Института политических наук САН;

Любор Матейко, PhD, доцент Университета имени Коменского в Братиславе.

Контактная информация: Ян Штейнхюбель jan.steinhubel@savba.sk

Петер Шолтес histsolt@savba.sk

Юрай Бенко juraj.benko@savba.sk

Юрай Марушьяк polimars@savba.sk

Любор Матейко lubor.matejko@gmail.com

MEDIEVAL AND HABSBERG HERITAGE OF CENTRAL EUROPE: A VIEW FROM SLOVAKIA

In a conversation with the historians of Slovakia, the view of the Slovak historiography on the history of Central Europe in the Middle Ages and the New Time and on the relationship of Slovaks with their neighbors in the region is presented (from the 16th century in the context of the Habsburg Empire).

Key words: Slovaks, Slovakia, Hungary, Habsburg monarchy, Central Europe, interethnic relations, traumatic memory.

About the authors: Ján Steinhübel – PhD, Senior Researcher at the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences (Slovakia)

Juraj Benko – PhD, Senior Researcher at the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences (Slovakia)

© Историческая Экспертиза, 2021

* Публикуемая беседа представляет собой первую часть задуманной серии из двух бесед российских и словацких историков о современной словацкой исторической памяти «Словаки: 1000 лет среди соседей по Средней Европе». Вторая беседа будет посвящена чехословацкому государственному проекту, оставившему заметнейший след в новейшей истории Европы.

DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-140-162

Peter Šoltés — PhD, Senior Researcher at the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences, Associate Professor of the Catholic University in Ružomberok (Slovakia)

Juraj Marušiak — PhD, Senior Researcher at the Institute of Political Sciences of the Slovak Academy of Sciences (Slovakia)

Lubor Matejko — PhD, Associate Professor at the University named after Komenský in Bratislava (Slovakia)

Contact information: Ján Steinhübel jan.steinhubel@savba.sk

Peter Šoltés histsoft@savba.sk

Juraj Benko juraj.benko@savba.sk

Juraj Marušiak polimars@savba.sk

Lubor Matejko lubor.matejko@gmail.com

Вопросы формулировали В. Никитин и А. Стыкалин (Институт славяноведения РАН).

Переводил со словацкого Любор Матейко.

1. Несколько лет назад отметили 25-летнюю годовщину со дня возникновения Словацкой Республики. Несмотря на юность вашего государства, словаки и их предки прошли через тысячелетнюю историю Центральной Европы. Наследие Великой Моравии до сих пор делят между собой со словаками моравы (т. е. часть чешской нации), и не только они, но и чехи в целом. В 1990-е гг. из-под пера двух писателей и публицистов вышла идея о переименовании этого средневекового государства в «Великую Словакию». Существуют ли какие-то феномены в раннесредневековой истории, которые можно считать предтечей последующих государственных образований, причем не только Чехословацкой Республики, но и независимой Словакии? Иногда в этой связи вспоминают о Блатенском княжестве (IX в.). Вообще какой след в сознании современного словака оставил этот ранний отрезок их истории?

Ян Штейнхюбель: Называть Моравию Моймировичей Великой Словакией мне представляется таким же нонсенсом, как называть Киевскую Русь Великой Беларусью.

Любор Матейко: Действительно, образование независимой Словакии сопровождалось попытками построить мифологическую подоплеку государственности, и в этом отношении сыграла свою роль также историография. В этом нет ничего удивительного, ведь поиск «общих корней» — типичное явление формирования идентичности такого социума, как национальная общность. Наконец-то похожие явления можно наблюдать также и в национальных историографиях постсоветского пространства. Свидетельством значимости мифа о Великой Моравии как древнем государстве словаков в пору образования Словацкой Республики является также ссылка на «духовное наследие Кирилла и Мефодия и исторический завет Великой Моравии» в преамбуле Конституции Словакии и включение праздника свв. Кирилла и Мефодия в список государственных праздников.

Правда, этот миф зародился еще в XIX в. и имел много воодушевленных сторонников среди словацкой интеллигенции. С течением времени, в зависимости от меняющихся актуальных политических условий, появились разные его варианты.

Таким образом, в 1990-х гг. этот миф не представлял собой ничего нового и, более того, ничего сверхоригинального. На мой взгляд, его следует трактовать лишь как разновидность мифа о Великой Моравии как о «первом совместном государстве чехов и словаков», который в свое время представлял собой один из государствообразующих мифов бывшей Чехословакии, подчеркивавший тысячелетние корни и историческую обоснованность совместной государственности и имевший в здешней историографии статус официального канона¹. Вместе со значением некоторого фактора внутреннего единения этот миф обладал также символическим значением, направленным на формирование отношений с внешним миром. По отношению к славянскому (восточноевропейскому) пространству наследие Великой Моравии и кирилло-мефодиевская традиция использовались как средства подчеркивания дружбы славян, объединенных светлым (т. е. в данном случае коммунистическим) будущим. По отношению к западноевропейскому пространству кирилло-мефодиевская традиция в свою очередь трактовалась как выражение значимости вклада чехов и словаков в европейскую культуру. В этом отношении большую роль сыграл факт провозглашения свв. Кирилла

и Мефодия покровителями Европы римской курией в 1980 г. Как только после 1989 г. в Чехословакии появилась возможность свободной дискуссии, миф о «первом совместном государстве» стал подвергаться критике и даже высмеиваться не только словацкими, но и чешскими, а также зарубежными историками². Таким образом, оживление мифа о «первом словацком государстве» можно считать своеобразной реакцией на утрату актуальности и некоторую скомпрометированность более объемного «чехословацкого» мифа.

Упомянутое вами Блатенское княжество и ссылки на его правителей (Прибина, Коцель) в свое время также использовались в словацкой историографии как аргумент против тезиса об отсутствии исторической (государственной) традиции у словаков, выдвигавшегося прежде всего чешскими историками еще до Второй мировой войны. Правда, на самом деле ряд вопросов истории Центральной Европы и ее заселения славянскими племенами оставался десятилетиями без ответов, и обстоятельное исследование по данной конкретной теме опубликовал лишь недавно Ян Штейнхюбель³. Это симптоматично: миф теряет свою политическую остроту, и тем самым открывается большее про-

¹ Позднее он представлялся инвариантом, в котором Великая Моравия связывалась с «началами чехословацкой государственности». Ср., например, название академического издания POULÍK, Josef, CHROPOVSKÝ, Bohuslav a kol. *Velká Morava a počátky československé státnosti*. Praha – Bratislava, Academia – Obzor, 1985.

² Ср., например: TŘEŠTÍK, Dušan, *Velká Morava – první společný stát Čechů a Slováků? // Přítomnost*, № 1, 24 января 1991.

³ STEINHÜBEL, Ján: *Nitrianske kniežatstvo*, Bratislava, VEDA, 2016. См. также переработанное и дополненное издание на английском *The Nitrian Principality : The Beginnings of Medieval Slovakia*. (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, 68.) Leiden, Boston : Brill, 2020. 670 pp. ISBN: 978-90-04-43782-1 Электронная версия – ISBN: 978-90-04-43863-7.

странство для научных исследований.

Юрай Марушьяк: В большей мере, чем историки, историческое сознание граждан формируют политические элиты, школьные учебники и публицистика. Думаю, что в настоящее время среди историков, пожалуй, нет автора, который говорил бы о «Державе Великая Словакия». Это понятие не имеет никакого основания в источниках и неприменимо также с точки зрения государствоведения.

Нарратив «короны Прибины» или «короны Святополка» развивался среди публицистов и историков, которых можно обозначить как сторонников Словацкой народной партии им. Глинки (в 1939–1945 гг.) и их преемников. С этим конструктом работал, например, Франтишек Грушовский, автор первого синтетического труда по истории словаков⁴. Позднее этот нарратив развивала публицистика так называемой людацкой эмиграции⁵. Конструкт «Державы Великая Словакия» сформировался вне академической среды. Его автором является, по всей вероятности, один из эмигрантов, оказавший таким образом влияние на публицистику периода возникновения

независимой Словакии⁶. Ныне этот конструкт представляет скорее комический эпизод в истории попыток мифологизации, которые появились в первые годы независимости Словакии и не имеют ничего общего с научным историческим дискурсом.

Вместе с тем проблему контекстуализации исторических корней словацкой государственности осознавали и создатели современной словацкой Конституции в 1992 г., включив в нее ссылку на связь с наследием Великой Моравии. Поэтому в преамбуле Конституции Словацкой Республики говорится не о преемственности государства, а о «духовном наследии Кирилла и Мефодия и историческом завете Великой Моравии»⁷.

Правда, в общественном сознании все еще присутствует спор о том, как называть жителей Великой Моравии. В национально-консервативной среде сложилось правило называть их термином «старые словаки», который представляется эквивалентом обозначений «старые чехи» или «старые венгры». Аргументация критиков такого обозначения (например, Яна Штейнхюбеля и археолога Михала Лутовского) состоит в том, что Великая Моравия включала только часть Словакии, главным образом

⁴ HRUŠOVSKÝ, František. *Slovenské dejiny*. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1939). Ср. Также HRUBOŇ, Anton. *Slovenský národný socializmus v koncepciách Štefana Polakoviča a Stanislava Mečiara: Dva návrhy posalzburškého smerovania prejav Slovenskej politiky*. // HRUBOŇ, A., LEPIŠ, J., TOKÁROVÁ, Z. (сост.): *Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989 II. (Osobnosti známe-neznáme)*. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2013, с. 20–34.

⁵ Ср., напр., ČULEN, Konštantín. *Po Svätoplukovi druhá naša hlava*. Cleveland: Prvá katolícka slovenská jednota 1947. [Термин «людаки» в свое время использовали сами сторонники партии Глинки в качестве самоназвания; со временем его значение приобрело отрицательную окраску. — Прим. перев.]

⁶ VETEŠKA, Tomáš J. *Veľko-slovenská ríša*. Trenčín: I. Štelcer 1992.

⁷ CONSTITUTION of the Slovak Republic // Zuzana Čaputová — President of the Slovak Republic. <https://www.prezident.sk/upload-files/20522.pdf>

западную Словакию, в свое время именуемую Нитранской, и следовательно, о формировании жителей современной Словакии как самостоятельной общности в целом можно говорить лишь со времен возникновения раннефеодального Венгерского государства, когда территория западной Словакии административно отделилась от современной Моравии, региона, принадлежащего к нынешней Чешской Республике⁸.

Спор о «старых словаках» вышел за рамки научной полемики даже в самой академической среде, когда, например, лингвист Ян Доруля обвинил критиков этого понятия чуть ли не в антипатриотических намерениях⁹. В таком политизированном дискурсе теряются профессиональные аргументы, согласно которым существует преемственность между этнонимами *словены* (обозначение славян в бассейне Дуная в Раннем Средневековье) и *словаки*, причем суффикс *-ак* стал в западнославянских языках продуктивным при образовании этнонимов примерно с XIV в.¹⁰

Естественно, в условиях политизации дискуссий по вопросам словацкой истории, напоминающей

поляризацию словацкого общества во второй половине 1990-х гг., профессиональное обсуждение невозможно. Вспомним политический конфликт, вызванный открытием памятника князю Святополку накануне парламентских выборов в 2010 г. Тогдашний премьер-министр Роберт Фицо обосновывал воздвижение памятника необходимостью создания исторического нарратива, сопоставимого с нарративами соседних государств: «Если венгры могут иметь Святого Стефана, и у чехов есть Святой Вацлав, то пусть у нас будет Святополк»¹¹. Из этого видно, что процесс «достройки» исторических памятников имеет сильное центральноевропейское измерение¹². В то же время по отношению к научному дискурсу этот процесс проходит достаточно автономно.

2. Продолжая первый вопрос. Применительно к средневековой истории словаков еще в 1980-х гг. существовала теория, согласно которой чем больше «Держава Само», а позже Великая Моравия укрепляли свою военную и экономическую мощь, тем больше в это пространство внедрялась Франкская держава. Р. Марсина в первом томе «Истории Словакии» (1980-е гг.)

⁸ Указанные мнения историков цитировались также в прессе, см., например: KERN, Miroslav. *Vláda a premiér menia dejiny* // Sme, 3 января 2008. <https://www.sme.sk/c/3659769/vlada-a-premier-menia-dejiny.html>

⁹ См.: DORULA, Ján. *Starí Slováci*. // DORULA, Ján (сост.) *O krajine a vlasti starých Slovákov*. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava 2011, с. 53–63.

¹⁰ Там же, с. 58–59.

¹¹ LYSÝ, Miroslav: „I Svätopluk zaslúžil sa o slovenský štát“. *Používanie stredovekých symbolov v 20. a 21. storočí*. // *Historický časopis*, 63/2015, №. 2, с. 333–346. Из публицистических текстов см., например: VRAŽDA, Daniel: *Fico: Jánošík je svetlý vzor mojej vlády* // Sme, 3 января 2008. <https://www.sme.sk/c/3659817/fico-janosik-je-velky-vzor-mojej-vlady.html>

¹² Ср., например, THIESSOVÁ, Anne-Marie. *Vytváření národních identit v Evropě 18.-20. století*. Brno: CDK 2007, s. 124–127.

пишет следующее: «Возникновение первого славянского племенного союза между аvarами и Франкской державой первоначально франками приветствовалось, поскольку смогло сдержать атаки аvarов, которые все чаще угрожали восточным районам Франкской державы. Однако Держава Само не только продолжала существовать, но все больше крепла и угрожала планам по расширению франкской власти на восток от славянских стран». Франки, с точки зрения словацкого историка, поняли, что осуществлению их интересов угрожает именно существование и успешное развитие «Державы Само». Поэтому, с его точки зрения, и возник конфликт Дагоберта с Само. В контексте этой теории невозможно не вспомнить про франкско-великоморавскую борьбу, в особенности про историю Святополка. Применимы ли к этим раннесредневековым государственным образованиям подобного рода геополитические концепции? Какова была реальная внешнеполитическая история этого пространства в Средневековье?

Ян Штейнхубель: С точки зрения государственности, средневековая Европа, а затем и Европа Нового времени была во всем обязана римлянам. Римское государство было недостижимым образцом, источником легитимности и подражания. Подражание (*imitatio imperii*) стало катализатором образования средневековых государств. Поэтому Рим, власть римских кесарей и христианство как государственная религия Римской

империи обладали в средневековой Европе особым авторитетом.

Великие европейские державы, как Византийская и Франкская империи, использовали свое цивилизационное и культурное превосходство (и такое его проявление, как христианство) в качестве инструмента установления своего контроля над соседями, которыми были в Центральной и Юго-Восточной Европе прежде всего славяне. Политическая стратегия, основанная на значительном культурном превосходстве, была разработана и систематически внедрялась прежде всего Древним Римом, а затем и его прямой наследницей, Византией. Моравляне стали испытывать на себе действие этой стратегии благодаря византийской миссии во время правления князя Ростислава. По образцу Римской империи, распространявшей христианство среди всех народов, Великая Моравия должна была стать центром распространения христианства и образованности среди всех славян. Итак, по образцу римского (византийского) универсализма, византийская миссия стала в Великой Моравии реализовывать программу всеславянского универсализма. Основой такого подхода была уверенность римлян (и их преемников, византийцев) в том, что именно они являются источником и вершиной образованности и цивилизации. Чем были римляне (а позже византийцы) для окружающего варварского мира, тем должны были стать моравляне для славян¹³.

¹³ Подробнее AVENARIUS, Alexander. *Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI. – XII. storočí. K problému recepcie a transformácie*, Bratislava 1992, с. 46–51; ср. также STEINHUBEL, Ján:

Великая Моравия была независимым княжеством и в то же время окраинной, очень как бы «вольной» частью широкого пограничья Франкской (и позднее Восточно-Франкской) империи. Такое положение имело некоторые отрицательные аспекты (меньшая или большая мера зависимости), но и преимущества (право участвовать — с учетом собственных интересов — в решении проблем на пограничных территориях империи, а также и в самой империи). Князя Великой Моравии пытались лавировать так, чтобы использовать преимущества и избегать отрицательных сторон своего положения. В поисках утверждения легитимности собственной власти они наконец добились поддержки со стороны папы римского, что позволяло им с большим или меньшим успехом, но не всегда считаться с авторитетом франкских королей. Благодаря опоре в Риме им удалось перенаправить векторы развития Центральной Европы. На авторитет Рима опирались и более поздние центральноевропейские монархии.

Любор Матейко: Поскольку в вопросе подчеркивается связь с темой актуализации исторических трактовок и исторического сознания, хочется указать на особый аспект: «франкский вопрос» и толкование борьбы славян с франками в контексте, возникшем после Второй

мировой войны. Этот вопрос не мог не восприниматься в широких кругах словацкой общественности иначе, чем в рамках привычной схемы «свои и чужие», спроецированной на славяно-германское противостояние. Конечно, это отнюдь не значит, что сами медиевисты, трактующие борьбу Державы Само с франками, следовали такой когнитивной модели, но без указания на общие принципы геополитики и внутреннюю логику поведения любой сверхдержавы (и, в конце концов, любой властной структуры) такие трактовки вписывались в общую схему образа немца как вечного врага, распространенную в широких кругах населения. Правда, в условиях холодной войны такой образ немца в официальной пропаганде отождествлялся лишь с Западной Германией, но стоит отметить, что некоторая сдержанность (как следствие опыта войны) ощущалась в немалой части населения и в отношении к немцам вообще¹⁴. Этот чувствительный для населения Чехословакии вопрос принимали во внимание и при планировании в 1968 г. операции «Дунай», участие в которой вооруженных сил Восточной Германии было в общем формальным.

Юрай Марушьяк: Уже применительно к раннему Средневековью можно говорить о геополитическом положении западославянских

Metodov konflikt s bavorskými biskupmi. // Cyrilometodějská misie a Evropa, Brno 2014, с. 220–225; STEINHUBEL, Ján: *Veľká Morava a slovanský svet.* // Monumentorum tutela 29, 2018, с. 12–14.

¹⁴ См. подробнее ZAVACKÁ, Marína. *Kto je náš a kto je Nemec? Lojalný československý občan a "nemeckosť" v rokoch 1948–1956.* // Acta Universitatis Carolinae : studia territorialia, 2013, 13, № 1-2, с. 237-260. ISSN 1213-4449. На немецком языке см.: *Freund oder Feind? Der loyale junge tschechoslowakische Bürger und "der Deutsche" in den Jahren 1948-1956. In Loyalitäten im Staatssozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen* : Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung. — Marburg: Verlag Herder-Institut, 2010, с. 134–159.

государств, что подтверждает тезис о пограничном характере Центрально-Европейского региона. Несмотря на то, что в нем господствовала ориентация на западноевропейское властное и культурное пространство, этот регион был местом пересечения интересов властных элит и объектом влияния нескольких больших европейских игроков (таких как Восточно-Франкская империя, Византийская империя), а также властных элит кочевых племен, переселившихся из степей Восточной Европы. Пограничный характер этого региона характеризует и более позднее развитие Центральной Европы вплоть до настоящего времени, не только с геополитической, но и с культурной и цивилизационной точек зрения.

Продолжая мысль Любора Матейко, можно добавить, что с окончанием холодной войны отрицательный образ немцев в словацком обществе подвергся эрозии. Победившая на демократических выборах в Чехословакии политическая элита приняла в феврале 1991 г. в парламенте декларацию, в которой изгнание судетских немцев обозначалось как трагедия и опровергался принцип коллективной вины. В документе подчеркивается, что немецкое меньшинство «было частью совместных цивилизационных усилий на протяжении веков и внесло значительный вклад в разнообразие культурного колорита нашей страны»¹⁵. Страх перед Германией как новым гегемоном Европы после 1990 г. выражался

лишь редко, например в произведениях писателя Владимира Минача, в качестве аргумента против европейской интеграции: «Европа станет наднациональной таким образом, что немцы будут стоять над всеми нациями...»¹⁶. Идея Словакии как геополитического моста между Западом и Востоком продолжает жить в публичном дискурсе, но в современной словацкой историографии, вопреки дискуссиям о славянской идентичности, словацкая история не представляется через нарратив славяно-немецкого соперничества.

3. С приходом венгров на берега Дуная в 896 г., после распада Великой Моравии начинает постепенно складываться венгерская государственность. Как известно, Венгерское королевство ведет свой отсчет с 1000 г. Существует теория, согласно которой венгры остановили развитие славянской государственности в этом регионе. Примерно также трактуют последствия прихода венгров в регион румынские историки. Так, в опубликованной несколько лет назад однотомной «Истории Трансильвании» Иоана-Аурела Попа и Иоана Болована приход венгров назван фактором, способствовавшим более позднему формированию румынской государственности. Согласны ли вы с тезисом о «роковой» роли прихода венгров для становления государственности у соседних с ними народов, будь то словаки, сербы, хорваты или румыны?

¹⁵ *Vyhlásenie Slovenskej národnej rady č. 78 k odsunu slovenských Nemcov*. Bratislava: Slovenská národná rada, 12. 2. 1991. Доступно онлайн: https://www.nrsr.sk/web/static/sk-sk/nrsr/doc/v_k-odsunu-nemcov.htm

¹⁶ Mináč, Vladimír: *Hovory* M. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 1994, с. 232.

Ян Штейнхюбель: В битве на реке Лех в 955 г. погибла элита венгерских кочевнических племен и их воинские дружины. Это предопределило размах власти рода Арпадов, которые в битве не принимали участия. Центр их власти располагался в Паннонии, которая была цивилизационно наиболее развитой и этнически наиболее смешанной частью тогдашней Венгрии. Раннеарпадовская Венгрия иногда даже прямо обозначалась прежним римским названием Паннония. В Паннонии находился центр королевства (*medium regni*), о чем говорит сама концентрация таких престольных городов, как Стрегом (нынешний Эстергом, Венгрия), Альба Регия (т.е. Престольный белый град, ныне Секешфехервар, Венгрия), Беспрем (ныне Веспрем, Венгрия), Рааб (ныне Дьёр, Венгрия) и Буда (ныне составная часть Будапешта). Таким образом, начала венгерского государства, его ядро, связаны с Паннонией. Остальные территории, в том числе нынешняя Словакия, были присоединены позднее. Первый венгерский король, Иштван I, распространил свою власть на всю Карпатскую котловину. Иштван приглашал на службу образованных иностранцев с европейским опытом, с его именем связано основание церкви, образование 2 архиепископий и 8 епископий. На высокие посты в государственной и церковной иерархии он поставил лучших людей из своего окружения.

Любор Матейко: Иногда приводится старый и широко распространенный

тезис о «примитивности» венгерских кочевников, которые стали проникать на территории Паннонии и Карпатской котловины под конец IX в. В пользу этого тезиса в более ранней словацкой историографии и филологии многократно высказывались, например, лингвистические аргументы: множество славянских заимствований в венгерском языке — терминология из областей, которые, естественно, для кочевников, представляли новинки (земледелие, государственное управление, христианская религиозная практика). Толчком для преодоления такой узко национальной точки зрения в современной словацкой историографии стала работа Александра Авенариуса, посвященная более широкому пониманию аккультурационных процессов в Центральной Европе раннего Средневековья¹⁷. В указанном контексте стало явным, что этнические венгры, т.е. мадьяры, проходили все процессы своего развития вместе с другими этническими группами, и, таким образом, вопрос о «приостановлении развития славянской государственности» предстал в новом свете. Аккультурационные процессы в Паннонии (христианизация, экономическое и политическое развитие) приостановились лишь временно. Если смотреть из перспективы экономического или культурного развития (либо упадка), то любая дестабилизация и распад имевшихся общественных и экономических структур в Центральной Европе способствовали

¹⁷ AVENARIUS, Alexander. *Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI.-XII. storočí: k problému recepcie a transformácie*. Veda, Bratislava 1992. 280 стр. ISBN 80-224-0359-8. Переработанное и дополненное издание на немецком языке: *Die byzantinische Kultur und die Slawen. Zum Problem der Rezeption und Transformation (6. bis 12. Jahrhundert)*. Oldenbourg Verlag, München 2000. 264 стр. ISBN 9783486648416.

некоторому приостановлению развития, но в перспективе среднесрочной или долгосрочной видно, что в определенных условиях застой или упадок приносила также стабильность структур. Однако, какой бы ни была мера застоя, очевидно, что такие старые центры, как Бреслава (ныне словацкая Братислава) или Нитра, несмотря на то, что вошли во владения Арпадов, через краткое время вновь приобрели свое значение.

4. Составной частью Венгерского королевства изначально стало Нитранское княжество, князьями которого назначались сыновья, иногда братья венгерских королей. Словацкие историки XIX в., близкие к Людовиту Штуру, выдвинули концепцию об автономии Словакии в рамках Венгерского королевства, ссылаясь на историю Нитранского княжества. Существование этого княжества давало аргументы для апелляции к «историческому праву» при разработке проектов создания собственного, словацкого государства. С вашей точки зрения, какой след оставило это княжество в истории Венгрии? Позволяют ли источники, учитывая их незначительный объем, делать хотя бы какие-то мало-мальски значимые выводы по данному вопросу?

Ян Штейнхюбель: Нитра была удельным княжеством Арпадов вплоть до начала XII в. Похожие уделы встречаются также у чешских Пржемысловичей, польских Пястов и древнерусских Рюриковичей. Нитра Арпадов была во многом похожа на Моравию Пржемысловичей. Моравские и Нитранские князья стояли во главе соответственно мо-

равского и нитранского войска, которое во время войн становилось частью чешского и венгерского войска. Правда, иногда, например, в 1040 и 1074 гг., войско Нитран воевало особняком, а не как составная часть королевского войска. Войско моравлян в 1030, 1040, 1074, 1103 и 1108 гг. также сражалось без чехов.

Нитранские и моравские князья чеканили собственные монеты. В Моравии существовала собственная епископия, обновленная в 1063 г. Нитра, в свою очередь, как бывшая великоморавская епископия стала диоцезой Эстергомской архиепископии. Моравия, в отличие от Нитры, не была единым княжеством. Государство Пржемысловичей было самым малым государством в Центральной Европе. Все пржемысловские удельные князья поэтому должны были поместиться на небольшой территории Моравии, которую Бржетислав I разделил на две половины, причем западную половину еще на две четверти. Королевство Арпадов было в три раза больше, чем владения Пржемысловичей, и разделить Нитранское княжество не было нужды. Наоборот, для того, чтобы княжеский удел достиг требуемой доли территории, т. е. трети королевства, Нитранско соединялось с соседним Бигаром (Бихаром, территорией, которая ныне находится в северо-западной Румынии и восточной Венгрии).

Нитранские Арпады воспринимали свое княжество как неотделимую часть королевства и отправной пункт к достижению венгерской королевской короны. Почти каждый нитранский князь стал со временем венгерским королем. Поэтому в династии

Арпадов не сформировалась побочная ветвь нитранских князей, которая считала бы Нитру своей вотчиной, как это было в древнерусских и польских уделах. Таким образом, в арпадовском Нитранском княжестве не было собственной княжеской династии, заинтересованной в его дальнейшем существовании.

5. После катастрофы под Мохачем 1526 г. словаки оказались в Габсбургском пространстве. Если мы посмотрим на карту тогдашней Средней Европы, увидим, насколько глубоко вклинилась Османская империя в земли тогдашнего Венгерского королевства: под турецким владычеством более чем на 150 лет оказалась большая часть территории современной Венгрии. Однако словацких земель османское господство почти не коснулось, они вошли в состав территорий, контролируемых Веней. Можно ли говорить о том, что приход турок стал фактором, способствовавшим усилению различий в развитии собственно венгерских (населенных преимущественно мадьярами) и словацких земель?

Петер Шолтес: Сто пятьдесят лет в тени полумесяца оказали принципиальное влияние на развитие Венгерского королевства и на межэтнические отношения на этой территории. В результате расширения Османской империи подвластные Габсбургам территории Венгерского королевства редуцировались примерно до одной трети. В тот период, когда центральные и южные части Венгерского королевства входили под контроль Высокой Порты, роль политического центра так называемой Габсбургской Венгрии играла

территория, заселенная главным образом этническими словаками. Здесь нашли убежище многие представители дворянского сословия, сбежавшие с территорий сегодняшней южной Венгрии и Хорватии. Культура Венгерского королевства XVI и XVII вв. по большому счету развивалась на нынешних территориях Словакии, западной и северо-восточной Венгрии и, естественно, Трансильвании (Семиградья), но большинство высших католических и протестантских (евангелических) образовательных учреждений, типографий, библиотек и с ними связанных культурных элит концентрировалось как раз на территории сегодняшней Словакии. В то же время следует отметить, что самые большие города на этой территории были в указанный период смешанными с языковой и конфессиональной точки зрения. Немецкий элемент постепенно ослабевал в результате войн, сословных восстаний, эпидемий и экономического упадка и его место в свободных королевских городах и в городах с развитым горным делом занимали словаки, а в областях на юге в свою очередь этнические венгры (мадьяры).

Территории со словацкоязычным населением в этот период стали восприниматься как этническое и территориальное целое. Географическое понятие «Словакия», «Словацкая земля» употребляется во второй половине XVI в. сначала редко, но в XVII в. уже относительно широко в переписке и сообщениях чешских, польских и австрийских гуманистов. В домашней, венгерской среде северные части Венгрии уже в позднее Средневековье назывались

Словакией (*tót ország*) даже в разговорной речи. В период сословных восстаний это понятие широко употребляется и в переписке аристократии.

В процессах трансформации надэтнического сословного концепта *natio hungarica* параллельно развивалась и тенденция к подчеркиванию старомадьярской и гуннской традиции. Принадлежность к *natio hungarica* связывалась не с этнической идентичностью, а с принадлежностью к дворянскому сословию, и таким образом также к политической нации в тогдашнем понимании. Мадыарский, румынский, словацкий или немецкий дворянин пользовались одинаковыми политическими правами и одинаковым образом ощущали принадлежность к этой нации. Отнюдь не случайно в идеологии венгерских дворян в период турецких войн и сословных восстаний против Габсбургов выступают на первый план не их мадыарское происхождение, а заслуги в борьбе за защиту венгерской самостоятельности и сословных прав. Национальный концепт в среде политических и культурных элит Венгерского королевства стал господствующим только в период романтизма и связанного с ним национализма.

6. В XVI в. начинается процесс интеграции словацких земель в империю Габсбургов. Каково было их место в этой империи, в чем была специфика развития словацких и в том числе сегодняшних южнословацких земель в сравнении с другими землями, формально относившимися к венгерской короне? Была ли эта специфика сколько-нибудь ярко выражена?

Петер Шолтес: В результате присутствия осман на три столетия изменилось соотношение центра и периферии между некогда центральными территориями Венгрии и ее северными, этнически преимущественно словацкими регионами. Турки находились в 150 км от Вены и в 100 км от новой столицы Венгерского королевства, Прешпорка, как в тогдашнем словацком языковом узусе называлась нынешняя Братислава, которая выросла из раннесредневековой Бреславы в позднесредневековый Прессбург. Эта близость вызывала постоянные опасения и потребность финансировать дорогостоящие проекты, включавшие строительство крепостей, сторожевых башен и содержание пограничных воинских гарнизонов. С точки зрения финансовой стабильности империи Габсбургов незаменимую роль играли горные районы в центральной и восточной Словакии, поскольку именно отсюда поступала большая часть источников, служивших для финансирования воинской защиты границы. Технологически развитое горное дело и связанный с ним размах естественных и технических наук подталкивали трансфер новых знаний из Западной Европы, чему способствовало и то, что население горных городов (Банска Быстрица, Банска Штьявница, Кремница, Смолник), а также крупнейших свободных королевских городов на словацкой этнической территории в большей степени составляли немцы, по крайней мере, они сохраняли среди городских элит господствующую позицию.

Экспансия осман разрушила традиционные торговые связи между гористой промышленной Верхней

Венгрией и преимущественно аграрной Нижней Венгрией. Вместе с перемещением экономического центра тяжести на территории, населенные словаками, сюда были перенесены также центральные королевские и церковные учреждения. Начиная с периода высокого Средневековья и вплоть до конца XVIII в. территория сегодняшней Словакии была наиболее урбанизированным пространством земель венгерской короны, для которого были характерны интенсивные градообразовательные процессы, развитие ремесел и торговли. В XVII в. шесть из десяти самых значительных городов Венгерского королевства находилось на территории нынешней Словакии. Это нашло отражение не только в экономической развитости, количестве и структуре цехов (и позже мануфактур), но и в социальной структуре населения.

Правда, с конца XVIII в., и главным образом в XIX в. цивилизационные параметры территории нынешней Словакии стали ухудшаться. Города Верхней Венгрии переживали экономический и демографический застой. Центр тяжести перемещается в центральные и южные области, главным образом в окрестности динамично развивающейся агломерации Пешта и Буды.

Следует добавить, что вышеприведенная специфика словацких земель не нашла выражение в какой-либо форме территориального или административного обособления. В связи с организацией протестантских церквей в XVII в., а также в связи с заседаниями сейма, Королевство Венгрия было расчленено на четыре

дистрикта по географическому принципу с учетом течения двух самых могучих рек страны — Дуная и Тисы. Этнический и языковой принцип не играл никакой роли. Правда, по факту, в Задунавье (*Hungaria Trans-Danubiana*, или же *partes regni Hungariae Ultra-Danubiales*) преобладало словацкоязычное население, в то время как в Затисье, наоборот, этнические венгры.

Надо иметь в виду, что сегодняшняя территория Словакии не представляла собой однородное целое. Это был типичный пограничный регион, для которого была характерна этническая и конфессиональная разнородность. Начиная с так называемой валашской колонизации, т. е. примерно с XIV в., здесь встречается западное и восточное христианство, и со времен Реформации по этой территории проходила западная граница распространения в королевстве двух главных протестантских вероисповеданий. Естественно, что на этом малом пространстве формировались значительные цивилизационные, культурные, социальные и ментальные различия.

Любор Матейко: Небезынтересно отметить, что сам термин *Hungaria Trans-Danubiana* указывает на перспективу, с которой смотрели на карту его создатели: под Задунавьем подразумевались все земли королевства, находившиеся к югу от Дуная. Этот регион воспринимался как находящийся «за Дунаем» именно с точки зрения новой столицы Венгерского королевства, Прешпорка (Братиславы), которая тогда располагалась только на северном берегу реки.

Преддунавье (*partes regni Hungariae Cisdanubianae*), в свою очередь, существовало с 1542 г. как особый капитанат, т.е. территориальная единица, образованная прежде всего в целях военной защиты, и его территория была практически тождественна с сегодняшней Словакией, северным Потисьем и Закарпатьем (с словацкой точки зрения Подкарпатьем). Этот капитанат был позже расчленен на капитанат горных городов (западная и центральная Словакия) и верхневенгерский капитанат (восточная Словакия, Подкарпатье и Потисье). Похожие единицы существовали и на других пограничных территориях королевства, подвластных Габсбургам (в нынешней Хорватии, Румынии, Венгрии).

Изменения административного членения территорий, подвластных Габсбургам, были связаны не только с неустойчивостью границы с Великой Портой, но также с целой серией восстаний протестантского дворянства, направленных против Габсбургов. Именно этой нестабильностью можно в конечном итоге объяснить тот факт, что в указанный период не сформировалось более устойчивое административное отграничение областей сегодняшней Словакии.

7. Внедрение словаков в монархию Габсбургов имело в раннее Новое время, разумеется, не только и не столько свои политические аспекты, сколько экономические. Своей экономикой словацкие земли оказались привязаны к общеимперскому экономическому пространству.

В 2006 г. появилась коллективная монография «Экономическая история Словакии. 1526–1848 гг.» под редакцией М. Кохутовой и Й. Возара. В ней обстоятельно анализируется именно экономический аспект длительного пребывания словацких земель в составе Центральноевропейской империи. Авторы приходят к выводу о том, что словацкая экономика сыграла свою роль не только в рамках данного государства, но и в Европе в целом. Как выглядит, с вашей точки зрения, именно это экономическое измерение словацкой истории? И насколько значительны в словацкой исторической науке труды по истории экономики периода феодализма?

Петер Шолтес: Труды по истории экономики феодализма весьма редки. После десятилетий, когда экономическая история феодализма сосредотачивалась прежде всего на «эксплуатации» и «классовой борьбе», внимание исследователей переносится к иным темам (история аристократии, социальная история). Ситуацию характеризует некоторая методологическая неопределенность, и с ней связана также не совсем однозначная оценка приведенной вами работы.

Любор Матейко: К этому можно добавить, что в рамках экономической истории позднего Средневековья и раннего периода Нового времени в 70-х и 80-х гг. довольно интенсивно исследовалась история горного дела и начала мануфактурного производства, т.е. начала капитализма¹⁸. В частности,

¹⁸ См., например: LACKO, Miroslav *Baničstvo a hutníctvo na Spiši v rokoch 1526–1918.* // *Historia Scepusii*. Vol. II, Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Bratislava – Kraków, 2016 c. 958–1005.

достаточно популярна тема добычи и торговли медью, достигших впечатляющих масштабов благодаря совместному предпринятию местного рода Турзо и владельцев одного из крупнейших европейских банков, Фуггеров. Результаты исследований нашли свое выражение также в учреждениях исторической памяти (многочисленные музеи, экспозиции горного дела), а также в массовой культуре, прежде всего в туризме¹⁹.

8. Хотелось бы затронуть и вопрос об источниках изучения истории Нового времени. Комитаты — основной инструментарий осуществления местной власти в словацких землях — находились в руках венгерского дворянства. В традициях венгерской дворянской ментальности словацкие земли всегда воспринимались как Верхняя Венгрия (Felső-Magyarország). В какой мере словацкие историки опираются на богатые фонды венгерской комитатской администрации? Или предпочтение отдается каким-либо иным источникам? Насколько активно словацкие историки используют (разумеется, под собственным, критическим углом зрения) хранящиеся в Венгерском государственном архиве богатые залежи документов по словацкой истории? И как вообще сегодня выглядит общая ситуация с вводом в научный оборот новых архивных документов применительно к габсбургскому периоду истории Словакии?

Петер Шолтес: В комитатских архивах хранятся важные источники раз-

ных периодов, вплоть до крушения монархии в 1918 г. Комитаты в рамках самоуправления пользовались высокой степенью независимости, и, следовательно, роль комитатских архивов незаменима, особенно для исследований истории Нового времени. Число комитатов менялось. В середине XIX в. их было в Королевстве Венгрия пятьдесят. Шестнадцать из них целиком или большей частью располагались на территории нынешней Словакии, в результате чего архивные фонды примерно одной трети комитатов сегодня хранятся в государственных архивах Словакии. Помимо комитатов правами самоуправления пользовались также города, и в городских архивах сохранилось огромное количество источников, касающихся городского управления, экономики, строительной деятельности и т.п. Источники для изучения истории церкви, в свою очередь, хранятся в архивах отдельных религиозных общин, епархий и сениоратов. Поскольку после присоединения Венгрии в XVI в. к империи Габсбургов существовали два центра власти, Вена и Будапешт, точнее, до их объединения 1873 г. в один город Буда и Пешт (и именно туда постепенно в последней трети XVIII в. и в первой половине XIX в. переселялись учреждения центрального значения, вместе с их архивными собраниями), архивы имперских и важнейших провинциальных учреждений хранятся в Вене и Будапеште.

Фонды эпохи Нового времени в основном обработаны и доступны исследователям, но проблема работы с ними заключается в языковых компетенциях. Венгрия

¹⁹ Ср., например, <https://fuggerstrasse.eu/>

была королевством четырех языков. В официальном общении до первой трети XIX в. преобладала латынь, причем образованные люди того времени пользовались, как правило, также немецким, венгерским и одним из славянских языков. Поэтому исследование этого периода словацкой/венгерской истории ставит перед историком сложную задачу именно с языковой точки зрения.

В отличие от ситуации в историографии других стран бывшей империи, словацкие историки не пользуются столь богатой базой критических изданий источников. К сожалению, прогресс в области публикации источников, относящихся к габсбургскому периоду истории Словакии, за последние тридцать лет не большой. Одним из исключений является серия «Источники по истории Словакии и словаков», издаваемая с конца 1990-х гг. «Габсбургскому» периоду с 1526 по 1918 г. посвящено пять из четырнадцати томов²⁰.

Иная ситуация наблюдается в венгерской историографии, где постоянно публикуются первоисточники по истории Средних веков и Нового времени. Там, например, благодаря сотрудничеству с частным сектором, в рамках проекта Arcanum за два десятилетия успешно оцифрованы фонды венгерских учреждений памяти, которыми активно пользуются и словацкие историки²¹.

9. Имперский центр, Вена, находился в непосредственной близости

от словацких земель и даже от города, ставшего позже столицей словацкого государства, т.е. от Братиславы. Как эта близость сказывалась на экономическом и культурном развитии словацких земель? Ослабляла ли эта близость (пусть в очень ограниченной мере) действие мадьяризаторских импульсов, исходивших из Будапешта в эпоху австро-венгерского дуализма? И в той же связи еще один вопрос. Известно о роли лютеранской религии в развитии словацкого национального движения, формировании национальной идентичности словаков. Но верно ли говорить о том, что лютеранство было испокон веков фактором, способным скорее привязать словаков к немецкому культурному ареалу в целом, нежели непосредственно к Вене, центру Габсбургской империи, всегда выступавшей оплотом католицизма в общеевропейском масштабе?

Петер Шолтес: Географическая близость Словакии к столице империи не приносила таких мощных импульсов развития, как это было в случае прилегающих к Вене областей Моравии, Чехии или Австрии, т.к. между Венгерским королевством и Австрией проходила таможенная граница. Со второй половины XVIII в. до революции 1848 г. высокие пошлины на ввоз товаров и сырья из Венгрии в австрийские земли, которые в эпоху австро-венгерского дуализма получают название Цислейтания, представляли определенную форму компенсации за то,

²⁰ PRAMENE k dejinám Slovenska a Slovákov (I-XIV). Pavel DVORČÁK (ред.) Bratislava : Literárne informačné centrum – Vydavateľstvo Rak, 1998–2016.

²¹ www.arcanum.hu

что венгерское дворянство не облагалось налогами. Родовые поместья Габсбургов в Западной Словакии и собственность имперской палаты имели большое значение для распространения инноваций в хозяйственном управлении большими поместьями. Их экономические успехи копировали и другие аристократы. Таким образом, продуктивность сельского хозяйства в словацких землях была одной из самых высоких в королевстве Венгрия, и с XIX в. здесь активно развивалась также сельскохозяйственная промышленность.

Однако влияние Вены было весьма интенсивным и в области культуры. Художественная жизнь столицы была источником импульсов и образцом для подражания и для немецко-словацко-венгерского Прешпорка (Братислава). Театральные сцены общались друг с другом, венские газеты читались вместе с местными изданиями²². Иногда с некоторым преувеличением говорят, что в культурном отношении Братислава была пригородом Вены. Самые богатые аристократические семьи Венгрии с XVIII в. покупали дворцы в Братиславе и Вене, чтобы принимать участие в общественных и политических мероприятиях.

Ко второму вопросу. Со времен выступления Мартина Лютера наблюдается очень интенсивный культурный обмен между немецкой академической средой и культурными

элитами Верхней Венгрии. Этот обмен продолжался и в XVII в., когда, особенно в 70-х гг., протестанты Венгерского королевства сталкивались с сильным рекатолизационным давлением (эпоха Контрреформации). Лютеране Венгерского королевства могли этот натиск успешно выдержать и благодаря поддержке немецкой среды, которая предоставляла убежище религиозным изгнанникам, о чем свидетельствует недавнее исследование Евы Ковальской²³.

Протестантские школы Верхней Венгрии были важными учреждениями для трансфера идей из западноевропейских, особенно немецких университетов, куда протестанты из Венгерского королевства отправлялись изучать богословие. До 1819 г., когда был основан евангелический богословский факультет в Вене, венгерские протестантские священники вынуждены были получать полное богословское образование за границей. Поэтому великие словаки Ян Коллар, Павол Йозеф Шафарик, Людовит Штур и целые поколения их предшественников отправлялись на обучение именно в немецкие университеты, где со времен Реформации существовали многочисленные фондации для их поддержки и стипендий.

Начиная с XVIII в. в немецкой теологии преобладал ортодоксальный, пиетистский курс, а с начала XIX в. все сильнее становилось либеральное богословие. Эти два течения

²² LASLAVÍKOVÁ, J.: *Mestské divadlo v Prešporke nasklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou*. Bratislava 2020. TANCER, J.: *Im Schatten Wiens. Zur deutschsprachigen Presse und Literatur im Pressburg des 18. Jahrhunderts*. Bremen 2008.

²³ KOWALSKÁ, E.: *Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách. Sociálny, kultúrny a politický rozmer konfesijného exilu z Uhorska v 17. storočí*, Bratislava 2014.

по-разному отражались и были представлены в отдельных языковых и этнических лютеранских общинах, проживавших на территории Венгерского королевства. Словацкоязычные лютеране традиционно больше склонялись к лютеровской ортодоксии, в то время как немецкоязычные и венгероязычные евангелики аугсбургского исповедания гораздо интенсивнее воспринимали тогдашнюю немецкую либеральную теологию. С 40-х гг. XIX в. влияние ортодоксии Лютера в среде словацких евангелистов еще более усилилось в результате того, что либеральные богословы продвигали идею объединения реформатской (кальвинистской) и евангелической церквей по примеру Германии.

Деятели словацкого национального движения, принадлежавшие к лютеранам, находили в немецкой среде вдохновение и в том, что касалось идеологизации, а затем и политизации языкового вопроса, который они представляли не как проблему коммуникации, а как экзистенциальную проблему. Общий язык стал главным критерием этнической принадлежности, национального единства. А значит главным средством национальной эмансипации.

Важным фактором была также автономия евангелической церкви в области церковной организации и образования. По сравнению с растущим влиянием и контролем государства в католических учебных заведениях, которые имели место при режиме Меттерниха, у лютеран именно автономное положение позволяло поддерживать интенсивный трансфер культуры и науки

из немецкой протестантской среды. Автономная церковная организация способствовала установлению и поддержке контактов словацкой лютеранской культурной элиты с представителями чешских, сербских, польских и русинских национальных движений. Евангелические лицеи и колледжи Верхней Венгрии зачастую становились местом обучения как сербских, моравских или чешских протестантских студентов, так и православных сербов. Так, Франтишек Палацки (1798–1876), «отец» чешской историографии и идеолог чешского национального движения, учился в Братиславском лицее в 1812–1818 гг., в то же самое время, что и Ян Коллар. Между 1730 и 1830 гг. почти 700 сербов, которые впоследствии, через несколько десятилетий, стали формировать сербскую политику и культуру, учились в Евангелическом лицее в Братиславе.

10. 100 лет тому назад распалась Австро-Венгрия, и на ее руинах была образована первая Чехословацкая Республика. Накануне ее возникновения один из видных словацких общественно-политических деятелей Андрей Глинка произнес очень популярную в словацкой историографии фразу: «Тысячелетний брак словаков с венграми не удался. Пора разводиться». Каков сегодня взгляд историков на это многовековое «супружество»? В связи с этим хотелось бы также спросить, а как вы смотрите на перспективу создания и издания некоего совместного словацко-венгерского учебного пособия по ключевым проблемам истории общего прошлого двух соседних народов? Нам известно, что

такие проекты уже предпринимались. В какой мере возможно примирить различные, а подчас и противоположные подходы и мнения словацких и венгерских историков? Вот мы держим в руках книгу венгерского историка Балажа Аблонци «Трианонский мирный договор 1920 года: факты, легенды, домыслы», в прошлом году к 100-летию Трианонского договора ее выпустило и на русском языке издательство «Нестор-История», представив, таким образом, венгерский взгляд на Трианон и связанные с ним некоторые мифы и спорные сюжеты. Конечно, по вопросу об историческом значении, о справедливости/несправедливости Трианонского мирного договора венгерские и словацкие историки едва ли когда-либо договорятся. Но есть ли такие существенные исторические проблемы (может быть, скорее из области экономической и социальной, нежели политической истории), где выработка некоего общего подхода, согласованной точки зрения, устраивающей обе стороны, все же возможна?

Юрай Бенко: Упомянутое вами высказывание Глинки, как и другие высказывания того периода, установило канон в формировании исторической памяти в Словакии, в которой акцентировалась тема ассимиляции, или же мадьяризации. С этой точки зрения распад исторической Венгрии интерпретировался большинством словацких историков прежде всего как совершенно естественный и необходимый упадок нетолерантного, несправедливого к словакам и другим национальным меньшинствам, а значит и нежизнеспособно-

го государства. Создание Чехословакии, в свою очередь, описывалось в соответствии с чешским нарративом как справедливый и закономерный успех, национальное освобождение чехов и словаков, превратившихся в чехословаков. В чешских землях нарратив об эмансипации строился на акцентировании травмы, вызванной совместной жизнью с немцами, в Словакии — с венграми. На государственном уровне и в публичном пространстве Словакии была создана относительно однородная и связанная история событий 1918 г. как освобождение от национального угнетения.

Параллельно с этой точкой зрения в Венгрии строился совершенно иной исторический нарратив, в котором господствовал мотив распада исторического Венгерского королевства как национальной трагедии и несправедливости, а иногда и акта предательства. Распад Венгрии интерпретировался как следствие совпадения стратегических интересов победителей в войне и деятельности представителей невенгерских национальных движений. Утрата Венгрией двух третей ее территории представляла в коллективной памяти прежде всего невралгическую точку, вокруг которой на протяжении десятилетий велись самые жесткие споры между словацкой и венгерской историографиями.

Однако проблемной темой является не только распад Венгрии. В обоих национальных исторических нарративах (венгерском и словацком) имеется также ряд других тем, для которых характерно глубокое взаимное «непонимание». Оно основано

прежде всего на разных толкованиях отдельных исторических фактов, а также общих трендов и процессов. Фундаментальные противоречия наблюдаются в дискуссиях о конце раннесредневековой Великой Моравии, о революции 1848–1849 гг., а также о периоде после первого Венского арбитража (1938) и об обмене (и выселении) части венгерского населения из восстановленной Чехословакии в 1946–1948 гг.

Принципиальная проблема, усугубляющая дискуссию с обеих сторон, — этноцентризм и оценка прошлого, исторических событий и, прежде всего, политических явлений с национальной точки зрения. Логическим следствием такого положения являются два несоизмеримых и даже противоречащих друг другу образа общего прошлого, которые были характерны для обеих историографий в прошлом веке, что неизбежно оказало влияние на коллективную память в обеих странах.

В последние десятилетия появляются новые призывы к историческому примирению и поискам баланса во взглядах на общую историю, особенно на травмирующие события и «национальные обиды». Путем к преодолению противоречий должны были стать публикации, представляющие обе точки зрения, в частности общие учебники истории, отражающие взаимное сочувствие относительно «травм». Эти призывы высказывались в основном специалистами по дидактике, преподаванию истории и вдохновлялись аналогичными попытками преодолеть исторические конфликты, например, немецко-французского

примирения. Наконец-то в результате политического заказа появился проект общего словацко-венгерского учебника, который получил щедрое финансирование, а также заметную поддержку в СМИ. Правда, как часто бывает в случае политических заказов, учебник был соткан, как у нас говорят, «живой ниткой»: в конце концов, его авторы договорились лишь о создании совместного сборника текстов, в котором отражены словацкая и венгерская точки зрения.

Однако примирение «национальных» историографий предполагает преодоление этноцентрического взгляда, что в свою очередь в корне противоречит самим традициям этих историографий и их *raison d'être*. Таким образом, на вопрос о возможности «издания общего словацко-венгерского учебника, представляющего ключевые проблемы общего прошлого двух соседних народов», пока нельзя положительно ответить. Пока речь идет об истории «наций», нарративы будут всегда отличаться друг от друга, ведь они будут исходить из права на самоопределение и сталкиваться во взаимном отрицании подходов друг друга.

Вопреки всему, постепенно намечаются новые возможности в отношении того, каким путем примирить взгляды на общее прошлое. Они основаны на отказе от традиционных догматических подходов и открытости к новым достижениям зарубежной историографии. Можно упомянуть, в частности, публикаторские проекты Ласло Вёрёша и Мирослава Михелы. В них можно увидеть попытку обращения к новым темам и отхода от конфликтующих точек

зрения, которые привычно высказывались при анализах словацко-венгерских отношений. Исходя из того, что национализм и политика памяти играют решающую роль в формировании общества в Словакии и Венгрии, авторы, представляющие словацкую и венгерскую историографии, попытались сместить фокус рассмотрения с классических тем политики и дипломатии на связанные с культурной и социальной историей. На историографию следует возложить значительную долю ответственности за сегодняшнее состояние «непонимания». И для преодоления этого состояния представляются перспективными уход от господства политической истории и политической перспективы во взглядах на прошлое, а также отказ от излишней политической ангажированности историков.

Юрай Марушьяк: Словацко-венгерские отношения сыграли ключевую роль в процессах самоопределения словаков, а также в формировании концепций словацкой государственности. В этом находят согласие словацкие интеллектуалы, занимающие совсем противоположные позиции, такие как коммунист с национальной ориентацией Владимир Минач и либеральный историк и литературовед Рудольф Хмель²⁴. Вся территория современной Словакии, или, точнее, территория, заселенная этническими словаками, была неотъемлемой частью Венгерского государства до 1918 г. В этом отноше-

нии положение словаков коренным образом отличалось от положения хорватов, сербов или румын. Таким образом, существование Венгрии имело ключевое значение для процессов идентификации и самоидентификации словаков. Нигде, за пределами Венгрии, словаки не имели «своего» государства, на которое можно было бы опираться и воспринимать его как свою «внешнюю» или потенциально «настоящую» родину, как это было в случае воеводинских и славонских сербов, или в случае трансильванских румын. У словаков не было и традиций собственных государственных — хоть и с автономным статусом — институтов, на которых могла бы основываться легитимность их собственной государственности и через которые они могли бы формулировать отношения с Будапештом, как это было в случае хорватов. Эту «внешнюю родину», как ее определяет Р. Брубейкер²⁵, отчасти заменяла Чехия, но в силу государственно-правовых условий словацкая идентичность формировалась в основном в словацко-венгерском измерении.

Словакия и Венгрия не прошли через процесс «исторического примирения», который имел бы такой же впечатляющий характер, как аналогичные процессы между Германией и Францией после Второй мировой войны, или между Германией и Польшей, но также между Германией и Чешской Республикой. Политические элиты Словакии и Венгрии

²⁴ CHMEL, Rudolf. *Moja Maďarská otáčka*. Bratislava: Kalligram 1996, s. 10; MINÁČ, Vladimír. *Tu žije národ.* // MINÁČ, Vladimír (сост.). *Paradoxy*. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry 1966.

²⁵ BRUBAKER, Rogers. *National Minorities, Nationalizing States, and External National Homelands in the New Europe*. *Deadalus*, Vol. 124, 1995, No. 2, с. 107–132.

не смогли выработать ни одного общего документа, декларации, не говоря уже об учебнике, который мог бы быть результатом этого процесса, а не его началом. Пожалуй, главной причиной является то, что элиты обоих государств не были заинтересованы в таком процессе. Вопрос о Трианоне в Венгрии до настоящего времени и «венгерская карта» в Словакии до недавнего прошлого (но с потенциалом возрождения) являются эффективными инструментами мобилизации во внутренней политике. С другой стороны, в отличие от Германии, ни Венгрия, ни Словакия после 1989 г. не нуждались в таких жестках примирения как символическом выражении их воли к переопределению своего места в европейской политике. Правда, даже целенаправленные практические шаги, представляющие собой составную часть «политики примирения», не гарантируют беспроblemности двусторонних отношений в будущем, о чем свидетельствуют перипетии в польско-германских или польско-украинских отношениях.

Вопреки тому, что «Трианон» и его последствия играли значительную роль в словацко-венгерских отношениях, с 90-х гг. XX в. историография движется путем постепенной эмансипации от политической сферы,

а с другой стороны, в отличие от прошлого, и политические элиты уже менее заинтересованы в использовании исторических тем. Таким образом, вопрос «Трианона» представляет сейчас лишь одну из многих тем, присутствие которых в историческом дискурсе определяется многовековым соседством. Жителей Словакии, включая этнических венгров, и Венгрии связывает общий опыт отношений с коммунистическими режимами. Примером сотрудничества словацкой и венгерской историографий является, например, совместная словацко-венгерская публикация, посвященная восприятию венгерской революции 1956 г. в Словакии (и Чехословакии)²⁶.

За последние годы появились многие работы, которые преодолевают горизонт истории как орудия идеологии национализма. В качестве примера тут можно упомянуть не только книги Романа Холеца²⁷, но и труды коллег из Кошиц, которые касаются круга таких вопросов, как положение венгерского меньшинства в Словакии (например, работы Штефана Шутая²⁸ или Сони Габздиловой²⁹), или же интерпретации местной, региональной истории второго по величине словацкого города как мультиэтничного формирования. Вместе с работой Ondreja Фицери³⁰ к этим

²⁶ Michálek, Šlavomír — SIMON, Attila (покр.): *Revolúcia v susedstve. Maďarská revolúcia v roku 1956 a Slovensko*. Šamorín — Bratislava — Budapest: Fórum Inštitút pre výskum menšín — Historický Ústav SAV — Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2017.

²⁷ См., например: HOLEC, Roman. *Trianon — triumf a katastrofa*. Bratislava: Marenčin PT 2020; HOLEC, Roman. *Štát s dvoma tvármi*. Bratislava: Historický ústav SAV — Prodama 2014.

²⁸ Ср., например, ŠUTAJ, Štefan — SZARKA, László (сокр.) *Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia*. Prešov: Univerzum, 2007; ŠUTAJ, Štefan. *Maďarská menšina na Slovensku v 20. storočí*. Bratislava: Kalligram 2012.

²⁹ GABZDILOVÁ, Soňa. *Maďarské školstvo na Slovensku v druhej polovici 20. storočia*. Dunajská Streda: Liliium Aurum, 1999.

³⁰ FICERI, Ondrej. *Potrianonské Košice*. Bratislava: Veda 2019.

последним принадлежит также издание Клары Кохоутовой, посвященное местам памяти в городе Кошице³¹.

Возможности для более широкого словацко-венгерского диалога историков открываются в связи с исследованием истории так называемой Нижней земли, т.е. мультиэтнической зоны на границах современных Венгрии, Румынии, Сербии и Хорватии, где значительную часть населения представляли (а кое-где все еще представляют) также словаки³². Среди работ венгерских коллег, которые рефлексированы в словацкой историографии, можно отметить труды

Игнаца Ромшича, Йозефа Деммела³³ и Ивана Халаса³⁴ посвященные словацко-венгерским отношениям до 1918 г. Так что сотрудничество историков двух стран не лишено перспектив.

Спасибо большое за изложение словацкого взгляда на общие проблемы взаимоотношений народов Средней Европы с раннего Средневековья и до распада монархии Габсбургов. Ваше (т.е. словаков) совместное бытие в едином проекте в XX в. с чехами заслуживает, конечно, отдельного разговора и станет предметом другой нашей беседы.

³¹ KOHOUTOVÁ, Klara. *Od Esterházyho po Luník IX*. Košice: Spoločenskovedný ústav CSPV SAV 2020.

³² См., например: ŽILÁKOVÁ, Mária — DEMMEL, József (сост.) *„Mať volá“? Výmena obyvateľstva medzi Slovenskom a Maďarskom v rokoch 1946-1948*. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2018; KMEŤ, Miroslav — KUNEC, Patrik. *„Dolňozemské Slovensko“ v reflexii Slovákov v období dualizmu*. Krakov: Vydavateľstvo Slovákov v Poľsku 2020.

³³ DEMMEL, József. *Eudovít Štúr*. Bratislava: Kalligram 2015; DEMMEL, József. *Panslávi v kaštieľoch*. Bratislava: Kalligram 2016.

³⁴ HALÁSZ, Ivan. *Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí*. Bratislava: Kalligram 2019.

«ПОДГОТОВКА ГЕРМАНСКОЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ СССР И НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОЙНЫ...» СОХРАНЯЮТ ЕЩЕ НЕМАЛО “БЕЛЫХ ПЯТЕН”».

Интервью с Д. В. Стратиевским

В интервью рассматриваются вопросы, связанные с современной немецкой историографией, посвященной нападению Германии на СССР. Затрагиваются такие темы, как ревизионизм и влияние текущих мировых процессов на взаимодействие между историками.

Ключевые слова: военная история, Вторая мировая, историография.

Сведения об авторе: Стратиевский Дмитрий Валериевич, доктор исторических наук, научный сотрудник исследовательского и документального проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные» ГИИМ — Германского исторического института в Москве (Deutsches Historisches Institut Moskau) (Москва).

Контактная информация: Dmitri.Stratievski@dhi-moskau.org.

“THE PREPARATION OF THE GERMAN AGGRESSION AGAINST USSR AND THE INITIAL PERIOD OF THE WAR STILL HAVE A LOT OF ‘BLIND SPOTS’”.

Interview with Dmitri Stratievski

The interview deals with the problems of modern German historiography, dedicated to the German invasion to USSR. It touches such themes, as revisionism and impact of actual global processes at the interaction of historians.

Key words: military history, WWII, historiography.

About the author: Stratievski Dmitri V., historian, Doctor of Historical Sciences, research scientist of the “Soviet and German prisoners of war and internees” project of German Historical Institute in Moscow (Deutsches Historisches Institut Moskau) (Moscow).

Contact information: Dmitri.Stratievski@dhi-moskau.org.

Беседовал А. Ф. Арсентьев.

А. А. Каково восприятие 22 июня 1941 г. в современной Германии — как на политическом уровне, так и в общественном сознании?

Д. С. В 2007 г. во влиятельной газете «Ди Цайт» вышла программная статья немецкого историка Петера Яна «27 миллионов». Бывший директор Германо-российского музея в Карлсхорсте, здании, где был подписан Акт о капитуляции Германии, подчеркивал: «27 миллионов. Столько советских граждан стали жертвами германской войны в период с 1941 по 1945 г. Это число, которое в нашей стране до сих пор неизвестно. Либо нет желания принимать его во внимание». Несомненно, Петер Ян сознательно преувеличивал, делая ударения на отсутствии глубокого осознания масштабов трагедии 41-го в рядах тех, кого принято называть «простыми людьми». Статья, позднее перепечатанная во многих сборниках, стала своего рода манифестом той части историографического сообщества и общества в целом, которая требует более серьезного отношения к жертвам нацистской агрессии в СССР. В настоящий момент в профессиональной и широкой общественной дискуссии ФРГ можно условно выделить три подхода к восприятию 22 июня 1941 г. Первый взгляд: нападение Германии на Советский Союз стало особым этапом Второй мировой войны, «новым типом»

войны на уничтожение, вызванным не в последнюю очередь идеологической подоплекой нацизма. Это повлекло за собой огромные жертвы и неслыханную жестокость. По совокупности причин германо-советскую войну 1941–1945 гг. следует рассматривать отдельно. Второй: военный конфликт 1941–1945 гг. является неотъемлемой частью Второй мировой войны 1939–1945 гг. Германия проводила политику уничтожения не только на оккупированной территории СССР, но и в Польше и других регионах. Карательные подразделения уничтожали целые населенные пункты во Франции, в Греции, в Югославии. При этом «признается» большее количество жертв агрессии именно в Советском Союзе. Наконец, третья группа историков требует рассматривать нападение Германии на СССР в контексте модного ныне термина «кровавого XX века», сплошной череды войн, революций и насильственного передела границ, уделяет много внимания предыстории конфликта и взаимоотношениям Москвы и Берлина в 1939–1941 гг., призывает избавиться от «советских мифов», мешающих непредвзятому восприятию исторических событий. В связи с тем, что немало значимых немецких специалистов в области историографии также пишут и для крупных СМИ, выступают на телевидении и в документальном кино, по данным «линиям» формирует-

ся и общественная дискуссия. Безусловно, между «группами» существует немало точек соприкосновения. Скажем, сторонник тезиса об «особой войне» Германии против СССР, о недостаточной информированности современных немцев об ужасах этого противостояния и малой степени эмпатии по отношению к жертвам признает агрессивный характер политики Сталина в предвоенные годы, а тот историк, который много внимания уделяет Секретным протоколам к пакту Молотова – Риббентропа, не ставит под сомнение идеологический характер войны, развязанной нацистами. Несмотря на некоторые разногласия, объединяющей остается оценка факта нападения и методов ведения войны: агрессия Германии против СССР не имеет никаких оправданий, преступный нацизм принес неисчислимые страдания народам Советского Союза.

На политическом уровне присутствует однозначное осуждение агрессии, признание исторической вины Германии за преступления периода национал-социализма. Эта позиция остается неизменной. Конечно, актуальная политическая ситуация накладывает определенный отпечаток на дискуссии. К примеру, Левая партия недавно предложила заключить «мирный договор с Россией», представив этот проект в историческом контексте. Ряд других партий отнеслись скептически к такой инициативе, т.к. РФ является одним из постсоветских государств. Другие страны бывшего СССР, например, Украина и Беларусь, территории которых были полностью оккупированы и стали пространством самых страшных преступлений против

человечности, не могут быть игнорированы при любом подобном политическом начинании.

Если же рассмотреть «обывательский» уровень, то для рядового немца 22 июня, по понятным причинам, не является столь эмоционально значимой датой, как 8 мая. Скорее среди широких слоев населения присутствует общее понимание того, что агрессия Германии принесла жертвы и страдания народам СССР, без привязки к конкретной дате.

А. А. Какие темы, связанные с началом войны против СССР, сейчас более всего интересуют немецких историков? Есть ли в историографии какие-то новые подходы?

Д. С. Об этом тяжело говорить обобщенно. В историографическом процессе участвуют как вузы, специализированные институты и отдельные проекты, так и НКО и неформальные объединения профессиональных историков и людей без профильного образования, но посвятивших себя изучению тех или иных страниц прошлого. Если все же применить некоторое обобщение, современная германская историография интересуется как причинами и механизмами, которые побудили Гитлера отдать приказ вначале о разработке, а потом и об осуществлении военной кампании против СССР, так и практической реализацией политики войны на уничтожение, на острие которой находился вермахт. Не менее важна и бюрократическая сторона вопроса, фиксация тех или иных действий в сводках и донесениях. Например, в серии публикаций исследовательского центра Людвигсбурга

университета Штутгарта вышел трехтомник, содержащий сводки айт-затцгруп (т.н. Ereignismeldungen), начиная с первой сборной сводки (Sammelmeldung), датированной 23.06.1941. Нельзя утверждать, что эти документы не были ранее введены в научный оборот. Мне самому приходилось работать со сводками в берлинском филиале Федерального архива ФРГ. Но впервые была предпринята (на мой взгляд, удачная) попытка собрать документы такого типа «под одной обложкой», систематизировать и интерпретировать их, сделав доступными широкому кругу читателей. Непосредственно проблематике нападения Германии на СССР и первого года войны посвящена немалая часть монографии Дитера Поля «Господство вермахта. Немецкая военная оккупация и местное население в Советском Союзе». Автор рассматривает вермахт под несколько непривычным профессионалу углом зрения, в первую очередь не как военную машину, противостоящую Красной армии, а в качестве оккупационной силы, призванной применять насилие против военнопленных и гражданского населения, участвовать в Холокосте, любой ценой обеспечивать «безопасность» ближайшего тыла, отказываясь от любого гуманизма. Наконец, хотелось бы отметить объемную работу Рольфа-Дитера Мюллера «Враг находится на Востоке. Тайные планы Гитлера войны против СССР. 1939 г.». Историк показывает процесс развития немецкого национализма, стереотипы в отношении «русских» и «славян», существовавшие в Германии еще до 1933 г., и доказывает готовность нацистов завоевать «пространство на Востоке» задолго

до подписания Гитлером директивы об операции «Барбаросса». Не в последнюю очередь необходимо отметить и классические работы, такие как монография Курта Петцольда «Нападение. 22 июня 1941 г.: причины, планы и последствия» и сборник «Нападение Германии на Советский Союз. Операция “Барбаросса”. 1941 г.» под редакцией Герда Юбершера и Вольфрама Ветте. Я не назвал бы эти публикации неким открытием в историографии, переворачивающим наше представление о 41-м, но вместе с тем это крайне тщательные, «универсальные» исследования, которые дают четкое представление о причинах войны и развитии ее первой фазы, причем для читателя с любым уровнем первоначальных знаний. Несмотря на некоторую простоту и доступность изложения фактов, эти труды нельзя назвать «публицистическими». Это серьезные и выверенные научные работы.

А. А. Насколько сильны позиции ревизионистов? Есть ли на данный момент авторитетные немецкие историки, рассматривающие операцию «Барбаросса» как акт «превентивной самообороны»?

Д. С. Наиболее активные дебаты вокруг «превентивного тезиса» велись в Германии в конце 70-х и в 80-х гг. XX в., в рамках так называемого «спора историков» и после него. Абсолютное большинство видных представителей западно-германской академической науки (Бернд Бонвеч, Герд Юбершер, Бернд Вегнер, Ганс-Адольф Якобсен и др.) однозначно выступили против данного тезиса, посчитав его не соответствующим действительности

и не подтвержденным документально. Новый импульс дискуссии, хотя и намного меньшего масштаба, дали частичное открытие советских архивов и выход книг Виктора Суворова в начале 90-х гг. Вигберт Бенц выступил с резкой критикой Суворова и даже обвинил его в фальсификации цитат. Немецкие историки подчеркивали, что и «новые», некогда секретные документы не изменили сделанных ранее выводов: не найдено доказательств подготовки Москвой агрессивной войны против Германии, по крайней мере в стадии, предполагавшей практическую реализацию в обозримый период. Напротив, документы, доказывающие подготовку Германией нападения на СССР, доступны, не вызывают сомнения и позволяют проследить все стадии подготовительных мероприятий, от идеологической канвы до конкретных предписаний отдельным подразделениям. Анализ приказов, распоряжений, протоколов заседаний и личных записей высшего руководства Третьего рейха, НСДАП, ОКВ и других структур, вовлеченных в процесс подготовки агрессии, позволяет сделать однозначный вывод о том, что Гитлер и его окружение не считали Красную армию готовой к нападению, не видели такой угрозы и предполагали, что ввиду различных обстоятельств внешнего и внутреннего характера Советский Союз быстро потерпит военное поражение.

Интересно, что мнение большинства немецких историков разделяют и их коллеги из других западных государств. В частности, американский военный историк Дэвид Гланц в своей книге «*Stumbling Colossus*» развенчал гипотезу Суворова и при-

знал ее не соответствующей реальному соотношению сил и планов сторон по состоянию на 1941 г. Его соотечественник Тедди Ульдрикс, специализирующийся на истории дипломатии, в частности, по предвоенным контактам Москвы и Берлина, отметил, что построения Суворова «лишены каких-либо доказательств».

В настоящий момент едва ли какой-нибудь академический историк ФРГ рассматривает план «Барбаросса» в качестве якобы превентивного спонтанного начинания, возникшего в связи с «угрозой с Востока». Фактически последним значимым сборником статей, авторы которых анализировали данный тезис и пришли к выводу о его несостоятельности, стала публикация под редакцией Бианки Пиертров-Эннкер «Превентивная война? Нападение Германии на Советский Союз», вышедшая в 2000 г. (дополненное издание 2011 г.). Конечно, в Германии есть историки, разделяющие «превентивный тезис», ведущие подобные дискуссии в определенных кругах. Но это реваншистские, полулегальные общественные ниши. Можно назвать имена Штефана Шайля, Рольфа-Йозефа Айблихта или Вальтера Поста, праворадикальных авторов, популярных в кругах реваншистов-единомышленников. В частности, Шайль выдвигался в 2017 г. в депутаты Бундестага от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии», но проиграл выборы в своем округе. Айблихт состоял в неонацистской НДПГ и продолжает поддерживать территориальные претензии в отношении Польши, России и Чехии. В целом «превентивный тезис»

можно считать в современной немецкой исторической науке маргинальным и опровергнутым, в отличие все же от дебатов в прошлом, до открытия советских архивов, когда противникам теории противостояли спорные, но все-таки известные классические историки, такие как Иоахим Хоффманн.

Справедливости ради хотелось бы добавить, что ни один известный мне авторитетный немецкий историк не пытается обелить Сталина, отрицать тот факт, что тогдашний руководитель СССР прибегал к насилию во внешней политике и сознательно делал ставку на такие действия. По моему мнению, Сталин был готов к агрессивной войне, если считал это целесообразным по политическим и военным соображениям. Собственно, это наглядно показала Зимняя война с Финляндией. Ключевым является факт отсутствия плана вторжения в Германию в стадии реализации на момент 22 июня 1941 г., что автоматически делает «превентивный тезис» несостоятельным. Не исключаю, что если нападение Германии не произошло бы и была бы успешно завершена военная реформа в СССР, включая перевооружение РККА и заметное повышение ее боеспособности, то такие планы могли бы появиться в 1942 г. Но это уже соображения из области «альтернативной истории», а не исторической науки.

А. А. Насколько на данный момент развито сотрудничество между российскими и немецкими исследователями Второй мировой войны? Идет ли обмен архивными материалами, «импорт концепций»?

Д. С. Не скрою, нынешняя напряженность в российско-германских отношениях накладывает заметный отпечаток на возможность сотрудничества и научного трансфера между специалистами двух стран. Хотя крупные международные проекты в области историографии менее затратные, чем, например, в естественнонаучных дисциплинах, они все же требуют значительного финансирования, которое по силам преимущественно государственным институциям. Здесь в дело вступает политика. Мне лично это неприятно, но есть факт: историография была и остается весьма политизированной. Есть и «трудности перевода», в буквальном смысле. Довольно мало немецких монографий переводится на русский язык, равно как и в Германии выходит мало переводных работ российских историков. Наконец, серьезные коррективы внесла нынешняя пандемия коронавируса. Но я не стал бы рисовать современную ситуацию исключительно в черных тонах. Много делается и продолжает активно работать. Под эгидой Германской службы академических обменов DAAD работают десятки программ межвузовского сотрудничества между РФ и ФРГ, в которых задействованы 203 германских и 233 российских университета. Несмотря на эпидемиологические ограничения передвижения и заметные сложности с посещением России и Германии иностранными гражданами, проводятся конференции онлайн, поддерживается работа существующих проектов и намечаются новые. Важную роль играет Германский исторический институт в Москве, активная площадка для германо-российского диалога в области историографии.

Продолжает успешно работать наш проект «Советские и немецкие военнопленные и интернированные». В рамках проекта в прошлом году был передан крупный массив материалов касательно советских военнопленных, выявленный в немецких архивах. Готовятся и новые передачи оцифрованных фондов.

А. А. Какие темы, связанные с началом войны, вы считаете наименее изученными? Что, помимо вопросов, связанных с военнопленными, было бы интересно исследовать лично вам?

Д. С. На мой взгляд, именно подготовка германской агрессии против СССР и начальный период войны сохраняют еще немало белых пятен. Известно, что план «Барбаросса» возник не на пустом месте. Ему предшествовали планы вторжения под кодовыми названиями «Отто» и «Фриц». Часть разработок вошла в итоговый вариант «Барбароссы», часть была отвергнута. Нельзя сказать, что эти разработки не изучались историками. Альберт Беер посвятил им монографию в далеком 1978 г. Однако последние десятилетия данные планы не находились в центре

внимания, не были введены в научный оборот новые изученные архивные массивы. Интересно было бы проследить весь комплекс вопросов имплементации планов, альтернативных сценариев, обсуждавшихся в ОКВ, степень влияния на окончательное утверждение «Барбароссы» «невоенным» руководством Германии и лично Гитлером, к примеру, в ключевом вопросе удара по трем, а не двум направлениям. В начальном периоде войны относительно действий РККА по-прежнему мало детализации. Я могу ошибаться, т.к. локальные российские исследования на уровне небольших вузов мне часто недоступны, но меня интересует степень компетенции в принятии решения на уровне отдельных соединений РККА непосредственно после начала войны. Нам известно, какие действия предпринимали та или иная армия, корпус или дивизия. Открытыми остаются вопросы, насколько конкретное подразделение действовало соизмеримо с обстоятельствами, выполнялись ли все приказы, в том числе и запоздавшие, более не отвечающие оперативной обстановке и тем самым бессмысленные. Список далеко не полный. У историков еще много работы.

Б. Л. Хавкин

ЕЩЕ РАЗ О КОРНЯХ ИДЕОЛОГИИ ГЕРМАНСКОГО НАЦИЗМА

В статье на основе анализа контекста и текста книги Гитлера «Майн Кампф» доказывается, что эта «библия для нацистов» и квинтэссенция нацистского антисемитизма была идеологически основана на фальшивых «Протоколах сионских мудрецов».

Ключевые слова: Майн Кампф, Протоколы сионских мудрецов, нацизм, антисемитизм, преодоление прошлого.

Сведения об авторе: Хавкин Борис Львович, доктор исторических наук, профессор ИАИ РГГУ, редактор отдела журнала «Новая и новейшая история»

Контактная информация: novistor@mail.ru.

B. L. Khavkin

ONCE AGAIN ABOUT THE ROOTS OF THE IDEOLOGY OF GERMAN NAZISM

Based on an analysis of the context and text of Hitler's book "Mein Kampf", the article attempts to prove that this "Bible for the Nazis" and the quintessence of Nazi anti-Semitism was to a large extent ideologically based on the false "Protocols of the Elders of Zion".

Key words: Mein Kampf, The Protocols of the Elders of Zion, Nazism, Anti-Semitism, Overcoming the Past.

About the author: Khavkin Boris L., doctor of historical sciences, Professor of IAI RSUH, editor of the Department of the magazine "New and modern history".

Contact information: novistor@mail.ru.

Разоблачение нацистской идеологии, в основе которой лежит антисемитизм, — эта не только научная, но и актуальная политическая задача. В **принятой 18 декабря 2015 г.** Генеральной ассамблеей ООН «Ре-

золюции о ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, а также против героизации нацизма» отмечается обеспокоенность в связи с «распространением во многих частях мира

© Б. Л. Хавкин, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-170-183

различных экстремистских политических партий, движений и групп, включая группы неонацистов и “бригадистов”, а также расистских экстремистских движений и идеологий» (Генассамблея ООН б/д).

Для борьбы с современными проявлениями нацизма необходимо знать его исторические корни, формы и источники. Эти корни уходят в историю гитлеровского национал-социализма, а формы напоминают нацистское движение 20-х — начала 30-х гг. XX в.

Одним из центральных источников идей нацизма является книга Гитлера «Майн Кампф» — «Моя борьба». О ее значении современный немецкий историк Э. Йеккель писал: «Никогда до Гитлера политик еще до прихода к власти так точно не описывал то, что он будет делать. Если бы не это обстоятельство, ранние заметки, речи и книги Гитлера представляли бы интерес лишь как факты его биографии. Лишь попытка осуществления этих планов подымает их до уровня исторического источника» (Jaekel 1981).

Книга Гитлера это не только важнейший источник по истории и идеологии национал-социализма, это quintessence нацистского антисемитизма. Разоблачение нацистского антисемитизма предполагает правдивый, основанный на знании текстов, фактов, событий критический рассказ о нем. Этот рассказ не возможен без научного анализа «Майн Кампф».

«Рассуждая о “Майн Кампф”, следует помнить, что с этой книги началась дорога, приведшая в Аушвиц», — отмечала профессор политической теории и истории идей университета г. Пассау (ФРГ) Барбара Цейнпфенниг (Zehnpfennig 2015: 17). Чтобы изучить эту дорогу, приходится, преодолевая величайшее омерзение, взять в руки эту «библию для нацистов».

В мире вряд ли есть еще хотя бы одна такая книга, которая была бы столь мифологизирована, окутана аурой запрета и таинственности, вызывала сильнейшие страхи и отвращение, пробуждала любопытство и провоцировала разного рода спекуляции. В силу ее символического значения, демифологизация сооруженных в ней мифов — это не только научная задача историков, но и их вклад в политическое просвещение молодежи.

Книга «Майн Кампф» развратила поколение немцев 1930–1940-х гг. и стала главным идеологическим обоснованием нацизма и развязанной им Второй мировой войны, которая унесла более 55 млн человеческих жизней, из которых 6 млн были евреями. Эта книга привела к национальной катастрофе не только евреев как главных жертв нацистского геноцида, но и осуществлявших Холокост немцев, которые потеряли во Второй мировой войне более 14 млн человек и в 1945–1949 гг. утратили свою государственность (Похлебкин 1997: 337, 339)¹.

«Майн Кампф» создавалась в 1924–1926 гг. и состояла из двух томов.

¹ По данным немецкого агентства «DPA», потери Германии были значительно меньше: 6,3 млн убитых, из них 5,2 млн солдат. Однако эти данные не учитывают косвенные и демографические потери (Hintergrund б/д).

Если 1-й том представляет собой сильно стилизованную биографию Гитлера, а также историю Национал-социалистической германской рабочей партии (НСДАП) и ее предшественницы Германской рабочей партии, то 2-й том содержит программные установки национал-социализма. Большая часть 1-го тома была продиктована Гитлером Э. Морису и Р. Гессу во время заключения в крепости-тюрьме Ландсберг после неудачной попытки «пивного путча» в Мюнхене в ноябре 1923 г. 2-й том Гитлер писал уже после освобождения, находясь в своем доме в Оберзальцберге.

До 1933 г. книга Гитлера в Германии продавалась довольно вяло. Однако после назначения «богемского ефрейтора» германским рейхсканцлером в январе 1933 г. продажи его книги резко выросли. Вскоре «Майн Кампф» стала бестселлером; до 1945 г. она была переведена на 14 языков, ее тиражи составили 12,5 млн экземпляров (*Zehnpfennig* 2015: 18). Эта книга проникла почти в каждый немецкий дом. «Майн Кампф» всех видов и форматов — от дешевых «народных» до дорогих подарочных изданий в качестве обязательной литературы выдавалась бесплатно не только «товарищам по партии», но и с 1936 г. — молодоженам при бракосочетании вместо Библии. «Откровениями фюрера» награждали лучших выпускников школ, образцовых членов «Гитлерюгенда», «Союза немецких девушек», «Национал-социалистического союза студентов», ударников «Трудового фронта», отличников партийных школ НСДАП и СС, передовых рабочих, словом, всех, кто был «предан родине и фюреру, боролся за дело Вели-

кой Германии и торжество арийской расы». Даже после Второй мировой войны и денацификации экземпляры этой книги, часто с неразрезанными страницами, сохранились во многих немецких семьях.

Еще до войны появились английский, французский, русский и другие переводы «Майн Кампф»; было продано около 500 тыс. экземпляров на иностранных языках.

Английский писатель Дж. Оруэлл, в 1940 г. реагируя на появление английского издания книги, сделал точное замечание: «Зная содержание книги “Майн Кампф”, трудно поверить, что взгляды и цели Гитлера серьезно изменились. Когда сравниваешь его высказывания, сделанные год назад и пятнадцатью годами раньше, поражает косность интеллекта, статика взгляда на мир. Это застывшая мысль маньяка, которая почти не реагирует на те или иные изменения в расстановке политических сил... Фашизм и нацизм, какими бы они ни были в экономическом плане, психологически гораздо более действенны, чем любая гедонистическая концепция жизни. То же самое, видимо, относится и к сталинскому казарменному варианту социализма» (*Оруэлл* 1989: 75–79).

В 1933 г. в СССР ограниченным тиражом «для служебного пользования» партийной элиты ВКП(б) был издан русский перевод «Майн Кампф». Автором перевода был Г. Е. Зиновьев — ближайший соратник В. И. Ленина и бывший лидер Коминтерна, который переводил Гитлера, находясь в ссылке в г. Кустанай в Казахстане (*Hedeler* 1999: 299–301). Перевод

был снабжен комментариями и издан в виде книги без выходных данных с обложкой светло-горчичного цвета с черной свастикой в верхнем левом углу.

Этот перевод «Майн Кампф» внимательно изучал И. В. Сталин: в его библиотеке сохранился экземпляр с его рукописными пометами (РГАСПИ). В фонде «всесоюзного старосты» М. И. Калинина также сохранился экземпляр книги Гитлера в русском переводе. Калинин, прочитав «Майн Кампф», оставил несколько десятков помет, обнаруживающих его неподдельный интерес. На первом листе книги он написал: «Многосложно, бессодержательно... для мелких лавочников» (Илизаров 2000: 191).

Перевод Г. Е. Зиновьева цитировал Н. И. Бухарин, выступая 28 января 1934 г. на XVII съезде ВКП(б): «В своей вербовочной книжке “Майн Кампф” (“Моя борьба”) Гитлер писал: “Мы заканчиваем вечное движение германцев на юг и на запад Европы и обращаем взор к землям на восток. Мы кончаем колониальную торговую политику и переходим к политике завоевания новых земель. И когда мы сегодня говорим о новой земле в Европе, то мы можем думать только о России и подвластных ей окраинах. Сама судьба как бы указала этот путь. Предав Россию власти большевизма, она отняла у русского народа интеллигенцию, которая до этого времени создавала и гарантировала его государственное со-

стояние. Ибо организация русского государства не была результатом государственной способности славянства в России, а только блестящим примером государственно-творческой деятельности германского элемента среди низшей расы”» (XVII съезд 1934: 127–128).

Русский текст «Майн Кампф» стал широко распространяться на излете существования СССР и в постсоветской России. В это время было осуществлено по меньшей мере 4 русских издания книги Гитлера². В период кризиса коммунистической идеологии, советской государственности и обострения межэтнических противоречий некоторые тезисы этой книги вновь активно использовались антисемитами; причем как антидемократами, так и антикоммунистами: «Марксизм есть не что иное, как политика евреев, заключающаяся в том, чтобы добиться систематического уничтожения роли личности во всех областях человеческой жизни и заменить ее ролью “большинства”. Этому соответствует в политической области парламентарная форма правления, несчастные последствия которой мы видим повсюду, начиная с крошечного муниципалитета и кончая руководящими органами государства; а в экономической области этому соответствует профсоюзное движение, которое ныне совершенно не заботится об интересах рабочего, а служит только разрушительным планам интернационального еврейства».

² Первую в послевоенном СССР публикацию глав «Майн Кампф» в русском переводе подполковника Н. С. Владимирова осуществил «Военно-исторический журнал» (ВИЖ. 1990. № 11. С. 35–38). В России «Майн Кампф» в переводе Г. Е. Зиновьева была издана: М.: изд-во «Т-Око», 1992; М.: изд-во «Витязь», 1998; М.: изд-во «Русская правда», 2002; М.: изд-во «Социальное движение», 2003.

Почти свободное хождение в России нацистской литературы вызывало справедливый гнев общественности и обеспокоенность государства. В итоге в России «Майн Кампф», в отличие от других гитлеровских текстов³, была запрещена. 13 апреля 2010 г. эта книга была внесена в Федеральный список экстремистских материалов под номером 604.

Однако если бы русские издатели в погоне за сомнительным коммерческим успехом не издавали бы «Майн Кампф», вольно или невольно пропагандируя человеконенавистнические взгляды Гитлера, а соблюдали бы международные нормы, регулирующие авторские и издательские права, то в России эту скандальную книгу не пришлось бы запрещать: русские издания печатались без соблюдения соответствующих международных правовых норм.

Дело в том, что до 1945 г. издательские права на книгу Гитлера принадлежали баварскому партийному издательству НСДАП «Франц Эйер». В 1945 г., после самоубийства Гитлера, тотального разгрома нацистского режима, ликвидации НСДАП и всех ее структур права на книгу перешли к американской военной администрации в Германии, которая в 1946 г. передала их Свободному государству Бавария.

С 2016 г., после истечения 70-летнего срока действия этих прав, юридический механизм, препятствовавший

изданию «Майн Кампф», утратил свою силу. После долгих дискуссий Институтом современной истории в Мюнхене (филиал в Берлине) было подготовлено научное, снабженное подробными критическими комментариями издание «Майн Кампф» (*Hitler* 2016)⁴.

Историки «утопили» текст Гитлера в комментариях — в этом, собственно, и состояла суть их работы. Более 5000 подробных научных комментариев в сухом энциклопедическом стиле даны чуть ли не к каждому абзацу текста. «В итоге книга будет не пропагандировать, а осуждать нацизм», — уверен директор Института современной истории А. Виршинг (*Лента.ру б/д*).

«Майн Кампф» — «это книга интернационального антисемита, и кто взял ее в руки, должен учитывать предпосылки, из которых она исходит», — еще в 1932 г. отмечал один из первых критиков нацизма Конрад Гейден (*Heiden* 1932)⁵.

Каковы эти предпосылки?

Современный немецкий философ Х. Глазер считает, что понять причины возникновения, развития и успеха национал-социализма можно лишь на основе изучения истории менталитета и психоистории. Корни нацизма «уходят глубоко в XIX в., когда “немецкий дух” пережил много перевоплощений, которые в дальнейшем Гитлер использовал в своих

³ В Федеральный список экстремистских материалов не входит, например, «Вторая книга» Гитлера.

⁴ См. об этом: (*Хавкин* 2016).

⁵ Русский перевод: (*Гейден* 1935).

целях», создав идеологию маленького человека, обывателя-антисемита, страдающего одновременно комплексом неполноценности и манией величия. Воплощением этой идеологии был сам Гитлер (*Glaser* 2014; 2015: 25).

Гитлеру был присущ зоологический расизм, основанный на крайнем антисемитизме. Антисемитизмом был самой сильной страстью в жизни Гитлера. Ненавистью к евреям были проникнуты все его политические высказывания: от первых речей в мюнхенских пивных («евреи нанесли сражавшейся на фронтах Первой мировой войны Германии удар ножом в спину») до политического завещания, в котором Гитлер призвал по-прежнему оказывать «жестокое сопротивление мировому отравителю всех народов, международному еврейству».

Гитлер был убежден, что евреи якобы поставили себе целью поработить другие народы, прежде всего немецкий, и для этого составили всемирный заговор. «Нутром, если не рассудком, Гитлер верил в реальность еврейского мирового заговора», — пишет К. Гейден (*Heiden* 1999: 456). Однако никакого мирового еврейского заговора не существовало, что недвусмысленно продемонстрировали трагические события предвоенных и военных лет.

Обвиняя евреев во всемирном заговоре, Гитлер, противореча сам себе, утверждает: «Евреи единодушны лишь до тех пор, пока им угрожает общая опасность или пока их привлекает общая добыча. Как только исчезают эти два импульса, сейчас

же вступает в свои права самый резко выраженный эгоизм. Народ, который только что был единоклубным, тут же превращается в стаю голодных грызущихся друг с другом крыс».

Автор «Майн Кампф» несколько раз на разные лады повторяет эту нелогичную и, по сути, отрицающую всемирный еврейский заговор мысль. Например, он пишет: «Все то, что мы имеем теперь в смысле человеческой культуры, в смысле результатов искусства, науки и техники — все является почти исключительно продуктом творчества арийцев». Но ведь это очевидная неправда. Несмотря на значительный вклад немцев в развитие цивилизации, все же они в этом смысле отнюдь не опережают другие народы и расы. А если говорить о евреях, то как раз их вклад в культуру Германии огромен: из 38 Нобелевских премий, полученных немецкими учеными в 1905–1936 гг., как минимум 14 было присуждено немецким евреям.

Обвинять, как это делает Гитлер, евреев в том, что они «примазывались» к другим народам для того, чтобы плодотворно развивать науку и культуру этих народов, — есть проявление собственной неполноценности, гнусной неблагодарности и патологической зависти. Все достоинства, которыми Гитлер наделяет арийцев, еще в большей мере присущи евреям.

К. Гейден отмечает, что Гитлер принял на вооружение как раз те методы, которые авторы его любимой книги — сочиненных русской царской охранкой и чрезвычайно популярных в 1920–1930-е гг. в Германии «Протоколов сионских мудрецов» —

приписывали мифическим еврейским заговорщикам. (В современной России «Протоколы сионских мудрецов» входят в Федеральный список экстремистских материалов под № 1496.)

Признать «Протоколы» фальшивкой был вынужден даже «наследственный антисемит» царь Николай II. Знаменитый «охотник за провокаторами» Владимир Бурцев, доказавший подложность «сионских протоколов», утверждал, что Николай II унаследовал свой антисемитизм от отца, Александра III, убежденного антисемита, несомненно, много сделавшего для развития в России ненависти к евреям. «Для Николая II борьба антисемитов с евреями была, очевидно, “чистым делом”!.. Антисемиткой была и императрица Александра Федоровна. Она до конца своей жизни верила в подлинность “Протоколов” и увлекалась немецкой свастикой. Это ее связывало и с тогдашним немецким довоенным антисемитизмом, который так пышно развился впоследствии при Гитлере. Ее отношение к “Протоколам” было едва ли не единственным пунктом ее разногласия с Николаем II» (Бурцев 1938: 107).

Бывший начальник петербургского охранного отделения генерал К. И. Глобачев свидетельствовал, что в 1905 г. «Чтение “Протоколов” произвело очень сильное впечатление на Николая II, который с того момента сделал их как бы своим политическим руководством. Характерны пометки, сделанные им на полях представленного ему экземпляра: “Какая глубина мысли!”, “Какая предусмотрительность!”, “Какое точное вы-

полнение своей программы!”, “Наш 1905 год точно под дирижерство мудрецов”, “Не может быть сомнений в их подлинности”, “Всюду видна направляющая и разрушающая рука еврейства”». Премьер-министр П. А. Столыпин приказал произвести секретное расследование происхождения этого документа. Дознание установило подложность «Протоколов» и их авторов. Столыпин доложил об этом Николаю II, который был глубоко потрясен. На докладе деятелей «Союза русского народа» о возможности использовать «Протоколы» для антиеврейской пропаганды царь написал: «Протоколы изъять, нельзя чистое дело защищать грязными способами» (Там же: 105–106).

К 1918 г. фальшивые «Протоколы» вышли в России в свет в шестой раз. Но только после убийства Романовых эта книга превратилась в символическое «доказательство реальности» существования «всемирного еврейского заговора». «Пожалуй, никакое другое событие этого периода не способствовало в такой мере распространению антисемитизма и популяризации пресловутых “Протоколов сионских мудрецов”», — писал о екатеринбургской трагедии американский историк Ричард Пайпс (Пайпс 2005: 571).

«Протоколы сионских мудрецов» — это фальшивка, которая, по словам британского историка Нормана Кона, дала Гитлеру «благословение на геноцид». В Германию «Протоколы» привезли в конце 1918 г. русские эмигранты-черносотенцы Федор Винберг и Петр Шабельский-Борк. В Берлине на них обратил внимание издатель реакционного националистического журнала «Ауф-

форпостен» («На посту») Людвиг Мюллер фон Гаузен (псевдоним Готтфрид цур Бек). Так русское черносотенство объединилось с германским национализмом: их роднил погромный антисемитизм. В 1919 г. Готтфрид цур Бек небольшим тиражом издал «Протоколы» на немецком языке (*Die Geheimnisse* 1919).

Эмигрант из России Альфред Розенберг, который стал идеологом гитлеровской партии и главным редактором нацистской газеты «Фёлькишер беобахтер» («Наблюдатель из народа»), предпринял массовое издание «Протоколов». Они были изданы огромными тиражами и стали одной из любимых книг Гитлера: он принял как откровение начертанный в «Протоколах» абсурдный план заговора с целью достижения господства над миром и попытался его реализовать (*Die Protokolle* 1923)⁶. Нацистский фюрер использовал как раз те методы, которые авторы «Протоколов» приписывали мифическим еврейским заговорщикам. При деконструкции мифа гитлеровской книги «Майн Кампф» аналогии между «нацистской библией» и «Протоколами» можно заметить почти на каждой странице (*Хавкин* 2016). Действительно, если целью Гитлера было мировое господство, то для достижения этой цели он мог «безжалостно» (одно из его любимых словечек) пользоваться методами и уловками, идентичными тем, которые антисемиты приписывали вымышленным сионским мудрецам (*Фрекем* 2013: 37).

Антисемитизм пронизывает всю книгу Гитлера: в ней нет ни одного раздела, где бы не затрагивался еврейский вопрос. Антисемитизм Гитлера был зоологическим, расовым. Он основывался на биологической ненависти к евреям. «Евреи были и есть те, кто привозит на берега Рейна негра, — все с той же задней мыслью и откровенной целью — наплодить ублюдков и разрушить тем самым ненавидимую им белую расу, свергнуть ее с культурной и политической высоты, а самим возвыситься до ее хозяев»⁷.

Еврей никогда не сможет стать немцем: у него другая кровь. «Национальность и раса заключена в крови, а не в языке. Смешение крови в германском государстве можно остановить, лишь удалив из него все неполноценное. Ничего хорошего не произошло в восточных районах Германии, где польские элементы в результате смешения осквернили германскую кровь. Германия оказалась в глупом положении, когда в Америке широко распространилось мнение, будто иммигранты из Германии сплошь являются немцами. На самом же деле это была “еврейская подделка немцев”» (*Энциклопедия* 1996).

Разглагольствования Гитлера о том, что волк, мол, спаривается с волчицей, а голубь с голубкой и поэтому немка не имеет права родить от еврея, могут вызвать только ухмылку: «чистых» рас и народов в природе вообще нет, а от кого ей рожать, немка, как любая свободная женщина, должна решать сама.

⁶ «В Германии наци предпринимает издание “Сионских протоколов” в количестве 2 000 000 экземпляров» (*Бурцев* 1938: 103).

⁷ *Фест И.* Указ. соч., т. 2, с. 10–11.

Расовый аспект гитлеровского антисемитизма дополняется сексуальным. Представьте себе такую сцену, рожденную большим воображением Гитлера: «Молодой еврей с черными глазами и лицом, озаренным сатанической радостью, часами выслеживает молодую немецкую девушку, не подозревающую об опасности, чтобы затем осквернить ее своей кровью». Весьма сомнительно и утверждение Гитлера, что во время Первой мировой войны «евреи, после ухода немцев на фронт, немедленно заняли их места в освободившихся постелях».

Гитлер видел в сексуальных связях немки и евреев (впрочем, как и в связях немцев с еврейками) проявление еврейского заговора с целью подорвать арийские корни германцев, ослабить их и подчинить евреям. Излишне говорить, что никакого «сексуального заговора» евреев не было и не могло быть.

В конце 1920-х гг. смешанных еврейско-немецких браков в Германии было немало: до 45%. Однако это свидетельствовало не о еврейской «сверхсексуальности» или стремлению к «порче» арийской расы, а о растущей эмансипации немецких евреев, их интеграции в немецкое общество, которое относилось к немецким евреям (в отличие от польских и литовских «остюден») весьма толерантно.

Если традиционный христианский антисемитизм был религиозным, то антисемитизм автора «Майн Кампф» имел также и социальный характер. Евреи, по мнению Гитлера, паразитируют на культуре других народов; они захватывают ведущие

позиции в торговле, финансах, средствах массовой информации, науке, образовании, искусстве. Гитлер обвинял евреев в подрыве немецкой экономики и национальных культурных традиций, а значит, и основ германской национальной государственности. Отсюда вывод: «любой человек, имеющий еврейскую кровь до третьего поколения, является врагом арийской расы и подлежит уничтожению или изгнанию из пределов цивилизованного мира».

«В свое время Гитлер был потрясен, прочитав “Протоколы сионских мудрецов”: какой опасный, вездесущий, скрытный враг!» — отмечал президент сената Свободного города Данцига в 1933–1934 гг. Г. Раушнинг, записывавший высказывания нацистского фюрера. Гитлер говорил, что он «сразу понял, что можно взять у них (у евреев. — Б. Х.) — конечно, переработав по-своему. Подумайте только: вот эти люди, они вечно в движении — а вот мы с нашей новой религией вечного движения. Как похоже, и в то же время какое различие! Вот где необходим решительный бой за судьбу всего мира!» Раушнинг спросил Гитлера, не переоценивает ли он евреев. «Нет, нет! — ответил Гитлер. — Такого противника, как еврей, невозможно переоценить». Раушнинг заметил, что «Протоколы сионских мудрецов» — явная фальшивка. «Ну и что?» — рассерженно воскликнул Гитлер. Он сказал, что его совершенно не волнует, являются ли «Протоколы» подлинными в историческом смысле. Тем более убедительна для него их внутренняя истинность. «Евреев нужно уничтожать их же собственным оружием. Я убедился в этом, когда прочел

“Протоколы”». Раушнинг спросил: «“Протоколы” вдохновили вас на борьбу?» Гитлер ответил: «Конечно, вплоть до мельчайших деталей. Я чрезвычайно многому научился из этих “Протоколов”. Я всегда учился у своих противников» (*Раушнинг* 1993: 183).

По мнению Раушнинга, «Протоколы» были для Гитлера основным руководством в осуществлении его политики; в 30-е гг. были написаны три книги, которые показывали, как во всех деталях нацистская политика следовала изложенному в «Протоколах» плану, — отмечал Норман Кон (*Кон б/д*).

Антисемитизм в своих экстремальных проявлениях стал в гитлеровском рейхе не просто государственной политикой, но самой основой государства, целью которого было господство арийской расы. Для консолидации «арийского народного сообщества» нацистам нужен был «вечный враг нации», роль которого со средних веков традиционно отводилась евреям.

Нацисты опирались на богатые традиции немецкого антисемитизма. Однако со времен Крестовых походов и проповедей Мартина Лютера ситуация в Германии изменилась. Несмотря на религиозный, бытовой и «кафедральный» антисемитизм Генриха фон Трейчке, Евгения Дюринга, Артура Шопенгауэра и им подобных, в конце XIX — начале XX в. евреи стали полноправными гражданами рейха, полностью интегрированными во все сферы жизни немецкого общества. Веймарская конституция 1919 г., автором которой был

сын еврейского коммерсанта юрист и политик Гуго Пройс, отменила всякую дискриминацию евреев.

По данным главного управления службы безопасности СС, в 1933 г. в Германии жили 672 тыс. евреев, из которых 515 тыс. исповедовали иудаизм. Таким образом, на год прихода нацистов к власти евреи составляли чуть больше 1% населения Германии, насчитывавшего более 65 млн человек (*Хавкин б/д*).

Несмотря на столь малый процент населения, евреи до прихода нацистов к власти играли заметную роль в общественно-политической, деловой, научной и культурной жизни страны. Немецкие граждане «Моисеевой веры» занимали 12% должностей преподавателей университетов, еще 7% преподавателей были крещеные евреи. В 1925 г. в Германии 26% всех юристов (из них 16,2% адвокатов), 15% врачей, 5% литераторов и редакторов были евреями. 80% университетов всей Германии принадлежало евреям (*Гутман, Галиль* 2008: 28–41).

Существует мнение, что именно евреи не приняли юного Адольфа Гитлера в Венскую академию художеств. (Кто знает, если бы Гитлер стал не фюрером Третьего рейха, а посредственным австрийским художником, может быть, и не было бы «окончательного решения еврейского вопроса».) Но нет, ничего о евреях-профессорах, «зарубивших на корню» «гениального молодого художника-арийца» Гитлер не пишет. В «Майн Кампф» есть только бездоказательные демагогические обвинения в адрес евреев: «Евреи живут, как паразиты, на теле других

наций и государств». (Будто древние евреи по своей воле лишились своего государства и ушли в изгнание. Что касается Германии, то евреи жили в германских землях еще со времен Римской империи, когда еще и германских государств не было.)

Гитлер, повторяя Шопенгауэра, утверждает, что «евреи являются величайшими виртуозами лжи. Все существование еврея толкает его непрерывно ко лжи. То же, что для жителя севера теплая одежда, то для еврея ложь». По мнению Гитлера, оказывается, что главной ложью евреев является то, что они «выдают себя за религиозную общину, а надо бы им признать, что они особый народ».

Если это и так, если евреи — это не только религиозная, но этническая общность, если люди еврейского происхождения есть и среди христиан (Иисус Христос), и среди атеистов (Спиноза), то какой вред это принесло немцам? Только тот, что евреи внесли свой выдающийся вклад в немецкое предпринимательство, науку и культуру.

Среди наиболее известных в Германии и мире еврейских имен были промышленники Р. Геснер и Ф. Мандель, банкиры О. Вассерман и М. Варбург, философы Г. Коген и Э. Гуссерль, социолог Г. Зиммель, математики Г. Кантор, Г. Минковский, бактериолог П. Эрлих, химик Ф. Габер, физики А. Эйнштейн, М. Борн, Д. Франк, О. Штерн, Ф. Блох, О. Вигнер, Г. Бете, Д. Габор, Л. Сциллард, Э. Теллер, медики Б. Хаин и Г. Кребс, художник М. Либерман, писатели Э. Людвиг, Л. Фейхтвангер, А. Цвейг, режиссеры М. Рейнхардт и Г. Фукс. Евреи были

идеологами и лидерами социал-демократов и коммунистов: К. Маркс, Э. Бернштейн, В. Адлер, Г. Хаазе, Э. Толлер, К. Эйслер, Э. Левине. Значительное число евреев занимали видные посты в правительстве Веймарской республики и в правительствах германских земель: В. Ратенау, Г. Ландауэр, О. Ландсберг, Г. Пройс.

Существует «теория зависти», по которой именно успехи евреев порождали зависть неудачников и антисемитизм. Именно антисемитом-неудачником был Гитлер первую половину своей жизни.

Абсолютно беспочвенны утверждения Гитлера, что во время Первой мировой войны немецкие евреи в большинстве своем отсиживались в тылу. Неумолимая статистика говорит об обратном: с 1914 по 1918 г. в кайзеровской армии было 96 тыс. евреев, из них 80 тыс. сражались на фронте. 10 тыс. евреев ушли в армию добровольно, 2000 было произведено в офицеры, 19 тыс. — в унтер-офицеры. В армии служили 30 военных раввинов (*Segall* 1921). «Имперский союз фронтовиков-евреев» объединял около 55 тыс. ветеранов. Этот союз возглавлял выдающийся немецкий химик и физик, кавалер Железного креста I степени капитан Лео Лёвенштайн.

Немецкие евреи были не меньшими патриотами Германии, чем сами немцы. 35 тыс. немецких евреев-воинов были награждены орденами и медалями, из них 18 тыс. — Железным крестом. Точно таким же, каким был награжден и ефрейтор Адольф Гитлер, награду которому вручал его командир — лейтенант Хуго Гутман, еврей и кавалер Железных крестов I и II степени.

Интересно отметить, что за 6 лет военной службы Гитлер так и не стал унтер-офицером. «У ефрейтора Гитлера не было никаких качеств руководителя», — отмечал его командир.

Кавалерами ордена Железный крест были евреи-асы кайзеровских люфтваффе: Вильгельм Франкль, Фриц Бекхардт, Вилли Розенштейн, Фридрих Рюденбург, Бертольд Гутман. Летчик лейтенант Йозеф Цюрндорфер, погибший в бою 19 сентября 1915 г., в завещании писал: «Я пошел на войну как немец, чтобы защитить мою страну, попавшую в беду. Но также и как еврей, чтобы добиться полного равноправия моих братьев по вере» (Черкасский 2014).

Всего, защищая кайзеровскую Германию, погибли 12 тыс. немецких солдат и офицеров-евреев и еще 32 тыс. получили тяжелые ранения или были отравлены газами. Это больше, чем погибло евреев во всех войнах, которые вел Израиль.

Российская общественность встретила переиздание в ФРГ главной книги Гитлера неоднозначно. «То, что в Германии издадут такую книжку, конечно, возмутительно», — подчеркнула глава Московской Хельсинкской группы и член президентского Совета по правам человека Л.М. Алексеева. Однако, по словам старшей российской правозащитницы, «и у нас — в стране, победившей фашизм, — также издавалась, продавалась, распространялась абсолютно фашистская литература. Как вы заметили, слава Богу, мы не стали фашистским государством. Так что не нужно так думать, что если в Германии какое-то издательство частное издает книгу, то

Германия повернулась к фашизму — ничего подобного», — подчеркнула Л.М. Алексеева (РИА Новости б/д).

Президент фонда «Холокост» А.Е. Гербер о переиздании «Майн Кампф» высказалась так: «Очень долгие годы Германия на это не решалась, книга была запрещена. Много лет потребовалось стране, чтобы повернуть своих людей спиной к тому периоду. Было непонимание того, что все-таки произошло, был комплекс побежденной страны. Должно было появиться новое поколение, которое смогло посмотреть на это открытыми глазами. Произошла гигантская работа, и только сейчас они наконец решились издать “Майн Кампф”. Но как? Для того, чтобы это не звало за собой, а вызвало отторжение, чтобы от этого отталкивались. Сделать это удалось с помощью настоящей, колоссальной научной и исторической работы. Комментарии — это достаточно серьезная работа ученых, журналистов и писателей, а ведь это половина книги. Благодаря комментариям сделано так, чтобы то, что было написано в книге, было воспринято не с восторгом, а с отторжением» (Дилетант.ру б/д).

«Это мерзость, это гадость, которую невозможно запретить и нельзя не знать взрослому образованному человеку», — кратко сформулировал свое отношение к изданию «Майн Кампф» руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России раввин Барух Горин (РИА б/д). Пожалуй, лучше, чем мудрый раввин, не скажешь. То же самое можно сказать и о «вдохновлявших» Гитлера «Протоколах сионских мудрецов».

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 78. Оп. 8. Д. 140.

XVII съезд 1934 — XVII съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Стенографический отчет. М., 1934.

Генассамблея ООН б/д — Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма. URL: <http://ria.ru/world/20151218/1344137996.html> (дата обращения: 10.06.2020).

Дилетант.ру б/д — URL: diletant.media/duels/27003156/ (дата обращения: 10.06.2020).

Кон б/д — Кон Н. Благословение на геноцид. Миф о всемирном заговоре евреев и «Протоколах сионских мудрецов». URL: <http://lib.web-malina.com/getbook.php?bid=3507&page=23> (дата обращения: 10.06.2020).

Лента.ру б/д — URL: lenta.ru/news/2015/02/20/mein_kampf_republish/ (дата обращения 10.06.2020).

Оруэлл 1989 — Оруэлл Дж. Рецензия на «Майн Кампф» Адольфа Гитлера // Джордж Оруэлл. Скотный двор: сказка. Эссе. Статьи. Рецензии. М., 1989.

Раушнинг 1993 — Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М., 1993.

РИА б/д — URL: ria.ru/analytics/20151204/1335644575.html / (дата обращения: 10.06.2020).

РИА Новости б/д — РИА Новости. URL: <http://ria.ru/world/20151202/1334390365.html> (дата обращения: 10.06.2020).

Хавкин б/д — Хавкин Б. Л. Вечный враг арийской расы. URL: http://nvo.ng.ru/history/2015-09-18/13_arii.html (дата обращения: 10.06.2020).

Черкасский 2014 — Черкасский Я. Евреи, сражавшиеся за Германию // Русская Германия. 2014. № 27.

Die Geheimnisse 1919 — Die Geheimnisse der Weisen von Zion: die Veröffentlichung

von Gottfried zur Beek und die kritische Gegenschrift von Benjamin Segel. Charlottenburg, 1919.

Die Protokolle 1923 — Die Protokolle der Weisen von Zion und die jüdische Weltpolitik. Von Alfred Rosenberg. München, 1923.

Hintergrund б/д — Hintergrund: Der Zweite Weltkrieg in Zahlen und Fakten. URL: <https://www.zeit.de/news/2015-05/08/geschichte-hintergrund-der-zweite-weltkrieg-in-zahlen-und-fakten-08065612> (дата обращения 10.06.2020).

Hitler 2016 — *Hitler*. Mein Kampf. Eine kritische Edition. Hrsg. im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München — Berlin von Christian Hartmann, Thomas Vordermayer, Othmar Plöckinger, Roman Töppel unter Mitarbeit von Edith Raim, Pascal Trees, Angelika Reizle, Martina Seewald=Mooser. 2 Bände. Institut für Zeitgeschichte, München, 2016. 2000 S. (Гитлер. Моя борьба. Критическое издание. Подготовлено по поручению Института современной истории Мюнхен-Берлин Христианом Хартманом, Томасом Фордермайером, Отмаром Плёкингером, Романом Тёпелем при содействии Эдит Раим, Паскаль Треес, Ангелики Рейцле, Мартины Зеевальд=Моозер. В 2 т., Институт современной истории. Мюнхен, 2016. 2000 с.).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Бурцев 1938 — Бурцев В. Л. «Протоколы сионских мудрецов»: доказанный подлог. Париж, 1938.

Гейден 1935 — Гейден К. История германского фашизма. М.; Л., 1935.

Гутман, Галиль 2008 — Гутман И., Галиль Н. Катастрофа и память о ней. Иерусалим, 2008.

Илизаров 2000 — Илизаров Б. С. Сталин. Штрихи к портрету на фоне его библиотеки и архива // Новая и новейшая история. 2000. № 3.

Пайнс 2005 — Пайнс Р. Русская революция. В 3 кн. Кн. 2. Большевики в борьбе за власть. 1917–1918. М., 2005.

Похлебкин 1997 — Похлебкин В. В. Великая война и несостоявшийся мир. 1941–1945–1994. М., 1997.

Фрекем 2013 — Фрекем Дж. Гитлер и его бог. За кулисами феномена Гитлера. СПб., 2013.

Хавкин 2016 — Хавкин Б. Л. О научном немецком издании книги «Майн Кампф» // Новая и новейшая история. 2016. № 4. С. 103–114.

Энциклопедия 1996 — Энциклопедия третьего рейха. М., 1996.

Glaser 2014 — Glaser H. Adolf Hitlers Herzschrift "Mein Kampf". Ein Beitrag zur Mentalitätsgeschichte des Nationalsozialismus. München, 2014.

Glaser 2015 — Glaser H. Zur Mentalitätsgeschichte des Nationalsozialismus — ein Weg, um den Erfolg von "Mein Kampf" zu verstehen // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2015. № 43–45.

Hedeler 1999 — Hedeler W. Neue Archivdokumente zur Biographie von Grigori Jewsejewitsch Sinowjew // Jahrbuch für historische Kommunismusforschung. Berlin, 1999.

Heiden 1932 — Heiden K. Geschichte des Nationalsozialismus; die Karriere einer Idee. 1932.

Heiden 1999 — Heiden K. The Führer. New York, 1999.

Jaeckel 1981 — Jaeckel E. Hitlers Weltanschauung. Stuttgart, 1981.

Segall 1921 — Segall J. Die deutschen Juden als Soldaten im Kriege 1914–1918. Berlin, 1921.

Zehnpfennig 2015 — Zehnpfennig B. Ein Buch mit Geschichte, ein Buch der Geschichte: Hitlers "Mein Kampf" // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2015. № 43–45.

REFERENCES

Burtsev V. L. "Protokoly sionskikh mudretsov": dokazannyi podlog. Parizh, 1938.

Entsiklopediia tret'ego reikha. Moscow, 1996.

Frekem Dzh. Gitler i ego bog. Za kulisami fenomena Gitlera. St. Petersburg, 2013.

Geiden K. Istoriia germanskogo fashizma. Moscow; Leningrad, 1935.

Glaser H. Adolf Hitlers Herzschrift "Mein Kampf". Ein Beitrag zur Mentalitätsgeschichte des Nationalsozialismus. München, 2014.

Glaser H. Zur Mentalitätsgeschichte des Nationalsozialismus — ein Weg, um den Erfolg von "Mein Kampf" zu verstehen. Aus Politik und Zeitgeschichte, 2015, no. 43–45.

Gutman I., Galil' N. Katastrofa i pamiat' o nei. Ierusalim, 2008.

Hedeler W. Neue Archivdokumente zur Biographie von Grigori Jewsejewitsch Sinowjew. Jahrbuch für historische Kommunismusforschung. Berlin, 1999.

Heiden K. Geschichte des Nationalsozialismus; die Karriere einer Idee. 1932.

Heiden K. The Führer. New York, 1999.

Ilizarov B. S. Stalin. Shtrikhi k portretu na fone ego biblioteki i arkhiva. Novaia i noveishaia istoriia, 2000, no. 3.

Jaeckel E. Hitlers Weltanschauung. Stuttgart, 1981.

Khavkin B. L. O nauchnom nemetskom izdanii knigi "Mein Kampf". Novaia i noveishaia istoriia, 2016, no. 4, p. 103–114.

Paips R. Russkaia revoliutsiia. V 3 kn. Kn. 2. Bol'sheviki v bor'be za vlast'. 1917–1918. Moscow, 2005.

Pokhlebin V. V. Velikaia voina i nesostoiavshisya mir. 1941–1945–1994. Moscow, 1997.

Segall J. Die deutschen Juden als Soldaten im Kriege 1914–1918. Berlin, 1921.

Zehnpfennig B. Ein Buch mit Geschichte, ein Buch der Geschichte: Hitlers "Mein Kampf". Aus Politik und Zeitgeschichte, 2015, no. 43–45.

И. И. Баринов

ОБ УТОЧНЕНИИ БИОГРАФИИ «ЕДИНСТВЕННОГО ВЫЖИВШЕГО В КАТЫНИ». МОСКОВСКИЙ ГОД СТАНИСЛАВА СВЯНЕВИЧА

В публикации, основанной на документах из Центрального государственного архива города Москвы, уточняются детали биографии Станислава Свяневича (1899–1997), польского ученого, писателя и советолога. Помимо прочего, Свяневич получил известность как один из немногих польских офицеров, выживших в Катыни. Ранее неизвестные биографам документы проливают свет на московский период жизни Свяневича в 1917–1918 гг.

Ключевые слова: Станислав Свяневич, Московский университет, Катынь.

Сведения об авторе: Баринов Игорь Игоревич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва).

Контактная информация: barinovnoble@gmail.com.

I. I. Barinov

CLARIFYING THE BIOGRAPHY OF “THE ONLY SURVIVOR OF THE KATYN MASSACRE”:
THE MOSCOW YEAR OF STANISLAW SWIANIEWICZ

The article based on the documents from the Central City Archives of Moscow, clarifies the details of the biography of Stanislaw Swianiewicz (1899–1997), Polish scientist, writer, and sovietologist. Swianiewicz gained attention as one of the Polish officers who survived in Katyn. Documents, previously unknown to biographers, shed some light on the Moscow period of Swianiewicz’s life in 1917–1918.

Key words: Stanislaw Swianiewicz, Moscow University, Katyn.

© И. И. Баринов, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-184-190

About the author: Barinov Igor I., candidat of science (History), Senior Researcher at the Institute of Slavic Studies, RAS (Moscow).

Contact information: barinovnoble@gmail.com.

Станислав Свяневич (1899–1997) — польский, а затем британский социолог и экономист, прожил долгую и невероятно насыщенную жизнь, став свидетелем всех ключевых событий XX в. Выходец из старинного шляхетского рода, известного в Лидском уезде с XVI в., он стал одним из первых добровольцев Войска Польского в 1918 г. и участвовал в войне с советской Россией. В 1930-х гг., в качестве профессора университета Стефана Батория в Вильне, Свяневич исследовал советскую и германскую версии тоталитарной экономики. На обе темы им были написаны монографии (*Swianiewicz* 1930; 1938), ставшие значимым событием в польской науке того времени. Дальше были Вторая мировая война, советские лагеря, освобождение в рамках соглашения Сикорского — Майского, работа в польском посольстве, эвакуированном в Куйбышев, и армия генерала Андерса. После войны Свяневич, отказавшись от предложенной во Вроцлаве кафедры, поселился в Лондоне, где прожил следующие полвека, периодически выезжая для научной работы в Индонезию, США и Канаду.

Несмотря на столь богатую биографию, ее центральным и наиболее известным сюжетом стали события 1939–1940 гг. Речь идет о пленении Свяневича и его нахождении в печально известном Козельском лагере, узники которого впоследствии были уничтожены. Ореол «единственного выжившего в Катыни» сопровождал Свяневича до конца его дней. Веро-

ятно, это было связано с уникальностью ситуации, когда Свяневича по распоряжению советских властей сняли прямо с расстрельного этапа, прибывшего 30 апреля 1940 г. на станцию Гнёздово. В какой-то момент сам Свяневич стал ощущать себя главным голосом тех трагических событий. Даже книгу мемуаров, выпущенную в 1976 г., он назвал «В тени Катыни» (*Swianiewicz* 1976), хотя речь в ней идет о достаточно большом промежутке времени, в том числе о довоенной жизни автора.

Как это нередко бывает, травматические события времен войны затмили остальную часть биографии Свяневича. Так, единственным источником о его ранней жизни в России стали его же беллетризованные воспоминания, изданные в Варшаве одним из внуков автора (*Swianiewicz* 1996). Из-за этого даже биографы Свяневича порой путаются в деталях. Между тем в Центральном государственном архиве Москвы сохранилось целых два личных дела Станислава Свяневича. Как следует из них, он родился и вырос в Двинске (современный Даугавпилс) в семье потомственного инженера-путейца. Его отец, недоучившийся студент петербургского Технологического института (ЦГИА СПб), служил на местном участке пути Риго-Орловской железной дороги. Как следует из автобиографии молодого Свяневича, до 1915 г. он жил в Двинске и посещал местное реальное училище. После того как в мае того же года германские войска подошли к Риге, старшекласник был

вынужден эвакуироваться вглубь России, в Орел. Там он доучивался в Александровском реальном училище, которое окончил в мае 1917 г.

Очевидно, интерес к экономике и праву наметился у Свяневича еще в школе. Уже тогда он намеревался получить высшее образование и за год учебы в дополнительном классе подтянул русский язык с «тройки» до «пятерки» (ЦГА Москвы 1: Л. 6). Вскоре после получения аттестата Свяневич отправился в Москву, где 27 июля 1917 г. подал заявление на имя директора Московского коммерческого института (будущего Института народного хозяйства им. Плеханова). В нем абитуриент просил принять его на экономическое отделение «или, за неимением вакансий, на коммерческо-техническое». Через три недели, 16 августа, Свяневич был принят в ряды студентов (ЦГА Москвы 1: Л. 2). На первый взгляд может сложиться впечатление, что он изначально желал получить прикладное, более практическое образование. Этому, однако, противоречат документы из второго дела. Практически одновременно Свяневич подал еще одно заявление — на этот раз на имя ректора Московского университета, с намерением поступить на юридический факультет (ЦГА Москвы 2: Л. 1). Несомненно, Свяневич рассматривал коммерческий институт только как «запасной» вариант. О том, что он не планировал там учиться, говорит тот факт, что 7 августа Свяневич сдавал в испытательном комитете при управлении Московского учебного округа экзамен по латыни (в реальном училище не преподавали древние языки, без знания кото-

рых не принимали в университеты). Получив свидетельство 17 августа, Свяневич сразу же предоставил его в канцелярию факультета и 19 августа был зачислен. Любопытно, что в московском деле хранится лишь справка о сданном экзамене, тогда как оригинал находится среди личных документов Свяневича в фонде университета Стефана Батория (ЦГА Москвы 2: Л. 5; LCVA: L. 3).

Впоследствии во всех официальных биографиях Свяневича указывалось, что он сразу решил получить университетское образование. При этом, как вспоминал сам Свяневич, в 1919 г., в перерывах между боями, он записался на юридический факультет в Вильне, причем московский год обучения был ему засчитан на основании старой зачетной книжки (*Swianiewicz* 1996: 93). Тем не менее в московском университетском деле находится лишь стандартный пакет документов, необходимый для поступления, а именно прошение на имя ректора, школьный аттестат, метрика, приписка к воинскому участку и послужной список отца. Никаких свидетельств о прохождении курса обучения в деле не имеется. Интересным документом является приложенная к делу справка из экономическо-правового отдела Наркомата по иностранным делам РСФСР. Согласно ей, 18 мая 1922 г. среди «испрашиваемых польским посольством документов» в Польшу были высланы аттестат Свяневича, свидетельство об окончании реального училища и метрическая выписка (ЦГА Москвы 2: Л. 16). Среди документов из вильнюсского личного дела Свяневича, которые с точностью относятся к «российскому» периоду, в наличии есть только два свидетельства —

об окончании дополнительного класса (возможно, именно оно было среди бумаг, присланных в 1922 г.) и сдаче экзамена по латыни (LCVA: L. 2–3). Упомянутую зачетную книжку Московского университета обнаружить не удалось.

В данном отношении мы не можем однозначно судить, успел ли Свяневич сдать на московском юрфаке какие-то зачеты и экзамены. В то время сессии, как и сейчас, проходили в конце семестра, соответственно в начале декабря и в конце мая. Зимой Свяневич вряд ли что-то сдавал, поскольку только начал учебу. Весенние испытания прошли без него: в апреле 1918 г. Свяневич выехал из советской России к отцу в Двинск, который после заключения Брестского мира оказался в зоне германской оккупации. Вероятно, с собой из Москвы Свяневич вез некую справку о том, что действительно состоял студентом университета. За давностью лет он мог ошибочно соотнести ее с зачетной книжкой. Как бы то ни было, живя в Москве, Свяневич стал непосредственным свидетелем октябрьских событий и установления советской власти. Возможно, личные впечатления и воспоминания впоследствии подогревали его исследовательский интерес и, в отличие от его коллег, позволяли взглянуть на изучаемый материал с неожиданной стороны.

Публикуемые документы о раннем периоде жизни Станислава Свяневича, до сих пор находившиеся вне

поле зрения биографов, извлечены из личных дел в Центральном государственном архиве Москвы и впервые вводятся в научный оборот.

№ 1

Краткая автобиография

Я родился 26 октября 1899 в городе Двинске, где отец мой и по сие время служит на железной дороге помощником начальника участка. В 1909 я поступил в Двинское реальное училище, где обучался до 1915 года, когда по обстоятельствам военного времени должен был переехать в Орел. В Орле в этом же году поступил в 6 класс местного Александровского реального училища, которое и кончил весной сего года. За все время пребывания в училище ни разу не оставался на второй год и не имел переэкзаменовок.

ЦГА Москвы. Ф. Р489. Оп. 19. Д. 353. Л. 3.

№ 2

Господину ректору Московского университета окончившего Орловское Александровское реальное училище Станислава Станиславовича *Свяневича*¹

Прошение

Желая для продолжения образования поступить во вверенный Вам университет, покорнейше прошу принять меня на *юридический*

¹ Вероятно, описка Свяневича: 6-й класс он окончил в июне 1916 г. Весной 1917 г. он окончил дополнительный 7-й класс, необходимый для поступления в высшее учебное заведение.

факультет. При сем прилагаю следующие документы:

- 1) свидетельство об окончании 7го кл[асса] реальн[ого] уч[илища]
- 2) аттестат об окончании 6 кл[асса] реальн[ого] уч[илища]
- 3) метрическую выпись
- 4) формулярный список отца
- 5) свидетельство о приписке к призывному участку
- 6) 2 фотографические карточки

В виду того, что свидетельство о прививании оспы было украдено у меня в вагоне, оно будет представлено дополнительно не позднее 25го сего августа.

Станислав Свяневич (беженец из гор. Двинска)

Жительство имею: Орел, Московская ул. д. № 47, кв. 7 (Штрауса)²

[Штамп: зачисляется студентом юридическ[ого] фак[ультета] 19 авг 1917]

ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 331. Д. 2706. Л. 1.

№3

По указу Его Императорского Величества Могилевская римско-католическая духовная консистория согласно журнальному постановлению

² В оригинале выделенные места подчеркнуты красным.

³ В прошении на имя директора Московского коммерческого института указан другой адрес: Орел, Новосильская, 143, кв. Скуковского.

своему 5 августа 1909 года состоявшемуся, выдает выпись из статьи, находящейся в метрических экстрактах Двинского римско-католического костела за 1899 год, под № 650 о рождении и крещении Станислава-Августина (2х имен) сына Станислава Свяневича следующего содержания: Тысяча восемьсот девяносто девятого года ноября двадцать первого дня в Двинском римско-католическом приходском костеле викарий сего костела ксендз Антоний Масилионис окрестил младенца по имени Станислав-Августин (2х имен) с совершением всех обрядов таинства потомственных дворян Станислава и Екатерины урожденной Барановской Свяневичей законных супругов сын родившийся двадцать шестого октября сего тысяча восемьсот девяносто девятого года в городе Двинске Двинского прихода. Восприемниками были Игнатий Барановский³ с Лютгардою Амбрушкевич девицею.

О точности настоящей выписи консистория подписью и приложением казенной печати удостоверяет с тем, что статья таковой, в означенных экстрактах, сомнению не подлежит. Гербовый сбор уплачен.

С.-Петербург августа 12 дня 1909 года

[Подписи]

ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 331. Д. 2706. Л. 7. Копия.

№ 4

МПС Риго-Орловская железная дорога				
Служба пути				
Послужной список Станислава Сильвановича Свяневича				
Какого вероисповедания:		римско-католического		
Какой губернии, уезда, города или селения уроженец:		Виленской губ. гор. Вильны		
Число, месяц и год рождения:		27 сентября 1871		
Где воспитывался и кончил ли курс:		в Технологическом институте — курса не кончил. Выдержал испытание на звание техника путей сообщения		
Чин, звание или сословие:		коллежский секретарь — дворянин		
Состоит ли в запасе армии, или флота, или же в отставке:		прапорщик запаса с 1 июля 1901 г.		
Холост или женат:		женат с 1 октября 1898 г. Жена — Екатерина Игнатьевна, родилась 28 ноября 1873 г.		
Имеет ли детей; если имеет, то поименовать каждого, указав время рождения.		Станислав-Августин род. 26 октяб. 1899 г. Мария-Йоланта род. 1 августа 1901 г. Евгений родился 5 июня 1904 г.		
Состоял ли прежде на службе дороги:		не состоял		
Должность	Время назначения и перемещения	Жалования, руб. коп.	Разъездн. руб. коп.	Квартирн. руб. коп.
Вр[еменный] техник 5 уч[астка] сл[ужбы] пути	1 июня 1896 г.	180,00	-	-
То же	1 июля 1896 г.	480,00	-	-
То же	1 августа 1896 г.	540,00	-	-
Вр[еменный] ст[арший] техник 5 уч[астка] сл[ужбы] пути	1 янв[аря] 1897 г.	720,00	-	-
И[сполняющий] о[бязанности] старш[его] дорожн[ого] мастера 5 уч[астка]	1 мая 1898 г.	900,00	-	натурой
И[сполняющий] о[бязанности] помощника начальника 5 уч[астка] сл[ужбы] пути	10 октября 1898 г.	1142,85	357,15	натурой
Помощник начальника 5 уч[астка] пути	1 янв[аря] 1900 г.	1142,85	378,60	натурой
То же	1 янв[аря] 1913 г.	1211,40	357,15	натурой
То же	1 авг[уста] 1913 г.	1325,70	414,30	натурой
То же	1 янв[аря] 1915 г.	1870	200	натурой
На сколько дней разрешен отпуск и причины отпуска:		На три недели по домашним обстоятельствам		22/VIII 1898
		То же		3/IX 1899

	На 6 недель для отбытия учебного сбора	В мае 1901 г.
	На две недели по болезни жены	29/XI 1902
	На две недели по домашним обстоятельствам	5/XI 1910
Когда и за что назначена награда или пособие:	30 января 1897 г. темно-бронзовая медаль для ношения на груди на ленте из государственных цветов за труды по первой всеобщей переписи населения 1897 г.	
	28 января 1916 г. Орден св. Станислава 3 степени за труды по мобилизации 1914 г.	

С подлинным верно:

[Подписи]

[Печать Риго-Орловской железной дороги]

ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 331. Д. 2706. Л. 8–9.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

ЦГА Москвы 1 — ЦГА Москвы. Ф. Р489.
Оп. 19. Д. 353.

ЦГА Москвы 2 — ЦГА Москвы. Ф. 418.
Оп. 331. Д. 2706.

ЦГИА СПб — ЦГИА СПб. Ф. 492. Оп. 2.
Д. 4121.

LCVA — LCVA. F. 175, ap. 2(VI)B. B. 62.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Swianiewicz 1930 — *Swianiewicz S.* Lenin jako ekonomista. Wilno, 1930.

Swianiewicz 1938 — *Swianiewicz S.* Polityka gospodarcza Niemiec hitlerowskich. Wilno, 1938.

Swianiewicz 1976 — *Swianiewicz S.* W cieniu Katynia. Paryż, 1976.

Swianiewicz 1996 — *Swianiewicz S.* Dzieciństwo i młodość. Warszawa, 1996.

REFERENCES

Swianiewicz S. *Dzieciństwo i młodość.* Warszawa, 1996.

Swianiewicz S. *Lenin jako ekonomista.* Wilno, 1930.

Swianiewicz S. *Polityka gospodarcza Niemiec hitlerowskich.* Wilno, 1938.

Swianiewicz S. *W cieniu Katynia.* Paryż, 1976.

«ЭТО ЯРКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА ОСТАЛОСЬ НАВСЕГДА». К 60-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

К 60-летию со дня полета Ю. А. Гагарина в космос ИЭ обратилась к ряду историков с просьбой поделиться воспоминаниями о незабываемом дне 12 апреля 1961 г. и о той эпохе в истории страны.

Ключевые слова: XX съезд КПСС, хрущевская оттепель, Ю. А. Гагарин, освоение космоса.

Сведения об авторах: Гибианский Леонид Янович – старший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва);

Измозик Владлен Семенович – доктор исторических наук, профессор (Санкт-Петербург);

Майорова Алла Степановна – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и археологии Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (Саратов);

Ведерников Владимир Викторович – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории отечества, науки и культуры Санкт-Петербургского технологического института (Технический университет) (Санкт-Петербург).

Контактная информация:

Гибианский Леонид Янович gibianskii@mail.ru

Измозик Владлен Семенович izmozik@mail.ru

Майорова Алла Степановна majorova-as@mail.ru

Ведерников Владимир Викторович vedvlvik@mail.ru

“THIS VIVID FEELING OF THE HOLIDAY WILL REMAIN FOREVER”. TO THE 60TH ANNIVERSARY OF THE FIRST MANNED FLIGHT INTO SPACE

To the 60th anniversary of the flight of Yu.A. Gagarin into space the Historical Expertize asked a number of historians to share their memories of the unforgettable day of April 12, 1961, and of that era in the history of the country.

Key words: XX Congress of the CPSU, Khrushchev thaw, Yu.A. Gagarin, space exploration.

About the authors: Gibiansky Leonid Y. – Senior Researcher at the Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences (Moscow);
Izmozik Vladlen S. – Doctor of Historical Sciences, Professor (Saint Petersburg);
Majorova Alla S. – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Russian History and Archaeology at the Institute of History and International Relations of the Saratov State University (Saratov);
Vedernikov Vladimir V. – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of the History of the Fatherland, Science and Culture of the St. Petersburg Institute of Technology (Technical University) (Saint Petersburg).

Contact information:

Gibiansky Leonid Y. gibianskii@mail.ru
Izmozik Vladlen S. izmozik@mail.ru
Majorova Alla S. majorova-as@mail.ru
Vedernikov Vladimir V. vedvlvik@mail.ru

Гибянский Л. Я.

О полете Гагарина, вернее, о том, что у нас предстоит запуск на околоземную орбиту космического аппарата с человеком на борту, я узнал немного заранее. Узнал на работе, ввиду моих служебных обязанностей.

Я тогда работал в Радиокomitee, или, как он в то время официально именовался, Государственном комитете по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР. В той его части, которая вела радиовещание на зарубежные страны: в профессиональном лексиконе она фигурировала как иновещание. Я попал туда в конце августа 1960 г., через два месяца после окончания исторического факультета МГУ по кафедре истории южных и западных славян, на которой специализировался по истории Югославии. И был зачислен в отдел (в просторечии – редакцию) радиовещания на Югославию.

Кажется, днем раньше полета в отделе был разговор, что на завтра намечается какое-то важное событие и нужно настроиться на напряженную работу по быстрой подготовке

материалов о нем для оперативного включения в наши передачи.

Такие вещи случались и раньше. И касались прежде всего каких-то официальных мероприятий, приобретавших репрезентативно-политический характер, особенно если на них выступал Н. С. Хрущев. Как правило, его речи были очень длинными, и когда ту или иную из них невозможно было втиснуть в передачу, требовалось подготовить сокращенное изложение, но отражающее все актуально-политические моменты выступления. Это было особенно сложным, если времени до очередного эфира оставалось в обрез. Так что услышанное мною в отделе 11 апреля 1961 г. ничем удивительным само по себе не было.

А о том, что за событие ожидается завтра, по-моему, ничего не было сказано. Во всяком случае, кажется, я об этом не слышал.

Но как только на следующее утро, 12 апреля, я пришел на работу, в нашем отделе уже было известно, что должен состояться запуск с человеком. Это было беспрецедентно. Хотя и не совсем уж неожиданно.

По крайней мере, в моем восприятии. Да и, как я помню, в восприятии моих коллег по работе. Ведь мы были к этому психологически подготовлены и запуском искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г., и орбитальным полетом Белки и Стрелки с их благополучным возвращением в августе 1960 г. Но, конечно, полет человека — это было совсем другое дело. И все мы на работе, узнав о предстоявшем запуске, с напряжением ждали. А в разговорах, которые велись в ожидании, была, насколько я помню, и немалая степень беспокойства о том, все ли пройдет благополучно.

В кабинете, где сидели заведующая отделом и ее заместитель, включили радиоприемник, чтобы ухватить момент, когда появится сообщение по внутрисоюзному радио. Обычно это означало, что настало время и для передачи сообщения по иновещанию. То один, то другой из нас наведывался в одну из комнат нашего 8-го этажа, где стоял большой стеллаж, куда обычно периодически приносились и раскладывались по ячейкам вещательных отделов, расположенных на этаже, материалы, готовившиеся централизованно и предназначенные для передач на все страны. В обиходе их так и называли — «централизованные материалы». Ждали, когда сообщение о запуске и, возможно, сопутствующие комментарии раздадут для перевода заранее. Переводчики были наготове.

Помню, как в атмосфере этого ожидания я, немного поколебавшись, ибо новость о предстоявшем полете относилась пока что вроде бы к ряду секретных сведений, все-таки позвонил из редакционной комнаты по телефону домой и сказал маме,

чтобы она включила радиоприемник и прислушивалась к новостям. Мама, наученная жизнью, тут же очень заволновалась, не ожидается ли что-нибудь скверное. Я ее постарался успокоить, сказал, что просто может быть передано нечто очень интересное.

И вот в какой-то момент кто-то из кабинета завотделом позвал, чтобы мы скорее шли слушать сообщение, которое сейчас передадут по внутрисоюзному радио. Мы вбежали туда и стали слушать. И, если я правильно помню, почти одновременно из коридора закричали, что уже раскладывают по ячейкам отделов текст для перевода. Возникла некоторая суматоха, всеобщее возбуждение от только что услышанного с одновременной заботой о том, чтобы начать перевод официального сообщения и подготовить его для включения в ближайшие передачи на Югославию, которые велись на трех языках: сербскохорватском, словенском и македонском. Затем стали поступать разные комментарии и прочие централизованные материалы, которые касались совершившегося полета. Не могу припомнить, писал ли срочно в этот день кто-то из нашего отдела что-нибудь по поводу полета или использовались только централизованные материалы. Но помню, как ряд из них мы редактировали, чтобы привести в соответствие с размерами той или иной из передач и одновременно сделать более привычными для восприятия югославскими слушателями. В такой атмосфере и прошел для меня тот памятный день.

И в заключение — еще одно воспоминание, связанное с полетом Гагарина. Десяток лет спустя, когда я уже давно работал в Институте

славяноведения АН СССР, меня и двух коллег по институту командировали в Белград в качестве переводчиков на проводившейся там летом 1971 г. советско-американско-югославской космической выставке. И среди представленных на ней советских экспонатов был спускаемый аппарат космического корабля «Восток». Как раз на кораблях «Восток» и были осуществлены полеты первой шестерки наших космонавтов — Гагарина и следующих пяти. Аппарат, привезенный в Белград, отнюдь не был просто выставочной копией кабины корабля «Восток», а был настоящей кабиной, побывавшей на орбите и вернувшейся на Землю. Не могу теперь вспомнить, кто именно из первой шестерки космонавтов на нем летал. Но очень хорошо помню, какое огромное впечатление он производил — весь черный, обгоревший. Но еще большее впечатление у меня возникло, когда, что-то подставив, я попытался чуть всунуться в обращенный книзу открытый люк кабины и своими глазами увидел, насколько она внутри тесная. Я представил себе, как тот, кто в полете сидел в кресле, был прямо-таки зажат со всех сторон в этом крохотном пространстве. Не говоря уж о том, какие на него валились перегрузки. А если речь о Гагарине, то ведь еще не было опыта, удастся ли вообще вернуться назад. Какое должно было быть самообладание, чтобы это выдержать!

Измозик В. С.

Начинать разговор о личном восприятии дня 12 апреля 1961 г. надо с событий, произошедших за несколько лет до этого, с XX съезда КПСС. Конечно, я могу говорить

только о реакции среды, внутри которой я находился: вчерашних школьников, сегодняшних (на тот момент) студентов или школьных друзей, которые поступили в вузы несколько позже, в 1956 или в 1957 г. Я окончил школу в Ленинграде в 1955 г. и поступил на исторический факультет Педагогического института имени Покровского. Главным событием весны 1956 г. (я был первокурсником) для меня стало знакомство с докладом Н. С. Хрущева о культе личности Сталина. Оно состоялось в актовом зале института. На протяжении нескольких часов представитель Петроградского РК КПСС читал нам этот текст. Тишина была мертвая. Никаких реплик, шепота. Я, хоть и в малой степени, но все же был к этому подготовлен лучше, чем, возможно, многие мои однокурсники. Дело в том, что мой дядя, Е. С. Измозик, директор завода «Электрик» с 1941 по 1949 г., в связи с «Ленинградским делом» был исключен из партии, снят с работы. Один из его друзей, П. Т. Талюш, был расстрелян; другой, М. Е. Червяков, оказался за решеткой. Летом 1954 г. дядю восстановили в партии. Я был у них на даче и помню его счастливое лицо, когда он вернулся из Ленинграда и открывал калитку. Дома иногда звучало слово «ежовщина». В нашей «четверке» (четверо одноклассников, друживших с осени 1952 г.) оказалось, что отец одного из нас, арестованный в 1937 г. (в год рождения сына), теперь реабилитирован. Был реабилитирован и отец другого, живший «за 101-м километром». В тот момент отношение к Сталину у нашей «четверки» было единодушно отрицательным.

Появилась надежда на большие перемены в жизни страны. 18 июля 1956 г. абсолютно добровольный студенческий отряд нашего института вместе с отрядами других вузов со станции Московская-Товарная отправился в девятидневное путешествие в товарном вагоне на уборку целинного урожая в совхоз имени Пушкина Павлодарской области Казахстана. Командиром отряда был молодой кандидат философских наук, будущий сотрудник Международного отдела ЦК КПСС, проректор Академии общественных наук Ю. А. Красин. Моим первым неформальным учителем стал аспирант 1-го курса Юра Егоров, будущий д.и.н., профессор Ю. В. Егоров. Все эти 9 дней дороги были заполнены разговорами, в том числе об истории страны, о происходящих изменениях. После возвращения осенью в Ленинград по приглашению Ю. В. Егорова я вошел в лекторскую группу международников при Обкоме ВЛКСМ. Новые контакты, новые знакомства, обсуждение новых книг, новых номеров «Нового мира». Не все происходившее мне нравилось, но многое радовало.

Лично мне казалось, что и в сфере общественных наук, и, в частности, в исторической науке произойдут серьезные перемены. На это указывали яркая речь А.И. Микояна на XX съезде КПСС, издание последних писем В.И. Ленина, Протоколов ЦК РСДРП(б) в 1958 г. Если еще в начале 1957 г. я читал Д. Рида «Десять дней, которые потрясли мир» в зале спецхрана Публички (на основе бумаги из института), то осенью 1957 г. книга была переиздана массовым тиражом. В Публичке я читал журналы «Пролетарская революция», «Красная ле-

топись», «Каторга и ссылка»; узнавал много нового из советской истории, которой мечтал заниматься. Всякий, кто читал эти книги и журналы, понимал, что репрессированные руководители партии не были ее врагами и играли в годы революции совершенно другую роль, чем это преподносилось нам на протяжении многих лет. Видимо, 5 октября 1957 г., нас, группу студентов, работавших в одном из колхозов Иртышского района Омской области на так называемой второй целине, везли в кузове грузовика в Омск, на железнодорожный вокзал, где формировался эшелон для возвращения студентов в Ленинград. При подъезде к Омску из другой машины нам крикнули о запуске спутника и бросили газету. Увидев заголовок, мы повскакали на ноги и чуть не перевернули грузовик. Это была стихийная радость, стихийная гордость за страну, за ее достижения. Это ведь было время реабилитации (пусть частичной), отмены сталинских законов об уголовной ответственности за прогулы и опоздания на работу, о введении пенсий по возрасту рабочим и служащим, о праве увольнения с предприятий и из организаций, о бесплатном хлебе в столовых и т.п. В Ленинграде люди на улицах по вечерам старались рассмотреть пролетающий спутник в бинокли.

С августа 1960 г., после окончания ЛГПИ им. А.И. Герцена, мы с женой, Людмилой Васильевной Обуховой, начали работать в школе-интернате г. Приозерска Ленинградской области. Она — воспитателем и учителем географии, я — воспитателем и учителем истории. 12 апреля 1961 г. был обычный рабочий день. И вдруг сообщение по радио о полете Юрия Гагарина. Занятия стихийно закончились. И толпа

учеников и учителей направилась на центральную площадь города. Там, кажется, был какой-то стихийный митинг. И снова реальное чувство всеобщей радости, гордости. За этим последовали полеты Г. Титова, П. Поповича, А. Николаева и др. Несколько лет космонавты оставались в центре внимания. Но шла и обычная жизнь со всеми ее проблемами. В ноябре 1962 г. я был призван в армию. Накануне успел прочесть в журнале «Новый мир» (1962, № 11) повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». А дальше началась двухлетняя армейская служба (лица с высшим образованием служили два года, сдавая в конце службы экзамены на звание младшего лейтенанта). Но 4 октября 1957 г. и 12 апреля 1961 г. навсегда остались в памяти как моменты огромной радости, в какой-то мере сравнимой с 9 мая 1945 г. Мне всегда казалось, что если 12 апреля сделать Национальным днем науки и образования, то поддержка этого решения, в отличие от целого ряда других праздников, будет почти единодушной.

Майорова А. С.

День 12 апреля 1961 г. я помню, и запомнила его именно как праздник. Мне было тогда 10 лет, наша семья жила в Черкассах, в УССР. Родители наши — Степан Никифорович и Нина Васильевна Майоровы — работали в сельскохозяйственном институте (родители были химики). Мы с сестрой Мариной, которая на год моложе меня, учились в общеобразовательной школе и в музыкальной.

12 апреля уже было тепло, все ходили без пальто — настоящая весна. Я пришла домой из музыкальной школы

в середине дня, чтобы пообедать и идти после этого в школу, потому что училась во вторую смену. Уже при входе в квартиру услышала музыку, радио было включено. В комнате на встречу мне быстро шла мама и громко радостно говорила: «Человек в космосе! Наш! Русский! Советский!» Этот момент так и остался в моей памяти, со словами мамы. По радио звучал авиационный марш «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» Этот марш, как мне кажется, в тот день был в эфире постоянно. Песен о космонавтах и о космосе тогда еще не написали. И, конечно, я услышала голос Левитана. Через каждые несколько минут он повторял сообщение, которое начиналось словами: «Внимание! Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза...» И дальше — о том, что осуществлен запуск космического корабля с человеком на борту, и звучало имя Гагарина.

Точно не могу сказать, сразу ли мы услышали о том, что спускаемый аппарат приземлился в заданном районе, или вскоре после того, как начались сообщения о полете. В школу я пошла, уже зная, что Гагарин приземлился. Голос Левитана запомнился как часть праздника. И еще по радио передавали запись голоса Гагарина, когда он во время старта из кабины корабля при шуме двигателей сказал: «Поехали!» А потом он говорил, сколько минут полета прошло, и докладывал: «Полет нормальный».

Главное, что было в этот день — чувство праздника, которое объединяло всех людей, необычайный подъем. Мне кажется, многие понимали, что произошло великое событие, особенно люди возраста наших родителей.

Когда я пришла в школу, во дворе было много народу, наверное, все ученики были там. Многие девочки пришли в белых фартуках, они решили, что день праздничный. Все наши разговоры были посвящены совершившемуся событию, говорили и о Гагарине. Мне кажется, что я все так запомнила, потому что сразу поняла, что это особенный день. Маме я сказала: «Человек оторвался от земли!» И еще потом целый день приставала ко всем окружающим — и в школе, и к родителям — со своими высказываниями о значении полета Гагарина для всего человечества. Меня тогда поразило то, что сказала мама по поводу события — что никто теперь не посмеет напасть на Советский Союз. Только гораздо позже я поняла, почему она думала именно об этом. Наши родители пережили войну, а семья мамы во время войны была на оккупированной территории.

В конце 50-х гг. полет человека в космос не казался несбыточным. После того, как на орбите побывали собачки Белка и Стрелка, довольно часто даже в обычных разговорах мы слышали, что скоро вокруг Земли полетит и человек. Было довольно много популярных книг о космосе, в том числе и для детей. У нас дома была книга под названием «К другим планетам». Из нее я узнала о принципе реактивного движения, о Циолковском, об устройстве космической ракеты и о том, почему у ракеты три ступени. В книге было сказано, что скоро человек полетит в космос, и были пояснения о скафандре космонавта, даже с картинкой.

То, что 12 апреля — настоящий праздник для многих людей, я по-

чувствовала в Саратове. В Саратов я приехала в конце лета 1972 г., после окончания Историко-архивного института в Москве, по распределению на работу в областной государственный архив. Сотрудники архива при каждом удобном случае старались мне объяснить, в каком замечательном городе я теперь живу. Чуть ли не в самом начале этого образовательного курса я узнала, что Гагарин учился в Саратове в индустриально-педагогическом техникуме и здесь занимался в аэроклубе. Биографию Гагарина в общих чертах я знала, но не помнила, что его жизнь так основательно связана с тем местом, где мне предстоит жить. В моих глазах Саратов сразу приобрел черты города, причастного к жизни Гагарина, а значит — к истории космонавтики и к мировой истории. Тогда же я узнала, что приземлился Гагарин после своего космического полета недалеко от Саратова, на противоположном берегу Волги. «Заданный район», о котором говорили по радио 12 апреля 1961 г., оказался тут же, в Саратовской области. Я поняла, что Саратовская область — то единственное пространство на Земле, куда первый человек, который побывал в космосе, вернулся, как к себе домой.

(Мое незнание подробностей о саратовских страницах биографии Гагарина объясняется просто. После войны и позднее, в течение многих десятилетий Саратов считался «закрытым» городом, и упоминание его в средствах массовой информации было ограничено, чтобы не привлекать к нему внимания.) Спустя некоторое время, когда пришла весна, я увидела, как отмечали в Саратове день 12 апреля. Главными героями праздника считали

себя «индустрики» — учащиеся техника, который окончил Гагарин. Они устраивали мотопробег — с шумом проезжали по главным улицам Саратова, а потом ехали через мост и к месту приземления Гагарина. Традиция сохранялась долго. В последние десятилетия праздник приобрел масштабный характер. К 12 апреля в Саратов приглашают космонавтов, их встречают с почетом, сопровождают на место приземления Гагарина, где устраивают торжества. Саратовцы, конечно, хорошо понимают, что для них означает этот праздник.

Ведерников В. В.

Есть даты, которые будешь помнить до конца жизни. Я не говорю, конечно, о тех, которые связаны с семейной историей. Но ведь часто большая история вторгается в размеренный ход личной жизни, меняя мировоззрение и судьбу. Такими датами для меня стали 21 августа, 14 октября, 25 декабря. Думаю, год ставить не обязательно. Многие современники хорошо представляют, о чем я говорю. В числе этих дат, конечно, 12 апреля 1961 г.

Я жил тогда в районном центре поселке Усть-Омчуг Магаданской области. Зимы у нас долгие и затяжные. Снег еще лежал, но солнце уже пригревало. Начиная с марта лыжники уходили в распадок, где не было холодного ветра, обнажались до пояса и возвращались домой с южным загаром. Дыхание весны уже чувствовалось. В конце рабочего дня (а была шестидневка и семичасовой рабочий день, домой уходили около 17 часов) отец повел меня в парикмахерскую. А было мне чуть больше семи лет, в школу

я еще не ходил. И вот, когда мы возвращались домой, вдруг услышали позывные Москвы и торжественно-тревожный голос Левитана: «Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза». Репродукторы были расположены в здании пожарной части. Мы остановились и стали слушать. Первой мыслью было: не началась ли война? Конечно, 41-й год я помнить не мог, но рассказы взрослых, книги, фильмы — все это сохранило память о том, как вдруг такие же тревожные позывные стали границей между мирным временем и войной. И вот после томительных секунд тревожного ожидания сообщение о полете Юрия Гагарина! Такой радости и такого эмоционального подъема я не испытывал никогда. Когда по радио передали сообщение об успешном приземлении Гагарина и завершении экспедиции, то достал пластинки и включил радиолу. Телевидения в нашем поселке еще не было, центральные газеты (они печатались с матриц в Хабаровске) с портретом героя пришли через 2 дня. Гагаринскую фотографию (в шлеме летчика на фоне самолета) я вырезал из газеты «Пионерская правда», вставил в рамку, а 1 мая с гордостью пронес портрет первого космонавта на Первомайской демонстрации в поселке. Кажется, я был единственным, у кого в руках были не классики марксизма и не члены Президиума ЦК КПСС.

В моем восприятии выдающиеся успехи нашей страны в деле освоения космоса стали символом того времени, которое называли оттепелью. Ведь именно тогда многие жители нашего поселка (а там, наверное, каждая третья семья — это были репрессированные) из «контриков» превратились

в полноправных советских граждан. Замечательный 1961 г. завершился XXII съездом КПСС, трансляцию заседаний которого я внимательно слушал, и демонтажем памятника Сталину, который еще в 1960 г. был перемещен с центральной площади поселка на территорию Ремонтно-механических мастерских, а в конце октября 1961 г. бесследно исчез.

Мы гадали: когда же полетит космонавт № 2, как зовут того, кого в газетах и радиопередачах называли главным конструктором. Конечно, мы тогда не знали, что главный конструктор это бывший з/к С.П. Королев, который отбывал наказание на прииске Мальдяк близ Сусумана! Вот так оттепель связалась в моей памяти с началом космической эры. Да и одно из самых первых воспоминаний — это темное небо над поселком и отец, который показывает мне движущуюся по небу звезду. «Это спутник», — говорит он мне. Подходит к концу 1957 г. По весне отцу прислали справку о реабилитации.

А восемь лет спустя по той же самой старенькой радиоле «Урал» узнал еще об одном знаменательном космическом событии. Не буду лукавить. Число не запомнил, а вот месяц и год помню отлично. Итак, на дворе 21 июля (дату уточнил по Википедии) 1969 г. Каникулы. Я иногда развлекаюсь, слушая по приемнику разговоры по радиосвязи. И вдруг неожиданно на коротких волнах раздаются позывные «Голоса Америки». Это странно. Вещание на Дальний Восток начинается вечером. Передачу вел, если не ошибаюсь, Николай Французов. Он сообщил, что программа астронавтов, кото-

рые посадили модуль на поверхности Луны, изменилась, и вскоре они выйдут на лунный грунт. Это были незабываемые минуты! Я понял, что происходит действительно важное событие в истории человечества, значимость которого равносильна полету Юрия Гагарина. Астронавтов я воспринимал прежде всего как посланцев планеты Земля. И, конечно, немного гордился тем, что, скорее всего, был в поселке единственным, кто представлял, что сейчас происходит за несколько сотен тысяч километров от нашей голубой планеты.

Последнее воспоминание, связавшее перемены личной жизни и космическую тему, — июнь 1971 г. Я окончил Тенькинскую среднюю школу и лечу из Магадана в Ленинград, чтобы подать документы на поступление в Ленинградский университет. Рейс продолжается целых 18 часов, а по пути самолет совершает утомительные промежуточные посадки. Кажется, в Омске мы слышим разговоры о трагедии космического корабля «Союз-11». Как только прилетел в Ленинград, то сразу же спросил у встречавших меня родственников: что с космонавтами? Они подтвердили. Добровольский, Волков и Пацаев погибли из-за разгерметизации кабины.

В 1970-е гг. известия о полетах в космос стали обыденностью. Такой, казалось бы, близкий полдень XXII в. как-то незаметно превратился в сумерки застоя. Песня о цветущих на Марсе яблонях ушла из репертуара радиотрансляций. Но яркое ощущение праздника, какого-то необычного и неожиданного перелома в судьбах мира, который наступил 12 апреля, осталось навсегда.

В. А. Невежин

ЧТО МОГЛО ЗНАТЬ СОВЕТСКОЕ РУКОВОДСТВО О «СЛУЧАЕ С ГЕССОМ» В МАЕ — ИЮНЕ 1941 г.: ВЕРСИИ И ФАКТЫ

В статье приводятся версии историков о полученной советским руководством в мае — июне 1941 г. информации о полете Р. Гесса в Англию. Автор анализирует основные источники этой информации (данные советской внешней разведки, сообщения послов И. М. Майского и В. Г. Деканозова). По мнению автора, введенные в оборот архивные материалы пока не дают оснований для окончательных выводов об истинной реакции Сталина и советского руководства на «случай с Гессом» и о реальном влиянии данного события на принятие Кремлем политических решений в преддверии германской агрессии против СССР.

Ключевые слова: И. В. Сталин, полет Р. Гесса, внешняя разведка, советско-германские отношения, советское руководство, политические решения.

Сведения об авторе: Невежин Владимир Александрович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра по изучению отечественной культуры Института российской истории Российской академии наук (Москва).

Контактная информация: nevv@mail.ru.

V. A. Nevezhin

WHAT THE SOVIET LEADERSHIP COULD HAVE KNOWN ABOUT THE "CASE WITH HESS"
IN MAY — JUNE 1941: VERSIONS AND FACTS

The article presents the versions of historians about the information received by the Soviet leadership in May-June 1941 about the flight of R. Hess to England. The author analyzes the main sources of this information (data from Soviet for-

eign intelligence, messages from ambassadors I. M. Maisky and V. G. Dekanov). According to the author, the archival materials put into circulation do not yet give grounds for final conclusions about the true reaction of Stalin and the Soviet leadership to the "case with Hess" and about the real impact of this event on the Kremlin's political decision-making on the eve of the German aggression against the USSR.

Key words: I. V. Stalin, the flight of R. Hess, foreign intelligence, Soviet-German relations, Soviet leadership, political decisions.

About the author: Nevezhin Vladimir A., Doctor of Historical Sciences, Chief Researcher of the Center for the Study of National Culture of the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences (Moscow).

Contact information: nevva@mail.ru.

В преддверии 80-летней годовщины начала Великой Отечественной войны уважаемый российский телевизионный канал обратился ко мне с предложением дать интервью о событиях предвоенных и военных лет. Некоторые из присланных вопросов касались полета в Англию 10 мая 1941 г. Р. Гесса, одного из первых заместителей А. Гитлера в высшем руководстве нацистской партии, и реакции на этот полет И. В. Сталина и его окружения.

Подобный интерес российских СМИ, подогреваемый некоторыми телепередачами и «сенсационными» публикациями в популярной периодике, материалами интернет-сайтов, представляется знаменательным. «Дело Гесса», или «случай с Гессом», как его называли современники, будоражит умы уже восемь десятилетий...

В небольшой по объему статье нет возможности перечислить темы и сюжеты, пересказать все имеющиеся версии, отраженные в научной литературе, поскольку историки давно исследуют данную проблематику. Это тема отдельной, более основательной работы. Поэтому автор счел здесь возможным, во-первых, ограничиться публикациями, появившимися с кон-

ца 1990-х по 2021 г., поскольку именно в указанный период в России были введены в оборот ранее засекреченные материалы советской внешней разведки и донесения дипломатов о миссии Гесса (1941 год 1998; Агрессия 2011; *Нарышкин* 2021).

Во-вторых, в качестве главного был выделен вопрос о степени информированности И. В. Сталина и советского партийно-государственного руководства об обстоятельствах, целях и результатах неожиданной и таинственной миссии Р. Гесса в Англию. В качестве хронологических рамок избран период 10 мая (полет Гесса) — 22 июня (начало германской агрессии против СССР) 1941 г.

Основными источниками для написания статьи являлись документальные публикации по истории советской внешней разведки, а также некоторые хранящиеся в Архиве внешней политики Российской Федерации материалы, главным образом сообщения советских дипломатов о «случае с Гессом», впервые вводимые в научный оборот.

Рудольф Гесс (1894–1987) являлся одним из руководителей

Национал-социалистической рабочей партии Германии. Его называли «нацистом номер три». В 1939 г. Гесс был назначен преемником Гитлера (после Геринга). 10 мая 1941 г. он стартовал на двухмоторном тяжелом истребителе «Мессершмидт» с аэродрома в Аугсбурге, совершив (довольно опасный в военных условиях) перелет в Шотландию. Не обнаружив подходящего места для посадки своего самолета, Гесс был вынужден приземлиться, получив при этом физические повреждения, и оказался в руках английских властей. Позднее он заявил им, что уполномочен фюрером заключить мирный договор между Великобританией и Германией.

12 мая 1941 г. в 20:00 пропагандистское ведомство Й. Геббельса сообщило по радио о полете Р. Гесса. Смысл этого пресс-релиза сводился к тому, что Гесс возомнил себя способным «найти взаимопонимание между Англией и Германией». От лица фюрера последовало категорическое заявление: Р. Гесс «пал жертвой умопомешательства», а поэтому «его поступок не оказывает никакого воздействия на продолжение войны, к которой Германию вынудили» (Энциклопедия 1996: 153).

Подобная интерпретация действий Гесса, торопливо изложенная в противоречивом по содержанию официальном коммюнике от имени нацистского руководства, вряд ли могла удовлетворить Кремль, который, несомненно, испытывал острую нужду в дополнительной информации.

В данной связи на повестке дня остается вопрос, сформулированный М. И. Мельтюховым: «...Что же

все-таки знали в Москве о миссии Гесса?» (Мельтюхов 2008: 238), который особенно актуален для периода мая — июня 1941 г. Этот вопрос тесно связан с другим: оказывало ли данное событие какое-либо влияние на процесс принятия сталинским руководством важных военно-политических решений?

На сей счет в исследовательской литературе имеются различные суждения. На западе о миссии Гесса писали довольно много, однако по объективным причинам большинство зарубежных историков не имели возможности опереться на документы советских архивов. По этой же причине тема оказалась практически не исследованной в советской историографии.

В 1990-е гг., в условиях «архивной революции», многие ранее засекреченные документы главных архивохранилищ бывшего СССР стали активно вводиться в научный оборот. В их числе оказались и материалы советской внешней разведки.

В 1998 г. были опубликованы два документа, содержавшие информацию о «деле Гесса», причем каждый из них при публикации был озаглавлен «Справка внешней разведки НКГБ СССР» (1941 год. 1998: Док. № 467, с. 200–201; № 485, с. 248–249). Комментируя содержание этих материалов, публикаторы писали, что полет Р. Гесса стал событием, подтвердившим опасения И. В. Сталина о возможности сговора между Германией и Англией. Независимо от подлинных намерений Р. Гесса, о чем споры идут до сих пор, полет якобы был воспринят в Москве как

попытка сговора, а первые сообщения разведывательных органов из Лондона «шли именно в этом направлении (sic! — В.Н.)» (1941 год 1998: 296, прим. 4).

Однако, как представляется, содержание опубликованных «сообщений разведывательных органов из Лондона» не дает оснований для столь категоричных выводов.

Но прежде следует отметить, что в предвоенные месяцы разведывательная информация приходила в Кремль по различным каналам, в том числе через структуры Наркомата внутренних дел. 26 февраля 1941 г. из состава НКВД СССР (его продолжал возглавлять Л.П. Берия) был выделен Наркомат госбезопасности (НКГБ СССР). До 20 июля 1941 г. НКГБ СССР возглавлял комиссар госбезопасности 3-го ранга В.Н. Меркулов. Одним из его заместителей являлся комиссар ГБ 2-го ранга Б.З. Кобулов (занимал эту должность до 30 июля 1941 г.). В составе Наркомата госбезопасности действовало 1-е управление, отвечавшее за внешнюю разведку. С 20 февраля до 31 июля 1941 г. начальником этого управления являлся П.М. Фитин. 1-е управление НКГБ СССР делилось на территориальные и функциональные отделы, а также имело в своем составе два отделения.

Управление внешней разведки НКГБ посылало своих резидентов в зарубежные страны. Берлинскую резидентуру возглавлял майор госбезопасности А.З. Кобулов («Захар»), родной брат Б.З. Кобулова, занимавший должность советника посольства СССР в Германии. Рези-

денты советской внешней разведки получали информацию от агентов (источников), завербованных иностранных граждан. Так, А.З. Кобулов имел в качестве источников «Старшину» (Х. Шульце-Бойзена, обер-лейтенанта, сотрудника отдела внешних сношений главного штаба ВВС Германии), «Франкфуртера» (К. Эйкофа, офицера военно-морского флота Германии), «Юну» (ее настоящее имя автору статьи неизвестно) и «Лицеиста» (О. Берлингса, корреспондента эмигрантских латвийских изданий в Берлине, который был на деле провокатором, внедренным германскими спецслужбами в окружение Кобулова).

В Лондоне резидентом советской внешней разведки являлся лейтенант ГБ А.В. Горский («Вадим»), первый атташе и второй секретарь посольства СССР в Англии. Он, в частности, привлек к разведывательной работе «Зенхена» (Кима Филби).

14 мая 1941 г. А.В. Горский, опираясь на данные Кима Филби, направил в 1-е управление НКГБ сообщение о том, что с Р. Гессом после его приземления беседовал И.В. Киркпатрик, директор иностранного отдела Министерства информации Великобритании. Из этой беседы следовало, что заместитель фюрера привез с собой некие «мирные предложения». Но А.В. Горский признавал, что суть мирных предложений Р. Гесса пока неизвестна (1941 год 1998: Док. № 467, с. 201).

По уточненным сведениям, полученным Кимом Филби от сотрудника МИД Великобритании Т. Дюпри

и переданным А. В. Горским 18 мая 1941 г. в Москву (получено 22 мая 1941 г.), прежнее сообщение было некоторым образом дополнено (1941 год 1998: Док. № 485, с. 248–249; Агрессия 2011: 331–332; *Нарышкин* 2021). Вероятно, к этому времени лондонская резидентура уже получили указание 1-го управления НКГБ СССР: выяснить суть мирных предложений Гесса (см. ниже). Так или иначе, во время личной беседы Ким Филби обратился к собеседнику с вопросом: думает ли он, что англо-германский союз против СССР приемлем для Гесса? Ответ Т. Дюпри был положительным.

Общий вывод, сделанный Кимом Филби на основании полученных им сведений, сводился к следующему: время мирных переговоров между Англией и Германией еще не наступило. Однако, считал Филби, по мере дальнейшего развития военных действий Гесс, возможно, станет центром интриг вокруг заключения компромиссного мира и тогда «будет полезен для мирной партии в Англии и для Гитлера» (1941 год 1998: Док. № 485, с. 239; Агрессия 2011: 332).

Между тем пока нет доказательств, что с упомянутыми майскими «Справками внешней разведки НКГБ СССР» познакомились И. В. Сталин либо кто-либо из его ближайшего окружения. Следует учитывать специфику прохождения разведывательной информации из-за границы в Кремль, о которой было неизвестно, например, Г. Городецкому, хотя это вряд ли оправдывает его как исследователя.

Материалы документального сборника о деятельности советских раз-

ведывательных органов в преддверии войны, вышедшего в свет еще в 1995 г. (*Секреты Гитлера* 1995), дают возможность понять, каков был, в частности, порядок прохождения информации от «закордонной» резидентуры в Москву. Агенты (источники) информировали резидентов советской внешней разведки, с которыми они непосредственно были связаны. Резиденты, в свою очередь, направляли отобранную информацию в соответствующие подразделения (отделы) 1-го управления НКГБ СССР. Наиболее важные сведения заведующие отделами сообщали П. М. Фитину.

Прежде чем попасть «на стол к Сталину», информационные сводки внешней разведки визировались Фитиным, а затем уже направлялись В. Н. Меркулову или Б. З. Кобулову. Только нарком госбезопасности либо его заместитель имели право письменного и устного доклада материалов внешней разведки И. В. Сталину и главе советского внешнеполитического ведомства В. М. Молотову.

Как указывали публикаторы, на упомянутой справке, полученной 14 мая из Лондона, имелось лишь письменное распоряжение майора госбезопасности П. М. Журавлева, занимавшего скромную должность в 1-м управлении НКГБ. Он предписал З. И. Рыбкиной (Воскресенской), сотруднице 1-го отдела 1-го управления НКГБ телеграфировать резидентам в Берлин, Лондон, Стокгольм, Америку, Рим, чтобы постараться «выяснить подробности предложений» Р. Гесса (1941 год 1998: Док. № 467, с. 201).

На втором документе вообще никаких директивных указаний нет. Сохранились лишь две пометы: «По сообщению от 18 мая 1941 г. № 338)» (1941 год 1998: Док. № 485, с. 249) и «Копию получил» (подпись неразборчива) (Нарышкин 2021).

Следовательно, пока отсутствуют доказательства того, что с содержанием упомянутых двух документов советской внешней разведки, присланных из Лондона в Москву 14 и 18 мая 1941 г., ознакомились Сталин или кто-либо из членов политбюро и советского правительства.

В период российской «архивной революции» правом доступа к ранее засекреченным документам смогли воспользоваться не только отечественные, но и особо активные западные исследователи. Одним из них являлся историк Г. Городецкий, занимавший в 1986–1993 гг. должность научного советника Штабного колледжа Сил обороны Израиля. Став позднее приглашенным сотрудником Оксфордского университета, Городецкий прибыл в постсоветскую Россию, где взялся за исследование событий 1939–1941 гг.

В Москве Городецкому был устроен радушный прием. Генерал Д. А. Волкогонов, советник президента Б. Н. Ельцина, оказал зарубежному исследователю значительную поддержку в ходе его «бесконечных поисков новой информации и материалов». Руководство Историко-документального управления МИД РФ и Генеральный штаб подготовили для Г. Городецкого «обширные подборки документов» НКВД и ГРУ.

Но особенно поразительно то, что в дополнение к материалам МИД РФ и Генштаба Городецкому «удалось добыть (sic! — В. Н.) важные сведения» в Архиве президента РФ. Помимо этого, для него были подобраны документы «из архива российской Службы безопасности», в том числе по «делу Гесса» (Городецкий 1999: 8, 10).

Остается лишь удивляться невиданной щедрости, проявленной по отношению к иностранному ученому, которому были предоставлены практически неограниченные возможности для работы с материалами из закрытых архивов Российской Федерации, не доступными и поныне для большинства отечественных ученых.

Так или иначе, в своей монографии Городецкий, помимо материалов британских архивов, впервые ввел в оборот документацию советской службы внешней разведки о миссии Гесса. В их числе оказались оба сообщения лондонской резидентуры, упоминавшиеся выше, которые были опубликованы за год до выхода в свет этой монографии. Использовал Г. Городецкий и документы, которые лишь спустя 12 лет были изданы СВР РФ. Это сообщения А. З. Кобулова из Берлина от 16 мая (получены в Москве 22 мая) (Там же: 303, 311, прим. 99, 100) (они основывались на информации агентов Х. Шульце-Бойзена и К. Эйкофа); справка резидента «Шиллера» (заместителя начальника 1-го управления НКГБ СССР майора госбезопасности В. М. Зарубина, который весной 1941 г. находился в Китае) от 11 июня 1941 г. (Там же: 311, прим. 114; Агрессия 2011: 370).

Наконец, Городецкий ссылался на до сих пор неопубликованные материалы: «Обзор прессы со служебными пометками» (13 мая); «Информацию от “Лицеиста”» (14 мая) и «Записку 1-го отдела НКВД» (правильно — НКГБ) (3 июня) 1941 г. (*Городецкий* 1999: 302, 311, прим. 95, 98, 114).

Однако эти уникальные документы советской внешней разведки, судя по всему, не имели для Г. Городецкого определяющего значения. Так, в преамбуле к разделу своей монографии, который был озаглавлен «Отношение к делу Гесса в Кремле», историк априори утверждал следующее. «Как ни парадоксально» (sic! — В. Н.), дело Гесса подтверждало сталинский вывод о расколе в германском руководстве, способный ускорить начало сепаратных переговоров между Германией и Англией. Поэтому в Кремле появилась тенденция, с одной стороны, отвергать предположения об официальном характере миссии Гесса, а с другой — принижать его потенциальное значение как орудия сепаратного мира (Там же: 301–302).

Хотя из повествования Г. Городецкого вовсе не следует, что хотя бы один из упомянутых выше документов советской внешней разведки был доложен И. В. Сталину, историк позволил себе определенные «вольности» в интерпретации их содержания. По логике Городецкого, в своем сообщении, направленном 16 мая 1941 г. в Москву и основывавшемся на донесениях Шульце-Бойзена, Кобулов, «вторя предвзятому мнению Сталина» (выделено мной. — В. Н.), предположил, что участие Геринга «в пресс-конференции Гитлера по поводу Гесса» — демонстрация

с целью опровергнуть подобные слухи и изобразить наличие единства нацистской верхушки (Там же: 303).

В данном случае Г. Городецким была допущена ошибка: Х. Шульце-Бойзен сообщал А. З. Кобулову не о «пресс-конференции» А. Гитлера, а о «собрании гауляйтеров», проведенном фюрером после «побега Гесса» (Агрессия 2011: 336). Но дело даже не в этом. Возникает простой вопрос: как мог Кобулов спустя всего лишь три дня после получения официального германского сообщения о полете Гесса знать о «предвзятом мнении Сталина» на сей счет? К тому же о существовании агента «Старшины» И. В. Сталин узнал, лишь ознакомившись с его информацией о подготовке агрессии Германии против СССР, доложенной ему В. Н. Меркуловым 17 июня 1941 г. Хорошо известна сталинская резолюция на этом документе, наложенная вождем с употреблением нецензурной лексики... (1941 год 1998: Док. № 570, с. 383).

Хотя Г. Городецкому были известны только три сообщения А. З. Кобулова о «деле Гесса» (одно основывалось на информации «Старшины», второе опиралось на сведения, представленные «Франкфуртером», третье — на данные «Юны»), историк необоснованно употребляет выражение «львиная доля кобуловских донесений» (*Городецкий* 1999: 303).

Оригинальную, но не подтвержденную документами версию, связанную с последствиями полета Р. Гесса, предложил О. В. Вишлёв. По его мнению, в Москве это событие восприняли как «тревожный сигнал» и как попытку «определенных кругов

нацистского руководства» добиться мира с Англией, тем самым обезопасив Германию с тыла для войны против СССР. Вишлëв был категоричен в своих выводах: незамедлительной реакцией Кремля на «настораживающее событие» стал отданный 13 мая 1941 г. приказ о выдвижении дополнительных частей Красной армии на запад, чтобы прикрыть границу (Вишлëв 2001: 41).

Данное утверждение О.В. Вишлева может вызвать лишь недоумение. Во-первых, вряд ли буквально спустя несколько часов после официального сообщения о полете Гесса, поступившего из Берлина, советское руководство раскусило враждебные замыслы фюрера и тут же отдало распоряжение о выдвижении войск к границе. Во-вторых, начавшаяся 13 мая 1941 г. переброска к западной границе четырех армий была запланирована заранее Генеральным штабом РККА (Мельтюхов 2008: 309) и отнюдь не являлась реакцией на неожиданный полет высокопоставленного нацистского бонзы в Англию.

Свои соображения в связи с миссией Р. Гесса предложил С. Дембски, изучивший предварительно историографию вопроса и использовавший материалы германских архивов и публикации российских документов. Проанализировав сообщение от 18 мая 1941 г., полученное от Кима Филби, польский историк утверждал, что оно должно было «не на шутку встревожить Москву» (Дембски 2018: 706).

Дембски связал воедино события, происходившие на международной

арене в мае 1941 г., неясность характера германо-британских отношений и определенные трудности, с которыми столкнулось советское руководство при интерпретации «дела Гесса». Все эти факторы, предполагал исследователь, обусловили перенос срока «гипотетического (sic! — В.Н.)» выступления Красной армии против Германии, якобы назначенного Генштабом РККА на 12 июня 1941 г. (Там же: 709).

Думается, данное предположение, особенно применительно к интерпретации миссии Гесса, является крайне спорным.

Таким образом, вопреки встречающимся в исследовательской литературе утверждениям, опубликованные материалы внешней разведки, о которых говорилось выше, не проясняют до конца вопрос о реакции Сталина и его окружения на миссию Гесса. Затруднительно судить на их основании и о принятых советским руководством решениях по внешнеполитическим и военным вопросам, поскольку сведений о том, что И.В. Сталин, члены политбюро и советского правительства были ознакомлены с упомянутыми выше документами внешней разведки, пока не имеется.

Помимо данных советской внешней разведки еще одним источником информации о полете Р. Гесса могли быть для Кремля сообщения дипломатов, сотрудников НКВД, из-за границы. Специфика сообщений послов, советников посольств СССР в зарубежных странах (здесь речь не идет о резидентах внешней разведки) состояла в том, что они

направлялись *напрямую* народному комиссару иностранных дел В. М. Молотову, являвшемуся членом политбюро ЦК ВКП(б), а также его заместителям и заведующим отделами НКВД.

В данной связи представляют особый интерес сведения, которые сообщали о миссии Гесса советские послы в Берлине и в Лондоне.

В 1998 г. было опубликовано письмо В. Г. Деканозова от 21 мая 1941 г., которое советский посол в Берлине озаглавил «Предварительные данные о случае с “Гессом”». Из сопроводительной записки С. П. Козырева, старшего помощника наркома иностранных дел, следовало, что по поручению В. М. Молотова это письмо было 26 мая 1941 г. направлено И. В. Сталину (1941 год 1998: Док. № 494, с. 261–266).

Об отношении Молотова к «случаю с Гессом» можно, хотя и косвенно, судить на основании записи в его служебном дневнике от 22 мая 1941 г. В этот день состоялась беседа наркома иностранных дел с послом Германии в СССР Ф. Шуленбургом. В ходе этой беседы, затрагивавшей различные вопросы советско-германских отношений, Шуленбург «как бы между прочим» заметил: «Какая странная эта история с Гессом». Последовала просьба В. М. Молотова «дать какие-нибудь разъяснение по этому поводу». Из «разъяснения» Шуленбурга вытекало, что «Гесс хотел добиться мира» и, возможно, даже предварительно говорил «по этому вопросу» с Гитлером. Фюрер не согласился со своим заместителем, и тогда Р. Гесс, по словам Ф. Шуленбурга,

«будучи в состоянии психического расстройства, решил действовать под свою собственную ответственность» (АВП РФ: Ф. 06. Оп. ЗАВТО. П. 1. Д. 3. Л. 109; П. 12. Д. 12. Д. 145. Л. 102).

Скорее всего, «разъяснения» Шуленбурга, в основе своей повторявшие официальную версию германской пропаганды о «психическом расстройстве» заместителя фюрера по нацистской партии, не удовлетворили Молотова. Еще 14 мая 1941 г. в «Обзоре международной жизни 11–14 мая 1941 года», переданном в эфир Иностранным отделом Всесоюзного комитета по радиовещанию при СНК СССР (Инорадио), среди других важных новостей сообщались сведения о полете Гесса, которые основывались главным образом на сообщениях германских и частично британских СМИ. Перед эфиром текст «Обзора...» был подвергнут редакторской цензуре и завизирован в Отделе печати НКВД. Инорадио извещало, что 10 мая 1941 г. «Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по руководству национал-социалистической партией, несмотря на наличие запрета в связи с болезнью пилотировать самолеты», стартовал на самолете из Аугсбурга «в полет, из которого не вернулся». Будучи давно одержимым «навязчивой идеей», Гесс якобы считал, «что ему удастся, при посредстве своих личных связей, добиться согласия Англии на начало мирных переговоров с Германией». В заключение Инорадио сообщало: «...Гесс действительно прибыл в Шотландию» (АВП РФ: Ф. 06. Оп. ЗАВТО. П. 6. Д. 57. Л. 129, 131).

В упомянутой беседе с В. М. Молотовым 22 мая 1941 г. германский посол

утверждал, что англичане «сильно ругают» Р. Гесса. Молотов парировал и заметил: «там», т. е. в Англии, «существуют различные мнения» о Р. Гессе, и некоторые англичане, «видимо, питают в отношении его надежды» (АВП РФ: Ф. 06. Оп. ЗАВТО. П. 1. Д. 3. Л. 109; П. 12. Д. 145. Л. 102).

Трудно судить на основании текста отчета о приеме Молотова Шуленбургом, который, как следует из пометы от 26 мая 1941 г., принадлежащей С. П. Козыреву, не был прочитан главой советского внешнеполитического ведомства (АВП РФ: Ф. 06. Оп. ЗАВТО. П. 1. Д. 3. Л. 105; П. 12. Д. 145. Л. 98), о том, что именно скрывалось за этими расплывчатыми фразами. Из сказанного Молотовым остается неясным, какие «мнения» по поводу миссии Гесса бытовали в Англии, кто именно и какие «надежды» питал в его отношении. К сожалению, в кратком отчете о состоявшейся 22 мая беседе с Молотовым, который был 24 мая направлен Шуленбургом в Берлин на имя министра иностранных дел Германии Риббентропа, никаких упоминаний о Гессе не имеется (DGFP: Дос. № 547. Р. 870).

В завершение разговора с В. М. Молотовым Ф. Шуленбург добавил «несколько сочувственных к Гессу фраз». Молотов неожиданно вспомнил о краткой беседе с ним, состоявшейся 13 ноября 1940 г. в ходе официального визита в Берлин (Вестник АПРФ: Док. № 247. С. 423–424). Молотов заявил Шуленбургу, что у него «осталось впечатление о Гессе, как о человеке с характером» (АВП РФ: Ф. 06. Оп. ЗАВТО. П. 1. Д. 3. Л. 109; П. 12. Д. 145. Л. 102).

Возвращаясь к упомянутому письму Деканозова о «случае с Гессом», необходимо отметить следующее. Текст этого документа общим объемом в 10 машинописных страниц, судя по штампу секретариата Наркомата иностранных дел, поступил в НКВД довольно быстро (23 мая 1941 г., входящий № 3062). Затем этот текст был перепечатан в 6 экземплярах и разослан В. М. Молотову, его первому заместителю А. Я. Вышинскому и заместителю С. А. Лозовскому (АВП РФ: Ф. 06. Оп. ЗАВТО. П. 12. Д. 138. Л. 84).

На другой день В. М. Молотов получил (очевидно, от С. П. Козырева) двухстраничное резюме письма В. Г. Деканозова о «случае с Гессом», в конце которого было сформулировано предложение: «Членам 5-ки» (АВП РФ: Ф. 06. Оп. ЗАВТО. П. 12. Д. 138. Л. 74). «Пятеркой» называлась «неуставная группа» членов политбюро (И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович и А. И. Микоян), которая занималась с конца 1930-х гг. решением важнейших государственных секретных (в том числе внешнеполитических) вопросов (Хлевнюк 1996: 239). На своем экземпляре Молотов оставил следующую рукописную помету: «+ Жданову, Берия» (АВП РФ: Ф. 06. Оп. ЗАВТО. П. 12. Д. 138. Л. 74).

Исходя из молотовской резолюции, 26 мая 1941 г. С. П. Козырев переслал копию письма В. Г. Деканозова И. В. Сталину, К. Е. Ворошилову, Л. М. Кагановичу, А. И. Микояну, А. А. Жданову и Л. П. Берии (АВП РФ: Ф. 06. Оп. ЗАВТО. П. 12. Д. 138. Л. 72).

Этот документ имеет важное значение для раскрытия темы, сформулированной в данной статье. Во-первых, он является довольно объемным и информативным. Во-вторых, и это главное, как следует из сопроводительной записки С. П. Козырева и пометы В. М. Молотова, письмо В. Г. Деканозова было направлено для ознакомления «пятерке» членов политбюро, а также А. А. Жданову, являвшемуся заместителем Сталина по секретариату ЦК ВКП(б), и наркому внутренних дел СССР Л. П. Берии.

Письмо Деканозова состоит из четырех частей: «Реакция на исчезновение Гесса внутри страны» [Германии]; «Личность Гесса и его влияние в н[ационал]-с[оциалистической] партии»; «Германское коммюнике и версии о целях полета Гесса»; «Предварительные итоги».

В качестве основных источников при его написании Деканозов использовал: публикации иностранной (главным образом германской) периодической печати, сообщения о содержании бесед советских и иностранных дипломатов, военных, журналистов, суждения немецких обывателей, а также «непроверенные слухи».

Примечательно, что и в преамбуле, и в итоговой части письма Деканозов акцентировал внимание на том, что еще остаются неясности, противоречивые и даже противоположные суждения наблюдателей о «случае с Гессом» (1941 год 1998: Док. № 494, с. 261). Наличие подобных недоговоренностей, вероятно, заботило и А. З. Кобулова. 24 мая 1941 г. он указывал своему агенту (скорее

всего, «Лицеисту») на следующее обстоятельство: в Кремле считают важным вопросом получение информации о цели миссии Гесса (*Дембски* 2018: 705, прим. 3).

Пока неизвестно, знакомился ли Сталин с письмом Деканозова. Судя по публикации этого документа, в его тексте нет никаких сталинских помет. Нет сведений и о том, как отреагировали на сообщение В. Г. Деканозова другие члены «пятерки» (К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович, А. И. Микоян), а также А. А. Жданов и Л. П. Берия. В своих воспоминаниях Микоян, в частности, утверждал: «Информация о том, с чем прилетел Гесс в Англию, была очень скудная, противоречивая» (*Микоян* 1999: 377).

Что касается В. М. Молотова, то он по прочтении двухстраничной «выжимки» из письма В. Г. Деканозова, подготовленной С. П. Козыревым, подчеркнул в ней заинтересовавшие его места. Так, Молотов отметил предложение, в котором сообщалось, что германские газеты, ограничившись лишь некоторыми сообщениями, «перестали писать о Гессе». Подчеркнул он и указание на «исключительную ненависть» Р. Гесса по отношению к большевизму и к СССР (о чем советскому руководству было и так хорошо известно). Не остались без внимания В. М. Молотова утверждения В. Г. Деканозова о тенденции к усилению антисоветской пропаганды в Германии и о попытках германской прессы доказать якобы «антианглийскую направленность» внешней политики СССР.

Примечательно, что Молотов подчеркнул и заключительный абзац

документа, подготовленного его помощником: «Сейчас можно сделать пока только тот вывод, что “случай с Гессом” является, с одной стороны, показателем противоречий в германских кругах по вопросу о дальнейшем курсе внешней политики, с другой стороны, показывает, как сильны в Германии тенденции договориться с Англией о прекращении войны» (АВП РФ. Ф. 06. Оп. ЗАВТО. П. 12. Д. 138. Л. 74).

Этот вывод в какой-то степени корреспондирует с утверждением А.И. Микояна о том, что перелет «первого заместителя А. Гитлера по руководству нацистской партией» в Англию вызвал большую тревогу у И.В. Сталина и у членов политбюро. «Мы опасались, — писал Микоян в мемуарах, — что Гесс договорится с англичанами, и тогда немцы повернут против нас» (Микоян 1999: 377).

Следует добавить, что в ходе подготовки пропагандистских документов директивного характера, которые начали готовиться после выступления И.В. Сталина перед выпускниками военных академий РККА 5 мая 1941 г., «случай с Гессом» получил своеобразное освещение в одном из них. Лекторской группой Главного управления политической пропаганды (ГУПП) Красной армии был подготовлен доклад «Современное международное положение и внешняя политика СССР», предназначенный для закрытых аудиторий. 26 мая текст этого доклада был направлен начальником ГУППКА А.И. Запорожцем секретарям ЦК ВКП(б) А.А. Жданову и А.С. Щербакову. Еще один экземпляр документа поступил к начальнику Управления пропаган-

ды и агитации ЦК Г.Ф. Александрову. 19 июня Александров направил просмотренный им текст доклада «Современное международное положение и внешняя политика СССР» в архив с пометой, что по его тексту были «даны указания тов. Запорожцу» (Мельтюхов 2008: 325).

Александров среди прочего обратил внимание на один абзац в материале, присланном ГУППКА. Как подчеркивали авторы доклада, особое беспокойство «вызывает у империалистов рост могущества СССР». Они «с большой тревогой» взирают на Советский Союз, остающийся вне мировой войны. В то время как продолжающаяся война «расшатывает и ослабляет капиталистические страны», СССР «растет и крепнет, усиливая свою экономическую и военную мощь».

В создавшихся условиях, отмечали авторы доклада ГУППКА, «среди некоторых кругов буржуазии воюющих стран» усиливается стремление, договорившись между собой, заключить мир и «направить острие войны против СССР». «В этом смысле, — подчеркивалось в документе, — “бегство” Гесса в Англию — серьезное предупреждение для Советского Союза. И если в данном конкретном случае попытку сговора можно почти считать провалившейся, то почва для таких попыток в дальнейшем остается». Слева на полях этого абзаца Г.Ф. Александров поставил (недоуменный) знак вопроса (РГАСПИ: Ф. 17. Оп. 125. Д. 27. Л. 89).

Между тем из Германии продолжали поступать сообщения, направлявшиеся советскими дипломатами

руководству НКВД, о «случае с Гессом». 29 мая В.Г. Деканозов переслал В.М. Молотову и А.Я. Вышинскому докладную записку советника посольства СССР в Берлине В.С. Семенова о поездке на сельскохозяйственную выставку в Бреслау (ныне — польский Вроцлав), состоявшуюся 20–24 мая. Судя по штампу секретариата НКВД, этот документ поступил 7 июня 1941 г. (входящий № 3389) (АВП РФ: Ф. 06. Оп. ЗАВТО. П. 12. Д. 138. Л. 85–96).

В.С. Семенов и третий секретарь посольства СССР в Германии А.Н. Капустин посетили выставку в Бреслау по приглашению германской стороны. Помимо советских дипломатов на выставке в качестве гостей присутствовали сотрудники посольств Болгарии, Венгрии, Италии, Турции и Японии, а также «представители деловых кругов» Румынии, Дании и Словакии.

21 мая 1941 г. В.С. Семенов, в частности, имел беседу с нацистским гауляйтером Нижней Силезии К. Ханке. В беседе был затронут и вопрос о миссии Р. Гесса. Семенов поинтересовался причинами «исчезновения» Гесса. Ханке пытался повторить официальную германскую версию (об «идее фикс» «идеалиста», пытавшегося примирить Германию и Англию). На прямой вопрос В.С. Семенова «о наличии разногласий во внешнеполитических взглядах Р. Гесса с правительством Германии» К. Ханке вначале ответил в том духе, что «Гесс хотел составить какую-то оппозицию». Затем гауляйтер прекратил разговор на эту тему, ссылаясь на свою неосведомленность (АВП РФ: Ф. 06. Оп. ЗАВТО. П. 12. Д. 138. Л. 90).

4 июня, пять дней спустя после упомянутой докладной записки В.С. Семенова, В.Г. Деканозов направил в Москву «Информационное письмо о внутреннем положении в Германии (май 1941 года)». Документ общим объемом в 11 машинописных страниц был получен, судя по штампу секретариата НКВД, 7 июня (входящий № 3392). Копии «Информационного письма...» В.Г. Деканозова направили В.М. Молотову, а также А.Я. Вышинскому и С.А. Лозовскому (Там же: Л. 108, 119).

В этом документе среди других событий, происходивших в Германии или с ней связанных (речь Гитлера в рейхстаге 4 мая; дальнейшее ограничение снабжения населения мясом (17 мая); резкое сокращение пассажирского движения (19 мая), операция германских частей на о. Крит), было обращено внимание и на «неожиданный полет Гесса в Англию».

В.Г. Деканозов напоминал, что относительно «побега Гесса» и его влияния на население Германии ранее отправлял специальное сообщение (имелось в виду его письмо от 21 мая). В документе от 4 июня он информировал руководство НКВД: среди иностранных дипломатов «почти исчезли» предположения о том, что Гесс направился «по поручению Гитлера заключать мир с Англией». Наоборот, господствующим якобы стало следующее убеждение: будучи несогласным с внешнеполитической линией германского правительства, Гесс выступал «за немедленный мир» с англичанами (Там же: Л. 113).

К сожалению, пока не известно, ознакомились ли В.М. Молотов

и его заместители с упомянутыми выше сообщениями В.С. Семенова и В.Г. Деканозова, содержащими сведения о «случае с Гессом», которые были получены в НКВД СССР 7 июня 1941 г.

Помимо советских дипломатов, работавших в Берлине, информацию о полете Гесса пытался получить и посол СССР в Англии И.М. Майский.

Следует напомнить, что В.Г. Деканозов в своем письме от 21 мая 1941 г., в частности, акцентировал внимание на том, что германская сторона, так же как и английская, «продолжает хранить глубокое молчание о существовании переговоров Гесса» (1941 год 1998: Док. № 494, с. 266). Прояснению ситуации относительно позиции Лондона по «делу Гесса» в какой-то мере могла способствовать информация на сей счет, полученная Майским. Г. Городецкий утверждал, что сведения советской внешней разведки из Германии «при некоторой двусмысленности» лишь укрепляли уверенность Сталина в наличии раскола внутри германского руководства. Между тем сообщения от Майского из Лондона, уверял историк, «были не столь категоричны». Это, по мнению Городецкого, обуславливалось нестабильностью международной ситуации весной 1941 г. (*Городецкий* 1999: 303, 304).

Однако, отмечал Городецкий, «скудные сообщения» Майского контрастировали с той «бурной деятельностью», которую советский посол развил «в попытке понять» суть «дела Гесса». Историк, ссылаясь на документы АВП РФ, констатировал,

что И.М. Майский по крайней мере трижды (14, 16 и 21 мая 1941 г.) в беседах с заместителем министра иностранных дел Великобритании Р.О. Батлером затрагивал вопрос о миссии Р. Гесса (Там же: 304, 311, прим. 107, 108, 110, 111).

В 1998 г., *еще до выхода в свет* монографии Г. Городецкого, эти документы были опубликованы в официальном документальном издании МИД РФ. При публикации каждый из трех документов получил одинаковый заголовок: «Беседа посла СССР в Великобритании И.М. Майского с парламентским заместителем министра иностранных дел Великобритании Р.О. Батлером» (ДВП: Док. № 831. С. 681–682; № 835. С. 689–690; № 838. С. 692–693).

Обращение к фонду АВП, в котором хранятся эти записи, позволяет уточнить, что все они были включены в *служебный дневник* И.М. Майского под общим заголовком «Разговор с Батлером» (АВП РФ: Ф. 69. Оп. 25. П. 71. Д. 6. Опись документов, находящихся в деле).

Все три упомянутые записи поступили в НКВД СССР только 6 июня 1941 г., были затем перепечатаны, а копии их посланы В.М. Молотову и А.Я. Вышинскому (Там же: Л. 72, 74, 75, 76, 77). Однако пока не ясно, знакомились ли с этими материалами нарком иностранных дел и его первый заместитель.

Более того, по не известным пока автору данной статьи причинам руководство НКВД в своей отчетной документации проигнорировало то обстоятельство, что советский посол

в ходе встреч с британскими официальными лицами упоминал о «деле Гесса». Сохранилась «Хроника бесед посла СССР в Лондоне тов. Майского с английскими деятелями с 1.IV по 1.VI.41 г.», составленная 2 июня заведующим 2-м западным отделом НКВД Ф.Т. Гусевым, которая поступила в Наркомат иностранных дел 10 июля 1941 г. В этом документе упоминается, среди прочего, что 14, 16 и 21 мая И.М. Майский вместе с советником посольства К.В. Новиковым посещали Р.О. Батлера и имели с ним беседы. Однако в краткой аннотации содержания этих бесед нет ни слова о том, что разговор касался миссии Гесса (АВП РФ: Ф. 69. Оп. 25. П. 71. Д. 6. Л. 91–94).

Таким образом, к настоящему времени в оборот некоторые документы советской внешней разведки и делопроизводственные материалы Народного комиссариата иностранных дел СССР за период со второй половины мая до начала июня 1941 г., в которых упоминается о «случае с Гессом». Некоторые из них стали объектом внимания в данной статье. Анализ этой документации, несмотря на ее несомненный интерес и определенную информативность, не дает, однако, оснований, во-первых, для вывода о том, что с ней ознакомились И.В. Сталин, члены политбюро ЦК ВКП(б) и советского правительства; во-вторых, что она каким-либо образом повлияла на принятие важных решений Кремля по внешнеполитическим и военным вопросам.

Исключение в этом смысле представляют приведенные мной высказывания В.М. Молотова в ходе бе-

седы с Ф. Шуленбургом и пометы, сделанные главой внешнеполитического ведомства СССР на письме о «случае с Гессом», полученном от В.Г. Деканозова.

Несмотря на в целом интересные версии и гипотезы о миссии Р. Гесса, выдвинутые историками, пока остается открытым вопрос: что могло знать о ней советское руководство в мае – июне 1941 г.?

Чтобы получить исчерпывающий ответ на него, следует расширить круг источников. Скорее всего, наиболее важные и информативные из них хранятся в Архиве президента РФ и в архивах спецслужб, но вряд ли в скором времени станут доступны для исследователей.

Автор выражает благодарность д.и.н. Михаилу Мельтохову и Александру Либину за ценные рекомендации.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

АВП РФ — Архив внешней политики Российской Федерации.

РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории.

1941 год 1998–1941 год. В 2 кн. Кн. 2. М., 1998.

Агрессия 2011 — Агрессия: рассекреченные документы Службы внешней разведки Российской Федерации, 1939–1941. М., 2011.

Вестник АПРФ — Вестник Архива Президента Российской Федерации. СССР — Германия. 1932–1941. Изд. доп. и расш. М., 2019.

ДВП — Документы внешней политики. 1940 — 22 июня 1941. Т. XXIII. В 2 кн.

Кн. 2 (2). 2 марта 1941 — 22 июня 1941. М., 1998.

Микоян 1999 — Микоян А. И. Так было: Размышления о минувшем. М., 1999.

Секреты Гитлера 1995 — Секреты Гитлера на столе у Сталина. Разведка и контрразведка о подготовке германской агрессии против СССР. Март-июнь 1941. М., 1995.

DGFP — Documents on German foreign policy. 1918–1945. Series D (1937–1945). Vol. XII. The war years. February 1 — June 22, 1941. Washington, 1962.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Вишлѐв 2001 — Вишлѐв О. В. Накануне 22 июня 1941 года. Документальные очерки. М., 2001.

Городецкий 1999 — Городецкий Г. Роковой самообман: Сталин и нападение Германии на Советский Союз. М., 1999.

Дембски 2018 — Дембски С. Между Берлином и Москвой: германо-советские отношения в 1939–1941 гг. М., 2018.

Мельтюхов 2008 — Мельтюхов М. И. Упущенный шанс Сталина. Схватка за Европу: 1939–1941 гг. (Документы, факты, суждения). Изд. 3-е, испр. М., 2008.

Нарышкин 2021 — Нарышкин С. Е. В войну разведка вступила первой // Национальная оборона. 2021. № 6 (июнь). С. 34.

Хлевнюк 1996 — Хлевнюк О. В. Политбюро. Механизма политической власти в 1930-е гг. М., 1996.

Энциклопедия 1996 — Энциклопедия Третьего рейха. М., 1996.

REFERENCES

Dembski S. *Mezhdru Berlinom i Moskvoi: germano-sovetskie otnosheniia v 1939–1941 gg.* Moscow, 2018.

Entsiklopediia Tret'ego reikha. Moscow, 1996.

Gorodetskii G. *Rokovoi samoobman: Stalin i napadenie Germanii na Sovetskii Soiuz.* Moscow, 1999.

Khlevniuk O. V. *Politbiuro. Mekhanizma politicheskoi vlasti v 1930-e gg.* Moscow, 1996.

Mel'tiukhov M. I. *Upushchennyi shans Stalina. Skhvatka za Evropu: 1939–1941 gg. (Dokumenty, fakty, suzhdeniia).* Izd. 3-e, ispr. Moscow, 2008.

Naryshkin S. E. V voinu razvedka vstupilа pervoi. *Natsional'naiа oborona*, 2021, no. 6 (iun'), p. 34.

Vishlev O. V. *Nakanune 22 iunია 1941 goda. Dokumental'nye ocherki.* Moscow, 2001.

С. С. Юдин

Рец.: Георгиевские чтения. Сборник трудов по военной истории Отечества / ред.-сост. К. А. Пахалюк. М.: Российское военно-историческое общество; Яуза-каталог, 2021. 640 с.

Рецензируется сборник статей, подготовленных на основе материалов трех военно-исторических конференций и охватывающих хронологический период от Куликовской битвы и до завершения Великой Отечественной войн.

Ключевые слова: российская военная история, Первая мировая война, Великая Отечественная война.

Сведения об авторе: Юдин Станислав Сергеевич, кандидат исторических наук, ведущий научный редактор «Большой Российской энциклопедии» (Москва).

Контактная информация: stasstas08@mail.ru.

S. S. Yudin

Rev.: Georgievskie chteniia. Sbornik trudov po voennoi istorii Otechestva, red.-sost. K. A. Pakhaliuk. Moscow: Rossiiskoe voenno-istoricheskoe obshchestvo; Iauza-katalog, 2021. 640 p.

A collection of articles prepared on the basis of materials from three military-historical conferences and covering the chronological period from the Battle of Kulikovo to the end of the Great Patriotic War is being reviewed.

Key words: Russian military history, World War I, Great Patriotic War.

About the author: Yudin Stanislav S., Candidate of Historical Sciences, Leading Scientific Editor of the Great Russian Encyclopedia (Moscow).

Contact information: stasstas08@mail.ru.

Сборник подготовлен Российским военно-историческим обществом (редактор-составитель К. А. Пахалюк) и представляет итог одноименных

военно-исторических форумов, прошедших в 2019 и 2020 гг. в Москве. В книгу включены 29 статей, совокупно охватывающих хронологический

период от Куликовской битвы и до завершения Великой Отечественной войны. Не менее широка и тематическая программа сборника: представлены как чисто военные темы (описания отдельных боев), так и сюжеты, лишь косвенно связанные с боевыми действиями. К последним можно отнести исследования образа противников русской армии, а также народов, освобожденных Красной армией в 1944–1945 гг., отражения конфликтов в прессе и письмах участников и т. п. Отметим и то, что часть авторов следует лучшим традициям русской дореволюционной и советской историографии, тогда как другая группа исследователей опирается на прорывные западные работы. Таким образом, и методологическое разнообразие присутствует в этой калейдоскопической картине.

С некоторой долей допущения все статьи можно разделить на три большие хронологические группы: статьи, представляющие различные эпохи до XX в. (8 статей), статьи о Первой мировой войне и революции 1917 г. (9 статей) и, наконец, статьи о Великой Отечественной войне и по смежным с ней темам (12 статей). Как видно из этого подсчета, период двух мировых войн по-прежнему довлеет в военно-исторических исследованиях.

Мы уже указали, что составители не ограничили сборник чисто военной тематикой. Заметим и то, что статьи очень четко делятся на «военные» и «околовоенные», практически не представляя примера пересечения и взаимного обогащения двух исторических жанров. Статью О.Е. Алпеева об истории военной игры

в России можно назвать исключением. Автор полагает, что особенности военной игры, сложившиеся в нашей стране к 1914 г. (прежде всего, отказ от моделирования боя), объясняются традициями позитивистской мысли, зерна которой заронил военный мыслитель А. Жомини. Именитый швейцарец остается одной из самых масштабных и практически неисследованных фигур в военной мысли XIX в. (причина очевидна: требуется работа в архивах Франции, Швейцарии и России). Идея о столь глубоком отпечатке, оставленном этим теоретиком на русской армии, безусловно нуждается в дальнейшем развитии и уточнении. Нам представляется, что при всей наукообразности работ Жомини, его трудно однозначно связать с позитивистской традицией (зародившейся, когда Жомини уже был знаменит). Некоторые исследования показывают (Шевченко 2017), что Генриха Вильямовича в России могли иной раз внимательно выслушать, но редко принимали слишком серьезно. В 1860-е гг. престарелый авторитет вызывал раздражение, досаждаемая экстравагантными проектами военному министру Д.А. Милютину (РГВИА).

Некоторые работы составляют своего рода «пары», напрашивающиеся на сопоставление. И.Н. Гребенкин и С.А. Солнцева исследуют русскую армию 1917 г. как социальный организм, вступивший в период тотального обновления. Войска превращались в «самостоятельную силу, способную вести собственную политическую интригу» (И.Н. Гребенкин). Однако, как отмечает С.А. Солнцева, обновление вело к гибели вооруженных сил. Срок,

отведенный на этот процесс, оказался слишком мал, политическая нестабильность и продолжавшаяся война лишали Временное правительство пространства для маневра, а рудименты крепостнической психологии тормозили социальную трансформацию.

Тема русской армии, перерождающейся в революционной буре, явно переживает новый подъем, который напоминает всплеск интереса историков к французской революционной армии конца XVIII в., вызванный 200-летним юбилеем штурма Бастилии. Было ли войско 1792 г. порождением революционного энтузиазма, воплотившегося в крик «Vive la Nation!» на поле сражения при Вальми? Или свободу Франции отстоял профессиональный военный класс и орудия системы Грибоваля — плоть от плоти Старого режима (*Berthaud 1979; Scott 1998; Bell 2007*)? При всей несхожести обстановки (а особенно результатов для революционной армии) в 1792 и 1917 гг. было бы любопытно поставить аналогичный вопрос перед исследователями русской армии: каково было сочетание «старого» и «нового» в армии Временного правительства, Красной армии и белых формированиях?

Другой пример «спаренных» статей представляют два тактических разбора боев Великой Отечественной войны. А. А. Чунихин показывает, как летом 1942 г. немцы прорвались к Дону в районе Цимлянской и с ходу захватили плацдарм на левом берегу. Красная армия сумела лишь парировать попытку расширить плацдарм. Но в 1944 г. видим уже иную картину. С. Н. Бирюк разби-

рает частный бой советской дивизии недалеко от Великих Лук. Пехота без больших проблем захватила высоту и отбила контратаки противника. Отметим, что обе статьи написаны по советским и немецким архивным источникам.

Любопытна переключка между статьями о советских партизанах П. А. Гаврилова и В. Г. Колотушкина. Первый автор разбирает формирование памяти о партизанах в рамках *memory studies*. Практики ее увековечивания были избирательны, продуманы и направлены на подчеркивание роли партийных и комсомольских органов в борьбе с захватчиком, а также формирование положительного образа для подрастающего поколения. В. Г. Колотушкин сосредоточил внимание на практике партизан собирать сведения о военных преступлениях оккупантов. Эта статья написана в значительно более привычном ключе — начиная от постановки вопроса и заканчивая языком. Соседство двух таких разных работ об одном и том же предмете нам представляется глубоко символичным. В военной истории сосуществуют — иногда даже под одной обложкой — две разные историографические традиции. Будут ли «Георгиевские чтения» способствовать выстраиванию диалога между ними? Время покажет.

Нам следует извиниться перед теми участниками сборника, чьи статьи мы обходим молчанием, и перейти к выводам. Читателя поразит размах этого коллективного труда — хронологический, тематический и методологический. Такой подход дает авторам свободу представлять свои исследования под удобным для

них углом и облегчает составителю нелегкий организаторский труд. Но тяжело будет избежать впечатления, что просто 29 статей собрали под одну обложку. Так же тяжело будет найти своего читателя, а не случайного любопытного, который заглянет в сборник ради 1–2 статей. Мы полагаем, что «Георгиевские чтения» выиграли бы, если бы приобрели собственное «лицо». Под ним мы понимаем не узкую тему или подход, но широкую проблему. Удачный пример представляет серия сборников по проблематике тотальной войны (Boemeke et al. 1999; Förster, Nagler 2002; Chickering, Förster 2003; Chickering et al. 2004; Chickering, Förster 2010). Несомненно, составители лучше автора этих строк смогут подобрать удачную концепцию: «война и историческая память», «народная война», «военные, власть и общество», «русское военное искусство», «реформирование вооруженных сил» и еще множество крупных вопросов вполне достойны отдельного коллективного труда.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

РГВИА — РГВИА. Ф. 401. Оп. 2. Д. 81. Л. 5 — 11 об.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Шевченко 2017 — Шевченко П. В. Г. В. Жюмини и подготовка реорганизации военного образования в России // Российская история. 2017. № 6. С. 94–105.

Bell 2007 — Bell D.A. The First Total War: Napoleon's Europe and the Birth of Warfare as We Know It. Houghton Mifflin Company, Boston, NY, 2007.

Bertaud 1979 — Bertaud J.-P. La Revolution armée: Les Soldats-citoyens et la Revolu-

tion française. Paris: Éditions Robert Laffont, 1979. [Bertaud J.-P. The Army of the French Revolution: From Citizen-Soldiers to Instrument of Power. (Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 1988)].

Boemeke et al. 1999 — Boemeke M.F., Chickering R., Förster S., ed. by. Anticipating Total War: The German and American Experiences, 1871–1914. German Hist. Institute and Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1999.

Chickering, Förster 2003 — Chickering R., Förster S., ed. by. The Shadows of Total War: Europe, East Asia and the United States, 1919–1939. German Historical Institute and Cambridge Univ. Press, NY, 2003.

Chickering et al. 2004 — Chickering R., Förster S., Greiner B., ed. by. A World at Total War. Global Conflict and the Politics of Destruction, 1937–1945. German Historical Institute and Cambridge Univ. Press, NY, 2004.

Chickering, Förster 2010 — Chickering R., Förster S. ed. by. War in an Age of Revolution, 1775–1815. German Historical Institute and Cambridge Univ. Press, NY, 2010.

Förster S., Nagler 2002 — Förster S., Nagler J., ed. by. On the Road to Total War: the American Civil War and the German Wars of Unification, 1861–1871. German Hist. Institute and Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2002.

Scott 1998 — Scott S.F. From Yorktown to Valmy: The Transformation of the French Army in an Age of Revolution. Univ. Press of Colorado, Niwot, Colorado, 1998.

REFERENCES

Bell D.A. *The First Total War: Napoleon's Europe and the Birth of Warfare as We Know It*. Houghton Mifflin Company, Boston, NY, 2007.

Bertaud J.-P. *La Revolution armée: Les Soldats-citoyens et la Revolution française*. Paris: Éditions Robert Laffont, 1979. [Bertaud J.-P. *The Army of the French Revolution: From Citizen-Soldiers to Instrument of*

Power. (Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 1988)].

Boemeke M.F., Chickering R., Förster S., ed. by. *Anticipating Total War: The German and American Experiences, 1871–1914*. German Hist. Institute and Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1999.

Chickering R., Förster S., ed. by. *The Shadows of Total War: Europe, East Asia and the United States, 1919–1939*. German Historical Institute and Cambridge Univ. Press, NY, 2003.

Chickering R., Förster S., Greiner B., ed. by. *A World at Total War. Global Conflict and the Politics of Destruction, 1937–1945*. German Historical Institute and Cambridge Univ. Press, NY, 2004.

Chickering R., Förster S. ed. by. *War in an Age of Revolution, 1775–1815*. German Historical Institute and Cambridge Univ. Press, NY, 2010.

Förster S., Nagler J., ed. by. *On the Road to Total War: the American Civil War and the German Wars of Unification, 1861–1871*. German Hist. Institute and Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2002.

Scott S.F. *From Yorktown to Valmy: The Transformation of the French Army in an Age of Revolution*. Univ. Press of Colorado, Niwot, Colorado, 1998.

Shevchenko P.V.G.V. Zhomini i podgotovka reorganizatsii voennogo obrazovaniia v Rossii. *Rossiiskaia istoriia*, 2017, no. 6, p. 94–105.

В. Г. Ченцова

СОВМЕСТНОЕ УЧАСТИЕ В ЦЕРКОВНЫХ ТАИНСТВАХ НА ХРИСТИАНСКОМ ВОСТОКЕ: «НЕИЗБЕЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ»

Рец.: Santus C. *Trasgressioni necessarie. Communicatio in sacris, coesistenza e conflitti tra le comunità cristiane orientali (Levante e Impero Ottomano, XVII-XVIII secolo)*. Rome: École française de Rome, 2019 (Bibliothèque des Écoles française d'Athènes et de Rome, fasc. 383), 522 p. (Сантус Ч. *Неизбежные нарушения. Communicatio in sacris, сосуществование и конфликты между христианскими общинами на Востоке (Левант и Османская империя, XVII-XVIII в.)*. Рим: Французская школа в Риме, 2019 (Библиотека Французских школ в Афинах и Риме, вып. 383), 522 с.)

Рецензия на книгу о совместном участии представителей разных деноминаций в церковных таинствах на христианском Востоке в XVII–XVIII вв. и о неизбежности «нарушений» границ конфессиональных общностей.

Ключевые слова: Христианский Восток, религия, конфессионализация, причастие, таинства, Османская империя, Католическая церковь.

Сведения об авторе: Ченцова Вера Георгиевна, кандидат исторических наук, ERC AdG 2019 Turagabís, Институт по изучению стран Юго-Восточной Европы, Румынская академия (Бухарест).

Контактная информация: graougraou@hotmail.com.

V. G. Tchentsova

JOINT PARTICIPATION IN CHURCH SACRAMENTS IN THE CHRISTIAN EAST: "INEVITABLE VIOLATIONS"

Rev.: Santus C. *Trasgressioni necessarie. Communicatio in sacris, coesistenza e conflitti tra le comunità cristiane orientali (Levante e Impero Ottomano, XVII-XVIII secolo)*. Rome: École française de Rome, 2019 (Bibliothèque des Écoles française d'Athènes et de Rome, fasc. 383), 522 p.

A review of a book about joint participation in sacraments of representatives of different religious denominations in the Christian East in the 17th–18th centuries and the necessary “breaking of the boundaries” of confessional communities.

Key words: Christian East, religion, confessionalization, communion, sacraments, Ottoman empire, Catholic church.

About the author: Tchentsova Vera G., Candidate of Historical Sciences, ERC AdG 2019 Typarabic, Institute for South-East European Studies, Romanian Academy (Bucharest).

Contact information: graougraou@hotmail.com.

Выражением *communicatio in sacris*, вынесенным Чезаре Сантусом в заглавие книги, Католическая церковь обозначала совместное участие в таинствах представителей разных христианских конфессий, регламентируя через культ и литургическое действие церковную дисциплину, определяя границы дозволенного и недозволенного для священников и верующих. Несмотря на стремление дисциплинировать паству, подобное соучастие в таинствах и даже сослужение было нередким явлением в раннее Новое время в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Именно *communicatio in sacris*, «неизбежное нарушение» не столь уж «непроходимых» границ между конфессиями, с точки зрения автора, может стать ключом к пониманию особенностей сосуществования разных христианских сообществ и их контактов с нехристианским окружением, которое сложилось в этом регионе.

Изучая обрядовую практику, Ч. Сантус пытается понять, как проходило формирование конфессиональных идентичностей, прослеживая изменения во взаимоотношениях христианских деноминаций друг с другом в нескольких областях христианского Востока, где такие общины верующих соседствовали друг с другом. Эта конфессиональная мозаика исторически

сложилась после распада территории бывшей Римской/Византийской империи, ее конфликтов с соседями, Персией и арабами, и в конечном счете османским завоеванием значительной части некогда находившихся в ее границах земель. Различия между христианскими деноминациями (армянами, яковитами, несторианами, православными греками, маронитами и др.) порой восходили к схизмам, берущим начало во времена первых Вселенских соборов, а восточные христиане в унии с Католической церковью появились здесь уже во времена Крестовых походов.

Основная часть документов, использованных автором, происходит из римских архивов Конгрегации пропаганды веры и Сант-Уффичо, ныне являющихся частью Конгрегации евангелизации народов и Конгрегации доктрины веры. Кроме них Ч. Сантус обращался к документам католических монашеских орденов и французских консулатов на Леванте из Национального архива Франции, а также архива французского Министерства иностранных дел. При этом автор уделяет важное место критике источников, поскольку основная часть привлекаемых им к исследованию материалов, сохранившихся в римских или французских архивах, описывает восточное христианство «извне», исходя

из представлений о нем миссионеров, римских теологов, властей католических орденов и корпораций, западных путешественников-дипломатов. «Доверие» историка к этой выборке может привести к искажению общей картины отношений между конфессиями. Именно поэтому случаи описания совместного участия христиан в таинствах и церковных церемониях должны быть, с точки зрения Ч. Сантуса, исследованы в их контексте, который в каждом конкретном случае может быть разным. Так, всякий раз оказывается непросто определить, были ли описываемые случаи участия в обрядах верующих разных конфессий исключением, посему достойным обсуждения/осуждения, или же они были повсеместной практикой. Пытались ли миссионеры выдавать эпизодические случаи участия верующих разных христианских исповеданий в обрядах с католиками за постепенный переход местного населения в единство с Римской церковью? Или же, напротив, римские церковные власти преувеличивали количество подобных «нарушений», осуждая их и призывая паству (а также миссионеров-священников) к большей дисциплинированности? Можно ли вообще считать строгое разграничение общин отдельных деноминаций существующим лишь в воображении богословов-теоретиков, римского «начальства»? Ч. Сантус, оговаривая все неоднозначные особенности выборки использованных им материалов, корректирует свои выводы, привлекая также источники, созданные в греческой и османской среде.

Ставшая в последнее время классической концепция «конфессио-

нализации» используется автором в качестве отправной идеи, отталкиваясь от которой он пытается выяснить, как процессы формирования конфессиональных деноминаций, которые уже изучались на западно-европейских материалах, происходили у восточных христиан. Часто исследователей, изучающих историю восточных церквей в Новое время, поражает количество тайных или даже открытых присоединений иерархов и их паствы к унии, известных не только в греческой среде или у арабов-христиан, но и на территории Киевской митрополии. Как относиться к таким переходам, которые порой никак не сказывались на продолжавшейся практике сослужения перешедшего (перешедших) в унию с православными? Более того, порой с православными мог сослужить и сам католический миссионер, ведущий проповедь церковного единства, но готовый отказаться от обрядовой строгости ради поступательных шагов к желаемой цели. Не все христиане имели собственные храмы для отправления культа в ближайшей округе, а потому могли отправляться к европейским миссионерам для причастия, но участвовать в иных таинствах в «своих» церквях, получая там признаваемые османским государством акты гражданского состояния.

С точки зрения Ч. Сантуса, проведенное им исследование позволяет сделать одно общее наблюдение: миру «восточных христиан» была свойственна конфессиональная «пористость» или «текучесть». Границы между разными конфессиональными группами были размытыми, позволяющими частые переходы из одной

конфессии в другую. Документы позволяют обнаружить представляющие сейчас удивительными случаи, когда один и тот же человек в разные периоды своей жизни принадлежал к разным конфессиям. Исследуя эту «текучесть», Ч. Сантус рассматривает модели «сосуществования» конфессиональных групп и его виды (браки, совместная деятельность, общие культурные традиции и нормы поведения). Эволюция подобного сосуществования в разные периоды и в разных сообществах христианского Востока также не была поступательной и линейной: между деноминациями то размывались границы, то, напротив, разгорались открытые конфликты. При этом сами конфессиональные группы порой определялись на основе не столько реальных догматических различий, сколько в связи с особенностями их обряда. Не удивительно также, что в стратегии Рима по привлечению восточных христиан к унии основное место занимало обращение церковной иерархии, за которой последует и паства. Ведь для многих «простецов», которых всегда было большинство в общинах верующих, богословские различия часто бывали непонятны, а потому и незаметны. Это упрощало само их «обращение» в иную «веру», хотя и делало его весьма ненадежным и непостоянным. Переходы из одной конфессии в другую в разные периоды жизни отмечаются и у высших церковных иерархов (отечественным читателям известны подобные примеры по биографиям патриарха Макария III Антиохийского или газского митрополита Паисия Лигарида, также упомянутых Ч. Сантусом). Как правило, переходы из одной деноминации в другую бывали вызваны теми

или иными жизненными обстоятельствами: браками с представителями иной конфессии, переездами (в том числе связанными с военными действиями и иными неблагоприятными обстоятельствами, принуждавшими к миграции), частыми контактами/соседством с иноконфессиональной средой.

Позитивный сдвиг в отношении к христианскому Востоку, происшедший в католической среде при папе Григории XIII (1572–1585), привел к тому, что православные христиане более не считались «еретиками», сознательно уклонившимися от истинной веры. Они были лишь жертвами османского «ига» и собственной необразованности. Чтобы постепенно преодолеть церковное разделение, во время его понтификата в Риме основываются коллегии для обучения представителей восточных христиан наукам и богословию, расширяется изучение восточных языков, в том числе греческого, а также предпринимается издание богослужебных и полемических книг на разных языках. Важным этапом становится основание *Typographia Polyglotta de Propaganda* в 1626 г. и издание арабского перевода Библии в 1671 г. При сохранении догматического единства римские богословы признают иной церковный обряд, иные языки церковной службы и богослужебных книг.

Не удивительно, что восточный клир высоко ценил те знания, которыми обладали приезжающие католические миссионеры и представители разных монашеских орденов, вместе с которыми в их среду проникают новые издания — катехизисы, словари,

книги, опубликованные не только в Риме, но и в других европейских странах. Это позволило западной теологии оказывать все большее влияние на христианский Восток, что привело к явлению, названному о. Георгием Флоровским «псевдоморфозой православия»: принятию общего «богословского языка», на котором говорили и католики, и православные, а порой и другие восточные христиане. Классическим примером подобной «псевдоморфозы» стало «Исповедание веры», созданное киевским митрополитом Петром Могиллой и его окружением в 1642–1643 гг. Более того, не только терминология, но и сами тексты, созданные богословами европейской Контрреформации, могли начать собственную отдельную жизнь уже внутри православной традиции, помогая формированию «идентичности» и становясь частью «православной конфессионализации».

В условиях противостояния Католической церкви с протестантами и борьбы за влияние на православных, развернувшейся после Тридентского собора, а затем усилившейся в эпоху пребывания на престоле константинопольского патриарха Кирилла Лукариса (сблизившего православную догматику с протестантской), книгопечатание и создание в Риме целой системы коллегий для «распространения веры» играли огромное значение в укреплении отношений с христианским Востоком. Среди них особая роль была отведена появившейся в 1622 г. при Римской курии Конгрегации *de Propaganda Fide*, призванной оказывать помощь Восточным церквам. В то же время нельзя не отметить, что стремление

к церковному сближению после Тридентского собора было иным, нежели в эпоху Ферраро-Флорентийского собора: «тридентская» интерпретация унии-unitas, становившаяся все более распространенной в XVII в., понимала ее как «слияние» православных с католиками, в то время как прежняя «ферраро-флорентийская» уния-unio предполагала соединение двух «общностей» (с. 120–124). Это важное отличие, формировавшее отношение «латинского мира» к христианам иной деноминации как «инославным», с которыми надлежит не «воссоединяться», но «присоединить» их, — проявилось именно в эпоху «конфессионализации».

В отличие от «видимых» особенностей обряда, богословские определения «сопричастия» со «схизматиками» не были столь очевидны вплоть до 1729 г., когда оно было запрещено Католической церковью. До этого некоторые богословы объясняли саму возможность *communicatio in sacris* тем, что, собственно, в «схизме» с Римом находится лишь константинопольский патриарх, а не вся Восточная церковь/церкви. Ведь у православных принято поминовение во время литургии только непосредственного предстоятеля епархии, и признавать первенство римского папы, поминая его, должен лишь константинопольский патриарх (с. 192). Кроме того, само взаимное предание анафеме в 1054 г. произошло лишь между константинопольским патриархом и римскими легатами, так что три остальных восточных патриарха не имеют отношения к этому расколу. Запрет на совместное участие в таинствах был связан с усилившимся политическим

и конфессиональным противостоянием, следствием которого стало обострение конфликтов за владение Святыми местами Палестины, переход части Антиохийского патриархата в унию с Римом в 1724 г., а в 1755 г. — и принятие Восточной церковью решения о перекрещивании переходящих в православие католиков (с. 227–231). В это время границы конфессиональных деноминаций окончательно утверждаются и на Востоке, приводя, хотя и с некоторой задержкой, к завершению тех процессы, которые можно уподобить европейской конфессионализации. Новая эпоха требовала от верующих все большей дисциплинированности и определенности в своем выборе конфессии, в том числе и строгости в отношении обрядов.

Важное место в книге Ч. Сантуса занимает исследование отношений Рима с православными восточными патриархатами, паства которых оказалась разделена политическими границами. Особенно подробно в книге исследовано соседство и участие в церковных службах или церемониях католиков и православных в областях, находящихся под контролем Венеции (прежде всего на Ионических островах, где попытки регламентации религиозной жизни оставили значительный документальный архивный материал). Венецианские светские власти, пытавшиеся привлечь всех христиан к участию в «общем» культе (например, в религиозных процессиях), шли здесь по пути формирования зависимой от администрации «церкви греков» и стремились ограничивать контакты православных с канонической для мест-

ных архиереев церковной иерархией на османской территории. На островах Эгеиды, напротив, местные христиане-католики должны были получать османские бераты, регулировавшие их права вместе с гарантированными байло и французским консулом «капитуляциями». Действовавшие здесь миссионеры обычно проявляли большую гибкость, принимая в церковное общение православных верующих.

Изучение связей между разными этноконфессиональными группами, дискуссии о пересечении культурных традиций в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, постановка новых вопросов, касающихся формирования конфессиональных идентичностей, привлекают в настоящее время все большее внимание. Огромное количество проанализированных архивных источников, современная библиография, широкий круг затронутых автором проблем истории восточнохристианского мира, безусловно, сделают книгу Ч. Сантуса одной из тех работ, от которых в дальнейшем будут отталкиваться все последующие исследователи. Из многочисленных частных «историй» разных людей, их признанных и непризнанных браков, случавшихся скандалов и вынужденных компромиссов, обращений и апостасий, контактов и конфликтов христиан разных вероисповеданий друг с другом и с иноконфессиональными соседями или властями (мусульманами, иудеями) автору удалось создать цельную картину кипучей жизни христианского Востока. Не святого, но живого и ищущего свою подлинную «идентичность».

К. А. Саакова

«АНТИИМПЕРСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ» И ДРУГИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ КРЕОЛЬСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

Рец.: *Simon J. The Ideology of Creole Revolution: Imperialism and Independence in American and Latin American Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 384 p.*

Рецензируется монография, посвященная компаративной истории креольской идеологии во второй половине XVIII — первой трети XIX в. (США, Мексика, Венесуэла).

Ключевые слова: креольская идеология, атлантические революции, империализм, компаративистика, интеллектуальная история.

Сведения об авторе: Саакова Кристина Армановна, магистр 2-го года по направлению «История современного мира», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва).

Контактная информация: kasaakova@gmail.com.

K. A. SAAKOVA

“ANTI-IMPERIAL IMPERIALISM” AND OTHER CONTRADICTIONS OF CREOLE IDEOLOGY

Rev. : *Simon J. The Ideology of Creole Revolution: Imperialism and Independence in American and Latin American Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 384 p.*

The monograph on the comparative history of Creole ideology in the second half of the 18th — first third of the 19th centuries (USA, Mexico, Venezuela) is reviewed.

Key words: Creole ideology, Atlantic revolutions, imperialism, comparative studies, intellectual history.

About the author: Saakova Kristina A., Master student of “History of the Modern World”, The National Research University, “Higher School of Economics” (Moscow).

Contact information: kasaakova@gmail.com.

Становление свободной Америки стало возможным благодаря двум революциям: сначала — против Британской, затем — против Испанской империй. Монография Джошуа Саймона, посвященная идеологии креольской революции, показывает, что идеи британского и испанского движений за независимость имели сходства. Многие политические дилеммы лидеры встречали как креолы — потомки европейских поселенцев, рожденные в Америке.

Подход Саймона развивает концепцию «атлантических революций», в которой основополагающим трудом стал двухтомник Роберта Палмера «Век демократических революций», изданный еще в 1959–1964 гг. Палмер вместе с французским историком Жаком Годшо изучали революции, происходившие в Европе и Америке в 1760–1800 гг., и пришли к выводу об определенной «эпохе демократических революций» (Palmer 2014).

Полвека спустя взгляд на атлантические империи и революции изменился и стал охватывать куда больше аспектов, активно используя компаративный метод. Саймон предлагает сосредоточиться на двух революциях, происходивших в Америке. Как политолог, он затрагивает историю меж-американских отношений, доказывая, что на тот момент еще не было предпосылок считать, что Соединенные Штаты станут экономической и военной «сверхдержавой», а Латинская Америка, напротив, будет долго бороться с политической нестабильностью и экономической отсталостью.

Само понятие «креолы», обычно употребляемое в отношении по-

томков испанских, португальских и французских колонизаторов, здесь приобретает другой смысл. Саймон, следуя идее «креольских пионеров» Бенедикта Андерсона (Андерсон 2016: 106–132), объединяет под этим термином и Северную Америку. Тем не менее, в отличие от Андерсона, Саймон не рассматривает Гаитянскую революцию и Бразильскую империю, относя их к уникальным случаям (р. 36).

Говоря о методологии, автор обращается к сравнительной политической теории, что в рамках исторического исследования следует отнести к компаративистике. В последние годы все большее внимание уделяется политической мысли, традиционно исключенной из канона (восточно- и южноазиатская, исламская, африканская, латиноамериканская). Фокус исследования Саймона состоит в сравнении идей трех креольских политических теоретиков: Александра Гамильтона для США, Симона Боливара для Венесуэлы и Лукаса Аламана для Мексики. Саймон определяет выборку методом согласия Милля: «Гамильтон, Боливар и Аламан сошлись на важном наборе идей, защищая американскую независимость как ответ на неравные условия, навязанные креолам европейским имперским правлением» (р. 40).

Разбирая креольскую идеологию, Саймон выводит понятие «антиимперского империализма», сходного с «либеральным империализмом», введенным в научный оборот для описания европейской политической мысли XIX в. В обоих случаях у политических мыслителей есть набор антиимперских принципов —

независимость и народный суверенитет в случае креолов, равенство и индивидуальная свобода в случае европейских либералов, которые тем не менее использовались в защиту имперской экспансионистской политики (р. 78). В отношении креолов Саймон формулирует теорию: революционеры сходились на наборе противоречивых антиимперских и имперских идей. Противоречия были результатом не самих идей, а интересов, для защиты которых они были разработаны, и институтов, которые их упорядочивали. Объединяя движения за независимость, Саймон обращается к «Письму с Ямайки» (1815 г.) Боливара, в котором Освободитель отметил общую черту континентов — потомки европейских колонизаторов остались «зажатыми» между двумя мирами: они были привязаны к своим «европейским» правам и привилегиям, стремясь их сохранить, но негодовали о политическом, экономическом и социальном подчинении. Зная о положении коренных народов и афроамериканцев, креолы создавали конституции для сдерживания конфликтов и защиты территорий, де-факто действуя по имперской модели.

Креольские патриоты, размышляя над независимостью, в первую очередь задумывались о своих правах. Примечателен вывод Саймона: претензии креолов на несправедливость, хотя и подкреплялись апелляциями к естественному праву, выдвигались от колониальной элиты и основывались на правах, полученных в результате завоевания (р. 67). Действительно, необходимым компонентом деклараций независимости стало положение о естественных правах

человека, отсылавшее к общему договору при завоевании континента. Кроме того, Саймон подчеркивает, что у будущих лидеров изначально не было цели обрести независимость. Движения начинались как борьба за реформы — идея, отстаиваемая современными историками Испанской Америки (*Rodríguez* 1998).

В каждом из трех рассмотренных случаев лидеры использовали интеллектуальные «ресурсы», чтобы убедить население в преимуществах федерализма и сильного президентства. Гамильтон защищал революцию, политический союз и президентство, одновременно отстаивая антидемократическую позицию и ориентируясь на монархическую Англию (р. 127). Боливар, вдохновленный идеями республиканизма, сначала попытался их реализовать, но в итоге пришел к выводу о неспособности функционирования свободной республики в обществе, привыкшем к рабству (р. 169). Аламан, в отличие от Боливара, рассматривал независимость и конституционное устройство как продолжение траектории испанского правления, но ход революции укрепил его консерватизм и отразился в неприятии повстанческого пути и «тиранической» конституции (р. 211). Вдохновляясь разными мыслителями — Юмом, Монтескье, Руссо, Берком — и существуя в разных интеллектуальных контекстах, идеологи не смогли избежать противоречий «антиимперского империализма».

Очевидно, главный вопрос, который ставит для себя автор монографии — каким образом Северная и Южная Америка, не имея серьезных

идеологических различий в начале XIX в., оказались на разном уровне политического развития впоследствии. Этой проблеме посвящается последняя глава исследования — конец креольской революции, в которой рассматриваются постколониальные конфликты государств.

Исследование Джошуа Саймона позволяет проследить развитие креольской идеологии — от ее дореволюционных истоков до территориальных конфликтов после обретения независимости. Несмотря на логичность нарратива и цельность идеи, вопрос выборки государственных деятелей остается нерешенным. Саймон выделяет их как идеологических лидеров государств, подчеркивая разное происхождение и интеллектуальные «пристрастия» — эмпиризм Гамильтона, республиканизм Боливара и консерватизм Аламана (р. 79). Тем не менее во всех трех государствах были и другие яркие лидеры, чьи идеи зачастую расходились с представленными. В борьбе за независимость постоянно сменялись противоборствующие концепции конституционной монархии и республики, федерализма и унитаризма и т. д. В такой парадигме Гамильтон, Боливар и Аламан, отражая ключевые направления, не могут считаться единственными, хотя и прекрасно демонстрируют замысел автора.

Джошуа Саймон в своем исследовании развивает парадигму атлантических революций, выходя на новый уровень. Если раньше компаративная история больше углублялась в политическую историю, книга Саймона скорее представляет интеллектуальную историю, в которой

сопоставляется восприятие идеологами таких понятий, как конституция, империализм, монархия/республика, либерализм/консерватизм и т. д. Исследование показывает, что креольские государства, несмотря на свои различия, на этапе революции были поразительно схожи, сочетая в себе антиимперские и имперские способы сохранения единства. Саймон также пытается понять, как возникали и трансформировались политические идеи. Он утверждает, что их анализ включает в себя реконструкцию «фоновых» проблем, которые всегда касаются взаимодействия двух контекстов — институционального и интеллектуального (р. 10). Саймон объединяет эти контексты и встраивает их друг в друга, связывая биографию, образование, политические интересы и их институциональное закрепление. При всех преимуществах такой подход, однако, вызывает методологическую проблему: как разграничивать взаимодействие институционального и интеллектуального контекстов. Кроме того, всегда ли можно говорить только о двух «фоновых» проблемах? В целом трудности возникают из комплексного охвата креольской идеологии и не затрудняют понимание, а, напротив, помогают лучше погрузиться в замысловатые перипетии движений за независимость. Абстрагировавшись от современного положения США и стран Латинской Америки, Саймону удалось отразить парадокс схожего развития и прийти к следующему выводу: расходящиеся интеллектуальные контексты, в которых находились Гамильтон, Боливар и Аламан, не могут объяснить их идеологического сближения — только общий

институциональный контекст и «классовые» идентичности (отвергая марксистскую бинарность политико-правовой надстройки и экономической основы). Исследование Саймона, опираясь на широкий круг источников и современную компаративистику, помогает по-новому взглянуть на идеологическое взаимодействие двух континентов, рассматривая сложившийся в историографии ретроспективный анализ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Андерсон 2016 — Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Кучково поле, 2016.

Palmer 2014 — Palmer R. R. *The age of the democratic revolution: A political history of Europe and America, 1760–1800*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2014.

Rodríguez 1998 — Rodríguez O.J.E. *The independence of Spanish America*. Cambridge: CUP, 1998.

REFERENCES

Anderson B. *Voobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniia ob istokakh i rasprostraneni natsionalizma*. Moscow: Kuchkovo pole, 2016.

Palmer R. R. *The age of the democratic revolution: A political history of Europe and America, 1760–1800*. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2014.

Rodríguez O.J.E. *The independence of Spanish America*. Cambridge: CUP, 1998.

Д. В. Сень

НАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ С. Т. РАЗИНА В ИСТОРИОГРАФИИ СЕРЕДИНЫ 1990-х — 2000-х гг. (НОВЫЙ ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ ИЛИ «ТЕМА ЗАКРЫТА»?)

В обзоре представлены характеристики новейшей, главным образом — российской, историографии, посвященной народному движению под предводительством С. Т. Разина. Предпринята попытка выделить ее хронологические подэтапы и факторы развития. Исследовательский акцент сделан на состоянии исторической мысли середины 1990-х — 2000-х гг. Анализ российской историографии Разинского движения осуществлен путем установления ее главных достижений, исследовательских проблем и конкретных перспектив, а также в процессе их сравнения с произведениями советской и новейшей зарубежной историографий.

Ключевые слова: дискуссия, донское казачество, историография, источниковедение, повстанцы, народные движения, С. Т. Разин, Разинское выступление (восстание), Россия.

Сведения об авторе: Сень Дмитрий Владимирович, доктор исторических наук, профессор, Институт истории и международных отношений Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).

Контактная информация: dsen1974@mail.ru.

D. V. Sen'

PEOPLE'S MOVEMENT LEAD BY S. T. RAZIN AT THE HISTORIOGRAPHY
OF THE MID 1990–2000S. (NEW STAGE OF STUDYING OR “TOPIC CLOSED”?)

The review presents the features of the contemporary par excellence Russian historiography dedicated to the popular movement led by S. T. Razin. An at-

© Д. В. Сень, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-232-263

tempt has been made to single out its chronological substages and development factors. The research focus emphasis on historical thought in the mid 1990–2000s. The analysis of the Russian historiography of the Razin movement was carried out by identifying its main achievements, research problems and some prospects, as well as comparing it with the achievements of Soviet and foreign historiography.

Key words: discussion, Don Cossacks, historiography, source study, insurgents, popular movements, S. T. Razin, Razin`s uprising, Russia.

About the author: Sen` Dmitry Vladimirovich, Doctor of Science (History), Professor, Institute of History and International Relations, Southern Federal University (Rostov-on-Don).

Contact information: dsen1974@mail.ru.

350 лет назад закончилось поражением одно из самых крупных народных движений в России XVII–XVIII вв. — Разинское... Подобный итог нельзя связать с каким-то одним ключевым событием того времени. В 1671 г. их случилось несколько: *6 июня* в Москве на Красной площади был казнен атаман Степан Тимофеевич, схваченный *14 апреля* в Кагальницком городке; вскоре после *24 августа* Войско Донское принесло присягу на верность царю Алексею Михайловичу; *27 ноября* царские войска вступили в Астрахань, последний оплот повстанцев... Причины, периодизация, основные события, ход и главные итоги Разинского движения получили основательное освещение в отечественной исторической науке, главным образом середины XIX — XX в. основополагающими трудами для изучения темы стали научные произведения, созданные советскими историками, в том числе крупные археографические публикации советского времени. Эти труды хорошо известны специалистам: осуществить их подробное библиографическое описание не представляется возможным только в одном историографическом обзоре. К некоторым из них автор обращается при характеристике осо-

бенности *современной*, главным образом российской, историографии середины 1990-х — 2000-х гг. Соглашусь с мнением Н.А. Мининкова (сжато описавшего сегодняшнюю ситуацию с изучением народных движений в России XVII–XVIII вв.) о том, что «достижения нашего времени, которые несомненны, являются результатом переосмысления того, что было достигнуто советской исторической наукой в изучении крестьянских войн. Также следует подчеркнуть, что положения и выводы делались на основе колоссального фактического материала» (Мининков 2019: 32).

Назову среди имен советских и российских историков, плодотворно изучавших и изучающих различные аспекты Разинского движения, прежде всего, следующие: В. И. Буганов, В. И. Лебедев, А. Г. Маньков, А. П. Пронштейн, А. Н. Сахаров, И. В. Степанов, С. Г. Томсинский, С. И. Тхоржевский, Н. Н. Фирсов, Е. В. Чистякова, Л. С. Шептаев, Е. А. Швецова, В. Я. Мавль, Н. А. Мининков, С. И. Рябов, В. М. Соловьев, О. Г. Усенко. Безусловно, на протяжении XX в. менялись теоретические, методологические и методические подходы

к изучению Разинского движения / восстания / крестьянской войны (включая его историографические оценки: Буганов, Чистякова 1968; Крестьянские войны... 1974; Соловьев 1991: 130–145; 1994: 6–17; Мининков 2019: 26–35). В свою очередь, их уместно проанализировать наряду с аналогичными тенденциями в изучении других народных движений в России XVII–XVIII вв. С одной стороны, сегодня в науке существенно снизилась интенсивность исследования массовых народных движений — по сравнению, прежде всего, с достижениями советской исторической науки. С другой стороны — в фокусе исследовательского внимания современных историков все чаще оказываются сюжеты и целые темы, либо являвшиеся маргинальными для советских специалистов, либо получавшие тогда клишированные и «правильные», в идеологическом отношении, оценки и суждения. Нельзя не заметить, что за последние тридцать лет изменилось пространство современной российской историографии Разинского движения! Необходимо признать ее собственные метаморфозы, уже несводимые к реакциям только на наследие советской историографии. «Подэтапы» новейшей историографии, условной границей которых можно признать рубеж 1990–2000-х гг., не вполне равнозначны по направленности исследовательского поиска и полученным результатам. Отмечу, что большая часть представленного в обзоре историографического материала относится к 2000-м гг. Вместе с тем состояние новейшей историографии намеренно характеризуется в сравнении с научной мыслью как

1990-х гг., так и более раннего времени.

В ряде исследовательских случаев, применительно к российской историографической ситуации после 1991 г., произошла рецепция понятий, характерных еще для дореволюционной науки и отринутых советскими учеными. Стоит отметить и то, что в исторической науке 1990–2000-х гг. не произошло огульного «развенчания» научных достижений советского периода применительно к изучению Разинского движения — о чем тревожился В. М. Соловьев еще в 1994 г. (Соловьев 1994: 5). Мало обращалось внимания на то обстоятельство, что после 1991 г. история Разинского движения продолжала активно интересовать историков, посвятивших ему немало трудов (прежде всего, это В. И. Буганов, Н. А. Мининков, А. Н. Сахаров, В. М. Соловьев) еще в СССР. В этом состояла еще одна «примета» новой, постсоветской, историографической ситуации, имеющей отношение к теме обзора. Так, в первой половине — середине 1990-х гг. увидели свет фундаментальные труды В. И. Буганова и В. М. Соловьева (Буганов 1994: 28–42; 1995; Соловьев 1994), в том числе давшие новые импульсы таким направлениям, как источниковедение истории Разинского выступления и изучение природы/содержания «русского бунта». В частности, В. И. Буганов представил самую подробную в науке классификацию документов, относящихся к истории Разинского выступления, системно подойдя к анализу их происхождения, информационной природы и содержания. Особенное внимание уделено им установлению

и реконструкции повстанческой документации. Кроме того, В. И. Буганов изменил свою прежнюю точку зрения на природу Разинского выступления, именуя его в своей последней книге «второй гражданской войной» (Буганов 1995: 3). О трудах же В. М. Соловьева более подробно я пишу ниже по тексту.

В 2010 г. увидело свет третье (исправленное и дополненное, серия «ЖЗЛ») издание научно-популярной книги А. Н. Сахарова о С. Т. Разине (Сахаров 2010). Н. А. Мининков представил в 2020 г. авторскую интерпретацию Разинского выступления в новейшей коллективной монографии по истории донского казачества (Мининков 2020: 210–222). По сравнению с книгой 1983 г. (Пронштейн, Мининков 1983: 71–202)¹, в тексте 2020 г. отсутствуют новые эмпирические данные о движении С. Т. Разина. Вместе с тем здесь Н. А. Мининков уделил больше внимания тезису об образе С. Т. Разина как об одном из мест памяти донского казачества и всей России. Обращает на себя внимание, что в этой новейшей работе Н. А. Мининков последовательно именуется указанное движение *восстанием*, а не *крестьянской войной*, как в издании 1983 г. (Мининков 2020: 210 и др.). При этом автор резонно указал на другую чер-

ту современной российской историографии при изучении народных движений, связанную с использованием понятия «русский бунт» (Там же: 210)². Он же вернулся к важному для советской исторической науки вопросу о значении иностранных исторических источников о восстании С. Т. Разина — на примере археографической деятельности А. Г. Манькова (Мининков 2017: 116–118). Н. А. Мининков также представил сжатую характеристику состояния современной историографии массовых народных движений в России XVII–XVIII вв. (Мининков 2019: 26–35) Наконец, он опубликовал статью об одном из наименее изученных периодов в истории донского казачества второй половины XVII в. — в контексте «постразинского» развития Дона (Мининков 2013: 67–74).

Наиболее заметные изменения (по сравнению со временем существования советской исторической науки) произошли в 1990-е — начале 2000-х гг., когда пересмотру подвергалось многое — от терминологии до сущностных характеристик «Разинщины», включая характеристики социально-психологической природы движения. «Второе рождение» получил в постсоветской науке концепт «бунта» / «русского бунта», существенно отличающийся

¹ Анализируемая часть книги написана Н. А. Мининковым в соавторстве с А. П. Пронштейном.

² Правда, в другой своей монографии, называя движение под предводительством С. Т. Разина восстанием, Н. А. Мининков пишет: «В период своего высшего подъема в 1670–1671 гг. оно вылилось в настоящую крестьянскую войну» (Мининков 1998: 404). Н. А. Мининков стал одним из многих современных авторов, вновь поднявших вопрос об общности интересов/представлений крестьян и донских казаков (Там же: 404–405). Он же критически (справедливо, на мой взгляд!) отнесся к некоторым советским историографическим оценкам (включая и его собственные — 1983 г.!) Волжско-Каспийского похода С. Т. Разина как начального этапа «крестьянской войны» (Там же: 416–417). Однако в коллективной монографии 2020 г. историк вновь изменил свое мнение, посчитав, что указанный «поход за добычей приобрел признаки казачьего восстания» (Мининков 2020: 214).

от его использования в дореволюционной исторической науке. Такое «новшество», среди прочего, можно объяснить влиянием на постсоветскую науку многочисленных историографических «поворотов» 1990-х гг., в том числе усиливших интерес ученых к культурно-антропологическим объяснениям исторического процесса.

Новое осмысление этого «старого» концепта связано с современными историографическими практиками по «очеловечиванию» природы русского бунта как функционального элемента культуры, по выявлению его архетипов и смыслов, связанных с реакцией традиционной культуры на кризис идентичности (Мауль 2007: 265–266, 280), с особой психологией бунтовщиков, с символизмом их действий, направленных против властей — конечно, на примере не только Разинского выступления, но и других массовых народных движений (Там же: 225–446; 2003; 2005а; 2005б: 144–157). Добавлю, что подобное изучение обрело новые смыслы и исследовательские перспективы за счет обращения ученых к «истории снизу»; к объяснению психологических механизмов социального протеста в России; к типологизации поводов — «спусковых механизмов» многих бунтов; к изучению массового сознания донского казачества, включая его религиозность и монархизм (Усенко 1992: 39–50; 1994–1997; 1999: 70–93; 2007: 24–48; Трефилов 2009: 125–140). Соглашусь с утверждением о том, что современная историография народного протеста «находится в поиске новых научных дискурсов», который приносит плодотворные результаты, в том

числе путем реализации междисциплинарного подхода и интерпретации русского бунта, «опираясь... на смыслополагание эпохи (культуры) его породившей» (Мауль 2005б: 149).

По моему мнению, наиболее заметное место в новейшем пространстве указанных тематических направлений занимают труды В.Я. Мауля, В.М. Соловьева и О.Г. Усенко — на которые сегодня активно ссылаются другие ученые, с которыми полемизируют, на которые пишут рецензии (Мининков 2006: 110–112; Мауль 2005б: 150; Обухова 2016: 11–13 и др.; Трефилов 2009: 125–140; Никитин 2017: 111–113, 116, 121; Мауль 2003: 12–17). Их заслуга состоит, прежде всего, в разработке и в новаторском осмыслении/верификации моделей протестного поведения повстанцев (представлявших разные движения), проявления народного монархизма, самозванчества, повстанческого насилия; в типологизации самих народных движений; наконец, в переосмыслении феномена русского бунта. Представляется, что историографическая ситуация стала меняться, прежде всего, после выхода в 1994 г. книги В.М. Соловьева (Соловьев 1994). Характеризуя один из представленных в ней сюжетов, В.Я. Мауль весьма точно выразился вот по какому поводу: «И хотя данный сюжет (о повстанческом насилии. — Д.С.) занимает не главное место в научных построениях ученого, но при нашей скудости на подобные труды этого вполне достаточно для историографической реакции» (Мауль 2003: 17). Конечно, это был далеко не первый труд В.М. Соловьева по истории Разинского движения (Чистякова, Соловьев

1998; Соловьев 1990). Но «анатомия русского бунта» получила тогда новые убедительные объяснения «темных» сторон истории конкретного движения — кровопролития, насилия, жестокости повстанцев. В книге 1994 г. был продолжен системный анализ взаимоотношений разных категорий повстанцев друг с другом и их социального состава, предложены новые интерпретации личных амбиций С. Т. Разина и его непререкаемого авторитета среди сторонников; предпринята попытка составить коллективную биографию ближайших соратников атамана; вновь озвучены исследовательские проблемы о природе повстанческой власти и об отношении разинцев к собственности/захваченной добыче.

Казалось, что недавно намечалась современная историографическая дискуссия о проблемных точках в изучении Разинского выступления, в том числе по отношению к методикам, интерпретирующим поступки и поведение повстанцев (Никитин 2017; Мауль 2018: 164–169). Охарактеризую метод Н. И. Никитина как исключительно спорный и компилятивный, целиком основанный на чужих, а не на собственных исследованиях по истории Разинского движения и донского казачества, выборочно презентующий как новейшую историографию, так и пересказ только общеизвестного об истории

этого движения. Н. И. Никитин морализаторски критикует оппонентов (О. Г. Усенко, В. Я. Мауля) за попытки найти информацию, скрытую в источниках, за не присущие советской историографии символические и историко-психологические интерпретации действий повстанцев, включая творимые ими расправы. Изучение книги Н. И. Никитина (соответствующей уровню исторической науки начала XXI в. только по своему названию!) позволяет с полным основанием согласиться с резко критической рецензией, опубликованной В. Я. Маулем в 2018 г. К сожалению, книга Н. И. Никитина не содержит новых исследовательских сюжетов, несмотря на свое претенциозное название. Ни по одному показателю она не может считаться историографическим ориентиром для современных ученых, изучающих Разинское выступление.

В ходе изучения Разинского и других народных движений в России XVII–XVIII вв. многие историки сегодня отказались от понятия «крестьянская война», хотя после 1991 г. некоторые из них признавали/признают за ним определенный эвристический потенциал (Миников 2019: 33; Соловьев 1994: 14)³. С. И. Рябов в 1992 г. писал об участии донского казачества именно в крестьянской войне под предводительством С. Т. Разина (Рябов 1992:

³ В зарубежной историографии 1990-х гг. наиболее заметна статья американского историка М. Ходарковского, критически разобравшего эвристический потенциал понятия «крестьянская война» применительно к Разинщине (Khodarkovsky 1994: 1–19). Эту статью высоко оценил другой американский историк Б. Боук (Boeck 2009: 71). М. Ходарковский рассмотрел не только истоки и трансфер историографического мифа о «крестьянской войне» в российской исторической науке XIX–XX вв. Он предметно рассмотрел историю Разинского восстания, для лучшего понимания его закономерностей, с точки зрения самих казаков, а также в контексте геополитической ситуации в южном пограничье Московского государства и колониционной политики Москвы.

113–123). При этом он уделил внимание как борьбе внутри донского казачества перед началом движения, так и обострению социальной обстановки за пределами Донской земли. Характерно, что итоги «войны» С. И. Рябов рассмотрел, прежде всего, сквозь призму «социальной дифференциации и непримиримости интересов домовитого и голутвенного казачества» (Там же: 123). Одна из сильных сторон книги — анализ социальных отношений на Дону и последовательного наступления Москвы на казачьи вольности после присяги 1671 г. и вплоть до 1690-х гг. Так, историк исследовал новые случаи сопротивления и «воровства» донских казаков в указанный период, справедливо обратив внимание на внутри- и внешнеполитические факторы такого положения дел (Там же: 83–101). В 1996 г. Е. А. Кузнецова защитила кандидатскую диссертацию, связанную с историей «крестьянской войны» в период 1670–1671 гг. на территории Волго-Окского междуречья (Кузнецова 1996). В пространстве такого умеренного консенсуса между старой и новой историографической традициями выделяется бездоказательностью выводов диссертация М. В. Симоновой (Симонова 2017). С. Т. Разин, наряду с И. И. Болотниковым, К. А. Булавиным, И. Некрасовым и Е. И. Пугачевым, а priori объявлен автором *крестьянским вождем!* Произвольно характеризуя состояние современной историографии (М. В. Симонова даже не упоминает известную монографию В. М. Соловьева 1994 г.), автор пришла к парадоксальному выводу: «...современные историки представляют Разина как хладнокровного и расчетливого

преступника, подготовившего восстание ради получения наживы. Такая характеристика отражает финансовую заинтересованность авторов, которые пишут то, за что платят. До исторической истины им дела нет. Но сложилась малочисленная группа исследователей, которая продолжает работать с документами и использовать новые методы их изучения» (Там же: 118).

В диссертационном заключении М. В. Симонова подвела выразительный итог именно *своей* работе: «Общий вывод автора далек от оптимизма — историки не имели реальных шансов нарисовать портреты крестьянских вождей, хотя бы немного близкие действительности, вследствие скудости информации о них в исторических источниках, тенденциозности источников и самих историков» (Там же: 151–152). Упомяну о том, что диссертация М. В. Симоновой была успешно защищена в Диссовете по историческим наукам при Томском государственном университете в 2017 г. В одной из своих опубликованных работ М. В. Симонова постаралась сравнить образы С. Т. Разина в дореволюционной историографии и в русском фольклоре (Симонова 2015: 160–164). Однако выборка получилась нерепрезентативной. За «скобками» исследовательского внимания остались имена многих историков, а из фольклорных источников были проанализированы только исторические песни. Кроме того, характеристики «обобщенного образа» (?) С. Т. Разина в изложении дореволюционных историков свелись у М. В. Симоновой к тому, что атаман был «расчетливым, жестоким и коварным» (Там же: 163).

«Разинская тема» нашла закономерное отражение на страницах нескольких современных книг, посвященных правлению царя Алексея Михайловича (Андреев 2003: 531–555). Выразительно и точно (применительно к истории разных групп населения России XVII в.) здесь озаглавлен соответствующий параграф — «Стенькино время»... Автор справедливо указал на сложности реконструкции жизненного пути и побудительных мотивов в действиях мятежного атамана. Он отметил противоречивость разинской натуры — кажется, вполне в русле аналогичной, но более аргументированной концепции В. М. Соловьева. И. А. Андреев уделил немало внимания анализу социальной психологии народных низов, соотнес их как с ценностями донского казачества в целом, так и с личными поступками С. Т. Разина, насыщенными жестокостью и вместе с тем *постоянным движением!* В. Н. Козляков посвятил «Разинщине» два параграфа в своей фундаментальной книге о царе Алексее Михайловиче (Козляков 2018: 453–482). Среди выделенных им исследовательских сюжетов (на фоне традиционного освещения самого выступления) отмечу проблему *личного* отношения царя к событиям «Разинской войны» и к ее предводителю (Там же: 459). Это порождает новое отношение к биографии Алексея Михайловича, связанное с его непосредственным участием «в подавлении разинского выступления». Вспомним, что некоторые историки справедливо указывали на то, что Тишайший считал С. Т. Разина *своим личным врагом*. Заодно отмечу, что при реализации подхода, предлагаемого В. Н. Козляковым, появляется новая перспек-

тива в осмыслении так называемого розыскного дела С. Т. Разина, проанализированного в 1994 г. В. И. Бугановым, в том числе включавшего десять вопросов царя измученному пытками атаману (Буганов 1994: 28–42). Иногда историки переоценивают фрагментарность розыскных вопросов царя, считая их даже поверхностными (Мининков 2020: 220). Но в том-то и дело, что эти вопросы отражают неподдельный и окрашенный эмоционально интерес царя к конкретным событиям Разинского бунта, действительно указывают на его избирательное и даже эмоциональное (включая передачу такого чувства, как *любопытство*) отношение к «вору Разину». Вот почему эвристический потенциал данного текста, а также подобных по происхождению исторических источников недостаточно исследован учеными и, вероятно, еще недооценен в историографии.

В книжной серии «Жизнь замечательных людей» также была опубликована объемная книга М. Чертанова о С. Т. Разине (Чертанов 2016). Реконструируя его биографию, автор использовал небезупречный прием, связанный с одновременным пересказом/интерпретацией как исторических источников, так и художественной литературы о С. Т. Разине (Там же: 23–45). М. Чертанов проанализировал многие спорные вопросы биографии С. Т. Разина, реконструкции его внешности и характера, использования атаманом «самозванческой идеи» и пр. Главные события Разинского выступления тоже представлены в книге; другое дело, что в подавляющем количестве случаев М. Чертанов пересказывает

общеизвестные факты. Автор приписал С.Т. Разину планы создания русско-украинского «казачьего государства» (или просто — «казачьего государства») и объединения с украинцами (Там же: 76, 80, 115, 205–206, 279). Радикальный вывод М. Чертанова о так называемом государстве не находит подтверждения ни в источниках, ни в современной исторической науке — как в российской, так и в украинской. Историкам давно известно о попытках гетманов Правобережной Украины завязать контакты со С.Т. Разиным (*Кравець* 1991: 22; *Кравцов* 1934: 77–99; *Дорошенко* 1985: 343, 347–349). Другое дело, что данный сюжет не получил (незаслуженно!) своего развития в новейшей историографии — поэтому определенная заслуга М. Чертанова состоит в его актуализации! Вероятно, в среднесрочной перспективе могут быть реализованы новые исследовательские задачи при изучении «украинского следа» в истории Разинского выступления. Книга М. Чертанова — не научное произведение, хотя дело не в том, что она издана в серии «ЖЗЛ». Автор охотно, при этом — не критически, дает возможность читателям самим разобраться как в мифах о С.Т. Разине, так и в разных интерпретациях исторических источников. К разбору же хлесткой фразы («В общем, раздолье для мифов — кто во что горазд») автор ожидаемо привлек все те же художественные тексты о С.Т. Разине. Что же до отношения М. Чертанова к профессиональному историческому знанию, то оставляю без комментариев его следующее умозаключение: «...зачастую историки пишут как беллетристы, а беллетристы — как историки, и все выну-

ждены придумывать, повторять и заново осмысливать мифы: мы сами вольны решать, какие покажутся нам наиболее убедительными» (*Чертанов* 2016: 24).

Далее в очерке рассмотрены некоторые тематические направления и конкретные сюжеты из истории Разинского выступления, представленные в современной науке 2000-х гг., тоже характеризующие ее нынешнее состояние. Так, по-прежнему активно развивается научное направление, связанное с отражением Разинского выступления и фигуры ее лидера в художественной литературе и в фольклоре (*Гераськин, Шаронова*, 2015: 141–148; *Мауль* 2015: 76–86; *Климова* 2004: 223–233; *Шибанова* 2001: 79–86). В частности, В.Я. Мауль предложил следующим образом изучить важную проблему: сочетаются ли исторические данные о «Соловецких хождениях» С.Т. Разина с содержанием аналогичных сюжетов, представленных в художественной литературе? «Делается это для того, — пишет историк, — чтобы понять, насколько литературные источники позволяют или не позволяют расширить круг наших представлений об одном из самых знаковых событий в жизни С. Разина» (*Мауль* 2015: 79). В.Н. Королев обратился к известному в литературе сюжету об утоплении С.Т. Разиным нерусской (так называемой персидской) княжны (*Королев* 2004). Историк критически проанализировал свидетельства иностранцев — Я. Стрейса и Л. Фабрициуса, современников С.Т. Разина. По сути, он отрицательно ответил на вопрос об историчности сюжета с утоплением княжны. Вместе с тем В.Н. Королев пошел

далее многих предшественников, по-разному решавших тот же вопрос. Он изучил проблему достоверности известий об «утоплении княжны» на фоне другой, более крупной научной проблемы — о роли и месте женщин среди пленников, захват которых относился к числу *традиционных занятий* донских казаков. Новаторской выглядит постановка В. Н. Королевым вопроса *о женщинах и об алкоголе* в жизни казаков, неоднократно совершавших морские походы, а также о природе казачьей жестокости! Замечу, что в своей известной книге 2002 г. (Королев 2002) выдающийся историк оставил в «тени» магистрального повествования некоторые из подобных вопросов, по-прежнему являющиеся актуальными. Тема жестокости донцов, как проявления их массового сознания/поведения, недостаточно изучена в науке и сегодня. О. Ю. Куц — один из немногих современных авторов, предметно рассмотревших данную проблему в ходе анализа психологии и самосознания донского казачества (Куц 2009: 379–404). Таким образом, появляется интересная перспектива для рассмотрения действий разинцев против властей (получивших жесткую оценку в современной историографии — например, у В. М. Соловьева) не только в контексте психологии повстанческого насилия (Мауль 2003: 141–176), но и как проявления традиционных культурных установок казаков. С. Ю. Неклюдов системно рассмотрел демонологические аспекты фольклорного образа С. Т. Разина (Неклюдов 2014). Несомненная заслуга автора — в изучении самых разных «спусковых механизмов» для соответствующей фольклоризации указанного образа, связанных с фак-

тами как прижизненной, так и посмертной биографии атамана, в том числе распространявшимися в виде слухов при его жизни.

В. А. Шпрингель постарался исследовать формы и методы реагирования царской власти, центральных и местных органов на известия о планах и действиях повстанцев, на передачу информации по разным каналам в так называемом правительственном лагере (Шпрингель 2004а; 2006: 568–585). Такой подход представляется перспективным: роль и место военной и т. п. логистики не всегда учитываются современными историками при анализе успехов/провалов различных категорий царских войск, гарнизонов крепостей и пр. континентов в борьбе с разинцами. Одна из немногих важнейших современных работ на эту тему принадлежит А. В. Малову (Малов 2005: 59–106). Он достаточно подробно изучил роль московских выборных полков солдатского строя в борьбе с повстанцами как в ходе отдельных сражений, так и на территории повстанческих районов. А. В. Малов также обратил внимание на состав выборных полков и на судьбы служилых людей, из которых они состояли. Возвращаясь к работам В. А. Шпрингеля, замечу, что чаще всего он следовал традиционному пересказу тех или иных *событий* из военной истории Разинского восстания, включая историю его подавления царскими войсками. Указанный же автор обратился к анализу символических и вместе с тем прагматических действий повстанцев, направленных на упрочение их положения и властных претензий (Шпрингель 2004б: 320–324; 2005: 645–655). Говоря о теме военной

и другой логистики царских властей, направленной на подавление восстания, целесообразно обратиться к одной сюжетной линии в книге А. П. Пронштейна и Н. А. Мининкова. В ней неоднократно писалось как раз о разведке со стороны царских властей, об отправке ими шпионов и лазутчиков, о противоречивом характере известий от воевод и верхушки Войска Донского о разинцах (Пронштейн, Мининков 1983: 133, 138). На мой взгляд, стоит поддерживать такое «полуугасшее» направление исследований Разинского выступления: оно остается актуальным и перспективным.

Скажу об определенном развитии именно в 2000-е гг. нескольких тематических направлений, основательно разработанных еще в советской историографии — о роли и месте Разинского выступления в истории народов России; о связях С. Т. Разина и разинцев с «нерусскими народами»; о региональных особенностях указанного движения на разных этапах его истории. Сказанное относится и к истории взаимоотношений калмыков и разных групп донского казачества в годы «Разинщины» (Цюрюмов 2004: 112–114; Тепкеев 2012: 341–347). А. В. Цюрюмов пишет об истории калмыцко-повстанческих отношений, отметив дискуссионный характер их характеристики в историографии. Он справедливо указал на противоречивый характер известий о сотрудничестве калмыков с разинцами и на его изменение в ходе восстания (Цюрюмов 2004: 112–113). В. Т. Тепкеев остался сторонником мнения о том, что калмыки в целом не поддержали С. Т. Разина, движение которого, однако, повлияло

на внутренние усобицы в калмыцком обществе. А. В. Беляков обратился к региональным особенностям Разинского выступления в Мещерском крае, включая Шацкий, Кадомский, Касимовский уезды, а также в Тамбовском уезде (Беляков 2003: 32–38). А. В. Бауэр и С. С. Пашин актуализировали возможности микроисторического исследования при анализе все тех же региональных особенностей Разинского выступления (Бауэр, Пашин 2018: 193–204). На примере участия в нем жителей Лысковской и Мурашкинской волостей (Среднее Поволжье) авторы рассмотрели действия конкретных «сельских миров» в период 1670–1671 гг., включая их готовность/неготовность сотрудничать с повстанцами (в том числе опираясь на количественные показатели), отношения с властями после их разгрома, а также материальные потери мурашкинцев и лысковцев от действий разинцев и правительственных войск.

Крупный региональный сюжет по истории Разинского движения представлен в трудах П. Л. Карабущенко (Карабущенко 2006: 54–63; 2008). Этот современный исследователь свел предпосылки и причины руководимого С. Т. Разиным движения к банальной «криминальной версии» — т. е. к изъятию у разинцев астраханским воеводой И. С. Прозоровским «персидской добычи». Между тем данный вывод не находит убедительного подтверждения в документальных источниках (часть которых, о появлении С. Т. Разина в Астрахани в 1669 г., была опубликована А. Поповым еще в 1857 г.). П. Л. Карабущенко находит зашифрованную информацию

о сокровищах в полуполюгендарном известии о «персидской княжне» и полагает, что в вооруженном мятеже винить нужно не С. Т. Разина, а «жадность астраханских воевод, спровоцировавших своим эгоизмом такое массовое выступление» (Там же: 62). С. Т. Разин превратился под его пером в «разбойника с большой дороги», буквально «обвешанного» такими штампами, как «патологический пьяница и садист», «главная патология персонализма (философии личности)», «кровавый злодей, провокатор массового избиения русского народа» (Карбущенко 2008: 237, 253). Бесперспективность столь радикального подхода очевидна — даже при изучении такой сложной темы, как *причины и мотивации* повстанческой жестокости. Вместе с тем П. Л. Карбущенко справедливо обратил внимание на *материальную* подоплеку действий повстанцев, не всегда находившуюся в поле зрения советских историков. Между тем многие стороны истории Разинского выступления логично связаны с «вопросами собственности», с отношением донских казаков к богатству и к дележу добычи — так называемому дувану (Соловьев 1994: 180; Усенко 2006а: 87–90, 94–95). Эти проблемы перспективно изучать в связи с массовым сознанием донцов, важную роль в котором традиционно «играло стремление к личному обогащению на войне или в разбойном походе» (Усенко 2007: 28). В самом деле — добыча, включая материальные трофеи и ясырь, весьма интересовала С. Т. Разина и его сторонников, причем *такая* история Разинского выступления еще не написана! Н. С. Канатьева постаралась уточнить некоторые детали штурма разинцами

Астраханского кремля летом 1670 г. (Канатьева 2018: 29–40), неявно актуализировав важную научную тему (почти «заброшенную» современными учеными) — о *составе противников* С. Т. Разина и разинцев.

А. А. Булычев вновь обратил внимание современных специалистов на способ расправы царских властей с С. Т. Разиным и на судьбу его останков (Булычев 2005: 54). Исследователь справедливо рассмотрел подобные аспекты в связи со способами казни и (не)погребения преступников, практиковавшимися в России эпохи Средневековья и Нового времени. На мой взгляд, можно действительно говорить о символической связи подобных действий с культом «заложных» покойников, обреченных на вечные загробные страдания. В той же связи обращу внимание на статью С. М. Каштанова о месте захоронения останков С. Т. Разина (Каштанов 2014). Тело атамана было рассечено на части, туловище отдано на съедение собакам, а другие останки — растыканы по высоким деревьям на Болотной площади (на Болоте / Козьем болоте) в Москве, где они находились еще в 1676 г. Позже (когда именно?) эти останки были преданы земле неизвестными людьми на окраине Татарского кладбища, локализованного С. М. Каштановым. Любопытна версия ученого об исполнителях такого захоронения (ямщики Коломенской ямской слободы). Предположу, что захоронение останков (как практика *нормального* упокоения «тела» казненного атамана) С. Т. Разина действительно могло быть совершено простыми людьми, а не по приказу царских властей. Речь о том, что душа преданного

анафеме и непогребенного С. Т. Разина, по мысли *именно церковных и светских властей*, не должна была упокоиться никогда. Эти комментарии — в пользу версии С. М. Каштанова, только если не признавать *определяющим основанием* для действий властей по захоронению останков С. Т. Разина богобоязненность нового царя Федора Алексеевича.

Автор историографического обзора изучил историю взаимоотношений Крымского ханства и Войска Донского в период движения под предводительством С. Т. Разина, акцентировав внимание на переписке правящих Гиреев с мятежным атаманом (Сень 2013: 90–98). Эта малоизученная в науке тема была необходимым образом связана с реконструкцией архива Войска Донского, а также с историей документированных отношений донцов не только с Россией, но и с другими государствами, в том числе с восточными (Сень 2009а: 20–57, Сень 2014: 479–488). По аналогии с другими случаями, представленными в обзоре, проведу необходимые параллели с достижениями советской историографии. В. И. Буганов подробно исследовал проблему так называемого повстанческого архива «второй крестьянской войны» (Буганов 1975: 92–89; 1978: 46–56), справедливо обратив

внимание на роли письменных документов в деятельности повстанцев. С. Ф. Фаизов изучил некоторые вопросы русско-крымских отношений в годы «крестьянской войны 1667–1671 г. под предводительством С. Т. Разина» (Фаизов 1985: 117–123). Он указал на противоречивое отношение Крыма к успехам повстанцев и к перспективам установления прямых контактов ханов с мятежным атаманом. Этот историк раньше, чем М. В. Кравец (Кравец 1991: 21–25)⁴, обратил внимание на исключительно важный архивный документ из РГАДА — копию письма 1670 г. крымского хана Адиль-Гирея, адресованного С. Т. Разину. Кроме того, С. Ф. Фаизов сравнил реакции крымцев и азовских турок-османов на события Разинского выступления. Вместе с тем его общий вывод о характере намечавшихся контактов атамана и повстанцев с ханом⁵ не представляется возможным использовать в настоящее время. Тезис ученого о «последовательном патриотизме» повстанцев, о зрелости «классового самосознания участников и руководителей второй Крестьянской войны» как факторе их отношений с Крымом не выдерживает критики (Фаизов 1985: 120). Еще одна работа (Сень 2009б: 138–142) посвящена положению донского казачества в «постразинский

⁴ В свое время я указал на приоритет М. В. Кравец в изучении данного документа, к сожалению, тогда не располагая подробной информацией об оставшейся неопубликованной кандидатской диссертации С. Ф. Фаизова: «Украинская исследовательница М. В. Кравец нашла и опубликовала до того неизвестное в науке письмо крымского хана Адиль-Гирея Степану Разину от 3 (13) августа 1670 г. находка, по-нашему мнению, имеет принципиальное значение для развития научной дискуссии о формах и способах коммуникации Войска Донского с крымскими ханами в XVII в., не говоря уже о более масштабной проблеме — истории дипломатической деятельности повстанцев» (Сень 2013: 92). Полагаю неизменным свой прежний вывод о значении для науки именно *археологической публикации* М. В. Кравец.

⁵ «Ни до поражения под Симбирском, ни после него они (повстанцы. — Д. С.) не желали входить в союз со злейшими врагами русского народа» (Фаизов 1985: 120).

период», ухудшившемся под влиянием разных, в том числе внешнеполитических факторов. Вновь обращу внимание на то, что это время в истории Войска Донского — в связи с «отложенными» последствиями Разинского движения — и сегодня редко привлекает современных авторов. Между тем работы Б. Боука, Н. А. Мининкова, С. И. Рябова и некоторых др. историков могли бы стимулировать новый научный поиск, «ликвидируя» разрыв в изучении периода между Разинским и Булавинским движениями.

Известный зарубежный славист К. Ингерфлом представил исключительно своеобразную реконструкцию символической (магической) борьбы С. Т. Разина с монархической властью Алексея Михайловича (*Ингерфлом* 2021: 132–152). По мнению ученого, С. Т. Разин магическим образом использовал для этого образ царевича «лже-Алексея». Однако в пределах одного кейса К. Ингерфлом противоречиво отвечает на вопрос об отношении разинцев к реальности/фантомности лжецаревича. С одной стороны, бунтовщики якобы *придумали* царю наследника, не имевшего «воплощения» (Там же: 143); с другой стороны — они же якобы отложили «явление царевича... на случай взятия Москвы» (Там же: 140). Историк утверждает, что «в разгар восстания Разин *разработал собственную стратегию и построил* (выделено мной. — Д. С.) вокруг тени самозванца особый магический ритуал» (Там же: 150). Не менее категоричным и, как представляется, неверифицируемым предстает другое суждение ученого: «Разин и его люди выдвинули против царствующего государя

его дискурсивного двойника, бестелесного будущего Государя» (Там же: 142). Представляется, что такая умозрительная, хотя и изящная, конструкция может вызвать серьезную критику по причине препятствий для ее источниковой верификации, а также в связи с необходимыми методическими ограничениями исторических реконструкций. Некоторые аргументы и другие составляющие исследовательского метода К. Ингерфлома о С. Т. Разине как о колдуне (его «поза колдуна» по дороге в Москву как пленника; «прельщение» атаманом людей — якобы означавшее бесовские действия и пр. (Там же: 135)) представляются недостаточно аргументированными.

Вызывает несогласие категоричное приписывание повстанцам *магического* смысла их рассуждений и действий, якобы дезавуировавших царский авторитет или развенчивавших/дискредитировавших царя. Безусловно — *стихийность, бессмысленность* Разинского выступления — историографический миф. Собственно, глава в новаторской книге К. Ингерфлома — как раз об обратном, в том числе о реконструкции массовых социально-психологических представлений повстанцев, об их отношении к самозванчеству, к монархической идее и пр. Во всем этом — несомненное историографическое значение монографии К. Ингерфлома. Но стоит ли гиперболизировать *рационализм* атамана и его сторонников на случай победы в том смысле, что «мятежники расчищали пространство для размышлений о суверенной политической власти, об имманентной, основанной на социальном представительстве легитимности»? (Там

же: 145–146). С. Т. Разин, следуя под конвоем в Москву после своего пленения, не *сидел* в позе, якобы присущей колдуну — как пишет К. Ингерфлом, а *стоял* (Казаков, Майер 2017: 228; Крестьянская война... 1976: 62). Глаголы «прельщати»/«прельстити» (а также слова, близкие им по звучанию) напрямую не соотносятся с якобы магическими и т. п. действиями: они имеют иные коннотации, соотносимые с введением человека в грех, соблазн, искушение, заблуждение, обман и пр. (Словарь 1992: 257–260, 267–269). При этом не приходится сомневаться в том, что С. Т. Разин был наделен частью «колдовских» характеристик еще при своей жизни (Неклюдов 2014). Дело в другом — царские и церковные власти, насколько известно, *целенаправленно* не обвиняли атамана в колдовстве/магии, не использовали специально данный аргумент для дискредитации мятежного атамана и его сторонников. Об этом ничего не говорится в двух главных обвинительных документах, адресованных С. Т. Разину и его сподвижникам. Речь идет о содержании двух текстов: во-первых, приговора атаману, во-вторых, его анафемствования, наполненных всевозможными инвективами (вор, богоотступник, крестопреступник, изменник, душегубец, разбойник и пр.) (Крестьянская война... 1962: 83–87; 392–393). Ни один из этих важнейших документов (причем в нашем распоряжении множество других подобных текстов!) не отсылает *современников* к характеристикам, на которых настаивает К. Ингерфлом, полагающий, что Алексей Михайлович не сомневался в том, что С. Т. Разин — колдун! (Ингерфлом 2012: 136). Замечу, что даже в завершающей части анафем-

ствования атаман и его соратники ассоциируются исключительно с Дафаном и Авироном (Крестьянская война... 1962: 393) — *мятежниками* из Ветхого Завета. Резюмирующая часть приговора С. Т. Разину не менее показательна — его полагалось казнить «злой смертью» за измену и за разорение «всему Московскому государству» (Там же: 87). Повторюсь, что в основном тексте приговора — ни слова о его так называемых колдовских деяниях... С. Т. Разин оставался для царских и для церковных властей в первую очередь вором, богоотступником и изменником (Крестьянская война... 1954: 164)!

Замечу, что часть своей оригинальной концепции К. Ингерфлом сформулировал задолго до выхода анализируемой книги, а именно — в статье 2003 г. (Ингерфлом 2003: 65–96). В ней приведены свидетельства, подтверждающие, по мнению автора, тезис о роли магических слов и действий разных категорий русских людей, необходимый для объяснения ответных реакций со стороны царских властей. В тексте статьи немало говорится об оценке многочисленных действий С. Т. Разина и его сторонников как колдовских и еретических. Действительно, резонно задаться об оценках «воровства» разинцев в категориях анализируемой культуры, в том числе рассмотрев роль и значение в жизни повстанцев заговоров, воинской магии и т. п. В этом — одна из самых сильных сторон новаторской для историографии Разинского выступления статьи К. Ингерфлома, призывающей сосредоточиться на дискурсе восставших, а в объяснении их массового поведения — выйти за рамки концепции,

«сформированной правящей элитой» (Там же: 87). Но далее автор конструирует умозрительную модель поведения С. Т. Разина, якобы сознательно дезавуирующего образ царя в ходе реализации особого варианта самозванческой идеи. Рассмотрев разные аспекты отношения повстанцев к идее символического «воскрешения» царевича Алексея, автор высказал оригинальную гипотезу. Ее суть в том, что «царевич был выдуман в преддверии события, в конечном итоге не состоявшегося — взятия Москвы» (Там же: 80). Выражу поэтому глубокое сомнение в связи с маркированием всех форм культурного антиповедения повстанцев как колдовских, после чего становится якобы «очевидным»: С. Т. Разин магически «боролся» с Алексеем Михайловичем, тем самым лишая его сана.

Иная трактовка повстанческого монархизма и роли С. Т. Разина в самозванческой интриге того времени представлена в статье О. Г. Усенко (Усенко 1999: 70–93). Его же перу принадлежит обзорная статья по истории Разинского движения (Усенко 2006б: 70–74). При этом другие работы историка имеют существенное значение при реконструкции массового сознания донских казаков и их социокультурных представлений/установок (Усенко 2006а: 85–108; 2007: 24–48). Историк является сторонником мнения об уважительном отношении разинцев к царю и о поводе к восстанию, связанном со слухами о боярском заговоре против царя (Усенко 1999: 78). Отражение такого повода О. Г. Усенко находит в словах атамана, сказанных на круге под Паншиным (апрель 1670 г.):

о смертях царицы и двух царевичей — Алексея и Семена, случившихся между мартом 1669 г. и январем 1670 г. О. Г. Усенко изучил многочисленные ситуации, свидетельствующие, по его мнению, о том, что разинцы не выступали открыто против царя; что многие их «антимонархические» дела имели иную природу, нежели конфликт с верховной властью. Историк критически разобрал аргументы предшественников о том, кто из современников мог выдавать себя за умершего царевича Алексея. Он пришел к выводу, правда, базирующемуся на системе косвенных доказательств, что С. Т. Разин не имел отношения к самозванческой интриге с лжецаревичем Алексеем и что самозванец действительно существовал. Безусловно, подобные интерпретации не только способствуют приращению научного знания, но также стимулируют дальнейший научный поиск и дискуссию. Например, почему самозванец, если он существовал, так и не «объявил» о себе? Заслуживают внимания слова О. Г. Усенко о необходимости более тщательного объяснения тех или иных действий повстанцев, не обязательно связанных с их антимонархическими взглядами. В частности, речь идет об их отношении к царским грамотам — одни из которых могли считаться подлинными, а другие — подложными (Там же: 79–82).

Не все аргументы этого крупного современного историка могут быть приняты как окончательные. Так, царский посланник жилец Г. Евдокимов был убит в Черкасске 12 апреля 1670 г. вряд ли за то, что якобы считался лазутчиком, как посчитал О. Г. Усенко. Напротив, в Войске

Донском было хорошо известно о приезде нового посланца с царской грамотой, хотя и прибывшего на Дон не вполне «стандартным» для этого путем. Приняли его в Черкасске подобающим образом — казакам не приходилось сомневаться в статусе Г. Евдокимова! На провокационный вопрос *неожиданно* появившегося в Черкасске С. Т. Разина («...от кого он поехал, от великого государя или от бояр?») Г. Евдокимов честно отвечал, «что послан от великого» государя с его... милостивою грамотою» (Крестьянская война... 1954: 165). Но *конфликт* был нужен именно С. Т. Разину⁶: поэтому он и осмелился напасть на царского посланца, жестоко избив его; именно после указанного события он обратился к войсковому атаману К. Яковлеву со знаменитыми словами («...ты де владеи своим войском, а я де владею своим войском») (Там же: 165). Поэтому справедливы слова А. П. Пронштейна и Н. А. Мининкова о том, что события, случившиеся 12 апреля в Черкасске, «имели очень большое значение для дальнейшего развития Крестьянской войны» (Пронштейн, Мининков 1983: 134).

Далее — об анализе слов С. Т. Разина, сказанных им на круге после 12 апреля 1670 г. о случившихся в царском доме трех смертях и якобы об измене в царском дворце. Представляется, что для доказательства тезиса о том, что «толчком к восстанию послу-

жило известие о смерти царевича Алексея» (Усенко 1999: 85), аргументов недостаточно. Почему же — *одного* царевича, если к тому времени умерли царица Мария Ильинична (3 марта 1669 г.), царевич Симеон (19 июня 1669 г.) и царевич Алексей (17 января 1670 г.)? Почему же до апреля 1670 г. С. Т. Разин якобы медлил с поводом выступить против бояр-изменников и чего ждал? Почему аналогичный мотив «измены» не был озвучен им на круге в Черкасске зимой 1669/1670 г., когда он «с ножом метался» на К. Яковлева и когда в живых уже не было царицы и царевича Симеона? К слову, в другом месте статьи О. Г. Усенко иначе описал повод к восстанию, связав его с *боярским заговором* против царя (Там же: 78). Между тем на казачьем круге, состоявшемся под Паншиным в апреле 1670 г., С. Т. Разин сначала заговорил о походе с Дона *на Волгу*, а уже оттуда — «в Русь против государевых неприятелей и изменников...» (Крестьянская война... 1954: 235). И только после этих слов он сказал о смертях в царской семье, *не явно* связав подобные известия с планами «им... всем постоять и изменников из Московского государства вывести и чорным людем дать свободу» (Там же: 235)⁷. Далее С. Т. Разин с казаками озвучил свой список «злых» и «добрых» бояр, характеристики которых («злых»), опять же, не связаны в источнике со смертями членов царской семьи.

⁶ Также см. интересную версию В. М. Соловьева об амбициях С. Т. Разина в связи с тем самым конфликтом на кругу и с нападением на Г. Евдокимова (Соловьев 1994: 78).

⁷ Е. А. Швецова интерпретировала данный сюжет все же иначе: с одной стороны, она указала на «царистский характер» высказываемых атаманом взглядов, с другой — на то, что «следовавшие одно за другим известия о смерти нескольких членов царской семьи... дали повод для возникновения слухов о *насильственном характере этих смертей* (выделено мной. — Д. С.)» (Крестьянская война... 1954: 279).

Иные подробности конкретно *этого* круга (разве что предположить, что речь шла о другом круге, но состоявшемся тоже в Паншине?) известны по показаниям еще одного современника — казака Н. Самбуленко (Там же: 253). Подробно переданы в них слова С. Т. Разина, хотя и по-другому, нежели в вышеприведенном источнике. Их основной мотив якобы был следующим: «...куда мы пойдем отсюда, на море ли по Волге или к иному царю служить?» (Там же: 253). Казачья старшина отвечала, что другому царю служить не желает, «а пойдем де мы все на Волгу на бояр и воевод». При этом — *ни слова о походе на Москву, ни об измене и заговоре, ни о смерти царицы и царевичей* — впрочем, при подчеркнута уважительном отношении С. Т. Разина к царю (Там же: 253).

Обращусь к истории еще одного казачьего круга (подчеркну, *до* круга в Паншине), состоявшегося в Черкасске, на котором выступил С. Т. Разин и который датировался историками по-разному. Его хронологию в науке порой соотносят с событиями после 12 апреля 1670 г. (*Пронштейн, Мининков* 1983: 135; *Мининков* 2020: 216), а вот А. Г. Маньков связал проведение данного круга с зимой 1669/1670 г. (но в любом случае — с событиями *до* 12 апреля 1670 г.) (*Маньков* 1967: 266, 279). Повторюсь — на тот момент (если принять версию А. Г. Манькова о датировке круга⁸) в живых не было царицы и царевича Симеона. С тех

пор прошло достаточно времени, чтобы к зиме 1670 г. на Дону казаки узнали об этом и, ожидаемо, крепко прониклись бы слухами и ненавистью к «боярам-изменникам». Еще больше сомнений в интерпретации О. Г. Усенко конкретного повода к восстанию оказывается в случае привязки данного круга к событиям после 12 апреля 1670 г. (по версии А. П. Пронштейна и Н. А. Мининкова). В таком случае к двум смертям в царской семье «добавилась» еще одна (царевича Алексея) — в том смысле, что известия о ней, казалось, должны были еще больше накалить обстановку на Дону... Не мог же только С. Т. Разин переживать соответствующие монархические чувства! Но что происходило в Черкасске на том круге? Оказывается, что есаулы доложили казакам, «что под Озов ли итить, и козаки де... про то все умолчали» (*Крестьянская война...* 1954: 162). На вопрос о том, «на Русь ли им на бояр итить», ответили согласием только «небольшие люди». Когда же есаулы «докладывали» собравшимся в третий раз, «что итить на Волгу, и они де про Волгу завопили» (Там же: 162). Подчеркну, что о смерти царицы и царевичей на том круге не говорили: согласно документу, никто об этом не тревожился; поход на Волгу открывал казакам *совершенно иные перспективы*, о чем многократно писалось в советской историографии! Обобщая вышеприведенный материал, отмечу следующее: трудно не видеть прямой заинтересованности С. Т. Разина и его ка-

⁸ Автор склонен согласиться с мнением А. Г. Манькова, и вот почему: у К. Косого, скорее всего, не было другого повода вспоминать весной (!) 1670 г. о своей зимовке в Черкасске 1669/1670 г., нежели в связи с «разинским кругом» (*Крестьянская война...* 1954: 162).

заков в походе именно на Волгу⁹ — что и было вскоре реализовано повстанцами без нарочитой увязки столь желанной цели с печальными событиями в царском дворце!

Ссылаясь на иностранные источники, О. Г. Усенко утверждает, что «в июне 1671 г. вслед за главарем восставших казнили также “молодого человека, которого Стенька Разин выдавал за старшего царевича”» (Усенко 1999: 87). Обратимся к свидетельству К. ван-Кленка, приводимому в подтверждение тезиса о казни в Москве якобы самозванца — лже-Алексея. В 1676 г. голландец сообщал о своем намерении увидеть «голову и четвертованные останки трупа Стеньки Разина... а также голову молодого человека, которого... Разин выдавал за старшего царевича или сына царя: этот последний, по прибытии сюда, также был казнен, а голова его была выставлена на показ» (Койэт 1900: 446). В источнике нет отсылки к 1671 г. как времени казни этого самозванца. Не исключено, что К. ван-Кленк писал об останках С. Воробьева, выдававшего себя за младшего сына Алексея Михайловича — Симеона. Вот что писал об обстоятельствах казни С. Воробьева (1674 г.) Н. И. Костомаров: «Члены казненного стояли на кольях на Красной площади до 4-го часа следующего дня (до 10 часов утра) и перенесены с колыями на болото “и поставлен вор со Стенькою Разиным”» (Костомаров 1880. URL: <https://unixone.ru/letopis/7EEA947E-4E1A-4B82-9510-F9158E5B89EE/>). Другой ино-

странный источник, использованный О. Г. Усенко, не позволяет соотнести казненного сразу за С. Т. Разиным второго («другого») мятежника, с лже-царевичем (Иностранные известия 1975: 123). Этот человек скупо охарактеризован в тексте как «мятежник»: другой информации там о нем нет.

Наконец, если в статье утверждается, что «на протяжении всего выступления главным лозунгом был призыв “стоять за великого государя”» (Усенко 1999: 78–79), то потребуются новые объяснительные аргументы для характеристики других, не менее важных наблюдений за поведением повстанцев начиная со второй половины 1670 г. Мимо них пройти нельзя: речь, например, о том, что в тот период едва ли не исчезло упоминание повстанцами имени царствующего монарха в молитвенных практиках. В подобном ключе чаще озвучивались другие имена, объединенные в неслыханную триаду — *бывшего патриарха Никона, царевича Алексея и самого С. Т. Разина*; либо в такой связке — «царевич Алексей / С. Т. Разин», либо — «царевич Алексей / Никон», либо один царевич (Крестьянская война... 1957: 75, 109, 145; 1959: 186). Не менее символичным предстает другой выпад разинцев против власти, прослеживаемый по источникам со второй половины 1670 г. — заставлять людей при живом царе присягать царевичу Алексею (Крестьянская война... 1959: 168)¹⁰. Ведь К. Ингерфлом недаром заметил, что «...в сентябре и октябре повстанцы

⁹ О вполне рациональных причинах повстанческого интереса именно к волжскому направлению см. также (Пронштейн, Мининков 1983: 135).

¹⁰ Другое дело, что еще в июне — сентябре 1670 г. повстанцы регулярно действовали именем царя, в том числе связывая присягу конкретно с его именем (Крестьянская война... 1954: 252; 1957: 65, 91).

присягают на верность царевичу, прямо покушаясь на авторитет царя: крестьянам вменялось в обязанность молиться за царевича, Разина и, иногда, за опального патриарха Никона. Правящий монарх оказался исключенным из этой триады» (*Ингерфлом* 2003: 69). Действительно, стоит обратить дополнительное внимание на неслучайное совпадение во времени следующих фактов: 1) появления известий о живом царевиче Алексее среди разинцев и 2) снижения частотности *соответствующих* (по конкретному поводу) упоминаний повстанцами имени царя Алексея Михайловича.

В зарубежной историографии 2000-х гг. появилось несколько новых работ, тематически связанных с историей Разинского движения. Американский историк Б. Боук уделил ему немало страниц в своей фундаментальной книге, изданной на основе защищенной докторской диссертации (*Boeck* 2009: 68–85). Он верно указал на ухудшение положения донского казачества к середине 1660-х гг., отметив ошибочность вывода ученых о том, что выход для казаков в Черное море был тогда якобы полностью перекрыт. Историк тщательно проанализировал примеры, свидетельствующие, по его мнению, о компромиссной политике властей по усмирению донских казаков, начиная с похода В. Уса и заканчивая событиями 1670-х гг. Автор никак не характеризует отношение вождя движения к самозванческой идее. Что до монархических взглядов атамана, то Б. Боук только указал на его апеллирование к «наивному монархизму» и к вере в хорошего царя. Историк справедливо написал о пролонгированных итогах

и результатах Разинского движения, определив хронологию «эры Разина» в пределах 1667–1681 гг. Одним из таких результатов стало, по его мнению, появление *большой группы* лояльных правительству казаков, признававших необходимым сотрудничество с ним (*Ibid.*: 73–74). Б. Боук рассмотрел и такой важный для науки вопрос, как разногласия между московским правительством и Войском Донским, после подавления Разинского движения, по вопросу выдачи с Дона! Анализируя состояние российской внешней политики в 1670-е гг. и заинтересованность власти в потенциале Войска Донского, Б. Боук посчитал *объяснимой* «беспрецедентную, неавтократическую гибкость правительства по отношению к донскому региону» после 1671 г. (*Ibid.*: 82).

Г. М. Казаков и И. Майер успешно изучают крупную исследовательскую проблему — выявление и анализ иностранных (европейских) письменных и изобразительных источников о С. Т. Разине и возглавляемом им движении — в том числе сквозь призму европейских культурных представлений о Московии (*Казаков, Майер* 2017: 210–243; 2018: 95–107; *Kazakov* 2017: 34–51; *Maier* 2017: 113–151). В частности, они изучили «отуречивание» и «ориентализацию» образа С. Т. Разина в западно-европейских источниках на примере немецких печатных изданий. В ходе осмысления культурного подтекста данной метаморфозы авторы проанализировали «ориентальные» черты внешности атамана, отраженные в периодике, роль слухов и т. п. информации в формировании конкретных (по большому счету — однотипных)

европейских представлений о движении С.Т. Разина и его личности. Аргументировано вписана ими в указанный контекст история такой терминологической метаморфозы в отношении С.Т. Разина, отразившейся во многих печатных изданиях Европы, как «атаман→ottoman» (*Казаков, Майер* 2018: 103–106). Считаю, что данный культурный казус можно успешно использовать при изучении в целом информационного пространства Разинского выступления, образы которого активно формировались и распространялись за пределами Московского царства, включая Европу и государства Востока. Важно при этом выявлять источники получения за границей информации о восстании (какими бы «ошибочными» или двусмысленными они ни (о)казались), интерпретируя их в контексте породившей их культурной среды.

Огромная заслуга тех же авторов состоит в обнаружении и вводе в научный оборот писем подданного шведской короны купца К. Коха (отправленных из Москвы в Нарву в мае – июне 1671 г.), в том числе посвященных поимке, допросу и казни в Москве С.Т. Разина (*Казаков, Майер* 2017: 210–243). Благодаря свидетельствам этого очевидца, наука получила новые важные данные о внешности атамана, об обстоятельствах доставки его с братом в Москву и совершенных над ними пыток, а также о казни самого С.Т. Разина. Выясняется, что быстрое появление в европейской периодике подобных известий оказалось связано в том числе с пропагандистской кампанией московского правительства. Теми же авторами приведены убедительные аргументы в пользу русского проис-

хождения карандашно-акварельного рисунка, изображающего ввозимых в Москву С.Т. Разина и его брата – Ф.Т. Разина, созданного до их казни. По всей видимости, именно этот рисунок, созданный в одном из московских приказов, послужил прототипом для ряда аналогичных по содержанию европейских гравюр. Полагаю, что перед нами – одно из наиболее крупных новейших достижений в источниковедении истории Разинского движения и достойное основание для дальнейших поисков иностранных известий о нем.

В заключение обращусь к выводам. Проведенное исследование показало, что новейшая историография истории Разинского выступления отражает многие характеристики сегодняшнего положения дел с изучением народных движений в России середины XVII–XVIII в. Речь идет не только о закономерном сокращении в 1990–2000-е гг. количества крупных исследований по истории «Разинщины» – в том числе «по причине» фундаментального наследия советской исторической мысли. В российской науке почти не разрабатываются, за малым исключением, источниковедческие аспекты этого крупнейшего народного движения XVII в. Сошла на нет проверенная временем традиция историографических обзоров по теме – применительно к научным результатам как новейшей историографии (а ведь она насчитывает уже *30 лет* существования!), так и дореволюционной/советской науки. Современные научные дискуссии – по наиболее актуальным вопросам истории Разинского движения – были представлены до недавнего времени на страницах небольшого

количества статей. Полемика, вызванная недавней книгой Н. И. Никитина, отразила по преимуществу проблемные точки в развитии конкретного тематического направления, нежели предложила пути консолидированного выхода из состояния, обозначенного В. Я. Маулем еще в 2003 г. следующим образом: «В плену традиций и новаций»! Несколько новых защищенных кандидатских диссертаций 1990–2000-х гг., тематически связанных с историей Разинского выступления и с личностью С. Т. Разина (*три* как минимум!), не изменили, по ряду причин, состояние историографического пространства. Историки сегодня практически не ссылаются на две из них, как представляется, с полным на то основанием...

Вместе с тем можно уверенно дать отрицательный ответ на вопрос, обозначенный в заглавии статьи. Прежде всего — современное историографическое пространство данной темы не оставалось неизменным на протяжении 1990–2000-х гг. Сегодня можно выделить два подэтапа в его истории, условная граница которых — конец 1990-х — начало 2000-х гг. Более того, они не вполне равнозначны по направленности исследовательского поиска и полученным результатам. Хотя современная историография истории Разинского движения по-прежнему испытывает влияние советской исторической науки, причем в 1990-е гг. обошлось без намеренно жесткого («показательного») разрыва с ней. Определенная и не единственная специфика первого подэтапа состояла, например, в том, что еще в 1990-е гг. над разинской темой трудились ученые, занимавшиеся ею еще в бытность СССР.

А что касается «отмены» концепта крестьянской войны, то и в 2000-е гг. часть ученых признает за ним определенный эвристический потенциал.

И все же — именно в 1990-е гг. заложены принципиальные основы для преодоления крайностей так называемого классового подхода и изучения только «правильных» сторон народной жизни «угнетаемых повстанцев». Была создана новая теоретическая база для использования такого понятия, как «русский бунт», «дискредитированного» несколькими предыдущими поколениями историков. Активно развивается новое направление, заложенное усилиями В. М. Соловьева, В. Я. Мауля, О. Г. Усенко, связанное с изучением социальной психологии участников народных движений, в том числе таких феноменов культуры, как психология протеста и повстанческое насилие/жестокость. Несомненно, что новейшие труды группы российских и зарубежных ученых о самозванчестве, о казачьем монархизме, о донском казачестве XVII в. стимулируют дальнейшее развитие исследований по истории Разинского движения. Это тем более важно для современной историографии, что именно в конце 1990-х — 2000-х гг. были аргументированы наиболее заметные (при этом противоположные!) точки зрения о роли народного монархизма и самозванчества в истории «Разинщины». Активизировалось изучение российскими учеными конкретно-исторических (в том числе региональных) сюжетов о событиях этого выступления, в том числе методами микроистории. В ряде случаев успешно решается научная проблема о составе

самих разинцев, о формах и методах реализации их власти на разных территориях, так и «правительственного лагеря», сумевшего методом проб и ошибок системно подавить движение. Поступательно развивается аналитический интерес ученых к личности и к оценкам самого С. Т. Разина — и как «места памяти», и как фольклорного героя, и, конечно, как живого человека, обладавшего огромной *реальной* властью над повстанческими массами.

Отдельно выделю достижения зарубежной историографии, также демонстрирующей в 1990–2000-е гг. устойчивый исследовательский интерес ученых Старого и Нового Света к истории движения С. Т. Разина и донского казачества. Здесь очевидны серьезные наработки в области источниковедения истории указанного выступления, оценки в нем роли и места так называемого народного монархизма и самозванческой идеи. К сожалению, ссылки на работы Б. Боука, К. Ингерфлома, Г. Казакова, И. Майер, М. Ходарковского и др. специалистов нечасто встретишь на страницах трудов современных российских авторов, занимающихся изучением «Разинщины». Необходимые рефлексии по этому поводу — тема отдельного разговора. Надеюсь, что предложенный читательскому вниманию обзор некоторым образом поспособствует реализации новой академической дискуссии. Ее реализация и возможные результаты (поскольку нерешенных проблем накопилось немало, а их исследование предполагает разные пути) можно будет обратить в пользу всех специалистов, профессионально изучающих историю народных движений в России XVII–XVIII вв.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Иностранные известия 1775 — Иностранные известия о восстании Степана Разина. Материалы и исследования / под ред. А. Г. Манькова. Л.: Наука, 1975.

Койэт 1900 — *Койэт* Б. Посольство Кунраада фан-Кленка к царям Алексею Михайловичу и Фёдору Алексеевичу. СПб., 1900.

Крестьянская война... 1954 — Крестьянская война под предводительством Степана Разина: сб. док. / сост. Е. А. Швецова, ред. А. А. Новосельский, В. И. Лебедев. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. I.

Крестьянская война... 1957 — Крестьянская война под предводительством Степана Разина: сб. док. / сост. Е. А. Швецова, ред. А. А. Новосельский. М.: Изд-во АН СССР, 1957. Т. II. Ч. I.

Крестьянская война... 1959 — Крестьянская война под предводительством Степана Разина: сб. док. / сост. Е. А. Швецова, ред. А. А. Новосельский. М.: Изд-во АН СССР, 1959. Т. II. Ч. II.

Крестьянская война... 1962 — Крестьянская война под предводительством Степана Разина: сб. док. / сост. Е. А. Швецова, ред. А. А. Новосельский. М.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. III.

Крестьянская война... 1976 — Крестьянская война под предводительством Степана Разина: сб. док. / сост. Е. А. Швецова, ред. Л. В. Черепнин, А. Г. Маньков. М.: Изд-во АН СССР, 1976. Т. IV (дополнительный).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Андреев 2003 — *Андреев* И. А. Алексей Михайлович. М.: Молодая гвардия, 2003.

Бауэр, Пашин 2018 — *Бауэр* А. В., *Пашин* С. С. Участие жителей нижегородских дворцовых сел Лыскова и Мурашкина в движении под предводительством Степана Разина: опыт микроисторического исследования // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2018. Т. 4. № 2. С. 193–204.

Беляков 2003 — Беляков А.В. Крестьянская война под предводительством С.Т. Разина в Мещере // Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Т. 4. Рязань: РИОРО, 2003. С. 32–38.

Буганов 1975 — Буганов В.И. О «повстанческом архиве» главного войска С. Т. Разина // Советские архивы. 1975. № 5. С. 82–89.

Буганов 1978 — Буганов В.И. К изучению «повстанческого архива» второй крестьянской войны в России // Проблемы аграрной истории (с древнейших времен до XVIII века): Тезисы докладов. Минск, 1978. С. 46–56.

Буганов 1994 — Буганов В.И. «Розыскное дело» Степана Разина // Отечественная история. 1994. № 1. С. 28–42.

Буганов 1995 — Буганов В.И. Разин и разинцы: Документы, описания современников. М.: Наука, 1995.

Буганов, Чистякова 1968 — Буганов В.И., Чистякова Е.В. О некоторых вопросах истории второй крестьянской войны в России // Вопросы истории. 1968. № 7. С. 36–51.

Бульчев 2005 — Бульчев А.А. Между святыми и демонам: Заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана Грозного. М.: Знак, 2005.

Гераськин, Шаронова 2015 — Гераськин Т.В., Шаронова Е.А. Художественное осмысление крестьянской войны 1670–1671 гг. в романе К.Г. Абрамова «За волю»: научно-образовательный контекст // Интеграция образования. 2015. Т. 19. № 1. С. 141–148.

Дорошенко 1985 — Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя і політичної діяльності. Нью-Йорк: Видання Української Вільної Академії Наук у США, 1985.

Ингерфлом 2003 — Ингерфлом К. Между мифом и логосом: действие 1. Рождение политической репрезентации власти в России // Homo Historicus: К 80-летию

со дня рождения Ю.Л. Бессмертного. М.: Наука, 2003. Кн.2. С. 65–96.

Ингерфлом 2021 — Ингерфлом К. Аз есмь царь. История самозванства в России. М.: Новое литературное обозрение. 2021.

Казаков, Майер 2017 — Казаков Г.М., Майер И. Иностранцы источники о казни Степана Разина. Новые документы из стокгольмского архива // Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies. 2017. № 6(2). С. 210–243.

Казаков, Майер 2018 — Казаков Г.М., Майер И. «Оттоман Разин»: Разин как турок в немецкой печати 1670–1671 г. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2018. № 2(72). С. 95–107.

Канатьева 2018 — Канатьева Н.С. Каспулат Удалой, или защита Астраханского кремля во время Разинского бунта // Журнал фронтирных исследований. 2018. № 2 (10). С. 29–40.

Карабущенко 2006 — Карабущенко П.Л. «Разинщина» (1667–1671): Новые вопросы к старой истории (к 335-летию со дня казни С. Т. Разина // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2006. № 2(9). С. 54–63.

Карабущенко 2008 — Карабущенко П.Л. Астраханское царство: воеводская власть и местное сообщество XVI–XVII веков. Астрахань: б/и, 2008.

Каштанов 2014 — Каштанов С.М. Еще раз о месте захоронения останков Степана Разина // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2014. Т.5. Вып. 8 (31) [Электронный ресурс]. URL: https://arxiv.gaugn.ru/s207987840000927-8-1/.

Климова 2004 — Климова М.Н. Из истории «русских мифов» («Стенька Разин и персидская княжна») // Исторические источники и литературные памятники XVI–XX вв.: Развитие традиций. Сб. научных статей. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. С. 223–233.

- Козляков 2018 — Козляков В.Н. Царь Алексей Тишайший: Летопись власти. М.: Молодая гвардия, 2018.
- Королев 2002 — Королев В.Н. Босфорская война. Ростов н/Д.: Издательство РГУ, 2002.
- Королев 2004 — Королев В.Н. Утопил ли Стенька Разин княжну (Из истории казачьих нравов и обычаев) // Историко-культурные и природные исследования на территории РЭМЗ: Сборник статей. Вып. 2. 2004. URL: http://www.razdory-museum.ru/c_razin-1.html.
- Костомаров 1880 — Костомаров Н.И. Самозванец Лже-Симеон // Исторический вестник. 1880. Т. 1. С. 1–25 URL: <https://unihone.ru/letopis/7EEA947E-4E1A-4B82-9510-F9158E5B89EE/>.
- Кравець 1991 — Кравець М.В. Невідомий лист кримського хана Адиль-Гірея до Степана Разіна // Дослідження з історії Придніпров'я: соціальні відносини та суспільна думка: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ, 1991. С. 21–25.
- Кравцов 1934 — Кравцов Д.Е. Отголоски разинщины на Украине // Труды Института славяноведения Академии наук СССР. Л.: Издательство АН СССР, 1934. Вып. II. С. 77–99.
- Крестьянские войны... 1974 — Крестьянские войны в России XVII–XVIII вв.: проблемы, поиски, решения / отв. ред. акад. Л. В. Черепнин. М.: Наука, 1974.
- Кузнецова 1996 — Кузнецова Е.А. Народное движение в Волго-Окском междуречье в период крестьянской войны пол предводительством Степана Разина в 1670–1671 гг.: Автореферат дис. ... к.и.н. Пенза, 1996.
- Куц 2009 — Куц О. Ю. Донское казачество от взятия Азова до выступления С. Разина (1637–1667). СПб.: Дмитрий Буланин, 2009.
- Малов 2005 — Малов А.В. Московские выборные полки солдатского строя в годы Разинской смуты (1666–1671) // Проблемы истории России. Екатеринбург, 2005. Вып. 5. С. 59–106.
- Маньков 1967 — Маньков А. Г. Круги в разинском войске и вопрос о путях и цели его движения // Крестьянство и классовая борьба в феодальной России. Труды Ленинградского отделения Института истории. Ленинград: Наука, 1967. Вып. 9. С. 264–279.
- Мауль 2003 — Мауль В.Я. Харизма и бунт: психологическая природа народных движений в России XVII–XVIII веков. Томск: Изд-во ТГУ, 2003.
- Мауль 2005а — Мауль В.Я. Социокультурные аспекты изучения русского бунта. Томск: Изд-во ТГУ, 2005.
- Мауль 2005б — Мауль В.Я. Русский бунт как форма культурной идентификации переходной эпохи // Вестник Томского государственного университета. 2005. № 289. С. 144–157.
- Мауль 2007 — Мауль В.Я. Архетипы русского бунта XVIII столетия // Русский бунт. М.: Дрофа, 2007. С. 255–446.
- Мауль 2015 — Мауль В.Я. Паломничество Степана Разина в Соловецкий монастырь (научный взгляд на художественную литературу) // Соловки в литературе и фольклоре (XV–XXI вв.): сборник статей и докладов международной научно-практической конференции. Архангельск: Агентство СІР Архангельской ОНБ, 2015. С. 76–86.
- Мауль 2018 — Мауль В.Я. Разинское восстание в хаосе временного коллапса (размышления об одной новой книге) // Вестник Томского государственного университета. История. 2018. № 51. С. 164–169.
- Мининков 1998 — Мининков Н.А. Донское казачество в эпоху позднего средневековья (до 1671 г.). Ростов н/Д.: Изд-во РГУ, 1998.
- Мининков 2006 — Мининков Н.А. [Рец.]. Мауль В.Я. Харизма и бунт. Психологическая природа народных движений в России XVII–XVIII веков. Томск, 2003 // Известия вузов. Северо-Кавказ-

ский регион. Общественные науки. 2006. № 1. С. 110–112.

Мининков 2013 — *Мининков Н. А.* Укрепление московской власти на Дону в последней четверти XVII века // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2013. № 5. С. 67–74.

Мининков 2017 — Мининков Н. А. Публикация иностранных источников о Разинском восстании А. Г. Маньковым // Актуальные проблемы источниковедения: Материалы IV Международной научно-практической конференции к 420-летию дарования городу Витебску магдебургского права. Витебск: Изд-во ВитГУ, 2017. С. 116–118.

Мининков 2019 — Мининков Н. А. Традиции и перспективы изучения массовых народных движений в России XVII–XVIII веков // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2019. Т. 24. № 2. С. 26–35.

Мининков 2020 — Мининков Н. А. Восстание под предводительством С. Т. Разина и участие в нем донского казачества // История донского казачества: колл. монография в 3 т. / Ответ. ред. издания А. И. Агафонов, Т. И. Донское казачество в середине XVI — начале XVIII в. / А. И. Агафонов, Д. В. Сень (ответ. ред. тома), В. П. Трут и др. Ростов н/Д.: Омега Паблшер, 2020. С. 210–222.

Неклюдов 2014 — Неклюдов С. Ю. Фольклорный Разин: аспект демонологический // In Umbra: Демонология как семиотическая система. Альманах. Вып. 3. Отв. ред. и сост. Д. И. Антонов, О. Б. Христофорова. М.: Индрик, 2014. С. 237–274. URL: <https://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov81.htm>.

Никитин 2017 — Никитин Н. И. Разинское движение: взгляд из XXI в. М.: ИРИ РАН, 2017.

Обухова 2016 — Обухова Ю. А. Феномен монархических самозванцев в контексте российской истории (по материалам

XVIII столетия). Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2016.

Пронштейн, Мининков 1983 — Пронштейн А. П., Мининков Н. А. Крестьянские войны в России XVII–XVIII веков и донское казачество. Ростов н/Д.: РГУ, 1983.

Рябов 1992 — Рябов С. И. Донская земля в XVII веке. Волгоград: Перемена, 1992.

Сахаров 2010 — Сахаров А. Н. Степан Разин. М.: Молодая гвардия, 2010.

Сень 2009а — Сень Д. В. Казачество Дона и Северо-Западного Кавказа в отношениях с мусульманскими государствами Причерноморья (вторая половина XVII в. — начало XVIII в.). Ростов н/Д.: ЮФУ, 2009.

Сень 2009б — Сень Д. В. Донское казачество после Бахчисарайского договора 1681 г.: некоторые аспекты политического положения // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2009. Вип. XXVI. С. 138–142.

Сень 2013 — Сень Д. В. Дипломатические отношения Крымского ханства и Войска Донского: переписка Гиреев с атаманом С. Т. Разиным // Средневековые тюркотатарские государства. Сборник статей. Вып. 5. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани, 2013. С. 90–98.

Сень 2014 — Сень Д. В. Архив Войска Донского и история войскового делопроизводства: актуальные вопросы изучения // Научное наследие профессора А. П. Пронштейна и актуальные проблемы развития исторической науки (к 95-летию со дня рождения выдающегося российского ученого): Материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции (4–5 апреля 2014 г., г. Ростов-на-Дону) / Отв. ред. М. Д. Розин, Д. В. Сень, Н. А. Трапш. Ростов н/Д.: Издательство «Фонд науки и образования», 2014. С. 479–488

Симонова 2015 — Симонова М. В. Степан Тимофеевич Разин — государственный

- преступник или народный герой? // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 401. С. 160–164.
- Симонова 2017 — Симонова М. В. Образ крестьянских вождей XVII–XVIII веков в отечественной историографии: опыт сравнительного анализа: Дис. ... к.и.н. Томск, 2017.
- Соловьев 1990 — Соловьев В. М. Степан Разин и его время. М., 1990.
- Соловьев 1991 — Соловьев В. М. Актуальные вопросы изучения народных движений (Пolemические заметки о крестьянских войнах в России) // История СССР. 1991. № 3. С. 130–145.
- Словарь русского языка XI–XVII вв. М.: Наука, 1992. Вып. 18.
- Соловьев 1994 — Соловьев В. М. Анатомия русского бунта. Степан Разин: мифы и реальность. М.: ТИМР, 1994.
- Тепкеев 2012 — Тепкеев В. Т. Калмыки в Северном Прикаспии во второй трети XVII века. Элиста: Джангар, 2012.
- Трефилов 2009 — Трефилов Е. Н. Особенности казачьего монархизма конца XVII — начала XVIII века // Российская история. 2009. № 6. С. 125–140.
- Усенко 1992 — Усенко О. Г. Повод в народных выступлениях XVII — первой половины XIX века в России // Вестник Московского государственного университета. Серия 8 (История). 1992. № 1. С. 39–50.
- Усенко 1994–1997 — Усенко О. Г. Психология социального протеста в России XVII–XVIII веков. В 3-х ч. Тверь: Издательство ТвГУ, 1994. Ч. 1; 1995. Ч. 2; 1997. Ч. 3.
- Усенко 1999 — Усенко О. Г. Об отношении народных масс к царю Алексею Михайловичу // Царь и царство в русском общественном сознании (Мировосприятие и самосознание русского общества). Вып. 2. М.: ИРИ РАН, 1999. С. 70–93.
- Усенко 2006а — Усенко О. Г. Некоторые черты массового сознания донского казачества в XVII — начале XVIII вв. (субидеологические представления установки, стереотипы) // Казачество России: прошлое и настоящее. Сборник научных статей. Вып. 1. Ростов н/Д.: Издательство ЮНЦ РАН, 2006. С. 85–108.
- Усенко 2006б — Усенко О. Г. Разин и разинщина // Родина. 2006. № 11. С. 70–74.
- Усенко 2007 — Усенко О. Г. Массовое сознание донцов XVII — начала XVIII века: «субидеология» // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2007. Вып. 3. № 25(53). С. 24–48.
- Фаизов 1985 — Фаизов С. Ф. Взаимоотношения России и Крымского ханства в 1667–1677 гг.: от Андрусовского перемирия до начала первой русско-турецкой войны: дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 1985.
- Цюрюмов 2004 — Цюрюмов А. В. Калмыцкое ханство в составе России: проблемы политических взаимоотношений. Элиста: Джангар, 2004.
- Чертанов 2016 — Чертанов М. Степан Разин. М.: Молодая гвардия, 2016.
- Чистякова, Соловьев 1998 — Чистякова Е. В., Соловьев В. М. Степан Разин и его соратники. М.: Мысль, 1988.
- Шибанова 2001 — Шибанова М. П. Исторические песни и песни А. С. Пушкина о «Степане Разине» // Фольклор и литература: проблемы изучения. Сборник статей. Воронеж: Воронежский государственный университет. 2001. С. 79–86.
- Шпрингель 2004а — Шпрингель В. А. Сбор информации правительственным лагерем о восстании Степана Разина (1667–1669 годы) // Научные труды Московского педагогического государственного университета. Серия «Социально-исторические науки». М.: МПГУ, 2004. С. 568–585.
- Шпрингель 2004б — Шпрингель В. А. Мифотворчество в лагере С. Т. Разина // Материалы конференции по итогам научно-исследовательской работы докторантов,

аспирантов и соискателей за 2004 г. М.: МПГУ, 2004. С. 320–324.

Шпрингель 2005 — Шпрингель В.А. Миф о царевиче Алексее Алексеевиче и попытки легитимации властных претензий Степана Разина // Научные труды Московского педагогического государственного университета. Серия «Социально-исторические науки». М.: МПГУ, 2005. С. 645–655.

Шпрингель 2006 — Шпрингель В.А. Борьба абсолютизирующегося государства с антиправительственными выступлениями на примере движения под предводительством С. Разина: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2006.

Boeck 2009 — Boeck B.J. Imperial Boundaries. Cossack Communities and Empire-Building in the Age of Peter the Great. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Kazakov 2017 — Kazakov G. Sten'ka Razin als Held, „edler Räuber“ oder Verbrecher? Interpretationen und Analogien in den Ausländerberichten zum Kosakenaufstand von 1667–1671 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2017. № 65. H.1. S. 34–51.

Khodarkovskiy 1994 — Khodarkovskiy M. The Stepan Razin Uprising: Was It a 'Peasant War'? // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1994. № 42. H. 1. S. 1–19.

Maier 2017 — Maier I. How Was Western Europe Informed about Muscovy? The Razin Rebellion in Focus // Information and Empire: Mechanisms of Communication in Russia, 1600–1850 / Simon Franklin and Katherine Bowers (eds). Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2017. P. 113–151.

REFERENCES

Andreev I.A. *Aleksej Mihajlovich*. Moscow: Molodaja gvardija, 2003.

Baujer A.V., Pashin S.S. Uchastie zhitel'ej nizhegorodskih dvorcovyh sel Lyskova i Murashkina v dvizhenii pod predvoditel'stvom Stepana Razina: opyt mikroistoricheskogo issledovanija. *Vestnik Tjumensko-*

go gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye issledovanija. Humanitates, 2018. t. 4, no. 2, pp. 193–204.

Beljakov A.V. Krest'janskaja vojna pod predvoditel'stvom S.Razina v Meshhere. *Materialy i issledovanija po rjazanskomu kraevedeniju*, Rjazan': RIORO, 2003, t.4, pp. 32–38.

Buganov V.I. O «povstancheskom arhive» glavnogo vojska S. T. Razina. *Sovetskie arhivy*, 1975, no.5, pp. 82–89.

Buganov V.I. K izucheniju «povstancheskogo arhiva» vtoroj krest'janskoj vojny v Rossii. *Problemy agrarnoj istorii (s drevnejshih vremen do XVIII veka): Tezisy dokladov*. Minsk, 1978, pp. 46–56.

Buganov V.I. «Rozysknoe delo» Stepana Razina. *Otechestvennaja istorija*, 1994, no.1, pp. 28–42.

Buganov V.I. *Razin i razincy: Dokumenty, opisanija sovremennikov*. Moscow: Nauka, 1995.

Buganov V.I., Chistjakova E.V. O nekotoryh voprosah istorii vtoroj krest'janskoj vojny v Rossii. *Voprosy istorii*, 1968, no.7, pp. 36–51.

Bulychev A.A. *Mezhdru sojatymi i demonam: Zametki o posmertnoj sud'be opal'nyh carja Ivana Groznogo*. Moscow: Znak, 2005.

Geras'kin T.V., Sharonova E.A. Hudozhestvennoe osmyslenie krest'janskoj vojny 1670–1671 gg. v romane K.G. Abramova «Za volju»: nauchno-obrazovatel'nyj kontekst. *Integracija obrazovanija*, 2015, t.19, no.1, pp. 141–148.

Doroshenko D. *Get'man Petro Doroshenko. Ogljad jogo zhittja i politichnoi dijalnosti*. New York City: Vidannja Ukraïns'koï Vil'noi Akademii Nauk u SSHA, 1985.

Ingerflom K. Mezhdru mifom i logosom: dejstvie 1. Rozhdenie politicheskoi reprezentacii vlasti v Rossii. *Homo Historicus: K 80-letiju so dnja rozhdenija Ju.L.Bessmertnogo*. Moscow: Nauka, 2003, kn.2, pp. 65–96.

Ingerflom K. *Az esm' car'.* *Istorija samozvanstva v Rossii*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. 2021.

- Inostrannye izvestija o vosstanii Stepana Razina. Materialy i issledovanija, pod red. A. G. Man'kova. Leningrad: Nauka, 1975.
- Kazakov G. M., Majer I. Inostrannye istochniki o kazni Stepana Razina. Novye dokumenty iz stogol'mskogo arhiva. *Slověne = Slovъne, International Journal of Slavic Studies*, 2017, no.6(2), pp. 210–243.
- Kazakov G. M., Majer I. «Ottoman Razin»: Razin kak turok v nemeckoj pečati 1670–1671 g. *Drevnjaja Rus'. Voprosy medievistiki*, 2018, no.2(72), pp. 95–107.
- Kanat'eva N. S. Kaspulat Udaloj, ili zashhita Astrahanskogo kremlja vo vremja Razinskogo bunta. *Zhurnal frontirnyh issledovanij*, 2018, no.2(10), pp. 29–40.
- Karabushhenko P. L. «Razinshhina» (1667–1671): Novye voprosy k staroj istorii (k 335-letiju so dnja kazni S. T. Razina. *Kaspijskij region: politika, jekonomika, kul'tura*, 2006, no.2(9), pp. 54–63.
- Karabushhenko P. L. *Astrahanskoe carstvo: voevodskaja vlast' i mestnoe soobshhestvo XVI–XVII vekov*. Astrakhan': b/i, 2008.
- Kashtanov S. M. Eshhjo raz o meste zahoronenija ostankov Stepana Razina. *Jelektronnyj nauchno-obrazovatel'nyj zhurnal «Istorija»*, 2014, t.5, vyp.8(31). URL: <https://arxiv.gaugn.ru/s207987840000927-8-1/>.
- Klimova M. N. Iz istorii «russkih mifov» («Sten'ka Razin i persidskaja knjazhna»). *Istoricheskie istochniki i literaturnye pamjatniki XVI–XX vv.: Razvitie tradicij. Sb. nauchnyh statej*. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2004, pp. 223–233.
- Kozljakov V. N. *Car' Aleksej Tishajshij: Letopis' vlasti*. Moscow: Molodaja gvardija, 2018.
- Kojjet B. *Posol'stvo Kunraada fan-Klenka k carjam Alekseju Mihajlovichu i Fedoru Alekseevichu*. St. Petersburg, 1900.
- Korolev V. N. *Bosforskaja vojna*. Rostov-on-Don: Izdatel'stvo RGU, 2002.
- Korolev V. N. Utopil li Sten'ka Razin knjazhnu (Iz istorii kazach'ih npravov i obyčaej). *Istoriko-kul'turnye i prirodnye issledovanija na territorii RjeMZ: Sbornik statej*, 2004, vyp.2. URL: http://www.razdory-museum.ru/c_razin-1.html.
- Kostomarov N. I. Samozvanec Lzhe-Simeon. *Istoricheskij vestnik*, 1880, t.1, pp. 1–25. URL: <https://unixone.ru/letopis/7EEA947E-4E1A-4B82-9510-F9158E5B89EE/>.
- Kravec' M. V. Nevidomij list krims'kogo hana Adil'-Gireja do Stepana Razina, *Dostidzhennja z istorii Pridniprovsja: social'ni vidnosini ta suspil'na dumka: Zbirnik naukovih prac'*. Dnipropetrovsk, 1991, pp. 21–25.
- Kravcov D. E. Otgoloski razinshhiny na Ukraine. *Trudy Instituta slavjanovedenja Akademii nauk SSSR*. Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR, 1934, vyp.II, pp. 77–99.
- Krest'janskije vojny v Rossii XVII–XVIII vv.: problemy, poiski, reshenija / orv. red. akad. L. V. Cherepnin. Moscow: Nauka, 1974.
- Krest'janskaja vojna pod predvoditel'stvom Stepana Razina: sb. dok. / Sost. E. A. Shvecova, red. A. A. Novosel'skij, V. I. Lebedev. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1954, t.I.
- Krest'janskaja vojna pod predvoditel'stvom Stepana Razina: sb. dok. / Sost. E. A. Shvecova, red. A. A. Novosel'skij. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1957, t.II. ch.I.
- Krest'janskaja vojna pod predvoditel'stvom Stepana Razina: sb. dok. / Sost. E. A. Shvecova, red. A. A. Novosel'skij. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1959, t.II, ch.II.
- Krest'janskaja vojna pod predvoditel'stvom Stepana Razina: sb. dok. / Sost. E. A. Shvecova, red. A. A. Novosel'skij. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1962, t.III.
- Krest'janskaja vojna pod predvoditel'stvom Stepana Razina: sb. dok. / Sost. E. A. Shvecova, red. L. V. Cherepnin, A. G. Man'kov. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1976, t.IV (dopolnitel'nyj).
- Kuznecova E. A. *Narodnoe dvizhenie v Volgo-Okskom mezhdurech'e v period krest'janskoj vojny pol predvoditel'stvom Stepana Razina v 1670–1671 gg.: Avtoferat dis. ... k.i.n.* Penza, 1996.
- Kuc O. Ju. *Donskoe kazachestvo ot vzjatijsja Azova do vystuplenija S. Razina (1637–*

1667). St. Petersburg: Dmitrij Bulanin, 2009.

Malov A.V. Moskovskie vybornye polki soldatskogo stroja v gody Razinskoj smuty (1666–1671). *Problemy istorii Rossii*. Ekaterinburg, 2005, vyp.5, pp. 59–106.

Man'kov A.G. Krugi v razinskom vojске i vopros o putjah i celi ego dvizhenija. *Krest'janstvo i klassovaja bor'ba v feodal'noj Rossii. Trudy Leningradskogo otdelenija Instituta istorii*. Leningrad: Nauka, 1967, vyp.9, pp. 264–279.

Maul' V.Ja. *Harizma i bunt: psihologičeskaja priroda narodnyh dvizhenij v Rossii XVII–XVIII vekov*. Tomsk: Izd-vo TGU, 2003.

Maul' V.Ja. *Sociokul'turnye aspekty izučeniija russkogo bunta*. Tomsk: Izd-vo TGU, 2005.

Maul' V.Ja. Russkij bunt kak forma kul'turnoj identifikacii perehodnoj jepohi. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2005, no.289, pp. 144–157.

Maul' V.Ja. Arhetipy russkogo bunta XVIII stoletija. *Russkij bunt*. Moscow: Drofa, 2007. pp. 255–446.

Maul' V.Ja. Palomničestva Stepana Razina v Soloveckij monastyr' (nauchnyj vzgljad na hudožestvennuju literaturu). *Solovki v literature i fol'klоре (XV–XXI vv.): sbornik statej i dokladov mezhdunarodnoj nauchno-praktičeskoj konferencii*. Arkhangelsk: Agentstvo CIP Arhangel'skoj ONB, 2015, pp. 76–86.

Maul' V.Ja. Razinskoe vosstanie v haose vremennogo kollapsa (razmyshlenija ob odnoj novej knige). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istorija*, 2018, no.51, pp. 164–169.

Mininkov N.A. *Donskoe kazachestvo v jepohu pozdnego srednevekov'ja (do 1671 g.)*. Rostov-on-Don: Izd-vo RGU, 1998.

Mininkov N.A. [Rec.]. Maul' V.Ja. Harizma i bunt. Psihologičeskaja priroda narodnyh dvizhenij v Rossii XVII–XVIII vekov. Tomsk, 2003. *Izvestija vuzov. Severo-Kavkazskij region. Obshhestvennye nauki*, 2006, no.1, pp. 110–112.

Mininkov N.A. Ukreplenie moskovskoj vlasti na Donu v poslednej četverti XVII veka. *Izvestija vuzov. Severo-Kavkazskij region. Obshhestvennye nauki*, 2013, no.5, pp. 67–74.

Mininkov N.A. Publikacija inostrannyh istočnikov o Razinskom vosstanii A.G. Man'kovym. *Aktual'nye problemy istočnikovovedeniija: Materialy IV Mezhdunarodnoj nauchno-praktičeskoj konferencii k 420-letiju darovanija gorodu Vitebsku magdeburgskogo prava*. Vitebsk: Izd-vo VitGU, 2017, pp. 116–118.

Mininkov N.A. Tradicii i perspektivy izučeniija massovyh narodnyh dvizhenij v Rossii XVII–XVIII vekov. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 4. Istorija. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnošenija*, 2019, t.24, no.2, pp. 26–35.

Mininkov N.A. Vosstanie pod predvoditel'stvom S. T. Razina i učastie v nem donskogo kazachestva. *Istorija donskogo kazachestva: koll. monografija v 3 t. / otvet. red. izdanija A.I. Agafonov. T.I. Donskoe kazachestvo v seredine XVI — nachale XVIII v. / A.I. Agafonov, D.V. Sen' (otvet. red. toma), V.P.Trut i dr.* Rostov-on-Don: Omega Publisher, 2020, pp. 210–222.

Nekljudov S.Ju. Fol'klornyj Razin: aspekt demonologičeskij // In Umbra: Demonologija kak semiotičeskaja sistema. Al'manah. Vyp. 3. Otv. red. i sost. D.I. Antonov, O.B. Hristoforova. Moscow: Indrik, 2014, pp. 237–274. URL: <https://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov81.htm>.

Nikitin N.I. *Razinskoe dvizhenie: vzgljad iz XXI v.* Moscow: IRI RAN, 2017.

Obuhova Ju.A. *Fenomen monarhicheskikh samozancev v kontekste rossijskoj istorii (po materialam XVIII stoletija)*. Tjumen': Tjumenskij industrial'nyj universitet, 2016.

Pronshtejn A.P., Mininkov N.A. *Krest'janskije vojny v Rossii XVII–XVIII vekov i donskoe kazachestvo*. Rostov-on-Don: RGU, 1983.

Rjabov S.I. *Donskaja zemlja v XVII veke*. Volgograd: Peremena, 1992.

Saharov A. N. *Stepan Razin*. Moscow: Molodaja gvardija, 2010.

Sen' D. V. *Kazachestvo Dona i Severo-Zapadnogo Kavkaza v otnoshenijah s musul'manskimi gosudarstvami Prichernomor'ja (vtoraja polovina XVII v. — nachalo XVIII v.)*. Rostov-on-Don: JuFU, 2009.

Sen' D. V. Donskoe kazachestvo posle Bakchisarayskogo dogovora 1681 g.: nekotorye aspekty politicheskogo polozheniya. *Naukovi pratsi istorichnogo fakul'tetu Zaporizhzhya: ZNU, 2009, vyp. XXVI*, pp. 138–142.

Sen' D. V. Diplomaticheskie otnosheniya Krymskogo hanstva i Vojska Donskogo: perepiska Gireev s atamanom S. T. Razinyom. *Srednevekovye tjurko-tatarskie gosudarstva. Sbornik statej*. Kazan': Institut istorii im. Sh. Mardzhani, 2013, vyp. 5, pp. 90–98.

Sen' D. V. Arhiv Vojska Donskogo i istorija vojskovogo deloproizvodstva: aktual'nye voprosy izucheniya. *Nauchnoe nasledie professora A. P. Pronshtejna i aktual'nye problemy razvitiya istoricheskoy nauki (k 95-letiju so dnja rozhdenija vydajushhegosja rossijskogo uchenogo): Materialy Vserossijskoj (s mezhdunarodnym uchastiem) nauchno-prakticheskoy konferencii (4–5 aprelya 2014 g., g. Rostov-na-Donu) / otv. red. M. D. Rozin, D. V. Sen', N. A. Trapsh*. Rostov-on-Don: Izdatel'stvo «Fond nauki i obrazovaniya», 2014, pp. 479–488.

Simonova M. V. Stepan Timofeevich Razin — gosudarstvennyj prestupnik ili narodnyj geroy? *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2015, no. 401, pp. 160–164.

Simonova M. V. *Obraz krest'janskih vozhdjev XVII–XVIII vekov v otechestvennoj istoriografii: opyt sravnitel'nogo analiza*. Dis. ... k. i. n. Tomsk, 2017.

Slovar' russkogo jazyka XI–XVII vv. Moscow: Nauka, 1992, vyp. 18.

Solov'ev V. M. Stepan Razin i ego vremja. Moscow, 1990.

Solov'ev V. M. Aktual'nye voprosy izucheniya narodnyh dvizhenij (Polemicheskie

zametki o krest'janskih vojnah v Rossii). *Istorija SSSR*, 1991, no. 3, pp. 130–145.

Solov'ev V. M. *Anatomija russkogo bunta. Stepan Razin: mify i real'nost'*. Moscow: TIMR, 1994.

Tepekeev V. T. *Kalmyki v Severnom Prikaspii vo vtoroj treti XVII veka*. Elista: Dzhangar, 2012.

Trefilov E. N. Osobennosti kazach'ego monarhizma konca XVII — nachala XVIII veka. *Rossijskaja istorija*, 2009, no. 6, pp. 125–140.

Usenko O. G. Povod v narodnyh vystuplenijah XVII — pervoj poloviny XIX veka v Rossii. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 8 (Istorija)*, 1992, no. 1, pp. 39–50.

Usenko O. G. *Psihologija social'nogo protesta v Rossii XVII–XVIII vekov. V 3-h ch.* Tver': Izdatel'stvo TvGU, 1994, ch. 1; 1995, ch. 2; 1997, ch. 3.

Usenko O. G. Ob otnoshenii narodnyh mass k carju Alekseju Mihajlovichu. Car' i carstvo v russkom obshhestvennom soznanii (Mirovosprijatie i samosoznanie russkogo obshhestva), vyp. 2, Moscow: IRI RAN, 1999, pp. 70–93.

Usenko O. G. Nekotorye cherty massovogo soznaniya donskogo kazachestva v XVII — nachale XVIII vv. (subideologicheskie predstavlenija ustanovki, stereotipy). *Kazachestvo Rossii: proshloe i nastojashhee. Sbornik nauchnyh statej*, vyp. 1, Rostov-on-Don: Izdatel'stvo JuNC RAN, 2006, pp. 85–108.

Usenko O. G. Razin i razinshhina. *Rodina*, 2006, no. 11, pp. 70–74.

Usenko O. G. Massovoe soznanie doncov XVII — nachala XVIII veka: «subideologija». *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Istorija*, 2007, vyp. 3, no. 25(53), pp. 24–48.

Faizov S. F. Vzaimootnosheniya Rossii i Krymskogo hanstva v 1667–1677 gg.: ot Andrusovskogo peremirija do nachala pervoj russko-tureckoj vojny. Dis. ... k. i. n. Saratov, 1985.

- Cjurjumov A. V. *Kalmyckoe hanstvo v sostave Rossii: problemy politicheskikh vzaimootnoshenij*. Elista: Dzhangar, 2004.
- Chertanov M. *Stepan Razin*. Moscow: Molodaja gvardija, 2016.
- Chistjakova E. V., Solov'ev V. M. *Stepan Razin i ego soratniki*. Moscow: Mysl', 1988.
- Shpringel' V. A. Sbor informacii pravitel'stvennym lagerem o vosstanii Stepana Razina (1667–1669 gody). *Nauchnye trudy Moskovskogo pedagogicheskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija «Social'no-istoricheskie nauki»*. Moscow: MPGU, 2004, pp. 568–585.
- Shpringel' V. A. Mifotvorchestvo v lagere S. T. Razina. *Materialy konferencii po itogam nauchno-issledovatel'skoj raboty doktorantov, aspirantov i soiskatelej za 2004 g.* Moscow: MPGU, 2004, pp. 320–324.
- Shpringel' V. A. Mif o careviche Aleksee Alekseeviche i popytki legitimacii vlastnyh pretenzij Stepana Razina. *Nauchnye trudy Moskovskogo pedagogicheskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija «Social'no-istoricheskie nauki»*. Moscow: MPGU, 2005, pp. 645–655.
- Shpringel' V. A. *Bor'ba absoljutzirujushhegosja gosudarstva s antipravitel'stvennymi vystuplenijami na primere dvizhenija pod predvoditel'stvom S. Razina: Avtoreferat dis. ... k.i.n.* Moscow, 2006.
- Shibanova M. P. Istoricheskie pesni i pesni A. S. Pushkina o «Stepane Razine». *Fol'klor i literatura: problemy izuchenija. Sbornik statej. Voronezh: Voronezhskij gosudarstvennyj universitet*, 2001, pp. 79–86.
- Boeck B. J. *Imperial Boundaries. Cossack Communities and Empire-Building in the Age of Peter the Great*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009.
- Kazakov G. Sten'ka Razin als Held, „edler Räuber“ oder Verbrecher? Interpretationen und Analogien in den Ausländerberichten zum Kosakenaufstand von 1667–1671. *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 2017, no. 65, h. 1, ss. 34–51.
- Khodarkovsky M. The Stepan Razin Uprising: Was It a 'Peasant War'? *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*, 1994, no. 2, h. 1, ss. 1–19.
- Maier I. How Was Western Europe Informed about Muscovy? The Razin Rebellion in Focus. *Information and Empire: Mechanisms of Communication in Russia, 1600–1850 / Simon Franklin and Katherine Bowers (eds)*. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2017, pp. 113–151.

И. В. Саблин

Рец.: Прикладная этнология Чукотки: народные знания, музеи, культурное наследие (К 125-летию поездки Н. Л. Гондатти на Чукотский полуостров в 1895 году): коллективная монография / отв. ред. О. П. Коломиец, И. И. Крупник. М.: PressPass, 2020. 468 с.: ил.

Рецензируемая книга стала результатом совместного проекта двух научных коллективов Чукотки — Лаборатории истории и экономики Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН и Музейного центра «Наследие Чукотки». Книга включает в себя исследования о прошлом и настоящем Чукотки и вводит в научный оборот новые документальные, этнографические и другие источники, некоторые из которых напрямую связаны с поездкой чиновника и исследователя Н. Л. Гондатти на Чукотку в 1895 г. Детальные эмпирические сведения, представленные в рамках «прикладной этнологии», также представляют большую ценность для историков.

Ключевые слова: Чукотка, этнография, коренные народы, Российская империя, Гондатти.

Сведения об авторе: Саблин Иван Валерьевич, PhD (история), руководитель исследовательской группы при департаменте истории Гейдельбергского университета (Германия).

Контактная информация: ivan.sablin@zegk.uni-heidelberg.de.

I. V. Sablin

Rev.: Prikladnaia etnologia Chukotki: narodnye znaniia, muzei, kul'turnoe nasledie (K 125-letiiu poezdki N. L. Gondatti na Chukotskii poluostrov v 1895 godu): kollektivnaia monografiia, отв. red. O. P. Kolomiets, I. I. Krupnik. Moscow: PressPass, 2020. 468 p.: il.

The reviewed book was the result of a joint project of two research teams from Chukotka, the Laboratory of History and Economics of the Northeastern Complex Research Institute of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences and the Museum Center “The Heritage of Chukotka.” The book includes studies on the past and present of Chukotka and introduces new documentary, ethnographic, and other sources to the academic discussion, some of which are directly related to the visit of the bureaucrat and researcher N. L. Gondatti to Chukotka in 1895. The detailed empirical data, presented within the framework of “applied ethnology,” will also be of particular value for historians.

Key words: Chukotka, ethnography, indigenous peoples, Russian Empire, Gondatti.

About the author: Sablin Ivan V., PhD in History, Research Group Leader, Department of History, Heidelberg University (Germany).

Contact information: ivan.sablin@zegk.uni-heidelberg.de.

© И. В. Саблин, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-264-268

Рецензируемое издание стало результатом совместного проекта двух научных коллективов Чукотки — Лаборатории истории и экономики Северо-Восточного комплексного (СВК) НИИ ДВО РАН и Музейного центра «Наследие Чукотки» (МЦНЧ). Книга издана под редакцией Оксаны Петровны Коломиец (СВКНИИ ДВО РАН) и Игоря Ильича Крупника (Национальный музей естественной истории Смитсоновского института, США), который также выступил в роли составителя. Крупник является ведущим экспертом по этнографии, истории и экологии Чукотки, автором множества научных работ, собирателем ценных материалов по устной истории (Пусть... 2000). Коломиец опубликовала ряд этнографических и социально-экономических работ о Чукотке и ввела в научный оборот целый ряд исторических источников (Коломиец 2012).

Как видно из полного заглавия, издание приурочено к 125-летию поездки имперского чиновника Н. Л. Гондатти на Чукотку. Редакторы видят «свою задачу в том, чтобы вернуть имя Гондатти на Чукотку» (с. 9). Гондатти для них — это прежде всего исследователь, основоположник локального комплексного подхода к изучению региона и предтеча «прикладной этнологии» (с. 27–28), которую редакторы определяют как «изучение социально-экономического и культурного развития через изменения в относительно небольших общественных ячейках» (с. 449). Книга включает в себя исследования о прошлом и настоящем Чукотки и вводит в научный оборот новые источники, некоторые из которых напрямую связаны с Гондатти.

Гондатти-исследователь — фигура для историков, несомненно, интересная, и основную задачу сборника можно считать выполненной. вполне убедительными представляются и утверждения редакторов о новизне подхода Гондатти. Остается, впрочем, вопрос о том, какие цели ставил перед собой Гондатти как современный чиновник, стремившийся к получению всеохватывающих знаний о подведомственном ему населении. Авторы книги не останавливаются на противоречиях фигуры Гондатти, который отметился приверженностью консервативной политике и ксенофобии в последующие годы своей карьеры (Glebov 2017: 93; Takao 2011: 40). Вступительная статья, к сожалению, воспроизводит недостоверные сведения о Гондатти из предыдущих работ. Так, например, указывается, что он «категорически отказывался принимать участие в белом движении» (с. 18), что не подтверждается свидетельствами современников (см. Саблин 2020: 238, 292). Биография Гондатти все еще ожидает критического научного изучения в контексте управления разнообразием Российской империи.

Книга состоит из вводной статьи, четырех частей и эпилога. Первая часть, «Народные знания», включает в себя семь статей за авторством В. Н. Нувано, Н. И. Мырмина, О. Е. Яценко, Д. Н. Моргуновой-Швальбе, В. Г. Леоновой, Е. С. Богословской и И. Я. Кобленца. Статья Нувано анализирует годовой хозяйственный цикл ваежских (по с. Ваеги) оленеводов — сложного по своему этническому составу экономического сообщества — в позднесоветский период по личным воспоминаниям

и полевым записям автора, который в то время работал пастухом (с. 36), и другим источникам. Нувано указывает, что в настоящее время местные оленеводы не совершают традиционных обрядов и не придерживаются описанного автором цикла, как в 1980-е гг. (с. 56). В статье Мыррина собраны экологические наблюдения зверобоев из национальных поселков Чукотки. Оба материала содержат новые ценные сведения о знаниях коренного населения.

Статья Яценко посвящена попыткам повторного заселения м. Аккани, откуда население было переселено в советский период, и превращению местности в новый центр чукотского языка и традиционной культуры (с. 83–84, 91). На вопросах языковой ситуации и национальной педагогики останавливаются Моргунова-Швальбе и Леонова. Завершают первую часть статьи об обмене знаниями между советскими специалистами и коренным населением. Богословская вводит в научный оборот переписку между капитаном советского китобойного судна Л.М. Вотроговым и охотниками Чукотки по мониторингу запасов китов, а Кобленц обращается к собственному опыту работы гидрографом на Чукотке. Вопрос властных асимметрий в контексте обмена информацией между представителями советского государства и коренным населением заслуживает дальнейшего изучения, особенно в связи со значительным влиянием нового китобойного промысла на хозяйственную деятельность коренного населения.

Три статьи, написанные Коломиец, Нувано, Н.И. Вуквукай, Е.А. Цер-

ковниковой, О.Б. Расторгуевой и И.И. Романовой, составляют вторую часть, «Музеи и коллекции». Коломиец, Нувано, Вуквукай и Церковникова анализируют мир вещей чукотских оленеводов, проводя параллели между предметами МЦНЧ и предметами, которые используются или хранятся коренным населением. Стремление МЦНЧ «оживить» музейные предметы (с. 183) помогает сохранить знания коренного населения и способствует его большей включенности в создание музейных нарративов. Статья Расторгуевой посвящена истории формирования МЦНЧ. В статье Коломиец, Расторгуевой и Романовой описаны ценные документы из фондов МЦНЧ — дневниковые записи Гондатти и его переписка с учителем-чуванцем А.Е. Дьячковым. Приводимые фрагменты записей, в том числе сделанных на основе рассказов коренного населения, имеют несомненную историческую ценность и иллюстрируют роль Гондатти в производстве знаний о регионе.

Третья часть, «Национальные общины и культурное наследие», состоит из семи статей, написанных Церковниковой, Крупником, И.А. Загребинным, С.Ю. Шокаревым, М.А. Членовым, Вуквукай и Вэк'эт (В.К. Итевтегиной). В своей источниковедческой работе по истории с. Марково — важнейшего центра контактов коренного и русского населения — Церковникова останавливается в том числе и на источниках, созданных Гондатти. С наследием последнего работает и Крупник, статья которого вводит в научный оборот новые сведения о коренном населении на месте будущего г. Анадыря. В своей статье

о топонимических легендах Юго-Востока Чукотского полуострова, в частности бухты Провидения, Загребин приводит обширные выдержки из письменных источников. В статье о коренных жителях района бухты Провидения Крупник на основе письменных и устных свидетельств, собранных автором, реконструирует историю группы эскимосов, которые называли себя «аватмит». К материалу Крупник прикладывает выдержки из Исповедной ведомости Чукотской миссии на Чукотском полуострове за 1910 г.

Статья Шокарева посвящена неудачной попытке Кнуда Расмуссена исследовать азиатских эскимосов в 1924 г., а также истории транснациональных контактов в этот период на примере деятельности торговца-осетина А. И. Караева и торговца-австралийца Чарли Карпенделя. Автор упоминает о том, что дневники и воспоминания Караева так и не введены в научный оборот (с. 333), но, к сожалению, не рассказывает о месте их хранения. В третьей части книги публикуются также полевые записи Членова 1981 г., посвященные изучению исчезнувших селений близ м. Дежнева. Завершается эта часть материалом Вуквукай, Вэк'эт и Крупника о раннесоветской социальной организации Уэлена. Авторы опровергают утверждения В. Г. Богораза и систематизируют материал об общинах Уэлена (с. 373, 375).

Заключительная, четвертая часть книги, «Золотой фонд» Чукотки», состоит из четырех материалов за авторством Д. А. Опарина, Вуквукай и Крупника. Опарин публикует переработанный вариант биографиче-

ского интервью с Айнаной (Людмилой Ивановной Айнаной), педагогом и общественным деятелем сибирских юпиков, взятого автором в 2012 г. Интервью представляет огромный интерес для историков. Так, Айнана сообщает о своем деде Апаку, который работал на американском китобойном судне и однажды зимовал в Сан-Франциско (с. 407), что еще раз подтверждает широту транснациональных экономических связей региона в прошлом. Также Айнана вспоминает о своем положительном и отрицательном опыте взаимодействия с русскими, в том числе о запрете говорить на родном эскимосском в интернате (с. 411–412). Статья Вуквукай посвящена биографии Вэк'эт (Валентины Кагъевны Итевтегиной), поэтессе, писательнице, мастеру по изготовлению национальной одежды, фольклористу и песеннику. В статье содержатся интересные сведения о социальной истории чукчей. Так, мужское имя, данное Вэк'эт в связи со смертями девочек в семье, обязывало относиться к ней как к мужчине. Она пользовалась мужским говором чукотского языка, носила одежду для мальчиков и ходила на охоту (с. 421). Впоследствии Вэк'эт также прошла социализацию и как чукотская женщина. Последние два материала части связаны с именем американского лингвиста Майкла Краусса. Крупник приводит биографию исследователя, а затем анализирует сборник фольклорных текстов эскимосов Чукотки, записанных Е. С. Рубцовой, обработанных Н. Б. Вахтиным и изданных при поддержке Краусса.

Издание, несомненно, представляет большой интерес для исследователей

Чукотки и Дальнего Востока. Конкретные сведения, представленные в рамках «прикладной этнологии», имеют особую ценность для историков, особенно в сравнении с обобщающими этнографическими данными. Не менее ценным является и ввод в оборот новых источников, многие из которых все еще ждут тщательного изучения. Книга также содержит целый ряд исторических и современных фотографий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Коломиец 2012 — Коломиец О. П. Документы Госархива Чукотского автономного округа по истории торговли коренного населения Чукотки с американскими компаниями в конце XIX—первой четверти XX в. // Отечественные архивы. 2012. № 1. С. 55–61.

Пусть... 2000 — Пусть говорят наши старики: рассказы азиатских эскимосов-юпик, записи 1975–1987 гг. / под. ред. И. И. Крупника. М., 2000.

Саблин 2020 — Саблин И. Дальневосточная республика: от идеи до ликвидации. М., 2020.

Glebov 2017 — Glebov S. Between Foreigners and Subjects: Imperial Subjecthood, Governance, and the Chinese in the Russian Far East, 1860s–1880s' // *Ab Imperio*. 2017. № 1. P. 86–130.

Takao 2011 — Takao C. Russian-Jewish Harbin before World War II // *Japanese Slavic and East European Studies*. 2011. T. 32. P. 39–53.

REFERENCES

Glebov S. Between Foreigners and Subjects: Imperial Subjecthood, Governance, and the Chinese in the Russian Far East, 1860s–1880s'. *Ab Imperio*, 2017, no. 1, p. 86–130.

Kolomiets O. P. Dokumenty Gosarkhiva Chukotskogo avtonomnogo okruga po istorii trgovli korenного naseleniia Chukotki s amerikanskimi kompaniiami v kontse XIX–pervoi chetverti XX v. *Otechestvennye arkhivy*, 2012, no. 1, p. 55–61.

Pust' govoriat nashi stariki: rasskazy aziatskikh eskimosov-iupik, zapisi 1975–1987 gg., pod. red. I. I. Krupnika. Moscow, 2000.

Sablin I. *Dal'nevostochnaia respublika: ot idei do likvidatsii*. Moscow, 2020.

Takao C. Russian-Jewish Harbin before World War II. *Japanese Slavic and East European Studies*, 2011, vol. 32, p. 39–53.

В. В. Максаков

Рец.: *Пол Кинан*. Санкт-Петербург и русский двор. 1703-1761. М.: НЛО, 2020. 420 с.

В центре внимания рецензируемой книги - Санкт-Петербургский императорский двор XVIII в., который рассматривается как центр организации модернизирующегося социального пространства и важнейший культурный институт.

Ключевые слова: Российская империя, императорский двор, реформы Петра I, модернизация, русское общество и элита XVIII в., придворные социальные практики и ритуалы, история Санкт-Петербурга, вестернизация русской культуры.

Сведения об авторе: Максаков Владимир Валерьевич, старший преподаватель МПГУ (Москва).

Контактная информация: houston1836@gmail.com.

V. V. Maksakov

Rev.: *Pol Kinan*. Sankt-Peterburg i russkii dvor. 1703-1761. Moscow: NLO, 2020. 420 p.

The focus of the book under review is the St. Petersburg imperial court of the 18th century, which is considered as the center of the organization of the modernizing social space and the most important cultural institution.

Key words: Russian Empire, imperial court, reforms of Peter I, modernization, Russian society and elite of the 18th century, court social practices and rituals, history of St. Petersburg, Westernization of Russian culture.

About the author: Maksakov Vladimir Valeryevich, Senior Lecturer at Moscow State University (Moscow).

Contact information: houston1836@gmail.com.

В издательстве «Новое литературное обозрение» вышел в свет перевод книги американского историка Пола Кинана «Санкт-Петербург и русский двор. 1703–1761». Этот труд представляет интерес сразу с нескольких точек зрения. Он написан в русле исследований модерности, которые становятся особенно важными в кон-

тексте изучения нашей отечественной, российской истории. Так, стоит признать петровские реформы первым современным политическим проектом в истории России, как русское XVII ст. словно перестает относиться к Новому времени и уходит в Средневековье. Отметим, правда, что здесь многое зависит от определения

модерности. Например, если под модерном понимать демократизацию культуры и социума, рост политического участия и субъектности масс, формирование публичности и так называемого «общества», выдвижение третьего («серого») сословия и т. п., то окажется, что реформы Петра, проводившиеся жесткими авторитарными методами, были как раз антимодерными и носили сословный характер. Одним из первых с этой точки зрения выразил недовольство петровскими преобразованиями А. С. Пушкин. Кроме того, сама дихотомия «реформы — реакция» служит своеобразным маркером Нового времени, т. к. в предшествующие эпохи преобразования были не столь радикальными, чтобы требовать от их наследников принятия или отвержения.

Труд Пола Кинана находится на пересечении нескольких методологических подходов, тем и сюжетов, что придает ему объемное измерение: история Санкт-Петербурга переплетается с историей двора, европеизация — с социальными практиками, сценарии власти — с историей идей и культурным трансфером. Автор формулирует цель своей книги следующим образом: «В результате в моем исследовании рассматривается развитие Петербурга в нескольких взаимосвязанных ракурсах, с особым акцентом на роли двора в стимулировании и регулировании культурной жизни города. В работе охвачен период от основания Петербурга до смерти дочери Петра, Елизаветы, значение которого нередко недооценивалось при изучении этой темы. На мой взгляд, достижения этого периода имеют ключевое значение для

понимания приоритетов и действий Екатерины II, как всегда хорошо скоординированных и последовательных» (с. 15).

«Санкт-Петербург и русский двор. 1703–1762» Пола Кинана вновь поднимает извечную проблему «русской европейскости». Стал ли Петербург первым русско-европейским городом? Оставалась ли Россия частью Европы (пусть и в исконном смысле слова маргинальной — т. е. пограничной), или попытка сделать из русских людей европейцев была всецело искусственной? До какой степени Санкт-Петербург повлиял на имперскую политику России? Была бы Россия великой империей без новой столицы? Смогла бы Москва реализовать огромный имперский потенциал Российского государства? На все эти вопросы и пытается ответить книга — но при этом ставит новые вопросы, столь же интересные и острые.

ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ

Пол Кинан начинает с важного утверждения о том, что с самого своего основания Санкт-Петербург находился в плену собственной истории: «Мифы, связанные с созданием и развитием города, по сей день привлекают большой интерес... тоπος основания Петербурга исходит от череды авторов XVIII века, начиная с петровского времени воспевавших свершения основателя города... И хотя эти образы Петербурга полны поэтического вымысла и мифов, они существенно влияли на восприятие города» (с. 9–10). Его дальнейшее развитие во многом диктовалось

логикой этого мифа — города, который больше, чем город. Санкт-Петербург не только сразу стал мифом, но и продолжал строиться и развиваться в соответствии с создававшимися мифологемами.

И первый такой миф, который разбирает автор, — неорганическая природа новой столицы. В историческом сознании XVII ст. укоренилось представление о том, что город был построен не благодаря природе, а вопреки ей: «Как основатель Санкт-Петербурга Петр I сознательно, а возможно, и подсознательно стремился управлять пространством города и его населением с определенными целями. Эти цели отчасти имели отношение к общему замыслу его реформ — превратить Россию в более могущественное государство на внутреннем и на международном уровне, — но также говорили о желании использовать город как испытательный полигон для некоторых конкретных начинаний... Петербург, только что основанный город, давал отличную возможность планировать и регламентировать его существование» (с. 29).

Метафора «полигона» оттеняет другое известное представление о Санкт-Петербурге как о «витрине» российских достижений. «Витрина» направлена вовне, а «полигон» — внутрь государства. Но взгляд на Санкт-Петербург как на «опытное поле» для разного рода социальных экспериментов Петра и его наследников оказывается все-таки не совсем справедливым: слишком уж немногие реформы имели обратный ход. В этом тоже проявляется своеобразная историчность и линейность

исторического времени — однажды принятые решения о новой столице, как и события, связанные с ней, уже необратимы и не могут быть отменены.

Имперская идеологема моделировала в правящих кругах и при дворе идею столицы как всемогущего города, одержавшего победу над естественными условиями. Соответственно, столь же мощной была и породившая его империя, не знавшая пределов для своей активности. В этом смысле Санкт-Петербург может восприниматься как единственный в своем роде пример города, построенного в соответствии с так и не реализованными проектами социальной физики XVII ст.: «Желание Петра основать новый город зародилось в 1690-х гг., но сам Петербург — это явный пример нововведения, не имевшего никаких корней в допетровской эпохе. Кроме того, местоположение города и предназначенные ему функции, несомненно, отражают стремление Петра к прямому контакту с остальной Европой — в военном, коммерческом, культурном отношении» (с. 13).

Впрочем, тут Пол Кинан утверждает не только неприродность и неорганичность Санкт-Петербурга, но и то, что его основание означает смену парадигмы в понимании истории. Отныне история — это не преемство, а производство нового, не столько основанное на традиции, сколько противопоставленное ей. В этом смысле новый город историчен именно в современном смысле, т.е. отрицает «естественность» (природность, органичность) исторического процесса. Здесь перед нами предстает

модерный историзм с его культом инновации и искусственностью изобретенной традиции.

Планирование и регулирование могло способствовать созданию не только новой столицы, но и социальных пространств. Таким образом воплощалась в жизнь идея, согласно которой новому обществу должно соответствовать и новое место, где бы оно могло размещаться.

Санкт-Петербургу было отказано и в исторической родословной: имперский город как точка отсчета не мог не возникнуть на «пустом месте», как новое начало. Тем паче российскому двору было невозможно признать, что, предшествуя Санкт-Петербургу, «на предполагаемом пустынном месте основания Петербурга находилась шведская крепость Ниеншанц, а также еще ряд мелких поселений, в первую очередь городок Ниен» (с. 9–10). Петр, отдававший должное «господам учителям шведам», все-таки не мог решиться на «свейскую генеалогию» своего любимого детища, и предок Санкт-Петербурга был только типологический: Амстердам. От него шла амбициозная идея сделать город одновременно торговым и военным портом — и столицей двора, спланированной в духе социальной физики: «Процесс создания города и влияние иностранцев на его планирование привели некоторых историков к выводу о том, что Петербург надо рассматривать как модернизационный проект...» (с. 63).

Идеологичность имперского проекта Санкт-Петербурга последовательна и в том смысле, что главным ретранслятором идейных и политических

установок императорского двора была архитектура — просто потому, что соответствующей литературы не существовало вплоть до середины XVIII ст., когда писатели стали связывать свою жизнь и судьбу с двором. «Архитектура Петербурга... также влияла и на его церемониальную и праздничную жизнь» (с. 64) как идеального регулярного города Нового времени, т.е. создавала пространство для реализации социальных практик петровских реформ.

«Возвращаясь к описанию города, оставленному [итальянским писателем и путешественником Франческо] Альгаротти, отметим, что он выделил ряд особенностей постройки Петербурга: “Тут господствует какой-то смешанный архитектурный стиль, средний между итальянским, французским и голландским...” и “...кто-то даже сказал: в других местах руины образуются сами по себе, а здесь их строят”» (с. 28). Космополитичность истоков и стилей Санкт-Петербурга подчеркивает его имперский, наднациональный статус: город должен был стать «образцовым» еще и в том смысле, что брал от своих предшественников все самое лучшее: «Список этих городов включает в себя как столицы, так и не столь крупные, но все же значительные города Центральной Европы: Рига, Митава, Кенигсберг, Амстердам (и особенно Заандам), Лондон, Лейпциг, Дрезден, Прага, Вена, Рава-Русская. Эти города стали источником богатейших впечатлений и примеров, которые в той или иной степени оказались важными для планов Петра» (с.29). Но столь же важен, особенно в контексте XVIII в., и топос искусственного руинирования, который

подразумевает архаическую историчность и целенаправленное «со-старивание» города. В рукотворных руинах Санкт-Петербург не только следовал европейской моде, но и обретал свою историю.

Описывая местоположение новой столицы, Пол Кинан приходит к важному выводу о двойственном характере, который играла в ее судьбе Нева. С одной стороны, она как нельзя лучше подходила для тех целей, которые преследовал сам Петр. С другой — она же представляла и огромные трудности для развития города. «Центральное место в топографии Петербурга занимала Нева: река разделяла город на отдельные районы, не всегда надежно связанные друг с другом и неудобные для сообщения. Поэтому (и, в сущности, по необходимости) река стала важнейшим элементом и повседневной, и праздничной жизни города... Влияние Невы на его развитие и на жизнь петербуржцев определялось, во многом, уже самим фактом присутствия реки в сердце города» (с. 30, 42). Отметим, что Нева сыграла свою роль и в исторической мифологии Петербурга — и речь не только о разрушительных наводнениях. Большинство великих исторических городов древности и Средневековья (и цивилизаций вообще) опирались на реки, и Санкт-Петербург, построенный на Неве, вписывался таким образом в богатый исторический канон.

РЕФОРМЫ И ДВОР

Развившееся в ходе петровских реформ дублирование государственных структур (управления, в том числе и новым — императорским,

а не царским — двором) могло говорить о желании создать идеальную модель именно для Санкт-Петербурга. При этом, правда, не совсем понятно, должна ли была стать самой продуктивной именно «питерская модель» — иначе зачем были нужны многочисленные повторения одной и той же структуры, как не для поиска единственно работающей? В силу тесных связей с двором не все социальные практики, распространенные в новой столице, могли быть перенесены на всю Россию.

Кажется, изначально многие функции двора в новой столице и правда были скорее представительскими, чем реальными, но с течением времени положение дел менялось. К 1721 г. двор, где впервые в русской истории были представлены вместе придворные и система управления, стал работать по-настоящему, когда «конкретные мероприятия также играли важную роль в формировании тех пространств, где они проводились» (с. 64). К этому времени двор уже представлял собой новое социальное пространство, где становились возможны карьерные взлеты, немислимые в XVII ст. Старинные — прежде всего московские — боярские фамилии уходили в прошлое, а двор наполняли как раз те «новые люди», из числа которых императрицы в период «дворцовых бурь» будут рекрутировать себе фаворитов. Но главное — это был новый социальный лифт (или, вернее, лестница): «важно подчеркнуть, что именно рассматриваемый нами период оказался решающим для становления Петербурга, причем не только потому, что в это время город формировался, но также и потому, что с окончательным

перемещением сюда правительственных учреждений и их персонала была обеспечена преемственность его развития после смерти Петра I» (с. 42). Санкт-Петербургский императорский двор превратился в институт, который был связан с личностью правителя гораздо слабее, чем царский двор в Москве.

Пол Кинан показывает, что основным признаком нового церемониального ритуала, необходимого при императорском дворе, была его регулярность. Причем это касается как событий, связанных с победами русской армии и флота (предсказать которые было невозможно), так и с такими ожидаемыми торжествами, как въезды российских императриц в новую столицу. Последние интересны особенно тем, что происходили с разницей в десять лет (в 1732 и 1742 гг.), и торжественный въезд Елизаветы Петровны учитывал предыдущий опыт — Анны Иоанновны, — хотя и уходил от прямого сравнения. Но в конечном итоге они были все-таки однократны для одного царствования: Санкт-Петербург требовалось «покорить» единожды. Впечатление от того, что в город вступали, а сам он был как бы сдан, усиливалось тем фактом, что автором «подробного проекта торжественной процессии 1732 г.», который «послужил важным прецедентом для тех, кто планировал такое же вступление через десять лет» (с. 132), был фельдмаршал Бурхард Кристоф Миних.

Пол Кинан обращает внимание на то, что на торжественном въезде 1742 г. отсутствовали иностранные послы. Этот факт, однако, можно интерпретировать не только как некоторое

пренебрежение к церемонии — встречали императрицу исключительно ее подданные (за исключением гостей-купцов), что подчеркивало национальный характер торжества. В дальнейшем, по мере усиления имперских элементов санкт-петербургской культуры, эта «национальная черта» будет отступать в сторону перед транснациональным классицизмом: повторять его элементы окажется гораздо легче.

Отметим, что в предшествующее столетие Москва вообще не нуждалась в такого рода жестях символической политики за редкими исключениями, т.к. была «обычной» столицей. Тщательная регламентация события позволяла, однако, при случае его повторить. Эта регулярность также появляется только в санкт-петербургский период российской истории. В новых торжествах, «несомненно, прослеживался заметный акцент на даты государственной важности как наследия петровской эпохи, но при этом регулярные празднования династических дат оставались в русле традиционно персонифицированной природы власти в России» (с. 127).

«Сценарность», о которой пишет Пол Кинан, следует воспринимать в близком к буквальному смысле. Из-за появления отчетов о торжественных событиях (а иногда даже и расписаний) у людей — прежде всего иностранцев — возникала возможность сравнить замысел и воплощение. Отметим, что в Санкт-Петербург иностранцы часто приезжали не в качестве свободных путешественников, а как придворные — и это тоже требовало модернизации императорской

столицы и двора на европейский лад. Их оценка была при этом особенно важна для восприятия российского двора за границей: «Окончательный план похорон Петра был составлен генералом Яковом Брюсом, причем в недавних исследованиях отмечается влияние шведских и германских образцов в таких элементах, как скульптурное оформление, окружавшее усопшего, а также публичная презентация тела царя... Организация похорон, несомненно, оказалась удачной, так как на иностранных посланников в Петербурге произвело большое впечатление то, как хорошо двор справился с этой задачей» (с. 153–154). Разумеется, это тоже было веянием Нового времени.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Отправная точка концепции Пола Кинана состоит в том, что Санкт-Петербург создавался как новое социальное пространство для новых же социальных практик, возникших в результате петровских реформ — прежде всего, практик русского императорского двора. Дворец, гвардейские казармы, дворцовая площадь, а с другой стороны, «простой народ» могут оказаться соседями только в образцовом городе правильного государства: «Важнейшие пункты по всему городу — царские дворцы, Летний сад, главные церкви — ярко свидетельствуют о том, что различные пространства внутри Петербурга — официальные, праздничные, религиозные — в значительной степени совпадали» (с. 67). Кроме того, в его границах можно осуществлять регламентацию, дисциплинирование

и контроль за соблюдением новых социальных практик: «От разметки улиц на плане до облика важнейших зданий, от вопроса о том, как заселить город людьми, до задачи добиться их “упорядоченного” повседневного поведения Санкт-Петербург представлял собой заранее задуманный проект, пусть и не всегда хорошо скоординированный и последовательный» (с. 30). Верно и другое: новую столицу ограничивали цели, ради которых она была создана. Таким образом, социальные практики, которые приходили в город позже, приживались в нем с трудом: «В усвоении этих новшеств в рассматриваемый период заметен переход от принуждения к регулированию, а затем к принятию нового социального контекста русской элитой» (с. 30).

Едва возникнув, новые социальные практики быстро ограничивались, в том числе на законодательном уровне. Таким образом, их появление было тоже способом социального дисциплинирования и контроля — возникало еще одно пространство, которое регламентировалось и регулировалось властью.

Многие новшества, появившиеся в Санкт-Петербурге, носили подчеркнуто милитарный характер. Так, «пушечная стрельба с двух городских крепостей была светским способом оповещения о времени» (с. 66) — однако в этом качестве она уступала башенным часам с боем (как правило, установленным на ратуше — прямого аналога этой постройки в российских городах, кажется, не было). Орудийные залпы были, очевидным образом, тесно связаны с войной. То же самое относится и к триумфальным

аркам и празднованиям в честь побед при Гангуте и Гренгае. Дело в том, что прежде морские «виктории» не праздновались (правда, их почти и не было), и даже сценарий и идеология празднования взятия Азова были целиком «сухопутными». Наконец, салют и выстрелы из ружей были связаны с тем, чтобы сделать звук стрельбы привычным для жителей Санкт-Петербурга. Но даже военные торжества при Петре I подчеркивали не столько превосходство русского национального оружия над врагом, сколько собственно победу, создававшую империю.

Хотя Пол Кинан, к сожалению, не дает четкой периодизации в хронологических рамках эпохи 1703–1762 гг., по крайней мере одна временная граница здесь есть — это смерть Петра, относительно которой иное освещение обретает и эпоха дворцовых переворотов. С одной стороны, она становится периодом в истории Санкт-Петербурга — его основания и становления как имперского города. С другой — она оказывается возможной только лишь благодаря новому городу, где обрели соседство такие пространства власти, как дворец, казармы гвардейцев и Дворцовая площадь. «...Социальные практики таковы, что некоторые действия могут считаться в них вещами, тогда как некоторые вещи могут операционализироваться в качестве действий» (Кралечкин 2020: 241).

Думается, что многие последующие преобразования в Санкт-Петербурге были следствием попытки привить социальные практики на негостеприимной почве новой столицы. Их экспериментальный дух был жив при Петре, но в дальнейшем все больше

ограничивался и вводился в строгие рамки. Кажется, такие циклы относятся и к большинству других преобразований: время требовалось не только для того, чтобы с ними сжиться, но и для решения о том, продолжать их или попытаться отменить (это совпадает, в частности, с традиционным взглядом великодержавной историографии на Екатерину как продолжательницу дела Петра). «Но получить результат от этих реформ в Петербурге было гораздо реальнее, так как Полицмейстерская канцелярия, благодаря столичному статусу города и присутствию двора в его резиденции, играла в петербургском обществе ясно очерченную и прочно обоснованную роль» (с. 77).

Пол Кинан показывает, что полиция в Санкт-Петербурге изначально взяла на себя функции сопредельных ведомств и органов и таким образом осуществляла не только социальный контроль, но и, что более важно, социальное дисциплинирование: «Сверх того, полиции вменили в обязанность надзор за обликом самого города — ей предстояло согласовывать и контролировать все новые строительные работы, обеспечивать должное содержание городских набережных и улиц, держать в чистоте водные пути» (с. 78). В этом смысле новая столица действительно стала полигоном для реформ, где, в частности, общественная мораль была последовательно выведена из-под контроля церкви (автор приводит яркий символический пример замены колокольного звона пушечными залпами для объявления времени).

Санкт-Петербург отчасти представляет Россией в миниатюре, т.к. в нем

становилось возможно то, что нельзя было воплотить в жизнь в других местах страны. Но даже в нем оказывается невозможен рывок в модернизм: многие меры и социальные практики противоречили друг другу, вводились в рамки социального дисциплинирования и контроля, не соблюдались — а некоторые и исчезали. Все это напоминает главный сценарий противоречивых петровских реформ — «качание маятника» от преобразования до реакции на него. Возникнув как инициатива Петра, при его преемниках город поначалу приходит в стагнацию: «После смерти его основателя в 1725 г. позиции Петербурга оказались под сомнением. К концу 20-х гг. возникло предположение, что государственные институты, возможно, навсегда вернуться в Москву...» (с. 25).

СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Новые социальные пространства приводили к возникновению и новой сети коммуникации в Санкт-Петербурге, которая в итоге была создана, судя по всему, ближе к середине XVIII ст. Очевидно, что главные сети коммуникации и информационные каналы продолжали оставаться устными. Содержание газет в лучшем случае могло пересказываться, однако крайне сомнительно, чтобы люди из высших классов, которые могли читать, посвящали «простой народ» в повестку дня. Косвенным доказательством этого может служить факт крайне низкой социальной активности населения Санкт-Петербурга, которая была бы связана, выражаясь современным языком, с информационными поводами. Иными словами,

простые люди не реагировали на то, что, по идее, должно было бы их волновать. Таким образом проявился двойственный характер модернизационного проекта в одной из самых чувствительных его точек: Санкт-Петербургское общество так и не стало «информационным», и вместе с тем сохранилась возможность контроля над коммуникациями.

Правда, к городу была привязана первая российская газета, «Санкт-Петербургские ведомости», которые остаются единственным источником сведений о праздниках по случаю коронации, происходивших в Петербурге, пока двор находился в отъезде» (с. 161). Возникает впечатление, что информирование новой столицы о таком важном событии, как коронации, было делом совершенно особенным, ради которого во многом и функционировала газета. Таким образом, «Санкт-Петербургские ведомости» создают для читателей требуемое представление о торжестве. Известия о дворе были новостями о придворном социальном пространстве, о котором впервые стало можно говорить — и газета была точкой отсчета для формирования общественного мнения.

Возможно, интересно было бы реконструировать сеть устных коммуникаций в столичном городе (как это сделал Роберт Дарнтон в работе «Поэзия и полиция. Сеть коммуникаций в Париже XVIII века». М.: НЛО, 2016). Это проблема всегда ограничена источниками, однако кажется очень ценным понять, изменилось ли по сравнению с Москвой в «европейской столице» России общение, и если да — то как? Пол

Кинан подходит к этому вопросу вплотную, отмечая возникновение новых горизонтальных связей в обществе, но вот их вертикальный срез остается пока невыясненным (в частности, взаимодействие двора и социальных «низов»).

РАЗВЛЕЧЕНИЯ В НОВОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Регламентация и контроль в Санкт-Петербурге подчинили своей логике и развлечения, до петровской эпохи остававшиеся областью частной жизни. Здесь сработала уже хорошо известная схема: сначала возникло новое социальное пространство (для развлечений как социальной практики), а потом появились регламентирующие и контролирующие указы — и это служило признаком уже во многом сложившегося «полицейского государства» (в смысле XVIII ст.). Обязательность развлечений, сразу введенных в придворный контекст, особенно в петровскую эпоху, также подчеркивала их социальный характер.

Главными увеселениями, через которые осуществлялись контроль, социальное дисциплинирование и регламентация, были музыка и танцы. При дворе в Санкт-Петербурге на них фактически действовала государственная монополия: «По жалобе, поступившей из Кабинета Е.и.в., Полицмейстерская канцелярия отчитала немецкого комедианта, названного попросту Панталон, за попытку организовать без разрешения концерты итальянского скрипача Джузеппе Пассерини в феврале 1748 г.» (с. 186). О важности,

которая придавалась развлечениям, ярко свидетельствует тот факт, что разрешения на проведение выдавала полиция, а если не была уверена в их благопристойном характере, то «собирала сведения о видах платных увеселений, которые могли использоваться для прикрытия незаконной деятельности. В официальных рапортах они обычно именовались “вечеринками”, но включали в себя разные виды развлечений, в том числе музыку, танцы, азартные игры. Как и прочие мероприятия подобного рода, эти вечеринки требовали разрешения Полицмейстерской канцелярии» (с. 187). Таким образом, новые развлечения уже с самого своего появления были включены в систему контроля за социальным пространством. «Но, как и другие аспекты общественной жизни Петербурга, эти мероприятия подлежали полицейскому контролю, если в них подозревали нарушение приличий, которым могло грозить взаимодействие смешанного общества. И хотя рассматриваемый период и был важным этапом в утверждении Петербурга как сцены для музыкальных талантов, все-таки этот процесс еще едва начался» (с. 190).

Главным — и почти единственным — пользователем новых развлечений был императорский двор в Санкт-Петербурге. Таким образом, возможность оказаться причастным к театру или музыке (не говоря уже об ассамблеях, которые были чистым пространством общения, строго отграниченным по «жанру» от музыкальных вечеров, танцев, маскарадов) стала еще одной демаркационной линией в становлении двора эпохи

абсолютизма. Посещение развлечений не только служило признаком регламентации, но и говорило об исключительном положении «потребителей культуры». Другой важный аспект связанных с культурой развлечений состоял в их статусе: очевидно, что в течение еще очень долгого времени (возможно, до екатерининской эпохи) двор посещал театр и музыку не потому, что испытывал потребность в эстетическом наслаждении, а в силу того, что так было принято (или даже приказано).

Модернизировались и народные увеселения, и гуляния, хотя в целом оставались прежними. При этом имело место обратное движение — дворянство снисходило до них в таких (квази)народных развлечениях, как ледяные горки: «они служили удобным пунктом сосредоточения для поставщиков других увеселений, вроде кукольного театра, и для продавцов всяких угощений, которые, несомненно, рассчитывали на клиентуру из числа людей, застрявших в длинной очереди на ледяную гору. Интересно, что ледяные горы — это пример народного развлечения, которое любила также элита, хотя это не значит, что те и другие обязательно оказывались вместе на одном склоне» (с. 219).

Европеизация в этих представлениях никогда и не шла дальше двора. Одним из отдаленных последствий такого разделения стала все углублявшаяся и расширявшаяся пропасть между «дворянской культурой» и «простым народом». К сожалению, этой роли новых развлечений Пол Кинан не уделил достаточного внимания.

МАСКАРАДЫ

Особое место в системе новых развлечений Пол Кинан отводит маскарадам, которые сами по себе являлись пространством (квази)социализации. И это понятно: ведь они были самым радикальным антирелигиозным высказыванием Петра в его придворных церемониях: «Православная церковь не одобряла такие действия, что неудивительно при ее отношении к танцам и музыке; к тому же ношение масок в православной традиции ассоциировалось с одержимостью злыми духами» (с. 191). Введя маскарады, Петр вступал уже в серьезный спор с церковью и православными взглядами при дворе. Вместе с тем именно царь ставил границы допустимого, так сказать, определяя степень секулярности сознания своих придворных на маскараде.

Маскарады оставались и самым недопустимым из всех новых развлечений социальным пространством и на деле были призваны перевернуть все социальные модели, роли (и «маски»), кроме одной — самого царя. Тем самым подчеркивалось, что даже в карнавальном (квази)социальном пространстве он остается правителем. «Такая интерпретация ставит эти ранние российские примеры в противоречие с карнавальной, бросающей вызов иерархическому порядку природой подобных празднеств в других культурных контекстах. Если разработанное Петром пародирование традиционных форм религиозного и культурного авторитета, например, Всеявнейший собор, часто напоминало обстановку и содержание маскарадов, то участие в нем ограничивалось лишь членами ближнего круга

царя. «Перевернутый мир» оставался еще в очень большой степени под его контролем» (с. 192). Собственно же на маскарадах 1720-х гг. «кроме самого Петра, ничье поведение с выходом за рамки дозволенного... не поощрялось, в отличие от других европейских примеров. Более того, эти торжества планировались под руководством Петра» (с. 191). Таким образом Петр ставил ударение на своем всевластии: символически ему одному было дозволено не знавшее границ веселье, чреватое в том числе и физическим насилием над приближенными. Он занимал «метапозицию» по ту сторону и нормального этикета, и перевернутого карнавального мира. Отметим, что впервые сам Петр столкнулся с «перевернутым» придворным миром, обрядом и ритуалом еще во время своего венчания на царство, которое, вопреки всем канонам и традициям, было двойным — его собственным и единокровного брата Ивана (*Погодин 2020: 56*). В свою очередь, его потомки вписали маскарады в русский церковный календарь: «В начале января 1746 г. Елизавета приказала проводить маскарады в домах знатных особ по понедельникам, средам и четвергам, начиная с 13 января и до Масленицы» (с. 195).

Маскарады проникли от императорского в дома высшей знати и стали самым привилегированным развлечением в Санкт-Петербурге. Вместе с тем они продолжали жестко контролироваться. «Например, в Оперном доме было два входа: один для “знатных” гостей и остального дворянства, а другой для всех прочих. Кроме того, во время маскарада членам двух этих социальных групп не разрешалось танцевать вместе»

(с. 197). «Публичный маскарад был доступен любому, кто мог заплатить два рубля за билет и надеть маску, причем знатным дворянским семьям (именуемым “люди боярские”) не приходилось заботиться о последнем требовании». Здесь происходило знаковое социальное смешение масок: ведь под ними было трудно угадать определенного человека. Но итогового растворения на равных в новом социальном пространстве, несмотря ни на что, не происходило, а встречи на маскараде оставались под наблюдением полиции.

Пол Кинан приводит два важных примера, которые говорят о ключевой роли именно маскарада в контексте придворных развлечений и увеселений. Так, только на маскараде оставалась возможность совмещать театрализованное действие и наблюдение за ним. Это делило двор на две части: собственно придворных, участвовавших в маскараде, и лицезревших их членов императорской фамилии. Таким образом, вновь отмечалась изначальная «невключенность» носителей власти даже в самые свободные из представлений. Вместе с тем маскарад был первым придворным праздником, получившим не только регламентацию, но и регулярность.

Еще одним доказательством социальной регламентации и регулирования, связанных именно с маскарадами, служат входы по билетам и наложенные на костюм и маски ограничения: «Вход разрешался по билетам, которые надо было заказывать в Дворцовой канцелярии. Это условие имело две цели: оно позволяло двору точно узнать число

будущих гостей из организационных соображений, а также составить их список, подобный спискам гостей на придворных маскарадах. Последнее особенно важно, так как в указе подчеркивалось, что те, кто заказал билеты, но затем ими не воспользовался, будут оштрафованы, согласно списку с отмеченными именами. Запись в камер-фурьерском журнале подтверждает этот пункт, так как гласит, что, хотя Дворцовая канцелярия выдала 867 билетов, на маскарад явилось только 637 человек. Требования к нарядам на этом маскараде включали в себя “приличные” или “пристойные” маски, а являться в костюме паломника, арлекина или в “непристойных” сельских нарядах запрещалось особо» (с. 201). Это кажется особенно важным: сразу же за появлением нового социального пространства — маскарада — оно было ограничено, а допуск на него превратился в очередное средство контроля (на сей раз вообще связанное со штрафами — странное «далековатое сближение» развлечений и поднадзорности). Верно и другое: особое запрещение являться в сельских нарядах, что ставило крест на важной просветительской утопии о прекрасных пейзажах. Даже это совершенно игровое переверачивание не допускалось.

«Важное исключение из тарифа составляли “знатные” зрители, которые могли заплатить не установленную цену, а сколько пожелают по своему усмотрению. Высокий социальный статус таких персон, конечно, был главным фактором, так как организаторы стремились привлечь элиту для придания блеска мероприятию. По этой причине знатные персо-

ны вообще не предполагали, что им придется платить, — в сущности, потребовав с них плату, можно было их не только серьезно обидеть, но и подвергнуться побоям со стороны их слуг. С другой стороны, делая любое даяние чисто доброхотным, организаторы могли сыграть на желании представителей элиты покрасоваться щедростью и утонченностью, а к тому же извлечь для себя пользу из чести их присутствия» (с. 186).

Единственным постоянно изменяемым атрибутом императорского двора стали придворная одежда и способы ее регламентации (а тем самым и подчинения физического тела дворянина своему правителю) от служебного приема до развлечения. «Хотя в рассматриваемый период при дворе все больший вес приобретал подобающий костюм, случалось и так, что вкус правителя преодолевал принятый обычай. Елизавета в свое царствование устроила несколько маскарадов с переодеванием (“метаморфозы”), на которых кавалеры надевали женские наряды, и наоборот» (с. 272). Таким образом монарх показывал свою власть, однако при этом все равно оставался в фарватере петровских реформ. На примере одежды хорошо видно, что пойти против преобразований потомки Петра уже не могли, им оставалось лишь упорядочивать их, вводя в русло. Единообразие и частичная милитаризация костюма свидетельствуют о том, что целью его введения был не только «культурный трансфер» из Европы. Одежда также становилась пространством социального, которое вполне можно было регулировать и контролировать.

ПЬЯНСТВО И АЗАРТНЫЕ ИГРЫ

Контроль осуществлялся за новыми пространствами, созданными для перенесенных в Санкт-Петербург социальных практик. Пол Кинан подчеркивает, что настоящим изобретением петровских реформ был их современный контекст, в том числе и его физическое воплощение: места для распития спиртных напитков и для участия в карточных играх.

На улицах императорской столицы происходит первая попытка ограничить пьянство — в чем с полным основанием можно видеть ужесточение порядка. Сама эта мера преследовала двоякую цель. С одной стороны, в городе, где теперь размещался император, его двор и правительство, распитие спиртных напитков на улице было уже не совсем приличным. С другой стороны, ограничительные меры вновь коснулись народного развлечения, т. е. такой области жизни, где человек чувствовал себя свободным (по крайней мере, от условностей «хорошего тона»).

При этом изменения, касавшиеся связанных с возлиянием при дворе обрядов и ритуалов, первым осуществил уже Петр, а в эпоху дворцовых переворотов соответствующие указы только ужесточились. Можно сказать, что улицы Санкт-Петербурга явились в этом смысле продолжением двора, где распитие спиртных напитков было введено в более-менее строгие рамки. Собственно, такая социальная практика и оказалась возможна только благодаря соседству двора с улицами. В частности, даже после того, как выяснилось, что после акции «генерал-фельдмаршала

и генерал-прокурора князя Никиты Юрьевича Трубецкого», «предпринятой им против кабаков, которые он считал противозаконными», «доходы от продажи спиртного упали в городе на 24,5 тыс. руб.» (с. 91–92), городская администрация не пошла на отмену непопулярных и приносящих ущерб мер.

В случае с азартными играми социальное дисциплинирование и контроль имели и самое непосредственное пространственное воплощение: «предполагалось, что игру в карты, как занятие по природе своей статичное, предпочитают наиболее зрелые, а следовательно, наименее подвижные придворные. Это, несомненно, подтверждается тем фактом, что и Анна Ивановна, и Елизавета с годами все чаще выбирали на придворных раутах карты вместо танцев» (с. 96–97). В свою очередь, это влияло на расстановку игорных столов и рассадку гостей за ними, а тем самым — и на возможность получить доступ к интересовавшей придворной фигуре. Точно так же «в указе 1750 г. об учреждении нескольких гостиниц (“гербергов”) для приезжих иностранцев в Петербурге и Кронштадте особо упомянуто о необходимости оснастить их бильярдами» (с. 95–96). Таким образом, и новое городское пространство строилось с учетом социальных практик, перенесенных в него.

Нарушение порядка в социальных практиках влекло за собой длинную и порой весьма разветвленную цепь последствий. «Всякого, кто станет играть на более крупные суммы, следовало оштрафовать на его двойной годовой оклад и на весь выигрыш (или на стоимость

любого имущества, предоставленного в залог на покрытие долга), в то время как хозяин помещения, где играли, тоже подлежал штрафу. Этот штраф делился на четыре части — одна часть передавалась “на гошпиталь”, вторая на содержание полиции, а остальные две на вознаграждение доносчиков, которые могли представить убедительные письменные доказательства противозаконной деятельности... Хотя ответственность за соблюдение этого запрета возлагалась на Поллицейстерскую канцелярию или на местные власти, в последнем пункте указа содержалось требование, чтобы обо всех штрафах сообщали в Сенат, а также в Военную коллегию, в Адмиралтейство или в гвардейские полковые канцелярии, так как это могло влиять на чин и продвижение по службе» (с. 100). Таким образом, сначала было осуществлено нововведение, потом его ограничили и поставили под контроль, наконец, нарушение запрещавшего его указа влекло за собой новые последствия, немислимые в прежнем социальном пространстве и социальных практиках.

Так как карточная игра явно воспринималась как светское времяпровождение, которое считалось уместным лишь в определенных местах, а именно при дворе, в покоях императрицы и в домах знати, то это служило дополнительным маркером, отграничивавшим разные социальные пространства. «Собственно, и право играть (а следовательно, и потерять или приобрести деньги) отводилось почти исключительно знати. Можно сделать осторожное предположение,

что такое социальное регулирование символически ограничивало простых людей в распоряжении их собственностью, которую они не могли поставить на кон».

Кажется, что перенос пьянства (упорядоченного и подчинявшегося правилам) в городское пространство Санкт-Петербурга — как и пристальное внимание к азартным играм — были способами контроля над социальными практиками. Правда, остается вопрос, в какой мере эти новые реалии были перенесены на остальную Россию — вполне возможно, что некоторые новшества были сделаны изначально в Москве и только потом получили распространение.

КАРНАВАЛЬНОСТЬ В НОВОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Особый интерес вызывают приводимые Полом Кинаном примеры перевертывания новой социальной нормы, которая в период своего становления переживала кризис. Так, в одном нелегальном увеселительном заведении его хозяйка пародирует церемониалы, обряды и ритуалы двора — причем эту карнавальность, судя по всему, сообщали высокородные и высокопоставленные клиенты, желавшие, возможно, сами потешаться над ассамблеями (особой пикантности ситуации придавало немецкое происхождение проституток): «Она снимала в городе несколько домов, в которых проводила “вечеринки” на протяжении 1740-х гг. Вечера устраивались для платной клиентуры (брали по рублю с человека) и сопровождались увеселениями в виде музыки и танцев. Это позволяло

клиентам рассматривать и выбирать женщин. Девицы были частью русские, а частью иностранки (главным образом, немки), которых Фелькер набирала для этих целей» (с. 106).

В другом случае новое социальное пространство, где были бы возможны услуги проституток, попыталось мимикрировать под старые торговые бани: «Другую сферу, связанную с нарушением благопристойности в обществе и доступную для платной клиентуры, представляли собой городские торговые бани (в отличие от частных бань)», которые, как это следует «из описаний путешественников, часто служили местом встречи проституток с их клиентами» (с. 107). Разумеется, после «обсуждения в Сенате по вопросу о том, что в городских торговых банях мужчины и женщины моются вместе, что “весьма противно”» (с. 108), совместное мытье было запрещено. В этом случае не возникло даже мысли о создании нового социального пространства, чтобы ввести в рамки сомнительные практики — идущий из прошлого социальный порок должен был быть искоренен окончательно. В Санкт-Петербурге ему уж точно не находилось места с точки зрения власти (в отличие от попытки «нормализации», регламентации и регулирования пьянства и игр). Это могло служить ключевым предложением для борьбы с проституцией. И здесь российская власть была гораздо жестче, чем европейские дворы, — она не была готова перенимать в том числе и снисходительное отношение к женщинам легкого поведения. Речи о копировании социальной культуры Запада здесь не шло.

МОДЕРНОСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И РУССКОГО ДВОРА: ПРОБЛЕМЫ МЕТОДА

В качестве итога для емкого и крайне интересного труда Пола Кинана кажется важным уточнить модерную историческую логику, в которой пишет автор.

С точки зрения модернизации сохранение — пусть и в измененном виде — наследия Московского царства не было «пережитком». Пережиток может существовать тогда, когда у власти нет причин бояться сравнения настоящего с прошлым. В таком режиме модерна пережиток не будет напоминать, что раньше было лучше, но останется таким приятным историческим воспоминанием (как монархия в Англии).

Отметим, что России не пришлось отвечать на «цивилизационные вызовы» в парадигме «вызова — ответа», по крайней мере извне. Волей Петра она сама поставила перед собой изнутри вызов, на который ей пришлось отвечать. Большинство решений, принимавшихся царем и двором, в частности, организация нового социального пространства, не имели прецедента в историческом прошлом России. Хотя с точки зрения исторической памяти по источникам личного происхождения можно проследить, что многие деятели петровского царствования помнили предыдущие попытки модернизации. Иными словами, Россия сама для себя придумала свою модернизацию, в которой и стала отвечать на вызовы и переносить иностранные практики, но с учетом «национальной специфики».

Первый российский император и его двор имели дело с тем, с чем русская

история до них не встречалась. И их кажущиеся «нерусскими» меры в действительности не могли быть иными с самого начала реформ. Даже если какие-то социальные пространства или ситуации казались уже известными, то все равно они требовали нового подхода, нового решения. Вся прежняя система ценностей и отношений, прожитый исторический опыт оказывались неудовлетворительными при попытке приложить их к новой исторической реальности.

Особенность петровской эпохи российской модерности заключалась в том, что отсутствовала точка, относительно которой происходившие изменения воспринимали бы себя как модерн. Формы условного прошлого, от которого следовало оторваться, были переделаны в реалии нового времени. Неравномерность модернизации проявлялась в том, как относились последующие правители к реформам, хотели ли они их продолжать, закончить — или вернуться в невозвратное (и утопическое) прошлое, представленное через разрыв. Пользуясь термином Фредрика Джеймисона, можно сказать, что «ан-

клавов старого порядка» не осталось. Отсутствовала и рефлексия об этих пережитках: русская мысль начала XVIII ст. не имела перед своими глазами опоры для размышлений и предмета для воспоминаний и сравнений с прошлым. То есть тотальность петровских реформ была их главным признаком и вместе с тем симптомом государства Нового времени, стремящегося к контролю, регламенту и регулированию. Той формой, которая вобрала в себя и одновременно скрыла историческое прошлое, и был Санкт-Петербургский двор.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Кралечкин 2020 — *Кралечкин Д.М.* Ненадежное бытие. Хайдеггер и модернизм. М., 2020.

Погодин 2020 — *Погодин М.П.* Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. 1672–1689. СПб., 2020.

REFERENCES

Kralechkin D.M. *Nenadezhnoe bytie. Khaidegger i modernizm*. Moscow, 2020.

Pogodin M.P. *Semnadtsat' pervykh let v zhizni imperatora Petra Velikogo. 1672–1689*. St. Petersburg, 2020.

М. В. Батшев

ЗАБЫТЫЙ ПУШКИН

Рец.: Пушкин в забытых воспоминаниях современников [составление, вступительная статья, подготовка текстов и коммент. С. В. Березкиной]. СПб.: Дмитрий Буланин, 2020. 368 с.

Рецензируется комментированное издание ранее малоизвестных воспоминаний современников об А. С. Пушкине.

Ключевые слова: А. С. Пушкин, современники Пушкина, мемуары.

Сведения об авторе: Батшев Максим Владимирович, научный сотрудник Отдела документации наследия и информационных технологий Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Москва).

Контактная информация: bmv@list.ru.

M. V. Batshev

FORGOTTEN PUSHKIN

Rev.: Pushkin v zabytykh vospominaniakh sovremennikov [sostavlenie, vstupitel'nai'a stat'ia, podgotovka tekstov i komment. S. V. Berezkinoi]. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin, 2020. 368 p.

The commented edition of the previously little-known memoirs of contemporaries about A. S. Pushkin is reviewed.

Key words: A. S. Pushkin, Pushkin's contemporaries, memoirs.

About the author: Batshev Maxim V., researcher of the Department of documentation of heritage and information technologies of the D. S. Likhachev Russian research Institute for cultural and natural heritage (Moscow).

Contact information: bmv@list.ru.

Пушкинский дом (ИРЛИ РАН) вернулся к своему старому проекту — сборанию и публикации всего комплекса мемуарных свидетельств современников о А. С. Пушкине. Во вступительной статье к рецензируемому изданию упоминаются

выполнявшиеся в стенах Института проекты издания четырех- и даже десятитомного собрания воспоминаний современников о поэте.

Данное издание представляет собой публикацию корпуса текстов о поэте,

© М. В. Батшев, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-286-290

«забытых» составителями двухтомного издания «Пушкин в воспоминаниях современников». У каждого интересующегося эпохой Пушкина возникает вопрос — а почему их не включили («забыли») в то знаменитое двухтомное издание XX в., которое было потом и переиздано с небольшими изменениями (Пушкин... 1985, 1999)? Составитель нынешнего издания отвечает на этот вопрос так: ведь это были тексты «менее значимые, или же, что важно, противоречащие общей концепции личности Пушкина» (с. 7). Кроме того, по моему мнению, на отбор текстов в упомянутое издание сильное влияние оказала тогдашняя идеология.

В рецензируемом издании собраны тексты, которые представляют нам великого поэта как личность совершенно оригинальную и ни на кого из современников не похожую.

Публикация «Воспоминаний» выстроена по хронологическому принципу в соответствии с годами жизни поэта.

Авторами включенных в книгу текстов являются люди, не относившиеся к кругу близких друзей поэта. Мы встречаем здесь тексты его однокашников, родственников, а также авторов, которых жизнь эпизодически сталкивала с Пушкиным. В последнем случае толчком к написанию документального текста становилось впечатление от встречи с поэтом.

В сборнике собраны мемуарные свидетельства, не только вышедшие до революции, но и напечатанные сравнительно недавно. Это, в частности, записки Л. Н. Павлищева «Из

Воспоминаний об А. С. Пушкине», которые были впервые опубликованы в издании «Фамильные бумаги», выпущенном в конце XX в. в Санкт-Петербурге.

Одним из самых интересных источников, включенных в сборник, нам представляется впервые полностью опубликованный мемуарный текст «Из заметок старого лицеиста» М. А. Корфа, который был написан им по просьбе П. В. Анненкова, причем сам автор его публиковать не планировал. В комментарии к этой публикации составитель пишет, что впервые фрагменты из этого произведения были опубликованы в 1880 г. П. А. Вяземским в газете «Берег» (с. 245). Непонятно, как он мог это сделать, если он умер в 1878 г.

Данное произведение представляет нам значительно более глубоким, нежели просто фиксация сохранившихся юношеских воспоминаний об однокашнике. Модест Андреевич излагает здесь, отталкиваясь от своего пристрастного видения Пушкина, как должен выглядеть и как себя вести в обществе русский образованный бюрократ первой половины XIX в. Он начинает это описание с речи и стиля общения: «Пушкин ни на школьной скамье, ни после, в свете не имел ничего любезного и привлекательного в своем стиле общения. Беседы, ровной, систематической, сколько-нибудь связной, у него совсем не было, как не было и дара слова, были только вспышки: резкая острота, злая насмешка, какая-нибудь внезапная поэтическая мысль; но все это лишь урывками, иногда в добрую минуту, большею же частью или тривиальные общие

места, или рассеянное молчание» (с. 51). В отличие от любви поэта к шуткам и смеху, идеал должен быть всегда серьезен: «В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств, и он полагал даже какое-то хвастовство в отчаянном цинизме по этой части: злые насмешки — часто в самых отвратительных картинах над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям, над родственными привязанностями, над всеми отношениями, общественными и семейными — это было ему ни по чем, и я не сомневаюсь, что для едкого словца он иногда говорил даже более и хуже, нежели в самом деле думал и чувствовал» (с. 52). Мемуарист обращает внимание и на внешний вид: «Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда почти без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами и прелестницами петербургскими, Пушкин представлял тип самого грязного разврата» (с. 52). И завершает картину отрицательных свойств, нарисованных Корфом, неблагодарность по отношению к правительству: «Ни несчастье, ни благотворенья императора Николая его ни исправили: принимая одною рукой щедрые дары монарха, он другою омокал перо для щедрой эпитаграммы» (с. 52).

Рассказывая во вступительной статье про мемуарный текст Корфа, С. В. Березкина обращает внимание на то, что мемуарист, описывая смех Пушкина, употребляет эпитет «ржание». Она пишет: «Это было непривычно для русского человека, кото-

рый должен был проживать свою жизнь серьезно» (с. 8). Но при этом она не обращает внимание на очень интересное и, как представляется, гармоничное описание особенностей салонной речевой коммуникации поэта и его смеха как части этой коммуникации, зафиксированное в «Воспоминаниях» А. Д. Блудовой: «А вот и Пушкин, с своим веселым, заливающимся ребяческим смехом, с беспрестанным фейерверком остроумных, блистательных слов, а потом растерзанный, измученный, убитый жестоким легкомыслием пустых, тупых умников салонных, не постигших ни нежности, ни гордости его огненной души» (с. 65).

Во включенном в издание фрагменте из воспоминаний П. Х. Граббе содержатся интересные наблюдения относительно манеры Пушкина перескакивать в разговоре с одного языка на другой: «К досаде моей Пушкин часто сбивался на французский язык, а мне нужно было его чистое, поэтическое русское слово! Русской плавной, свободной речи от него я что-то не припомню; он как будто сам в себя вслушивался» (с. 211).

Один из ближайших друзей А. С. Пушкина Павел Нащокин — в центре «Воспоминаний» И. В. Кулакова. Здесь перед читателем предстает многогранный образ этого выдающегося человека.

Довольно странно, на наш взгляд, выбор фрагмента из мемуарного наследия Д. Н. Свербеева, который помещен в сборник. Это фрагмент из мемуарного очерка Свербеева «Воспоминания о Петре Яковлевиче Чаадаеве» с рассказом о помо-

щи Пушкину, которую ему оказал Чаадаев, когда поэту грозило наказание за вольнолюбивые стихи. В комментариях составитель не указывает, что это отдельный мемуарный очерк о Чаадаеве, а ставит ссылку на II том «Записок» Свербеева. Хотя данный очерк печатался еще в «Русском Архиве» задолго до выхода «Записок» (Пушкин... 1985, 1999). Также он опубликован как отдельное произведение во втором издании «Записок» Д. Н. Свербеева (*Свербеев* 1868).

В основном тексте «Моих Записок» Свербеева встречаются любопытные упоминания об отношении мемуариста к Пушкину. Также Пушкин фигурирует в «Дневнике» супруги Дмитрия Николаевича Екатерины Александровны (Дневник... 1998).

Интересна статья М. М. Попова «Александр Сергеевич Пушкин», которая представляет собой пример официальной контрпропаганды против «Полярной звезды» А. И. Герцена в предреформенную эпоху. Подготовленный в 1856 г. авторский материал должен был представить А. С. Пушкина как верного слугу императора Николая I, а не певца свободы, каким его представлял А. И. Герцен в своих изданиях.

Крайне важны «Воспоминания» А. Г. Хомутовой о Пушкине. Данный рассказ является самым ранним из известных фиксаций рассказа поэта о его свидании с императором Николаем I в Москве после возвращения из ссылки в Михайловском. Данный рассказ был опубликован в «Русском архиве» еще в 1867 г. и по непонятной причине был про-

игнорирован составителями выше-названного двухтомника «Пушкин в воспоминаниях современников».

Статья Н. И. Тарасенко-Отрешкова освещает историю несостоявшегося издательского проекта Пушкина 1832 г. по выпуску газеты «Дневник».

В фрагменте из воспоминаний В. А. Сафоновича уделяется внимание личным качествам и характеру Пушкина. Из-за малого количества, по мнению автора, записанных воспоминаний о поэте «личность Пушкина останется навсегда неопределенной» (с. 202). Этот же мемуарист приводит интересные подробности относительно салона знаменитой графини Загряжской, у которой часто бывал Пушкин и записывал ее рассказы.

С неожиданной стороны предстает Александр Сергеевич в кратком мемуарном отрывке Н. А. Безобразова. Данный мемуарист приводит слышанные им лично пространные рассуждения поэта относительно языковых заимствований. Так, в деятельности Шишкова Пушкин видит как смешные стороны, так и правильные. При языковых заимствованиях Александр Сергеевич предлагал руководствоваться следующими принципами: «Все, что мы ни выговариваем, выражает — или имя собственное, или название предметов, или понятия. Имена собственные следует переводить как можно звукоподражательнее. На это чрезвычайно способен наш язык. Названия предметов могут быть иногда удержаны и иностранные. Как скоро, при введении в употребление для него

нового предмета, не прибрано для него приличного названия — употребляйте чужестранное; употребляйте его до той поры, пока у кого-нибудь с языка не сорвется счастливое выражение, которое без натяжки, войдет в общее употребление. Что же касается [понятий]... О! ...это совсем иное дело. Понятия суть принадлежность разума. Кто выражает суть какое-либо понятие иностранным словом, тот или свидетельствует о собственном своем невежестве... тогда не смей братья за перо; или порочит разум своего народа, доказывая, что этот разум не только не был в состоянии выразить общечеловеческую принадлежность, но и не был в силах подготовить это выражение. Это уже слишком обидно!» (с. 207).

Составитель справедливо упрекает коллег, составлявших сборник «Поляки в Петербурге», в отсутствии научного комментария к рассказу о роковой дуэли Пушкина, который содержится в воспоминаниях С. Моравского «В Петербурге».

Данный сборник является интересным явлением в издательской практике и позволяет читателю увидеть великого поэта глазами самых разных его современников, а не только его близких друзей, как в уже упоминавшемся выше двухтомнике.

Хочется надеяться, что Пушкинский дом продолжит выпуск мемуарных сборников свидетельств современников о поэте.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Дневник... 1998 — Дневник Екатерины Свербеевой за 1833 год // Памятники Культуры Новые Открытия 1997. М., 1998. С. 7–36.

Пушкин... 1985, 1999 — Пушкин в Воспоминаниях современников. В 2 томах. М., 1985 (1-е издание); Пушкин в Воспоминаниях современников. В 2 томах. СПб., 1999 (2-е издание).

Свербеев 1868 — *Свербеев Д. Н.* Воспоминания о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русский Архив. 1868. Вып. 6. Стб. 976–1001.

Ю. Е. Суворова

АВАНГАРД: ОТНОШЕНИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 1920-х гг.

Рец.: *Фёрингер М.* Авангард и психотехника: наука, искусство и методики экспериментов над восприятием в послереволюционной России / пер. с нем. К. Левинсона, В. Дубиной. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 336 с.: ил.

Автор рецензии анализирует монографию М. Фёрингер «Авангард и психотехника: наука, искусство и методики экспериментов над восприятием в послереволюционной России» 2019 г. и выделяет её достоинства и недостатки. Автор подчёркивает важность данного исследования для переосмысления значения эпохи авангарда в истории России Новейшего времени, поскольку М. Фёрингер удалось заполнить лакуны в изучении периода и дать ему свою оценку.

Ключевые слова: Авангард, советское искусство, психотехника, Советская Россия, 1920-е

Сведения об авторе: Суворова Юлия Евгеньевна, бакалавр истории, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова (Ярославль).

Контактная информация: suvj09.suvorova@yandex.ru.

Y. E. Suvorova

AVANTGARDE: SCIENCE AND ART'S RELATIONSHIP IN SOVIET RUSSIA IN 1920s

Rev.: Feringer M. Avangard i psikhotehnika: nauka, iskusstvo i metodiki eksperimentov nad vospriatiem v poslerevoliutsionnoi Rossii, per. s nem. K. Levinsona, V. Dubinoi. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2019. 336 p.: il.

The author of the review analyzes the monograph by M. Fehringer «Avantgarde and psychotechnics: science, art and methods of experiments on perception in post-revolutionary Russia» 2019 and highlights its advantages and disadvantages. The author emphasizes the importance of this study for rethinking the significance of the avantgarde in the Modern Russian History. M. Fehringer filled the gaps in the study of the period and give her own assessment to it.

Key words: Avantgarde, Soviet art, psychotechnics, Soviet Russia, 1920s

About the author: Suvorova Yulia E., bachelor of History, Demidov Yaroslavl State University (Yaroslavl).

Contact information: suvj09.suvorova@yandex.ru.

В 2019 г. издательство «Новое литературное обозрение» переиздало монографию историка искусства, профессора Геттингенского университета им. Георга-Августа Маргареты Ферингер «Авангард и психотехника: наука, искусство и методики экспериментов над восприятием в послереволюционной России». Переводчиками с немецкого выступили К. Левинсон и В. Дубина.

В исследовании М. Ферингер ставит перед собой и перед читателем следующую цель: выявить связь науки и искусства авангарда в Советской России 1920-х гг. В связи с этим были сформулированы такие вопросы: как можно охарактеризовать эксперимент, который ставил художник, а не ученый, и какое значение имел подобный эксперимент для той реальности, в которой он осуществлялся, как художники экспериментировали с психологией зрительского восприятия, какова степень взаимопроникновения науки, искусства, идеологии и политики, почему психотехника оказалась столь популярной именно в РСФСР 1920-х гг., как изменились отношения между художником, произведением и зрителем. Выбор объекта изучения автор объясняет так: «существует мало направлений, настолько же недооце-

ненных исследователями, как психотехника в искусстве» (с. 298).

Расширяя объект изучения, М. Ферингер также фокусируется на рассмотрении общественно-политического дискурса 1920-х гг. и размышляет о роли искусства и науки в процессе становления советской тоталитарной системы. Она ставит такой вопрос: как могло получиться, что советское общество 1920-х гг., либеральное к экспериментам в науке и искусстве, стремящееся воплотить утопию социализма, создать «новый мир», превратилось в одну из самых непредсказуемых карательных систем XX в., несмотря на то что эксплицитно выступало за освобождение своих угнетенных членов (с. 29)? Поэтому в своей монографии она стремится выявить «не утрачивающие актуальности парадоксы», которые превратили освобождение в контроль, а художников — в ученых (с. 30).

Ценность книги состоит в том, что М. Ферингер смогла изучить и открыть для аудитории до этого неизученный аспект духовной жизни российского общества 1920-х гг., а именно — связку отношений искусства и науки. Она смогла на широком фактологическом материале

показать читателю, что авангардисты не только «провозглашали утопические лозунги», но и стремились найти для искусства утилитарное применение. Хотя примеров слияния науки и искусства в РСФСР в 1920-е гг. можно обнаружить немало, М. Ферингер фокусируется всего на трех, по ее мнению, ведущих: Психотехническая лаборатория архитектуры Николая Ладовского в Москве, физиологическая лаборатория Ивана Павлова в Ленинграде, по результатам экспериментов в которой режиссер Всеволод Пудовкин снял в 1925 г. фильм «Механика головного мозга», а также Институт переливания крови, основанный в 1926 г. Александром Богдановым в Москве. На основе трех данных примеров М. Ферингер рассматривает вопрос о том, как художественные практики художников русского авангарда могли быть связаны с практиками ученых, а также описывает их переплетения. При этом М. Ферингер нигде конкретно не формулирует ответ на вопрос, чем обусловлен ее выбор именно этих трех примеров синтеза науки и искусства, что заставляет нас ставить под сомнение репрезентативность общих выводов, сделанных на основе их анализа.

Лаконичное название монографии «Авангард и психотехника: наука, искусство и методики экспериментов над восприятием в послереволюционной России» доходчиво объясняет читателю, о чем будет книга: уже в нем М. Ферингер постаралась показать связку отношений «искусство — наука» в России 1920-х гг.

Несмотря на наличие большого количества работ российских и запад-

ных исследователей по теме авангарда, М. Ферингер своей целью ставит заполнить лауну в изучении *практического* применения достижений эпохи авангарда: она акцентирует свое внимание на экспериментах ученых и художников, стремится выявить в искусстве данного периода прагматическую составляющую. Она отмечает, что к переизданию своей работы ее подтолкнул тот факт, что с момента выхода ее книги в 2007 г. ситуация в науке изменилась: если большинство исследований 2000-х гг. по теме русского авангарда были «сильно ориентированы на манифесты», в то время как практика в них оставалась вне фокуса внимания исследователей, то за последнее десятилетие западная историография обогатилась целым рядом работ по теме авангарда (В. Кригер (*Krieger* 2006), К. Кайер (*Kiaer* 2005), М. Гоф (*Gough* 2005)). Как в России, так и в США появились новые работы по теме соотношения между искусством и наукой (*Суроткина* 2011; *Kojevnikov* 2011; *Werrett* 2008; *Wunsche* 2015; *Brain* 2015). Существуют даже издательства, специализирующиеся исключительно на переиздании книг о русском авангарде («Русский авангард» и «Avant-Garde»). Отсюда автор делает вывод, что русский авангард сейчас открывается *заново*, переосмысливается его значение в русской культуре, обнаруживаются новые подходы к его изучению (междисциплинарность). Ярким примером и является монография М. Ферингер.

Однако, сравнив две версии монографии: 2007 и 2019 гг., мы приходим к выводу, что они идентичны, т.е. более новое издание нельзя назвать

переработанным, дополненным. Скорее, это воспроизводство первоначальной версии монографии, к повторному изданию которой М. Ферингер подтолкнула волна интереса исследователей к истории авангарда. Отсюда следует вывод о том, что автор, возможно, хотела повторно напомнить научному сообществу о своей работе, актуализировать ее.

Важно также отметить, что данное исследование призвано познакомить русского читателя с теми направлениями и подходами западной науки, что еще недостаточно развиты на русской почве: *science studies*, а также культурологические подходы в истории, к которым она стала более открытой в результате различных «поворотов» (*practical turn*, *pictorial turn* и др.). Таким образом, М. Ферингер смогла найти свободную нишу в изучении авангарда, сместив приоритеты с теории на практику, смогла применить междисциплинарные методы исследования. Поэтому данную работу стоит оценивать как стоящую внимания.

Автор использует широкий диапазон источников и литературы, с помощью которых ей удалось грамотно расставить акценты и сделать оригинальные выводы. В частности, были использованы документальные материалы ГАРФ, РГАЛИ. Стоит особенно отметить тот факт, что М. Ферингер активно использовала такой формат исследования, как интервью: она лично встречалась с родственниками

интересующих ее деятелей искусства и науки и изучала их личные фонды в архивах и музеях (фонд Павлова архива РАН в Санкт-Петербурге, письма фонда Максима Горького на Капри и др.).

Библиография работы состоит из исследований М. Тильберг², Б. Гройса (*Groys* 1988; 1995), Э. Гиллена, Х. Гасснера (*Gasner, Gillen* 1979). Среди российских исследователей она отмечает работы С. О. Хан-Магомедова (*Хан-Магомедов* 1993–1995). Таким образом, следует отметить, что М. Ферингер была проделана масштабная работа с источниками и литературой с целью выявления новых актуальных знаний по теме.

Если уделять внимание методологии, то, как уже было отмечено выше, М. Ферингер использовала методы истории науки, которая стала открыта культурологическим подходам в результате различных «поворотов». Основной подход составила *историческая эпистемология* Х. Райнбергера, М. Хагнера³, согласно которой развитие науки стоит рассматривать только внутри политического и социального контекстов эпохи.

Нарратив монографии выстроен логично: М. Ферингер начинает кратким экскурсом в историю психотехники, основоположником которой считается немецкий ученый Гуго Мюнстерберг. По ходу прочтения читателю предоставляется возможность сопоставить само явление

² Взаимоотношения искусства и науки раннего периода существования Советского Союза также затрагиваются между прочими вопросами в обзорных работах.

³ Проект «Экспериментализация жизни. Конфигурации науки, искусства и техники» осуществляется в Институте истории науки Общества им. Макса Планка под руководством Ханса-Йорга Райнбергера. См. http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/exp/index_e.html.

психотехники с духовной жизнью раннесоветского общества 1920-х гг. Психотехника как наука о *практическом* применении психологии, изучающая взаимоотношения человека и машины и ставящая своей целью управление механизмами человеческой психики, что позволило бы сделать труд научно-организованным, пользовалась популярностью именно в послереволюционной России. Это логично, ведь именно здесь впервые в мире стали строить «справедливый мир всеобщего равенства» и нового человека. Встала необходимость выработки совершенно новых подходов в науке и искусстве, формулировалась задача поставить «искусство на службу науке». Плоды искусства должны были отвечать требованиям индустриального общества и запросам рабочих: максимально функциональная архитектура, отношения между человеком и машиной должны были стать ключевыми. В связи с этим ученые, художники, философы, архитекторы эпохи авангарда активно экспериментировали. М. Ферингер отдельно уделяет внимание тому факту, что междисциплинарность никогда не была так развита в России, как в 1920-е гг. (с. 45).

Структурно работа состоит из введения, трех глав и заключения. Каждая глава посвящена подробному анализу того или иного примера взаимопроникновения искусства и науки. Как уже было сказано выше, это лаборатория архитектора Н. Ладовского, фильм В. Пудовкина «Механика головного мозга» об экспериментах академика Павлова и лаборатория переливания крови философа А. Богданова. Все это ярчайшие примеры той свободы эксперимента, которая

существовала в России первой половины 1920-х гг., как наука и искусство взаимно обогащали друг друга методологически. Эпоха авангарда наполняла исследователей данного периода энтузиазмом, который позволял им выходить за рамки и смело экспериментировать. Конечно, этому активно способствовала коммунистическая идеология, которая требовала от науки и искусства формирования нового советского человека.

Таким образом, книга М. Ферингер стремится побудить будущих исследователей авангарда к тому, чтобы не бояться снова и снова переосмысливать это явление, искать новые ракурсы, учиться у практиков 1920-х гг. «чему-то новому, важному для современности» (с. 10). Автор приходит к ряду выводов и заключает, что психотехника в России «умерла не своей смертью». В 1930-е гг. многие видные деятели науки и искусства были репрессированы. Однако психотехника не была забыта, и центр ее развития сместился на Запад. В наше время мы можем встретить психотехнику в тестах на профориентацию, в экзаменах на получение водительского удостоверения, в проверке зрения и т. д.

Монография М. Ферингер однозначно заслуживает внимания, т. к. фокусируется на ранее неизученном аспекте русского авангарда, а именно на связи науки и искусства. Данная работа позволяет как расширить знания по теме русского авангарда, так и в целом глубже понять контекст эпохи раннесоветской России 1920-х гг., посмотреть на объект изучения по-новому. Работа М. Ферингер может быть рекомендована к прочтению.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Сироткина 2011 — Сироткина И.В. Свободное движение и пластический танец в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 319 с.

Хан-Магомедов 1993–1995 — Хан-Магомедов С.О. Творческие течения, концепции и организации советского авангарда: В 7 т. М.: НИИТАГ: Architectura, 1993–1995.

Brain 2015 — Brain R.M. The Pulse of Modernism. Physiological Aesthetics in Fin-de-Siecle Europe. Seattle; London, 2015.

Gasner, Gillen 1979 — Gasner H., Gillen E. Zwischen Revolutionskunst und Sozialistischem Realismus. Dokumente und Kommentare, Kunstdebatten in der Sowjetunion von 1917 bis 1934. Koln, 1979.

Gough 2005 — Gough M. The Artist as Producer. Russian Constructivism in Revolution. Berkeley; Los Angeles; London, 2005.

Groys 1988 — Groys B. Gesamtkunstwerk Stalin. Die gesplattene Kultur in der Sowjetunion. Munchen, 1988.

Groys 1995 — Groys B. Die Erfindung Russlands. Munchen, 1995.

Kiaer 2005 — Kiaer Chr. Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism. Cambridge, Mass., 2005.

Kojevnikov 2011 — Kojevnikov A. The Cultural Spaces of the Soviet Cosmos // Andrews J.T., Siddiqi A.A. (eds.): Into the Cosmos: Space Exploration and Soviet Culture. Pittsburg, 2011.

Krieger 2006 — Krieger V. Kunst als Neuschöpfung der Wirklichkeit. Die Anti-Asthetik der russischen Moderne. Koln, 2006.

Werrett 2008 — Werrett S. The Panopticon in the Garden: Samuel Bentham's Inspection House and Noble Theatricality in Eighteenth-Century Russia // Ab Imperio. Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space. 2008. № 3. P. 47–70.

Wunsche 2015 — Wunsche I. The Organic School of the Russian Avant-Garde. Nature's Creative Principles. Farnham; Burlington, 2015.

REFERENCES

Brain R.M. *The Pulse of Modernism. Physiological Aesthetics in Fin-de-Siecle Europe*. Seattle; London, 2015.

Gasner H., Gillen E. *Zwischen Revolutionskunst und Sozialistischem Realismus. Dokumente und Kommentare, Kunstdebatten in der Sowjetunion von 1917 bis 1934*. Koln, 1979.

Gough M. *The Artist as Producer. Russian Constructivism in Revolution*. Berkeley; Los Angeles; London, 2005.

Groys B. *Gesamtkunstwerk Stalin. Die gesplattene Kultur in der Sowjetunion*. Munchen, 1988.

Groys B. *Die Erfindung Russlands*. Munchen, 1995.

Khan-Magomedov S.O. *Tvorcheskie tечения, kontseptsii i organizatsii sovetskogo avangarda: V 7 t*. Moscow: NIITAG: Architectura, 1993–1995.

Kiaer Chr. *Imagine No Possessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism*. Cambridge, Mass., 2005.

Kojevnikov A. The Cultural Spaces of the Soviet Cosmos in Andrews J.T., Siddiqi A.A. (eds.): *Into the Cosmos: Space Exploration and Soviet Culture*. Pittsburg, 2011.

Krieger V. *Kunst als Neuschöpfung der Wirklichkeit. Die Anti-Asthetik der russischen Moderne*. Koln, 2006.

Sirotkina I.V. *Svobodnoe dvizhenie i plasticheskii tanets v Rossii*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2011. 319 p.

Werrett S. The Panopticon in the Garden: Samuel Bentham's Inspection House and Noble Theatricality in Eighteenth-Century Russia. *Ab Imperio. Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space*, 2008, no. 3, p. 47–70.

Wunsche I. *The Organic School of the Russian Avant-Garde. Nature's Creative Principles*. Farnham; Burlington, 2015.

А. А. Тесля

ПАРАДОКС ОБ АВТОРЕ*

Рец.: *Белодубровская М.* Не по плану. Кинематография при Сталине / пер. с англ. М. Мезеновой. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 264 с.: ил. (серия «Кинотексты»)

В статье анализируется монография М. Белодубровской, посвященная концептуальному анализу советской кинематографии сталинской эпохи — рассмотрению причин, приведших к началу 1950-х к практически полному замиранию кинематографической отрасли.

Ключевые слова: автор, авторство, идеология, романтический концепт авторства, сталинский кинематограф.

Сведения об авторе: Тесля Андрей Александрович, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, научный руководитель (директор) Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград).

Контактная информация: mestr81@gmail.com.

A. A. Teslya

THE PARADOX ABOUT THE AUTHOR

Rev.: *Belodubrovskaja M.* Ne po planu. Kinematografiia pri Staline, per. s angl. M. Mezenovoi. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2020. 264 p.: il. (seriia "Kinoteksty")

The monograph paper by M. Belodubrovskaya, which contains the conceptual analysis of the Soviet cinematography of the Stalin era, is reviewed. The reasons are considered that led to the almost complete fading of the cinematographic industry in the USSR by the beginning of the 1950s.

Key words: author, authorship, ideology, romantic concept of authorship, Stalinist cinema.

About the author: Teslya Andrei A., PhD in Philosophy, Senior Research Fellow, Scientific Director Research Center for Russian Thought, Institute for Humanities, Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad).

Contact information: mestr81@gmail.com.

© А. А. Тесля, 2021

* Работа была выполнена в рамках гранта РНФ (№ 18-18-00442) «Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.

DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-297-300

Работа Марии Белодубровской¹ попала в мои руки практически случайно, поскольку кинематографом интересуюсь очень умеренно, а советским сталинской поры — и того меньше. И у меня были все шансы пропустить эту замечательную книгу — замечательную прежде всего потому, что она интересна и тем, кому вообще глубоко безразлично советское кино 1930-х — начала 1950-х, — и даже тем, кто более чем умеренно интересуется советской эпохой.

Исходный вопрос исследования — почему, несмотря вроде бы на вполне ясную задачу — создать советский кинематограф как орудие массовой пропаганды, достойного конкурента Голливуду, — в итоге сталинское кино двигалось едва ли не в противоположном направлении: количество выпускаемых фильмов сокращалось, достигнув совсем уж ничтожных показателей к 1950-м, когда в год буквально выходило лишь несколько фильмов, а их качество регулярно вызывало нарекания со стороны верховного руководства, которое никак не могло получить тот результат, к которому стремилось, или хоть какое-то близкое приближение к нему.

Ответ выстраивается на сложном пересечении идеологии и институций, где значимыми оказываются «герои второго плана». На уровне рассмотрения действий тех, кто должен реализовывать общие указания и намеченные цели (от начальников советской кинематографии до директоров студий, режиссеров, сценаристов и цензоров), и того, как устроено

пространство их действия — не только описывается, но именно объясняется получаемый, противоположный заявленному в качестве цели, результат сталинского кинематографа.

Собственно, основным узлом противоречия оказывается установка высшего политического руководства на «качество» (при этом оно же в итоге оказывается и основной инстанцией, которая определяет «качество» фильма; если в середине 1930-х здесь нет решительности в суждениях и кинопросмотры политбюро носят во многом характер развлечения и ознакомления, собственная оценка просмотренного не выступает окончательной, свои суждения воспринимаются именно как суждения «зрителей», «публики», то довольно быстро нарастает уверенность в значимости собственных высказываний — не только политической, но и эстетической, голос зрителей преобразуется в голос «зрителя», суждение с позиции «как этот фильм будет понят и воспринят» в финальной перспективе). Под «качеством» понимается стремление создавать «шедевры», соединяющие в себе максимально приближенным к совершенству образом как «правильное» с точки зрения власти, так и эстетические достоинства — великие фильмы великой страны.

Тем самым, после недолгого колебания, оказывается отвергнутой линия, представленная в 1930-е гг. в первую очередь Б. Шумяцким — вдохновленным примером Голливуда и стремившимся к созданию именно кинематографической индустрии.

¹ Англоязычное издание вышло в 2017 г. в издательстве Cornell University.

Здесь попутно стоит отметить сложность аргумента «качества», поскольку для Шумяцкого, как и для В. Шкловского 1935 г. — речь идет о выстраивании кинематографического производства, стабильно выдающего более или менее предсказуемый результат, в логику которого входят и получающиеся время от времени шедевры и провалы, но в целом именно предсказуемого, гарантируемого созданной системой определенного уровня.

Напротив, для политического руководства речь идет о «качестве» в романтическом понимании — создании «шедевров», уникальных высказываний, что оказывается попутно тесно связано с концепцией авторства и «творца» как создателя исключительного произведения искусства. Это относится и к пониманию фильма как прежде всего «авторского» результата, создания конкретного режиссера, и к восприятию сценария как законченного литературного произведения, имеющего своего автора, аналогичного автору пьесы (в позднем сталинском кино это будет символически обозначено появлением имени автора сценария раньше даже режиссера). И одним из следствий этого оказывается неготовность работать со сценарными заявками, устройством кинематографической работы как разбитой на задачи — от сценарной заявки до режиссерского сценария, с отдельными специалистами по диалогам и т. п.

И здесь, пожалуй, самый любопытный, не столько вывод, сколько вопрос, проблематизация для автора — насколько действительно кино в эпоху «зрелого сталинизма» с конца

30-х — до начала 50-х можно рассматривать как «главное из искусств». Для выстраивания эффективной системы производства и контроля не хватает средств, и взаимодействие остается прежде всего в ручном режиме, кинематограф остается «ремесленным» (и останется таковым на протяжении всего советского времени) — в отличие от управления литературой. Здесь возникает очевидная развилка ответов, которые не прямо противоречат друг другу, но разнятся в акцентах — от ограниченности средств, которых недостаточно для кино, до того, что литература мыслится как приоритетный канал воздействия — а потому и система выстраивается, и наличные средства идут прежде всего на управление им, тогда как кинематограф во многом пытаются выстраивать, используя ресурсы и результаты, полученные в рамках построения советской литературной системы: писателей как идеальных поставщиков литературных сценариев, проверенные литературные произведения как готовый (и, что важно, прошедший чистилище совписовских проверок) материал для кино, так что нет нужды выстраивать отдельную систему — достаточно лишь надстройки над уже существующей, литературной.

Кино так и остается не вполне «прирученным» пространством не потому, что кто-то принципиально сопротивлялся или собирался утверждать противное идеологии, политике и т. п. Оно плохо укладывается в рамки именно потому, что сами рамки слабо намечены: в них желали бы твердо вписаться, но противоречие, заложенное в исходных требованиях, и система

производства делают это маловероятным, поскольку эта система:

— стремится к «шедеврам», к авторскому кино, и на уровне собственных идеологических предписаний утверждает авторскую волю, «творчество» как неподконтрольный процесс;

— от чего между исходным, утверждаемым сценарием и итоговым результатом не только возникает огромная дистанция, но она же и воспринимается как должное;

— при этой системе контроль над производством и над результатом во многом возложен на художественные советы, формируемые из тех же режиссеров, внимательных к художественной составляющей, но склонных, оценивая работу коллег, воспринимать это как часть совместной работы, где следующим обсуждаемым будут они сами;

— при этом у политической власти едва ли не единственным инструментом воздействия в конце концов оказывается запрет фильма в целом. Но это слишком грубый, радикальный инструмент, чтобы инициировать и модифицировать создаваемые фильмы. Более того, он оказывается весьма недостаточным с точки зрения указаний, и в итоге весьма трудно определить, чего именно желает финальный заказчик — стремление

соответствовать сталкивается с предельно неопределенными критериями и к тому же с запросом на «творчество», на то, чтобы дать результат, качественно отличающийся от предшествующего.

В ситуации неопределенности и радикальных запретов стремление уклоняться от опасности оказывается предсказуемым результатом. Творчество дает оправдание в том числе и на уровне «сложностей творческого процесса», «мук творчества»: в этом ракурсе автор вспоминает и историю 2-й части «Ивана Грозного» Эйзенштейна, когда режиссер отвергнутой 2-й части, отправленной на переделку, три года фактически никуда не двигается. Но это оказывается более или менее терпимой ситуацией, именно потому, что Эйзенштейн воспринимается как «автор», тот, от кого ждут результата, не укладывающегося в алгоритмы. Ставка на авторское кино в итоге ведет и к своеобразной терпимости власти: при всей критике именно «авторы» в наименьшей мере подвергаются силовому воздействию, менее всего затронуты репрессивным аппаратом, в том числе и потому, что в оптике верховной власти «других [авторов] у нас нет», приходится принимать именно тех, кто существует, и не пытаться их заменить новым призывом, поскольку они воспринимаются как уникальные творцы.

М. В. Стрелец

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА СТЫКЕ БЕЛОРУСИСТИКИ, ПОЛОНИСТИКИ, СОВЕТОЛОГИИ

Рец.: *Барабаш В. В.* Беларусь в советско-польских отношениях в период Второй мировой войны. Гродно: ЮрСаПринт, 2017. 398 с.

В настоящем обзоре предпринята попытка анализа монографии В. В. Барабаша «Беларусь в советско-польских отношениях в период Второй мировой войны (1939–1945 гг.)», опубликованной в 2017 г. В ней впервые в исторической науке комплексно исследовано место Беларуси в системе советско-польских отношений в период Второй мировой войны. В монографии показано решение «белорусского вопроса» в политике СССР и польского эмигрантского правительства на начальном этапе Второй мировой войны; охарактеризована советская политика деполонизации в противоборстве с польским сопротивлением в Западной Беларуси в сентябре 1939 — июне 1941 г.; раскрыты аспекты, связанные с Беларусью, в союзнических официальных советско-польских отношениях (июнь 1941 — апрель 1943 г.); прослеживаются процессы взаимодействия советского партизанского и подпольного движения с польским сопротивлением на территории западных областей БССР в июне 1941 — апреле 1943 г.; выявлено место Беларуси в условиях конфронтации СССР и польского эмигрантского правительства на международной арене (апрель 1943 — начало сентября 1945 г.); выяснены масштаб и результаты борьбы за влияние в западных областях БССР между советским партизанским (и подпольным) движением и польским сопротивлением в апреле 1943 — июле 1944 г.; проанализированы мероприятия советских органов власти по нейтрализации польского сопротивления в западных областях Беларуси в послеоккупационный военный период; освещены национально-территориальные изменения в Беларуси в контексте советско-польских отношений на завершающем этапе Второй мировой войны.

Ключевые слова: Беларусь, Вторая мировая война, граница, монография, Польша, проблема, сопротивление, Союз Советских Социалистических Республик.

Сведения об авторе: Стрелец Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор Брестского государственного технического Университета (Беларусь).

Контактная информация: mstrelez@mail.ru.

M. V. Strelets

FUNDAMENTAL RESEARCH AT THE JUNCTION OF SOVIETOLOGY, BELARUSIAN AND POLISH STUDIES

Rev.: Barabash V. V. Belarus' v sovetsko-pol'skikh otnosheniakh v period Vtoroi mirovoi voyny. Grodno: IurSaPrint, 2017. 398 p.

The monograph paper by V. V. Barabash “Belarus in Soviet-Polish relations during the Second World War (1939–1945)”, published in 2017, is reviewed. Its author was the first who investigated comprehensively the place of Belarus in the system of Soviet-Polish relations during the Second World War. In the monograph the solution of the “Belarusian issue” in the policy of the USSR and the Polish émigré government at the initial stage of World War II is shown. The Soviet policy of depolonization against the Polish resistance in Western Belarus (September 1939 – June 1941) is described. Aspects related to Belarus in the officially allied Soviet-Polish relations (June 1941 – April 1943) are revealed. The processes of interaction of the Soviet partisan and underground movement with the Polish resistance on the territory of the western regions of the BSSR (June 1941 – April 1943) are traced. The place of Belarus in the conditions of the confrontation between the USSR and the Polish émigré government in the international arena (April 1943 – early September 1945) is revealed. The scale and results of the struggle for influence in the western regions of the BSSR between the Soviet partisan and underground movement, and, from the other hand, the Polish resistance (April 1943 – July 1944) are clarified. The measures of the Soviet authorities to neutralize the Polish resistance in the western regions of Belarus in the post-occupation war period are analyzed. The reviewed paper also highlights the national-territorial changes in Belarus in the context of the Soviet-Polish relations at the final stage of the Second World War.

Key words: Belarus, World War II, border, monograph, Poland, problem, resistance, Union of Soviet Socialist Republics.

About the author: Strelets Mikhail V., Doctor of Historical Sciences, Professor of Brest State Technical University University (Belarus).

Contact information: mstrelez@mail.ru.

Рецензируемая монография кандидата исторических наук, доцента Виталия Васильевича Барабаша «Беларусь в советско-польских отношениях в период Второй мировой войны (1939–1945 гг.)» опубликована в 2017 г. в гродненском издательстве «ЮрСаПринт». Работу с полным правом можно считать фундаментальной, ведь ученый из Гродно впервые в исторической науке комплексно изучил место Беларуси в си-

стеме советско-польских отношений в период Второй мировой войны.

В рамках своего во многом первопроектного исследования В. В. Барабаш капитально освоил восемь проблемных полей. Первое из них: реконструкция решения «белорусского вопроса» в политике СССР и польского эмигрантского правительства на начальном этапе Второй мировой войны. Белорусский

исследователь отмечает, что «с началом Второй мировой войны Беларусь оказалась в эпицентре активной международной политики. В результате краха Польского государства и заключенных договоров с Германией произошло воссоединение Западной Беларуси с БССР» (с. 333). С автором можно согласиться в том, что «деятельность руководства Советского Союза в период 1939 — середины 1941 гг. была направлена в первую очередь на расширение зоны безопасности на западных рубежах и удержание страны от втягивания в глобальный вооруженный конфликт. Во многом этим определялась политика советизации на территории западных областей Беларуси» (с. 333). Как справедливо полагает ученый, «в отношении включения Западной Беларуси в состав СССР позиция польского эмигрантского руководства весь период оставалась неизменной. Исходя из событий сентября 1939 г., правительство Сикорского считало, что находится в состоянии войны как с Германией, так и СССР. Главным условием установления сотрудничества с СССР, по его мнению, являлось признание довоенного статус-кво, чем отвергался исторический акт воссоединения белорусского народа. В этом направлении польская дипломатия пыталась противостоять внешнеполитическим действиям СССР. Кабинет Сикорского направлял ноты правительствам многих стран, в которых содержался протест против советско-германского договора от 28 сентября 1939 г. и советско-литовского договора о передаче Виленщины Литве. Однако ноты кабинета Сикорского оказались безрезультатными» (с. 59).

Как же сентябрьская кампания СССР была оценена в Лондоне, Париже, Вашингтоне? Как отмечает автор, в октябре — ноябре 1939 г. члены кабинета Н. Чемберлена в публичных выступлениях и в беседах с советским послом И. М. Майским неоднократно выражали свое понимание советской акции по присоединению западных земель Украины и Беларуси, высказывались «в пользу того, что будущая Польша должна быть государством этнически однородным, и за принятие линии Керзона как основы будущей советско-польской границы. В подобном тоне с английскими осенью 1939 г. были сформулированы официальные декларации французского правительства. Фактически сразу в отношении сентябрьской кампании СССР определилась позиция президента и Госдепартамента США: переход советскими войсками восточной границы Польши не следует квалифицировать как акт войны. Эволюция взглядов западных союзников в направлении однозначно благосклонных к СССР вызывала раздражение в польских эмигрантских кругах» (с. 61).

Второе проблемное поле: характеристика советской политики деполонизации в противоборстве с польским сопротивлением в Западной Беларуси в сентябре 1939 — июне 1941 г. Гродненский ученый, на наш взгляд, убедительно показал детерминанты, содержание и последствия такой политики. В рецензируемой монографии выявляются характер, цели и масштабы сопротивления политике деполонизации. Сначала оно велось без связи с конкретными организационными структурами,

просто по причине отсутствия таковых. Затем соответствующие структуры обросли «плотью и кровью». Причем польское подполье охватило всю территорию Западной Беларуси, его целью, как отмечает автор, явилось «возрождение независимой Польши в границах 1939 г.» (с. 333). В. В. Барабаш учел практически все польские подпольные организации, группы, кружки. Центральное место отводится показу станового хребта польского сопротивления. В качестве такового выступала Служба Победе Польши (СПП), которая со временем будет переименована в Союз Вооруженной Борьбы (СВБ). Автор дает сбалансированную оценку действиям СПП-СВБ, обобщив все случаи саботажа мероприятий властей и вооруженных выступлений. Впервые в исторической белорусистике прослеживается образование в Западной Беларуси обшара (согласно принятой в польской сопротивленческой терминологии) СПП-СВБ № 2 с центром в городе Белостоке, а также самостоятельного Виленского округа. Обшар № 2 делился на 3 округа. Удачно показана специфика каждого округа, входившего в обшар СПП-СВБ № 2. Речь идет о Белостокском, Новогрудском и Полесском округах. Гродненский ученый обращает внимание на то, что «границы округов в основном совпадали с довоенными границами воеводств Польши» (с. 94–95). Проницательный читатель обязательно будет осмысливать такую констатацию: «К началу Великой Отечественной войны органами госбезопасности были разгромлены руководящие структуры польского подполья, однако низшие организации сохранились и были способ-

ны к продолжению деятельности» (с. 333–334).

Третье проблемное поле: раскрытие аспектов, связанных с Беларусью, в союзных официальных советско-польских отношениях (июнь 1941 — апрель 1943 г.). День 22 июня 1941 г. можно считать рубежной точкой в отношениях между Кремлем и польским эмигрантским правительством. Агрессия гитлеровской Германии и ее сателлитов вынудила советское руководство кардинально изменить свое отношение к кабинету В. Сикорского. Был сформирован советско-польский союз. Сикорский и чрезвычайный и полномочный посол СССР в Великобритании И. М. Майский скрепили своими подписями соглашения о восстановлении дипломатических отношений и совместной борьбе против Германии. Советско-польский союз реально действовал, что, несомненно, было во благо Беларуси. Однако с самого начала не было полного согласия между сторонами. Более того, «для советско-польского союза были характерны существенные противоречия, связанные прежде всего с проблемой границы» (с. 334). В. В. Барабаш четко отделяет повод от причины, обращаясь к последующему краху союза между Сталиным и Сикорским. В монографии читаем: «После победы под Сталинградом и значительного повышения статуса СССР в антигитлеровской коалиции советское руководство приступило к разработке стратегических планов по расширению своего влияния на Восточную и Центральную Европу. Препятствием на пути реализации проектов Кремля оставалась бескомпромиссная позиция кабинета

Сикорского. Исходя из этого, на рубеже 1942–1943 гг. Сталиным был взят курс на свертывание отношений с польским союзником. Поводом для их одностороннего прекращения Москвой 25 апреля 1943 г. послужила реакция польского эмигрантского правительства на обнародование Катынского дела» (с. 334).

Четвертое проблемное поле: проследивание процессов взаимодействия советского партизанского и подпольного движения с польским сопротивлением на территории западных областей БССР в июне 1941 — апреле 1943 г.

С июня 1941 г. на территории западных областей БССР четко обозначились два субъекта антифашистской борьбы: с одной стороны, советские партизаны и подпольщики, а с другой — полностью подконтрольные польскому эмигрантскому правительству в Лондоне бойцы СВБ. В. В. Барабаш взял для сравнения названных субъектов четыре контрольные точки. Первая контрольная точка (22 июня 1941 г.): начало Великой Отечественной войны. Вторая контрольная точка (30 июля 1941 г.): подписание соглашений об установлении союзных отношений между Кремлем и кабинетом Сикорского. Третья контрольная точка (14 февраля 1942 г.): преобразование СВБ в Армию Крайову (АК). Четвертая контрольная точка (25 апреля 1943 г.): разрыв дипломатических отношений между СССР и Польшей.

Что мы имеем в привязке к первой точке касательно Западной Беларуси? У поляков действуют низовые организации СВБ, в то время как

у просоветских сил отсутствуют четкие организационные структуры. Далее обобщим факты, имевшие место между первой и четвертой точками. Советский сегмент антигерманского сопротивления в западных областях БССР не имел постоянной связи с высшим военно-политическим руководством СССР. Такая связь впервые стала действовать в разгар битвы на Курско-Орловской дуге. Все это время организационные структуры СВБ-АК никак не теряли связи с кабинетом Сикорского. «Доминирующей идеей, сплачивавшей поляков в борьбе, было восстановление независимого Польского государства. [...] Польское население Беларуси находилось под влиянием подпольных организаций, подчинявшихся лондонскому эмигрантскому правительству [...]. В отношениях между советской и польской сторонами продолжало присутствовать большее взаимное недоверие. По-прежнему руководители польского сопротивления считали советскую угрозу очевидной и существенной» (с. 167). Таким образом, советский сегмент антигерманского сопротивления в указанном регионе серьезно уступал по массовости польскому. А если брать только советские региональные сегменты антигерманского сопротивления, то они, конечно же, были самыми слабыми в масштабах всей БССР.

Между первой и второй условными контрольными точками под «эгидой СВБ шел процесс объединения военных и политических организаций польского сопротивления» (с. 334). Советский же сегмент антигерманского сопротивления проявлял себя в тот отрезок времени эпизодически,

фрагментарно, причем между обоими сегментами прослеживалась сильная взаимная враждебность.

Касательно промежутка между второй и третьей точками реалии были таковы: «Следуя союзным договоренностям, руководство СССР сознательно воздерживалось от активизации партизанского движения в Западной Беларуси, чтобы не обострять отношений с имевшим здесь влияние польским подпольем» (с. 165). В реальности советский и польский сегменты антигерманского сопротивления время от времени объединяли усилия в антифашистской борьбе, однако преобладали в этом деле эпизодичность и фрагментарность. Правда, были и отдельные достижения, которые следует особо отметить. «Так, например, тесную связь с низовыми ячейками СВБ установил партизанский отряд специального назначения под командованием В. Цветкова в районах Слонима, Ружан, Пружан, Лунинца, Пинска, Кобрина, Бреста» (с. 165).

Сотрудничество и взаимодействие более или менее активно проявились лишь между третьей и четвертой точками. «Взаимодействие разведки АК с советскими партизанами и десантными группами в западных областях БССР имело довольно эффективный характер. Собираемая информация о германской армии систематически передавалась высшему советскому командованию» (с. 165).

Конечно, нет оснований говорить, что сотрудничество и взаимодействие были повсюду. Но никак нельзя недооценивать их размах. Как замечает автор, «документы свидетельствуют о до-

вольно распространенном в западных областях Беларуси сотрудничестве между советскими подпольщиками, партизанами, разведывательно-диверсионными группами и территориальными организациями АК. Его значение зависело, прежде всего, от позиции местных руководителей подполья и командиров формирований. В отчете от 25 декабря 1942 г. начальник ЦШПД Пономаренко сообщал, что АК принимала в свои отряды поляков и русских, в основном военнопленных. Отношение участников польского сопротивления к советским партизанам было самое дружественное. Советские и польские антифашисты договаривались о снабжении оружием и боеприпасами, обмене разведданными, уведомлении о немецких облавах и арестах, а также о собственных передвижениях и военных действиях. Контакты устанавливались также между первыми партизанскими отрядами АК и советскими формированиями. Иногда против оккупантов они проводили совместные боевые операции» (с. 165–166).

Пятое проблемное поле: выявление места Беларуси в условиях конфронтации СССР и польского эмигрантского правительства на международной арене (апрель 1943 — начало сентября 1945 г.). В результате освоения данного проблемного поля белорусский исследователь пришел к следующему выводу: «После разрыва официальных отношений между правительствами СССР и Польши решение советско-польских проблем стало прерогативой согласованной политики трех великих держав антигитлеровской коалиции. Необходимость рассчитывать на потенциал Красной Армии вынуждала

Великобританию и США идти на встречу территориальным требованиям Москвы. Принятое на встрече Большой тройки в Тегеране в 1943 г. неформальное соглашение об установлении западной границы СССР по линии Керзона, было официально закреплено на Ялтинской конференции 1945 г.» (с. 334).

Шестое проблемное поле: выяснение масштаба и результатов борьбы за влияние в западных областях БССР между советским партизанским и подпольным движением и, с другой стороны, польским сопротивлением в апреле 1943 — июле 1944 г. Гродненский ученый отмечает, что предпосылки для кардинального изменения отношения советских партизан и подпольщиков к польскому сопротивлению были заложены Кремлем с началом коренного перелома в ходе войны, который четко обозначился в результате Сталинградского триумфа РККА. V пленум ЦК КП(б)Б, состоявшийся в Москве в феврале 1943 г., четко и ясно определил организационные структуры польского сопротивления на территории западных областей Беларуси как враждебный объект, от которого должен быть полностью избавлен соответствующий регион. В решениях пленума в общей форме расписывалось, что для этого следует предпринимать советским партизанам и подпольщикам. «Разрыв официальных советско-польских отношений стал катализатором процесса реализации постановлений V пленума ЦК КП(б)Б на территории западных областей Беларуси. К концу 1943 г. в регионе в основном были образованы подпольные партийные комитеты КП(б)Б. Происходил ин-

тенсивный рост партизанских сил. Важным этапом в проводимом курсе стали решения, принятые ЦК КП(б)Б 22 июня 1943 г., которые определяли организационные задачи, направленные на развертывание массового партизанского движения в западных областях БССР и ликвидацию польского сопротивления. Вместе с развитием структур Армии Крайовой, претендовавшей также на роль полноправного хозяина территории региона, это вызвало со второй половины 1943 г. ожесточенную советско-польскую борьбу» (с. 336).

Тщательно анализируя подобное противоборство, автор констатирует факт «использования разных форм и методов» (с. 336), наличие «значительных жертв с обеих сторон, включая мирных жителей» (с. 336). Впервые в нашей науке исчерпывающе выясняются мотивы, которые двигали сторонами. До появления монографии В.В. Барабаша традиционно утверждалось, что террористические акции, имевшие место в ходе анализируемого конфликта, совершали исключительно подконтрольные польскому эмигрантскому правительству формирования. Белорусский исследователь показывает, как же было в действительности, и не снимает при этом ответственности с советских партизан. Он пишет: «В основном террористические акции как со стороны АК, так и советских партизан имели политические, а не национальные мотивы. Правомерно говорить о советско-польском, а не о белорусско-польском конфликте» (с. 336).

Была ли достигнута до завершения германского военного присутствия в БССР цель, сформулированная

в решениях V пленума ЦК КП(б) Б? Как доказывает автор, «несмотря на активные мероприятия органов советской власти и имевшееся крупное превосходство в вооруженной силе, задачи борьбы против польского сопротивления на территории западных областей БССР не были реализованы. До конца гитлеровской оккупации советские партизаны не смогли распространить свое влияние на все районы региона. Формирования АК не только не были ликвидированы, но и продолжался рост их рядов» (с. 336).

Очевидная научная новизна прослеживается в трактовке В. В. Барабашем военной операции АК под хорошо известным кодовым названием «Буря». Она проводилась в разгар лета 1944 г. Ее разработчики, впад в маниловщину, искренне верили, что формирования АК станут полными хозяевами на территориях бывшей Польши. Предполагалось полное уничтожение тамошних советских вооруженных формирований перед самым приходом войск РККА, которые были тогда задействованы в операции «Багратион». Заметим, что к тому времени в ряде мест на территории Западной Беларуси функционировали образованные Делегатурой правительства Польской Республики органы власти. В. В. Барабаш показывает, что указанная операция изначально была обречена на провал. С приходом в регион войск РККА представители структур, подчиненных польскому эмигрантскому правительству, в массовом порядке пополняли ряды узников советских концлагерей.

В монографии четко выделены факторы, которые определяли отноше-

ние населения Западной Беларуси к субъектам антифашистского движения. Первый фактор: национально-конфессиональная принадлежность. Второй фактор: положение в социальной структуре общества. Третий фактор: реальное положение на театрах военных действий. По мнению гродненского ученого, западнобелорусский регион можно условно разделить на две группы районов. Первая группа: районы с преобладанием этнических белорусов. Вторая группа: районы с преобладанием этнических поляков. Первая группа представляла массовую базу, на которую опирались советские партизаны и подпольщики. Вторая группа выполняла аналогичное функциональное назначение касательно аковцев. Тем не менее «часть белорусов приняла участие в рядах польского сопротивления» (с. 338).

Седьмое проблемное поле: анализ мероприятий советских органов власти по нейтрализации польского сопротивления в западных областях Беларуси в послеоккупационный военный период.

После того, как кануло в лето военное присутствие Германии и ее сателлитов в Западной Беларуси, руководство КП(б)Б сразу же поставило вопрос о восстановлении советской системы. По существу, стартовал новый этап советизации. Партийно-государственная номенклатура была жестко сориентирована на то, что советизация должна охватить все сферы жизни. Для этого необходимо было снять ряд проблемных комплексов. Самый сложный из них — противодействие проявлениям польского национального

самосознания. Есть все основания утверждать, что польское сопротивление постоянно давало о себе знать, если брать следующие хронологические рамки: вторая половина 1944 — середина 1945 г. Как пишет автор, «террористические акты совершались в отношении советских и партийных работников, красноармейцев, а также местных жителей, которые сотрудничали с органами власти. Вооруженные группы нападали на объекты Красной Армии, проводили диверсии на автомобильных и железных дорогах, дезорганизовывали деятельность советских органов власти и учреждений [...]». Как и в прежние годы, деятельностью польского сопротивления были охвачены преимущественно районы Барановичской, Вилейской (Молодечненской), Гродненской областей, где значительное население составляли поляки» (с. 270–271).

Советская сторона ответила массовыми чекистско-войсковыми операциями. Рецензента не мог не заинтересовать следующий факт. «В связи с изменением военной и международной обстановки (наступлением Красной Армии, подготовкой Ялтинской конференции) и усилением репрессий НКВД против польского сопротивления Главный комендант АК генерал Л. Окулицкий издал 19 января 1945 г. приказ о роспуске Армии Крайовой» (с. 278). В.В. Барабаш доказывает, что это решение не привело к свертыванию польского сопротивления. «Статистические данные Главного управления по борьбе с бандитизмом НКВД СССР показывают, что в январе — мае 1945 г. зарегистрировано 368 антисоветских акций польского со-

противления... Сравнение с показателями предыдущих пяти месяцев с момента освобождения территории Беларуси от гитлеровских захватчиков свидетельствует о том, что активность польского сопротивления не ослабевала и даже нарастала весной 1945 г.» (с. 279). Как в такой ситуации действовали чекисты? «Число ликвидированных польских вооруженных групп в первой половине 1945 г. сокращалось. Раскрываемость “бандпроявлений” с марта по май 1945 г. снизилась с 25% до 9,5%. При том, что количество состоявших на учете “бандгрупп” и “антисоветских подпольных организаций” не уменьшалось и интенсивность деятельности НКВД (по числу проведенных операций) в целом не снижалась» (с. 279).

Конечно, на самом вершуре ожидали иных результатов и активно продумывали дальнейшие действия. В дело вмешался всемогущий Л.П. Берия. «Ситуацию удалось переломить в июне 1945 г. в результате дополнительной переброски в западные области Беларуси сил госбезопасности, как и активизации выезда членов польского сопротивления в Польшу. На 1 июля 1945 г... на учете органов госбезопасности количество участников польского сопротивления уменьшилось в сравнении с тремя предыдущими месяцами в среднем более чем в два раза» (с. 280).

Гродненский ученый установил, что «большинство членов польского подполья, действовавшего в 1945 г. в западных областях Беларуси, успешно перебраться в Польшу в ходе репатриации. Однако это касалось только лиц, которые находились вне поля

зрения НКВД. Люди, разыскиваемые органами госбезопасности, продолжали дальнейшее сопротивление в изолированных конспиративных центрах» (с. 283).

В. В. Барабаш показывает, что в указанном регионе абсолютное большинство формирований польского сопротивления было разгромлено к началу осени 1945 г. При этом автор специально подчеркивает, что тогда не имела место полная самоликвидация польского сопротивления в западных областях БССР. Судя по содержанию монографии, такой «самоликвидации не произошло и в дальнейшем. В некоторых районах организованная деятельность постАКовских формирований продолжалась до конца 1940-х гг. Это были отряды, которые действовали самостоятельно, не имели связи с центрами сопротивления ни на территории Польши, ни на Западе. Отдельные его участники были ликвидированы в начале 1950-х гг.» (с. 284).

Восьмое проблемное поле: освещение национально-территориальных изменений в Беларуси в контексте советско-польских отношений на завершающем этапе Второй мировой войны. При этом белорусский исследователь обратился к двум аспектам подобных изменений, каждый из которых был связан со столкновениями разных политических центров.

Первый аспект: обмен населения. Его юридический базис: Соглашение между правительством Белорусской Советской Социалистической Республики и Польским комитетом национального освобождения об эвакуации белорусского населения

с территории Польши и польских граждан с территории БССР. Этот документ скрепили своими подписями председатель Совета народных комиссаров БССР П. К. Пономаренко и председатель ПКНО Э. Осубка-Моравский. Подписание состоялось 9 сентября 1944 г. в Люблине.

В монографии обстоятельно прослеживается, как настоящее соглашение наполнялось реальным содержанием с сентября 1944 г. до завершения Второй мировой войны. Автор подает без всяких купюр, без всяких изъятий ход и результаты процесса репатриаций в данный период. Он показывает, что сначала советская сторона имела дело с ПКНО, а затем с Временным правительством национального единства Польской Республики (ВПНЕПР). В работе дается четкое и ясное объяснение эволюции подходов КП(б)Б и польского эмигрантского правительства в Лондоне к вопросам репатриации: «Для советского руководства довольно скоро стало очевидным, что убыль значительного количества населения представляла серьезную угрозу выполнению плана государственных поставок и в целом потерей рабочих рук в ряде районов, разрушенных в результате войны. Обеспокоенность этой проблемой начало принципиально изменять позицию КП(б)Б от в основном нейтрального отношения осенью — зимой 1944–1945 г. в сторону жесткого контроля хода репатриаций с весны 1945 г. Со стороны центральных и местных властей наблюдалась тенденция по созданию препятствий при регистрации, нацеленная на то, чтобы по возможности сократить количество населения, выезжающего из БССР» (с. 301).

Обращаясь к позиции «лондонцев», гродненский ученый выделяет три вопроса, по которым они высказывались.

Первый вопрос: легитимность соглашения. Правительство в изгнании, которое с ноября 1944 года возглавлял Тóмаш Стефан Арцише́вский, еще при его предшественнике Станиславе Миколайчике делало упор на то, что «ПКНО не был признан мировым сообществом полноправным представителем польского народа. Соответственно, отрицалась легитимность всех заключенных им договоренностей» (с. 297).

Второй вопрос: главная цель, которую преследовала советская сторона. «Главной целью обмена населением, по мнению представителей польского лондонского лагеря, являлось устранение максимального количества поляков с земель, расположенных на востоке от линии Керзона. Это было необходимо, чтобы поставить западных союзников и правительство Польши перед свершившимися фактами и создать большие возможности для решения в свою пользу территориальных проблем на международной конференции» (с. 297).

Третий вопрос: «Как должно повести себя польское население западных областей БССР?» Польское эмигрантское правительство устраивал лишь его категорический отказ от репатриации.

Белорусский исследователь убедительно доказал, что «позиция и тактика деятельности в отношении готовившихся репатриаций были

сформированы польским сопротивлением еще до заключения официальных договоренностей СССР и ПКНО. Выполняя указания эмигрантского правительства, в августе 1944 г. руководители АК в западных областях Беларуси дали приказы подчиненным, запрещавшие оставлять исполняемые ими должности, продолжая оборону «своей крэсовой земли». АК начала также развертывать агитацию среди польского населения, направленную против выезда в Польшу. Полякам разъясняли, что они живут на своей земле и советская власть на данной территории является временным фактором. Призывы против переселения содержались и в агитации польского политического подполья» (с. 297).

По первым двум вопросам позиция лондонского лагеря никогда не менялась. Что же касается третьего вопроса, то здесь была очевидная эволюция подходов. Как показывает автор, «поворотным моментом в процессе переселения стала Ялтинская конференция 1945 г. На международном уровне линия Керзона была окончательно утверждена как будущая советско-польская граница. Не признавая решений Ялтинской конференции, польское эмигрантское правительство, однако, в инструкции от 14 марта 1945 г. своим подчиненным подпольным структурам предписывало содействовать процессу переселения в Польшу. Его рассматривали «как одну из форм защиты польского элемента от гибели и депортации на восток»» (с. 298).

Гродненский ученый не обходит острые углы, обращаясь к ходу и результатам переселения этнических

белорусов из Польши в тот субъект советской федерации, где они были титульным этносом. Автору удалось выявить общий знаменатель позиций кабинета Т. С. Арцишевского, ПКНО, ВПНЕПР по данному вопросу: «В переселении белорусского населения из Польши в СССР совпадали интересы как коммунистической власти Польши, так и польского лондонского лагеря. Вынашивалась цель создания польского мононационального государства» (с. 313).

Трудно спорить с тем, что «для большинства из трех сотен тысяч людей, вовлеченных в миграционный процесс, выбор новой родины обуславливался, прежде всего, стремлением к более благоприятным условиям жизни» (с. 313). Автор справедливо отмечает, что, «несмотря на масштабность, репатриация не охватила всех желающих. Большинство поляков на территории Беларуси, как и белорусов в Польше, остались на прежних местах. Причина заключалась и в том, что преимущественно это было сельское население, консервативное по менталитету и традициям, привязанное к своей земле и хозяйству» (с. 313–314).

Рассматривая формирование новых государственных рубежей между СССР и Польшей, автор одновременно выступает как историк, правовед, этнограф в одном лице, демонстрируя фундаментальную подготовку по всем этим областям знания. Конечно, это сопряжено с большой ответственностью, однако только таким образом можно детально разобраться в причинах жесткого зацикливания кабинета Арцишевского на довоенной польско-советской гра-

нице, капитально проанализировать действия советской стороны по наполнению реальным содержанием «левицовой альтернативы», выявить свободу маневра ПКНО и ВПНЕПР в процессе установления границы между СССР и ПР, объяснить, почему в этом процессе союзное руководство игнорировало мнение правительства и общественности БССР. Автор приходит к выводу, что «ввиду жесткой позиции польского эмигрантского правительства Кремлем последовательно претворялась в жизнь “левицкая альтернатива” — формирование польских органов власти, полностью поддерживавших постулаты Москвы. При помощи подконтрольной польской левицы советское руководство практически осуществило установление границы с Польшей. 27 июля 1944 г. было подписано секретное соглашение между правительством СССР и ПКНО о советско-польской границе, в основу которого положена линия Керзона. Основываясь на данном соглашении, 16 августа 1945 г. советское руководство официально заключило договор о границе с уже признанным мировым сообществом Временным правительством национального единства ПР» (с. 334–335).

При обращении ко всем перечисленным проблемным полям белорусский исследователь опирался на широкий круг источников. Ядро источниковой базы составили материалы из фондов Национального архива Республики Беларусь, Государственного архива общественных объединений Гродненской области (ГАООГО), Государственного архива Гродненской области (ГАГО), Государственного архива Брестской

области (ГАБО), Архива новых актов в Варшаве (Archiwum Akt Nowych), Центрального военного архива в Рембертове (*Centralne Archiwum Wojskowe*), польского Архива Военного бюро исторических исследований (Archiwum Wojskowego Biuro Badań Historycznych), Архива Института национальной памяти в Варшаве (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej), Восточного архива в Варшаве (Archiwum Wschodni), Отдела рукописей Национальной библиотеки в Варшаве (Zakład rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie), Архива внешней политики Российской Федерации (АВПРФ), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного военного архива (РГВА), Особого архива Литвы (Lietuvos Ypatingasis Archyvas). Привлекались также опубликованные документы и материалы.

Автор монографии четко обозначил важные проблемы, над которыми еще предстоит работать научному сообществу. Значимость рецензируемого труда несомненна и для вузовских преподавателей, ведь содержащийся в нем материал позволит обновить содержание лекций по ключевым проблемам новейшей истории Белоруссии в контексте польско-советских отношений, разработать новые спецкурсы. Монография может заинтересовать и дипломатов, задействованных на польском направлении внешней политики центрально-европейских государств.

Следует согласиться с автором монографии и в том, что «дальнейшее исследование темы советско-польских отношений 1939–1945 гг. и места в них Беларуси будет способствовать делу сближения белорусского и польского народов, преодолению недоверия, установлению добрососедства и сотрудничества» (с. 338).

ОБРАЗЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ФОТОГРАФИЯХ СОЛДАТ ВЕРМАХТА. ТРИ МНЕНИЯ ОБ ОДНОЙ КНИГЕ

Рец.: *Шепелев Г. А.* Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат Вермахта с захваченной территории СССР и советско-германского фронта. 1941–1945. М.: Издательский дом «Российское военно-историческое общество», Яуза-каталог, 2021. 192 с.

Рецензируется иллюстрированное издание, основанное на фотографиях, сделанных солдатами вермахта на советско-германском фронте и оккупированной территории СССР.

Ключевые слова: Вторая мировая война, германская оккупация СССР и Восточной Европы, образы визуальной истории, фото как исторический источник, фронтовая повседневность.

IMAGES OF THE SECOND WORLD WAR IN PHOTOGRAPHS OF WEHRMACHT SOLDIERS.
THREE OPINIONS ON ONE BOOK

Rev.: Shepelev G. A. Voina i okkupatsiia. Neizvestnye fotografii soldat Vermakhta s zakhvachennoi territorii SSSR i sovetsko-germanskogo fronta. 1941–1945. Moscow: Izdatel'skii dom "Rossiiskoe voenno-istoricheskoe obshchestvo", Iauza-katalog, 2021. 192 p.

Illustrated edition which is reviewed is based on photographs taken by soldiers of the Wehrmacht on the Soviet-German front and the occupied territory of the USSR.

Key words: World War II, German occupation of the USSR and Eastern Europe, images of visual history, photo as a historical source, front-line everyday life.

Сведения об авторах:

Соловьёв Сергей Михайлович, кандидат философских наук, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории, ведущий научный сотрудник факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, редактор журнала «Скепсис»;

Кринко Евгений Федорович, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Южного научного центра РАН (Ростов-на-Дону);

Махотина Екатерина, доктор истории, Боннский университет (Германия).

Контактная информация:

Соловьёв С.М. solosm@gmail.com

Кринко Е.М. krinko@mail.ru

Махотина Е. emakhotina@uni-bonn.de

About the authors:

Solovyov Sergey M., PhD, Chief Specialist of the Russian State Archive of Socio-Political History, Leading Researcher at the Faculty of Political Science of Lomonosov Moscow State University, editor of the “Skepsis” magazine;

Krinko Evgeny F., Doctor of Historical Sciences, Chief Researcher of the Southern Scientific Center, RAS (Rostov-on-Don);

Makhotina Ekaterina, PhD, University of Bonn (Germany).

Contact information:

Solovyov Sergey M. solosm@gmail.com

Krinko Evgeny F. krinko@mail.ru

Makhotina Ekaterina emakhotina@uni-bonn.de

ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ СОЛДАТА ВЕРМАХТА

Автор этой монографии-альбома Георгий Анатольевич Шепелев — историк и политолог, который уже много лет занимается визуальной историей Второй мировой войны. Он делает важнейшее исследовательское и просветительское дело: собирает и атрибутирует любительские фотографии немецких солдат (в основном — на собственные средства). Сравнительно небольшой альбом, изданный по инициативе Константина Пахалюка, заместителя директора департамента науки и образования РВИО, — очень важный вклад в историю войны, причем далеко не только визуальную историю.

В предисловии автор справедливо отмечает возросшую роль в исторических исследованиях визуальных источников и одновременно — сосредоточение внимания на социальной истории, истории «маленького человека» в войне. Это связано, помимо прочего, с тем, что «большая история» XX в. со временем отодвигается, перестает быть частью семейных биографий, которые замещаются страницами учебника и меньше задевают эмоции современников. Конечно, идеологические столкновения, «войны памяти», которые выводят травматические исторические события на первый план, инициативы

наподобие «Бессмертного полка» задевают за живое, но сами по себе совершенно не обязательно подразумевают погружение в историю, особенно — в частную историю войны. Стереотипы в случае «войн памяти» работают гораздо лучше, чем погружение в детали. С этим, в частности, связан и тот факт, что кинематографисты разных стран все больше пытаются «очеловечить», сделать более понятной войну для сегодняшнего зрителя — и чаще всего — неудачно, подчас просто халтурно.

Как совершенно справедливо подчеркивает автор (с. 4), визуальные источники позволяют представить себе прошлое, ощутить его, понять то, что, казалось бы, понять и представить невозможно из-за травматичности этого прошлого. Не случайно зрители, юристы и даже подсудимые на Нюрнбергском процессе сильнее всего были задеты именно кинодоказательствами, которые предъявляло и советское, и американское обвинение, а затем эти доказательства стали частью документальных фильмов, в том числе — Романа Кармена и Стюарта Шульберга.

Сложность работы с таким источником осознается Г.А. Шепелевым очень хорошо. Многие любительские



Фото 1. Оккупанты несут убитых гусей

фотографии солдат и офицеров вермахта «несут в себе заряд нацистской идеологии» и именно поэтому, как подчеркивает автор, нуждаются в комментариях и в научном аппарате. И научному аппарату в альбоме отведено значительное место.

Как легко можно «интерпретировать» фотографию мирных жителей Украины или в Новгородской об-

ласти, с улыбками фотографирующихся рядом с оккупантами или пляшущих перед ними, в духе либо «в СССР было полно предателей», либо «нацистов встречали как освободителей»! Однако вне контекста фотография не имеет значения, и Г.А. Шепелев подчеркивает, насколько важно при розыске фотографий получить их в комплексе, а не по одной, вынутыми из альбомов, которые распродают коллекционерам родственники солдат вермахта. Но даже если фотография попала в руки исследователя сама по себе, без подписей и имени автора, ее тоже можно и нужно ставить в контекст, рядом с другими фотографиями, и комментировать.

Г.А. Шепелевым это условие соблюдено полностью: рядом с «туристическими» фото (№59–63) помещен снимок, на котором солдаты вермахта



Фото 2. «Танцующие женщины». Деревня Пелиш (Псковская область), сентябрь 1942 г.

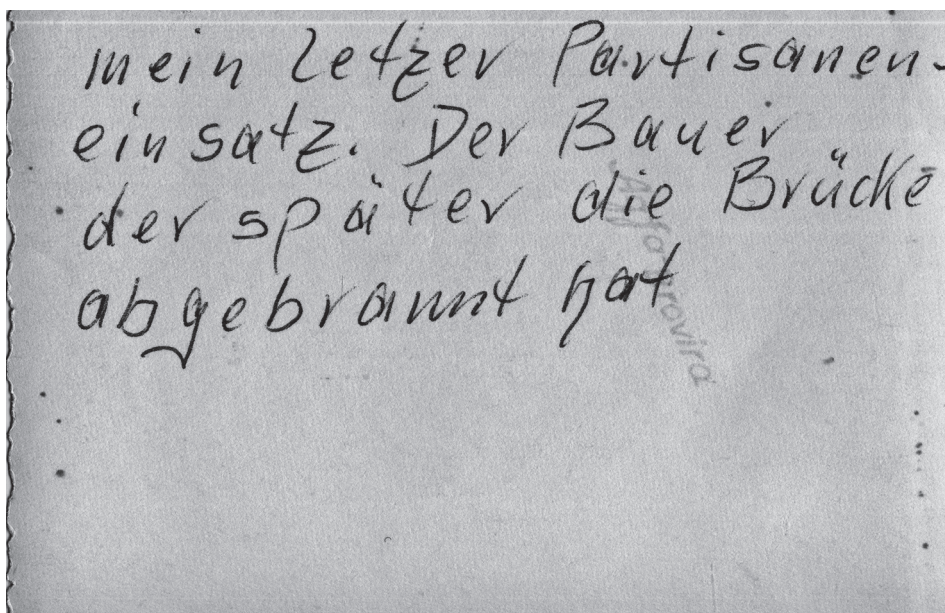


Фото 3, Фото 3а. «[Этот] крестьянин позднее сжег мост»

позируют на фоне деревенского дома с убитыми гусями в руках, а рядом с изображением танцующих русских девушек (№ 69) находятся

фотографии мальчика, чистящего сапоги солдату вермахта, и распределения русских на принудительные работы. И особое, почти символическое



Фото 4. «Кормление русских детей. Старая Русса»

значение приобретает вроде бы непри-
мечательное фото, на котором изобра-
жен солдат вермахта и крестьянская
семья на фоне дома. А на обратной сто-
роне подпись: «Моя последняя опера-
ция против партизан. [Этот] крестья-
нин позднее сжег мост» (с. 105).

Фотография — явно постановоч-
ная, — на которой солдат вермах-
та дает еду ребенку (№ 83), рядом
другая, на которой солдат играет
с детьми (№ 84). На обороте указа-

на деревня — Сенная Кереть под
Чудовым, сожженная немцами и так
и не восстановленная после войны...
И недалеко от этих снимков в книгу
помещено изображение дорожных
работ, где под надзором оккупан-
тов дети и подростки чинят дорогу
(с. 113), а затем — женщины, ко-
торые используются немцами для
разминирования дороги как «живой
щит», о чем также свидетельствует
надпись на обороте. И автор приво-
дит не только перевод этой подписи,



Фото 5. «Русские женщины [идут] впереди для обнаружения мин. Охота на партизан. Витебск, в июне 1942 года»

но и свидетельства, показывающие, что такая практика была обыденной.

Эти фотографии, сделанные на оккупированных территориях, позволяют, помимо прочего, лучше представить себе тот феномен, который вслед за Primo Levi, писавшим об опыте пребывания в Освенциме, опыте лагеря смерти, можно назвать «серой зоной». В черно-белой пропагандистской картинке упускается масса полутонов, связанных с крайней тяжестью выживания населения на оккупированных территориях. Грань между предательством и стойкостью оказывалась для мирного населения далеко не столь однозначной. При оккупантах надо было жить, а значит, приходилось на них работать, выпрашивать пищу для себя и детей, скрываться от угона в Германию, как-то определять свое отношение к колла-

борационистам и партизанам... Как известно, в условиях партизанской войны, например, в Брянской области (Жуков, Ковтун 2017: главы 3–5) были партизаны, переходившие в коллаборационистские формирования, и наоборот — бывшие пленные, переходившие к партизанам (как тут не вспомнить гениальный фильм Алексея Германа «Проверка на дорогах?»). И рядом с человеческими отношениями с подкармливавшими детей «хорошими немцами» (с. 179) для мирных жителей находилась опасность умереть от непосильного труда, болезни и голода, быть убитым в качестве заложника или «живого щита», лишиться дома в результате «антипартизанской акции», быть угнанным в рабство. Желание выжить находилось рядом с желанием отомстить и т.д. Выживание людей на оккупированной территории



Фото 6. «Партизан или стрелок из засады, в назидание местному населению!!! Январь 1942»

во время Великой Отечественной — это еще далеко не полностью раскрытая тема, и фотографии солдат вермахта приоткрывают завесу над этим опытом.

Конечно же, в альбоме присутствуют и фотографии Холокоста, обреченных на смерть евреев-военнопленных, расправ над мнимыми и реальными партизанами. И в этих фотографиях, как и в других, ранее известных, поражают больше всего не запечатленные ужасы, а сам факт их запечатления «на память» и — особенно — в качестве фона для снимков солдат и офицеров «на память».

Именно такие фото являются лучшим свидетельством расчеловечивания и нацистской идеологии как таковой. К восприятию народов СССР как «низших рас» немцев го-

товили с детства, причем в процессе этого обучения нацисты активно использовали визуальные средства обучения: показ слайдов, учебных фильмов, для чего уже в 1935 г. было распространено по школам более 8 тыс. кинопроекторов (Куниц 2007: 172–174). Некоторые из фотографий, опубликованных Г. А. Шепелевым, свидетельствуют об успешном воздействии на их авторов тех стереотипов, которые выстраивались в этих учебных фильмах, слайдах и прочих «образовательных» материалах. В итоге же, сжигая деревни, уничтожая людей, фотографируя — вопреки запретам (!) — казни и быт в лагерях смерти, немецкий солдат или офицер не видел в этом этической проблемы. Напротив, он испытывал гордость за совершенное или даже воспринимал себя как страдающую сторону: «Вместо того, чтобы



Фото 7. «Казнь». Перед расстрелом девушки — пленной военнослужащей РККА

сказать: “Какие ужасные вещи я совершаю с людьми!” — убийца мог воскликнуть: “Какие ужасные вещи вынужден я наблюдать, исполняя свой долг, как тяжела задача, легшая на мои плечи!”» (*Арендт* 2008: 160).

Михаил Ромм в своем известнейшем фильме «Обыкновенный фашизм» показал такого рода фотографии советскому зрителю (а еще во время войны об этом писал И. Г. Эренбург), прокомментировав их: «Вот, что они носили на память как приятное воспоминание» (с. 81).

Кстати, многие военные историки и специалисты по истории нацизма не любят этот фильм Ромма. С моей точки зрения, эта нелюбовь вызвана прежде всего тем, что «Обыкновенный фашизм» — не вполне документальный, а документально-художественный фильм (какими и были по большей части документальные фильмы — даже во многих случаях хроникальные! — до появления картин, которые условно можно назвать аналитико-документальными)¹, в котором автор не просто комментирует, но ставит перед собой прежде всего

¹ Автор благодарит Д. С. Субботина за указание на этот факт.

художественную задачу не продемонстрировать историю нацизма и даже не разобрать причины его восхождения к власти, а нарисовать **образ** нацизма, причем намеренно сниженный, лишенный пафоса. И ему это удастся — современные студенты и старшеклассники в большинстве своем остро воспринимают этот фильм, который остается, несмотря на очевидно устаревшие фрагменты, хорошим противоядием против эстетизации нацизма.

И альбом Георгия Шепелева невольно повторяет логику Ромма: фотографии обыденностей войны, разрушенных и горящих населенных пунктов, «туристические» снимки с оккупированных территорий, картины зверств, а в конце — лица советских военнопленных, снятые крупным планом. Глаза давно умерших людей, который смотрят в лицо читателю и заставляют думать над увиденным и прочитанным в книге (с. 163–178). Сильный и композиционно верный ход!

Очень важно, что монография-альбом соединяет в себе качества и научного (ссылочный аппарат, выверенные комментарии, библиография), и популярного изложения. Оказывается, целый ряд сложных проблем истории войны можно излагать просто и понятно практически любому читателю — в том числе и благодаря фотографиям.

Один недавний пример важности любительских фотографий военнослужащих вермахта. Историк из Рязани Александр Никитин недавно именно с помощью обнаруженных им любительских фотографий сол-

дат вермахта уточнил сведения о гибели однополчанки по диверсионной военной части №9903 Зои Космодемьянской — Веры Волошиной, казненной в 10 км от Петрищево — в селе Головково (Никитин 2015). По надписи на обороте фотографии: *‘Bandenführerin’ — «предводительница банды»*, А. Никитин обоснованно предположил, что Волошина на допросе сознательно назвала себя командиром диверсионной группы. *Возможно, чтобы дезориентировать немцев, возможно, по какой-либо иной причине, но это, как справедливо замечает Никитин, важный психологический штрих. Сколько еще таких штрихов для истории войны хранят еще необнаруженные фотографии, сколько важнейших деталей уже прояснили собранные Г.А. Шепелевым снимки!*

Помимо очевидного научного значения, поддержка проекта Г.А. Шепелева имеет и образовательное значение. Визуальные источники в современной школе проще обсуждать, с их помощью можно оживить рассказ о войне и самых сложных аспектах ее истории: оккупации, коллаборационизме, геноциде. Это значение потенциально значительно больше, чем многочисленные спонсируемые государством фильмы о войне, которые призваны сделать события 80-летней давности понятнее современной молодежи.

Создатели этих фильмов, чтобы приблизить войну к пониманию современного молодого зрителя, помимо прочего, раз за разом тиражируют образ эстетствующего и рефлексирующего немца, офицера вермахта или даже СС, который то жмет

руку советскому танкисту («Т-34» — 2019), то обливается слезами после приказа о казни советской диверсантки («Зоя» — 2021), то защищает вместе с советскими разведчиками немецких девочек от других русских-насилльников («Четыре дня в мае» — 2011). Надежд, что эти киноделы будут читать книги или что они озаботятся привлечением историков-консультантов, нет. Но, быть может, хоть немецкие фотографии посмотрят...

Георгий Анатольевич Шепелев собрал в своей коллекции более 5000 фотографий. В этот альбом вошло 145 снимков. Конечно, хотелось бы более масштабных изданий, выставок, интернет-проекта, расширяющейся базы данных. В эти проекты российским историческим обществам и образовательным институтам стоило бы вложить средства, т. к. работа Г. А. Шепелева предоставляет уникальный и ярчайший материал.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Никитин 2015 — *Никитин А.* Memento. Петрищево и Головково, 29.11.1941 г. [Электронный ресурс] // Журнал «Сноб». Блог Александра Никитина. 30.11.2015 URL: <https://snob.ru/profile/28505/blog/101387> (дата обращения: 31.03.2021).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Арендт 2008 — *Арендт Х.* Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме. М.: Европа, 2008.

Жуков, Ковтун 2017 — *Жуков Д. А., Ковтун И. И.* Бургомистр и палач. Тонька-пулеметчица, Бронислав Каминский и другие. М.: Пятый Рим, 2017.

Кунц 2007 — *Кунц К.* Совесть нацистов. М.: Ладомир, 2007.

REFERENCES

Arendt Kh. *Banal'nost' zla. Eikhman v Ierusalime*. Moscow: Evropa, 2008.

Zhukov D. A., Kovtun I. I. *Burgomistr i palach. Ton'ka-pulemetchitsa, Bronislav Kaminskii i drugie*. Moscow: Piatyi Rim, 2017.

Kunts K. *Sovest' natsistov*. Moscow: Ladomir, 2007.

Е. Ф. Кринко

ОБРАЗЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ФОТОГРАФИЯХ СОЛДАТ ВЕРМАХТА

Фотографии военнослужащих вермахта неоднократно использовались в музейных экспозициях, привлекались в качестве доказательств на судебных процессах против нацистских военных преступников и публиковались в различных изданиях. Но количество опубликованных документов было невелико в сравнении с другими аудиовизуальными источниками, при этом нередко повторялись одни и те же изображения. Как правило, такие публикации носили разрозненный характер, а фотографии в большинстве случаев выполняли вспомогательную, иллюстративную функцию по отношению к текстам, лишь подтверждая те или иные выводы и положения авторов, что сужало их источниковедческие возможности.

С появлением новых технологий фотографии немецких солдат и офицеров стали свободно размещаться в пространстве Интернета. Однако значительное возрастание массива документов и расширение доступа к ним далеко не всегда сопровождалось соответствующей атрибуцией и локализацией изображенных событий во времени и пространстве, за-

трудняя их использование в качестве исторических источников.

Поэтому выход рецензируемого издания можно считать немаловажным историографическим фактом, способствующим прояснению источниковедческого потенциала фотографий военнослужащих вермахта. В большинстве случаев исследователи, рассматривающие фотографии и другие аудиовизуальные источники, анализируют преимущественно материалы, содержащиеся в Архивном фонде России (*Арутюнов 1978; Магидов 2005* и др.). Основой же альбома Г.А. Шепелева стали частные зарубежные собрания, малоизвестные российским историкам. Обращение к семейным и личным архивам в целом становится заметной археографической тенденцией последних лет, но вопросы, связанные с характером представления в них, особенно в зарубежных коллекциях, событий на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны, все еще недостаточно изучены.

В то же время возможности доступных исследователям других групп

© Е. Ф. Кринко, 2021

Публикация подготовлена в рамках гранта Российского научного фонда «Войны и население юга России в XVIII — начале XXI в.: история, демография, антропология» (проект № 17-18-01411). DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-325-329

аудиовизуальных источников по истории Великой Отечественной войны нередко ограничены в тематическом и в содержательном отношении вследствие разных факторов, в том числе влияния на процесс их создания цензуры и самоцензуры. В результате ряд сюжетов крайне скудно представлен в указанных источниках. Так, К. М. Симонов, находившийся на фронте в качестве военного корреспондента «Красной звезды», в своем дневнике приводит разговор с фотокорреспондентом Я. Н. Халипом, напомнившим ему о случае на переправе через Днепр в 1941 г.: «Помнишь, я стал снимать беженцев, а ты вырвал аппарат и затолкал меня в машину? И орал на меня, что разве можно снимать такое горе?» Комментируя этот разговор, Симонов писал, «что тогда мы были оба по-своему правы. Фотокорреспондент мог запечатлеть это горе, только сняв его, и он был прав. А я не мог видеть, как стоит на обочине вылезший из военной машины военный человек и снимает этот страшный исход беженцев, снимает старика, волокущего на себе телегу с детьми. Мне показалось стыдным, безнравственным, невозможным снимать все это, я бы не мог объяснить тогда этим шедшим мимо нас людям, зачем мы снимаем их страшное горе. И я тоже по-своему был прав». По прошествии значительного времени писатель отмечал: «Сейчас, через много лет, глядя на старую кинохронику и выставки военных фотографий того времени, как часто мы, и я в том числе, злимся на наших товарищей-фотокорреспондентов и фронтовых кинооператоров за то, что они почти не снимали тогда, в тот год, страшный быт войны, картины отступле-

ний, убитых бомбами женщин и детей, лежащих на дорогах, эвакуацию беженцев... Словом, почти не снимали всего того, что под Днепропетровском и Запорожьем я сам мешал снять Халипу» (Там же: 232).

Еще сложнее ситуация с визуализацией событий нацистской оккупации. Следует согласиться с Г. А. Шепелевым, утверждающим: «“Увидеть” то, что происходило на оккупированной территории, опираясь на визуальные документы, — задача непростая. Германская фото- и кинохроника создавалась с пропагандистскими целями и серьезно искажает события войны. Советская фото- и кинолетопись отрывочна в освещении событий за линией фронта: советские документалисты фиксировали то, что обнаруживали при освобождении — следы военных преступлений оккупантов и разрушения» (с. 4).

Публикация альбома Г. А. Шепелева позволяет считать, что фотографии немецких солдат представляют несомненный интерес в качестве документальных свидетельств. Разумеется, им присуща определенная субъективность и тенденциозность в их изображении, обусловленная обстоятельствами создания данных источников, в том числе и различной степенью воздействия на авторов снимков нацистской идеологии и пропаганды. Но какой документ не несет на себе черты своего создателя? Этим они, собственно говоря, и интересны, позволяя представить то, как военнослужащие вермахта «видели войну, врагов, население оккупированной страны и различные способы взаимодействия с местными жителями и советскими пленными»

(с. 8). Фотографии из семейных архивов в этом плане можно сопоставить с различными источниками личного происхождения, информация которых субъективна по определению. Различия с ними, как, впрочем, и с другими видами письменных источников, заключаются в первую очередь не в степени достоверности, а в том, какого рода информацию могут из них извлечь исследователи, поскольку «фотодокумент содержит не текстовую или вербальную, а зрительную или визуальную информацию и в отличие от текстового документа фотодокумент запоминает всегда некое мгновение действительности» (Козлов 2020: 19).

Естественно, что фотографии немецких военнослужащих, как и любые другие исторические источники, требуют специального анализа, соответствующей источниковедческой критики, призванной раскрыть не только обстоятельства создания документа, но и то, что стоит за представленной в нем информацией, чтобы верно ее интерпретировать. Альбом Г. А. Шепелева открывает вводная статья, в которой характеризуются источниковедческие и содержательные аспекты издания, а сами фотодокументы сопровождают авторские комментарии. К сожалению, в ряде случаев полностью атрибутировать опубликованные фотографии автору так и не удалось. Г. А. Шепелев признает, что «исследование частных военных фотографий часто заставляет историка ощутить пределы своих возможностей» (с. 9).

Альбом состоит из семи разных по объему разделов, содержащих 140

фотографий, расположенных в основном в хронологическом порядке (с учетом того, насколько удалось установить датировку отдельных снимков). Первый раздел посвящен трагическому для Красной армии началу войны и называется «Вторжение. Победы вермахта». Приведенные здесь 19 фотографий изображают наступающие части вермахта, немецкую военную технику на фоне деревянных домов с соломенными крышами, подбитую советскую военную технику, погибших военнослужащих Красной армии, горящие и разрушенные советские города. Второй раздел «Война на уничтожение» включает 39 фотографий арестованных советских граждан, многочисленных военнопленных РККА — не только мужчин, но и женщин, судьба которых в плену была особенно трагична, а также избиение евреев националистами, уничтожение деревень и казни жителей в ходе «охоты на партизан». Следующий раздел «Война как путешествие и праздник», напротив, самый маленький и включает всего 6 фотографий с видами отдыха и досуга оккупантов. Далее идет еще один большой раздел «Оккупанты и местное население». На 30 фотографиях представлены различные сюжеты повседневности оккупации. Здесь можно увидеть, как одни оккупанты кормят детей (с. 109, 110), а другие гонят женщин перед собой в качестве «живого миноискателя» или «живого щита» от нападения партизан (с. 122), используют женский и детский труд на различных работах и применяют суровые наказания за неподчинение «новому порядку». Пятый раздел «Провал “блицкрига”. Поражения вермахта» включает, как

и первый, 19 фотографий, но уже иной тональности. Они показывают отступление вермахта, раненых и погибших немецких военнослужащих и разбитую немецкую боевую технику, а также упорное сопротивление советских солдат. Раздел «Вторая мировая война» содержит фотографии, снятые в Польше, Бельгии, Франции и в других странах Европы и изображающие происходившие там события. Только на одной из них представлены советские военнопленные (с. 144). Завершающий раздел «Найти человека» включает фотографии с памятниками погибшим советским солдатам, а также портретные снимки, публикация которых, по мнению автора, может позволить опознать изображенных на них людей и идентифицировать их личности. Надпись на одной фотографии («Немецкая культура в Коренево. 1942») позволила, действительно, установить личность казненного — 14-летнего В. Крохина, повешенного оккупантами в деревне Коренево Курской области в конце февраля 1942 г. по обвинению в участии в партизанском движении (с. 159).

Таким образом, фотографии позволяют воссоздать визуальные образы событий на оккупированной территории, увидеть то, как происходили казни, распределение на работы и сам принудительный труд глазами немецких военнослужащих. И хотя на отдельных фотографиях сосуществование оккупантов и населения кажется мирным и даже доброжелательным со стороны захватчиков, другие показывают, что оно носило неравноправный характер и в любой момент могло трагически завершиться для жителей. А улыбки оккупан-

тов на фоне казненных людей (с. 81), столь естественные в иной обстановке для человека, смотрящего в камеру, свидетельствуют не только об их нравственной деградации, но и о прямой причастности не только подразделений СС и СД, но и вермахта, других военных и гражданских структур Третьего рейха к репрессиям против советского населения.

Фотографии зафиксировали и переживания советских граждан. Разумеется, здесь нельзя увидеть откровенного сопротивления или недовольства с их стороны, но и по выражениям лиц можно понять испытываемые ими чувства к оккупантам (с. 112, 118). Фотографии показывают, как происходило не только истребление мирных жителей, но и символическое присвоение оккупантами захваченной территории через разрушение памятников Ленину и установление новых символов (крестов и свастики) (с. 36–38).

Важно отметить, что фотографии немецких военнослужащих представляют собой массовый источник, помогающий проследить формирование их представлений о войне, оккупации и советском населении. Наиболее целесообразно рассматривать их в комплексе и взаимосвязи с другими историческими источниками в исследованиях различных аспектов нацистской оккупации и истории Второй мировой войны в целом. Наряду с этим, фотографии могут быть использованы и в качестве самостоятельных источников в решении конкретных задач, связанных с локализацией отдельных событий и идентификацией их участников.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Арутюнов 1978 — Арутюнов К.А. Научно-познавательное значение кинофотофонодокументов истории Великой Отечественной войны: дис. ... канд. ист. наук. М., 1978. 239 с.

Козлов 2020 — Козлов В.П. К вопросу об особенностях фотодокументальных источников, их классификации и описания // Технотронные документы в информационном обществе: Сборник научных статей, посвященный памяти заслуженного профессора РГГУ, доктора исторических наук В.М. Магидова / отв. ред. Г.Н. Ланской; сост. М.М. Жукова. М.: Издательство «Спутник +», 2020. С. 17–24.

Магидов 2005 — Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2005. 394 с.

REFERENCES

Arutiunov K.A. *Nauchno-poznavatel'noe znachenie kinofotofonodokumentov istorii Velikoi Otechestvennoi voiny*: dis. ... kand. ist. nauk. Moscow, 1978. 239 p.

Kozlov V.P. K voprosu ob osobennostiakh fotodokumental'nykh istochnikov, ikh klassifikatsii i opisaniia. *Tekhnotronnye dokumenty v informatsionnom obshchestve*: Sbornik nauchnykh statei, posviashchennyi pamiati zaslužennogo profesora RGGU, doktora istoricheskikh nauk V.M. Magidova, отв. red. G.N. Lanskoi; sost. M.M. Zhukova. Moscow: Izdatel'stvo "Sputnik", 2020. P. 17–24.

Magidov V.M. *Kinofotofonodokumenty v kontekste istoricheskogo znaniia*. Moscow: Rossiiskii gosudarstvennyi gumanitarnyi universitet, 2005. 394 p.

Е. Махотина

ОБ ИЗДАНИИ «ВОЙНА И ОККУПАЦИЯ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ФОТОГРАФИИ СОЛДАТ ВЕРМАХТА С ЗАХВАЧЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР И СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ФРОНТА»

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Когда 22 июня 1941 г. трехмиллионная армия вермахта вторглась в Советский Союз, у многих солдат был с собой фотоаппарат. С 1933 г. любительская фотография стала популярным мужским досугом, и уже в 1933 г. Йозеф Геббельс пропагандировал создание миллионной армии фотографов-любителей для национального образования в духе нацистской пропаганды.

Легкое и дешевое оборудование от «Agfa», «Kodak», «Voigtländer» и простая в использовании фототехника позволили многим солдатам документировать военные кампании для своих частных целей. Оккупированные территории Западной Европы и экзотические ландшафты североафриканской кампании впервые попали в объектив простого немца:

большинство солдат до этого никогда не покидали пределы Рейха. Фотографировали здесь в основном достопримечательности и себя на их фоне. Тем не менее подобные туристические фотографии не были лишены и пропаганды, курс на которую был изначально задан Геббельсом: «Это обязанность солдата, особенно сейчас, не дать камере отдохнуть» (Hitler... 2010).

В невиданном доселе масштабе оккупация и война стали предметом любительской съемки. Солдаты снимали, печатали, менялись, посылали фотографии домой к семьям и создавали специальные фотоальбомы. Так как в Третьем рейхе все личное становилось политическим, альбомы для хранения фотографий были изготовлены специальным образом, чтобы задать правильный тон для понимания войны: на обложке — символы Третьего рейха,

© Е. Махотина, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-330-336

на форзаце — портреты фюрера и генералов, цитаты.

Лишь недавно эти личные фотоархивы стали предметом изучения и общественных дискуссий. Авторов снимков практически не осталось в живых, а память о войне окончательно переходит из коммуникативной памяти в культурную, из семейной коммуникации — в архив. Теперь это задача историка — интерпретировать и заново контекстуализировать собранные фотоматериалы. В Германии наиболее известным специалистом является Petra Bopp (*Petra Bopp* 2012), а в России — Георгий Шепелев. Он смог собрать около 5000 снимков немецких солдат и опубликовать 140 из них в издании «Война и оккупация. Неизвестные фотографии солдат Вермахта с захваченной территории СССР и советско-германского фронта», недавно вышедшем в издательском доме «Российского военно-исторического общества».

КАК «ЧИТАТЬ» СНИМКИ С ФРОНТА?

Исследователи направления *visual turn* (*Mitchell* 2008) указывают на неразрешимое внутреннее противоречие фотоснимка: он имеет неоспоримую документальную ценность, но в то же время обладает дискурсивной функцией — т.е. является предметом инструментализации в целях политики памяти. Мы знаем, что образы имеют огромное значение для формирования культурной памяти и общественного мнения о прошлом. Как указывает философ Ролан Барт, на фотографии мы видим объект, «присутствие которого

нельзя отрицать» (*Barthes...* 1985). Фотографии рассматриваются нами как окно в реальность прошлого и формируют наши представления о былом времени, в том числе о преступлениях.

Однако необходимо понимать, что кодирование фотографического изображения начинается в момент его создания. Фотограф выбирает фрагмент реальности и, делая что-то видимым, решает в то же время, что же остается невидимым. Далее кодирование или реконтекстуализация осуществляется теми, кто выбирает снимок для выставки, каталога и публикации.

Образы рассматриваются нами, зрителями, как доказательство нарратива, который нам преподносят, однако и сам нарратив, и снимки являются конструктами, интерпретациями. Вот почему в юриспруденции с большой осторожностью относятся к фотографии в качестве доказательства: в Нюрнбергских процессах, например, фотографии не использовались как единственный источник доказательства (*Brink...* 1990). Таким образом, фотография — не «твердый источник», который следует рассматривать однозначно позитивистски. Известным примером того, как историки могут недооценить различие между реальностью и интерпретацией фотоснимка, является ошибочное использование некоторых фотографий на выставке «Преступления Вермахта» в первой версии 1995 г. Фотографии, выставленные в качестве доказательств преступлений вермахта, представляли собой снимки преступных действий при отступлении Красной армии (*Lethen...* 2002).

Символическую ценность образов для памяти поколений трудно переоценить. Если говорить о визуализации Холокоста, то в обществах Западной Европы несомненно наиболее известной образной ассоциацией является фотография ворот Освенцима с рельсами, сфотографированными Станиславом Мухой (https://de.wikipedia.org/wiki/Foto_vom_Torhaus_Auschwitz-Birkenau). Расхожая интерпретация этого снимка — ворота смерти. Зритель предполагает, что перед этими воротами проходили отборы в смерть, а сам снимок символизирует депортацию в лагерь смерти евреев Европы. В этом гиперканоническом значении эта фотография воспроизводилась бесчисленное количество раз и используется до сих пор в немецких газетах и журналах для иллюстрации памятных дат. Однако польский фотограф Станислав Муха запечатлел лагерь Аушвиц в феврале или марте 1945, т.е. когда лагерь уже был освобожден Красной армией, и сделал это по заказу советского руководства для документации освобожденного лагеря. К тому же снимок сделан внутри лагеря, а не снаружи, как предполагают многие, видя здесь безвыходную дорогу в смерть. Отсутствие жертв и палачей на фотографии также очень примечательно для символичности образа в немецкой культуре памяти: Холокост представляется техническим, анонимным и абстрактным процессом. Образ лагеря уничтожения «где-то на востоке» представлял Холокост чем-то не имеющим ничего общего с бытовой реальностью немецкого общества.

Главенство ворот Освенцима в визуальной памяти ставит в тень Холокост в рамках войны на уничтожение

на Востоке, т.е. массового убийства советских евреев летом — осенью 1941 г., Holocaust by bullets. Намного меньше известны, если вообще известны, фотографии мест расстрелов, таких как Малый Тростенец, Бабий Яр, Понары, Бикерники, Змиевская Балка и другие места Советского Союза, где убийства были не анонимны, а требовали личного участия солдат вермахта и их пособников. Немецкие штурмбаннфюреры скрупулезно записывали количество и место массовых расстрелов евреев, коммунистов и «партизан», но не оставляли фотографических свидетельств своих преступлений. Фотографии, документирующие Холокост на советской территории, есть, но требуют от зрителя домысливания произошедшего «потом»: солдаты вермахта, снимавшие евреев любительскими камерами, часто в издевательских позах, понимали, что делали это перед тем, как объектов их съемки ждало уничтожение.

Эти немногие сохранившиеся фотографии, изображающие в близком ракурсе смерть или насмешки и избиение жертв, не являются беспроblemными с точки зрения человеческой этики: мы смотрим на происходящее сквозь объектив палача, целью снимка которого является очередное бесчестие жертвы. Военнопленные и гражданское население находятся в абсолютной власти немецкого солдата и не давали согласия ни на фотографирование, ни на распространение фотографий. Кроме того, подписи под ними содержат большое количество негативных оценок.

В связи с этим возникает еще один вопрос — какую роль эмоции играют

в передаче исторического знания? После того, как Теодор Адорно увидел фотографии немецких преступлений, он потребовал, чтобы эти изображения ужаса не использовались. Он видел опасность в том, что непредставимый ужас изображенного притупит зрительские эмоции и приведет к осознанному дистанцированию, отчуждению от знания об этом.

Однако именно признанный доказательный характер фотографий — «это произошло» — может привести со стороны палачей к осознанию своей ответственности. Когда снимки из частных фотоархивов стали представляться широкой публике, дедушка Фриц уже не мог скрыть того, что делал на Восточном фронте, — он столкнулся с чувством стыда, которое стало дискурсивным в немецких средствах массовой информации. С другой стороны, как на это и правильно указывает Шепелев, для преследуемых, жертв и их родственников эти образы могут «озвучить» травматическое пережитое и сделать его доступным для политики памяти.

Примером использования фотографий как evidence of Holocaust (Struk... 2005) является Иерусалимский мемориал Яд Вашем. Каждый, кто видел *expressis verbis* изображение насилия на постоянной выставке, ясно вынесет уроки прошлого и политический посыл для культуры памяти государства Израиль. Таким образом, фотографии как медиакommunikation имеют ярко выраженную социальную функцию. Как подчеркивает William J. Thomas Mitchell, родоначальник направления *visual culture*, образ и общественность находятся в тесной взаимосвязи друг с другом.

ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ КАК ЛАКУНА В ВИЗУАЛЬНОЙ ПАМЯТИ О ВОЙНЕ

Все эти методологические, интерпретационные и источниковедческие проблемы затрагивает и Георгий Шепелев в введении к своему изданию. То, что геноцидальные практики ведения войны на Востоке «трудно представить» и они малоизвестны послевоенным поколениям, было для автора одним из мотивов для сбора и публикации фотографий. Подобно тому, как отсутствие образов в Германии формировало идею «чистой войны» вермахта, так и насилие, испытанное советскими гражданами на оккупированных территориях, мало известно нынешним поколениям в государствах-преемниках Советского Союза.

Автор выбрал для публикации именно те фотографии, которые отражают характер войны на уничтожение против Советского Союза. Шепелев указывает на то, что представление о войне было стандартизировано посредством обмена фотографиями и личными заказами. Военная фотография во Второй мировой войне имела свой канон: погибшие советские солдаты и лошади, грязь и запустение, горящие деревни, советские военнопленные — эти мотивы можно найти почти во всех военных альбомах с фронта. Обмен изображениями и тесные контакты между фотожурналистами и фотолюбителями повлияли на эстетику фотографий. Поэтому, несмотря на многочисленность снимков, их визуальный репертуар довольно ограничен и облегчает систематизацию. Шепелев реконтекстуализирует 140 снимков, распределяя их на семь тем: «Вторжение»,

«Война на уничтожение», «Война как путешествие и праздник», «Оккупанты и местное население», «Провал блицкрига», «Вторая мировая война (общемировой контекст войны против Советского Союза)», «Найти человека».

Задача Шепелева — вывести зрителя из-под власти объектива вермахта, заглянуть за инсценированный ракурс солдата. Он дает понять, что авторы снимков целенаправленно инсценировали свои изображения, чтобы передать определенное содержание, и прежде всего — расово-идеологическое превосходство. В этом — их близость с фотографиями военной пропаганды. В обоих случаях мы имеем дело не с войной «как она была», а с войной «как ее видели». Шепелев обращает внимание и на то, что не всегда можно правильно определить намерение фотографа: так, изображение казни или издевательств может служить бытовому увеселению на фронте, а может отражать негативную реакцию солдата на преступления.

Большинство изображений, как правильно определил Шепелев, представляют акт фотографирования как инструмент оккупационной политики: эксплуатация и грабеж местного населения, насилие над партизанами, военнопленными, введение «порядка», издевательство над жертвами (трупы погибших крупным планом). Зритель становится «вторичным свидетелем» презрительного отношения к населению Советского Союза, к жертвам нападения. Так, многочисленные беды жителей оккупированных территорий объясняются отсталостью «русских». Презрительное

отношение усиливается издевательскими комментариями в подписях к фотографиям. Кроме того, подписи свидетельствуют о невежестве по отношению к русской истории и культуре, а также о «русификации» врага, независимо от того, происходит ли действие на Украине или в Беларуси. Еврей в этих подписях также «русифицирован», что свидетельствует о действенной силе пропагандистского мотива «еврейского большевизма».

Бесчеловечность, представленная образами голодающих советских военнопленных перед хорошо одетыми и хорошо накормленными солдатами и охранниками вермахта, часто является иллюстративным доказательством расово-идеологической войны с намерением уничтожения, которую Германия вела против Советского Союза.

Однако то, что эти фотографии не только распространялись среди солдат, но и отправлялись семьям в Германию — и хранились там, и клеивались в альбомы, — бросает иной взгляд на немецкое общество, знавшее о войне на уничтожение и поддерживавшее эту политику. Не только генералитет и солдаты не признавали советских граждан людьми, но и те немки и немцы, которые вставляли в альбомы фотографии повешенных партизан или горящих деревень. Таким образом, эти фотографии не только служат нам свидетельствами о военных событиях, но и столь же много говорят о менталитете военного поколения.

В этом вопросе издание Шепелева очень хорошо дополняет фундаментальное исследование Николая

Старгарта «German War. A Nation under Arms, 1939–1945» (Stargart... 2015), в котором он показал, как немцы, даже имея перед глазами геноцид евреев, до конца верили в фюрера и победу. Йохен Хелльбек также показал в «Сталинградских протоколах», что нацистские идеологемы и после поражения в войне формировали нарратив в воспоминаниях немецких военнопленных (Hellbeck... 2012; Sönke... 2011).

Частные фотоколлекции и фотоальбомы можно изучать как конструкции семейной памяти целого поколения. Индивидуальное молчание о совершенных преступлениях ветеранов вермахта находится во взаимосвязи с укрыванием фотографий с фронта. Немцы понимали, что публичное демонстрирование фотографий может навредить личному обелению в процессах денацификации и подорвать дискурс жалости к себе как к простой пешке в руках безумного диктатора Гитлера. С другой стороны, и публичного интереса ворошить прошлое не было.

Во многих немецких семьях такие «дедушкины ядовитые ящики» хранятся и по сей день. Дети солдат не спрашивали их о фронте, а когда эти вопросы начали интересовать внуков, возможность ясной памяти у ветеранов была очень и очень ограничена. Это продолжает способствовать дискурсу «Дедушка не был нацистом» (Harald... 2002) в семейном сознании немцев.

Значение частной фотографии военного времени для обществ Германии и России трудно переоценить. Коллекция Шепелева может дать ответы

на вопросы, которые обсуждаются в кругах профессиональных историков Германии сегодня: насколько практики войны на уничтожение повторяли практики колониального насилия солдат кайзеровской Германии в начале XX в. и насколько сильна была традиция расистской политики? Анализ образа «чужого», будь то чернокожие солдаты Франции, евреи штетла, ромы или славяне, выявляет интересные аналогии и поможет рассмотреть оккупационную политику как один из видов колониальной агрессии.

Какой вклад может внести эта книга в дебаты немецкой общественности? Уже несколько лет часть немецкого общества выступает за создание мемориала для советских и польских жертв Второй мировой войны. В прошлом году Бундестаг принял наконец решение о создании музея-документации немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Он должен будет документировать оккупационную политику и рассмотреть в первую очередь опыт стран Восточной Европы и Советского Союза. Коллекция и издание Шепелева может внести свою лепту в иллюстрацию тезиса о «русской кампании» как о войне на уничтожение *sui generis*, где запланированные преступления поддерживались солдатами и населением. Оно может также продемонстрировать, что мнимая русификация жертв Войны против Советского Союза опирается не на «историческую» немецкую симпатию к России, а скорее на традицию негативного образа отсталой России и на игнорирование многонационального характера населения Советского Союза.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Barthes... 1985 — Barthes Roland: „Es ist so gewesen“. In: Barthes, Roland: Die helle Kammer. Bemerkung zur Fotografie. Frankfurt am Main 1985, 86.

Brink... 1990 — Brink Cornelia: Ikonen der Vernichtung. Öffentlicher Gebrauch von Fotografien aus nationalsozialistischen Konzentrationslagern nach 1945. Berlin 1990, 103–123.

Harald... 2002 — Harald Welzer, Sabine Moller, Karoline Tschuggnall, „Opa war kein Nazi“. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, 2. Aufl. Frankfurt am Main 2002. См. результаты исследования MEMO: https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload-EVZ_Uploads-Stiftung-Publikationen-EVZ_Studie_MEMO_2019_final.pdf.

Hellbeck... 2012 — Hellbeck, Jochen: Die Stalingrad Protokolle. Sowjetische Augenzeugen berichten aus der Schlacht. Frankfurt am Main 2012. S. 483–522.

Hitler... 2010 — Hitler und die Deutschen. Ausstellungskatalog. Berlin 2010. S. 245.

Lethen... 2002 — Lethen, Helmuth: Der Text der Historiografie und der Wunsch nach einer physikalischen Spur. Das Problem der Fotografie in den beiden Wehrmachtsausstellungen. In: Zeitgeschichte 29 (2002), 76–86.

Mitchell 2008 — *Mitchell William J.* Thomas: Bildtheorie. Frankfurt am Main 2008.

Petra Bopp 2012 — *Petra Bopp*. Forschungsprojekt „Fremde im Visier. Privatfotografie der Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg“: Fremde im Visier. Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg. Kerber Verlag Bielefeld 2009, Aufl. 2012.

Sönke... 2011 — Sönke Neitzel, Harald Welzer, Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben, Frankfurt am Main 2011.

Stargart... 2015 — Stargart, Nicholas: German War. A Nation under Arms, 1939–1945. London 2015.

Struk... 2005 — Struk, Janina: Photographing the Holocaust. Interpretations of the evidence. London 2005.

А. В. Аникина, О. П. Кашина

Рец.: Победа-75: реконструкция юбилея / под ред. Г. Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2020. 800 с.; илл.

В рецензии рассматриваются результаты международного мониторинга юбилея победы СССР в Великой Отечественной войне (и разгрома милитаристской Японии). Акцентируется внимание на выявленных противоречиях исторической политики в России, указаны новые акторы исторической политики России, прогнозируются последствия основных тенденций юбилея, проанализированы особенности отношения к нему в постсоветских государствах, Китае, США, Испании и Латинской Америке.

Ключевые слова: юбилей, коммеморативный дискурс, нарративы Второй мировой войны, Великая Отечественная война Советского Союза, Победа, советское политическое наследие, диффамация Победы, рефлексия, национальные интересы, мониторинг, храм Победы, смещение смыслов.

Сведения об авторах: Аникина Анна Валентиновна, кандидат социологических наук, доцент кафедры истории, философии и социологии Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии (Нижний Новгород); Кашина Ольга Павловна, кандидат философских наук, доцент кафедры культуры и психологии предпринимательства Института экономики и предпринимательства ННГУ (Нижний Новгород).

Контактная информация: annavalentan@yandex.ru, olgaurtaeva2009@yandex.ru.

A. V. Anikina, O. P. Kashina

Rev.: Pobeda-75: rekonstruktsiia iubileia, pod red. G. Bordiugova. Moscow: AIRO-XXI, 2020. 800 p.; ill.

The review examines a large volume of monitoring the constituent parts of the anniversary of the victory of the USSR in the Great Patriotic War (and the defeat of militaristic Japan). The attention is focused on the revealed contradictions of the historical policy in Russia, new actors of the historical policy of Russia are indicated, the consequences of the jubilee tendencies are predicted. The revealed contradictions of the Victory celebrations in Russia and in the post-Soviet states, in China, USA, Spain, France, Latin America are analyzed.

Key words: Anniversary, commemorative discourse, narratives of the Second World War, the Great Patriotic War of the Soviet Union, Victory, Soviet political heritage, defamation of Victory, reflection, national interests, monitoring, Temple of Victory, displacement of meanings.

About the authors: Anikina Anna V., Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor of the Department of History, Philosophy and Sociology, Nizhny Novgorod State Agricultural Academy (Nizhny Novgorod); Kashina Olga P., Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Department of Culture and Psychology of Entrepreneurship, Institute of Economics and Entrepreneurship, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod).

Contact information: annavalentan@yandex.ru, olgaurtaeva2009@yandex.ru.

Ассоциация исследователей российского общества (АИРО-XXI) провела и представила результаты практик исторической политики и политики памяти в России и мире в пиковый момент — юбилей. Были собраны материалы, сконструирована и представлена модель прошедшего (проходившего) праздника 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Особую ценность тому придает соотнесенность с мониторингом Победа-70, также проведенным АИРО-XXI. Появляется возможность проследить динамику развития одних и затухания других тенденций триумфального события «со слезами на глазах». Значение этих коллективных трудов, условно называемых здесь «Победа-70» и «Победа-75», возрастает при помещении их в цепочку изданий, посвященных аудиту других юбилеев: 100-летия Революции в России, 150-летия со дня рождения В. И. Ленина, а также своеобразию юбилеев И. В. Сталина в советское и постсоветское время, взаимосвязи советских юбилеев «Октябрь — Сталин — Победа». Взятые в совокупности, все эти юбилеи составляют солидную основу для концептуального осмысления бытования, логики развития памятных дат советской истории до и после 1991 г. в СССР — России и за их пределами. Однако это является задачей будущего, а здесь рассматривается внушительный том «Победа-75».

Объективный характер юбилея определяет печальный уход к настоящему времени ветеранов войны, непосредственных свидетелей Пути к Победе. Торжества, речи, оценки адресованы теперь не в прошлое, служат не эмоциональному воздаянию славы («Никто не забыт и ничто не забыто»), а предназначены настоящему и будущему — современникам и подрастающему поколению. Всем хранителям, создателям смыслов и трансляторам ценностей Победы задается один и тот же вопрос, прописанный в самой книге: «Почему мы вам должны верить?» (с. 268, 311) (вопрос этот ставится в связи с конкретными обстоятельствами противостояния фальсификациям через музейную работу). Между тем этот вопрос уместно поставить ко всем коммеморативным посланиям о войне. С уходом поколений ветеранов (из жизни) и их детей (из поля порождения смыслов) исчез важный — символический, эмоционально-ценностный — маркер верификации текстов о достижении Победы. Если раньше важную роль в праздниках Победы играло воздаяние ее творцам, то сейчас акцент переносится с обращенности к прошлому на ориентацию в будущее (молодое поколение) и его формирование через тот опыт, который акторы исторической политики извлекают под свой интерес.

Из книги «Победа-75» следует вывод, что эти творцы и действующие

лица исторической политики не всегда соотносятся с государством. На фоне растущего числа акторов конструирования памяти неизбежен вопрос об их мотивах. Если не остаются места для выражения персонализированной благодарности, то общие слова о святости праздника могут скрывать коммерческую подоплеку и амбиции самовыражения. Даже самым искренним и знающим поборникам сакральности 9-го Мая теперь придется дополнительно верифицировать свои послылы. Иначе — *«почему мы вам должны верить?»*.

Когда есть много источников целенаправленной информации, всегда появляется возможность выбора. Если вдруг она минимизируется, то используется альтернатива формального пользования навязываемым источником, а после отбытия «повинности» — обращение к актуальным (полузапрещенным или запрещенным) каналам знания о Войне и Победе. Зодчие официального государственного курса о Войне и Победе в сигналах-посланиях внутрь и вовне страны обречены на постоянное решение вопроса доверия к ним. Иначе эти послания обернутся ритуально-регламентным ответом и не повлияют на восприятия Войны, Подвига, Победы.

Неявная дискуссия *«Почему мы должны вам верить?»* будет подогреваться конфликтом сформировавшихся парадигм освоения Войны: 1) живая, горячая правда Войны (семейная память, опубликованные воспоминания участников Войны, их видео- и аудиозаписи, воспоминания об их воспоминаниях, произведе-

дения культуры участников Войны); 2) беспристрастная документальная трактовка Войны; 3) советско-коммунистический дискурс Войны (с элементами вкрапления первого блока) — жертвенно-гуманистически-героический подход; 4) постсоветские вариации — 4.1) диффамация Победы (с элементами первого и второго блоков) и 4.2) акценты на Отечественной войне и Победе России как правопреемницы СССР и единственного хранителя Памяти об этом (с подчеркиванием героикотриумфального начала)... И столкновение всех этих парадигм, возможные резонансы или «противофазы», пересечения играют важную роль в попытках дать ответы на поставленные вопросы.

Таким видится главный лейтмотив книги «Победа-75». И в этом заслуга рецензируемого издания, хотя сами авторы в разной степени приблизились к пониманию этой тенденции. Но она кристаллизуется в общую структуру после чтения компендиума. Видимо, это обусловлено подбором команды — коллективом творческих единомышленников. Однако здесь ощущается и дефицит важного «оргмомента». Не хватает сводного краткого до тезисной пунктирности текста-декларации: либо с чем подходили к работе все авторы (вначале), либо что они получили... Этот «общий знаменатель», собирающий для читателя проработанные сюжеты в большой мегатекст, напрашивается сам собой. Имеющиеся разделы «Предисловие» и «Мерило Правды. Вместо заключения», написанные инициатором, вдохновителем проекта Г. А. Бордюговым, посвящены другим, не менее важным проблемам —

вызовам и итогам-перспективам Праздника Победы. А так (со)авторы мониторинга «Победа» постоянно балансируют между объективностью и «партийностью» и часто соскальзывают во вторую. Например, в одной из статей мониторинга рассказывается о ревизии немецким журналистом сражения под Прохоровкой. И хотя автор пытается «остаться над схваткой», но из фраз о том, что журналист использовал результаты сомнительного анализа британцем данных немецкой аэрофотосъемки, свел шестидневное сражение к одному дню и почему-то рекомендует снести только часовню (оставив светские, т. е. советские монументы), выявляется культурно-историческая идентичность наблюдателя. В другой части сборника авторы прямо напомнили, что являются потомками солдат Победы и открыто дезавуировали излагаемую позицию одного из акторов анти-Победы-75.

«Предисловие» (с. 12–14) составляет одно целое с первым разделом «Контекст». Оно состоит из двух статей — «2020: Война продолжается, Третья Мировая, мемориальная» (С. 17–35) Г. А. Бордюгова и «Победа и политические противостояния юбилейного года» Д. А. Дмитриева (с. 36–54). Эти тексты посвящены вызовам Празднику Победы в канун и в течение самого 2020 г., а также противоречиям, которые мешают адекватным ответам. Из вызовов, прописанных Г. А. Бордюговым, надо назвать (опуская пандемию и ограничение массово-зрелищных мероприятий): попытки потомков побежденных обесценить Победу-75, свести Победу над фашизмом к заслугам Великобритании и США, внутренние российские

усилия, идущие от оппозиции власти, лишить Праздник не только победной, но и эмоционально-духовной значимости.

Новой является ситуация, когда потомки побежденных указывают потомкам победителей — не на смягчающие поражения факторы, не на умаление вины виноватых, превознесение других (США, Великобритания) победителей, но на ответственность советской власти и именно И. В. Сталина за жертвы, страдания в результате агрессии и целенаправленной политики геноцида, признанных как юридический факт Нюрнбергским трибуналом. Показателен пример со статьей Зильке Бигальке об ответственности советской стороны за геноцид в блокадном Ленинграде (с. 19–20). Попытки такого морального, историко-культурного релятивизма, перенос виктимологии из сферы психологии в область общечеловеческих ценностей, кроме прочих указанных Г. А. Бордюговым, имеют зеркальную российской/советской ситуацию удаления от 1941–1945 гг. Практически нет поколения побежденных солдат вермахта с комплексом поражения и ответственностью за преступления, уходит поколение их детей, сделавших очень много в отношении коллективного покаяния целой нации. Разорвалась морально-этическая нить, минимизируется живая и раскаленная память о Войне. Поэтому и стала возможной такая эквилибристика логическими выкладками и современными категориями и трендами.

Подобные операции в отношении дескарализации памяти о Победе

происходят в той части интеллектуального слоя России, которая относит себя к оппозиции действующей власти. Главными средствами борьбы в этой сфере являются разрывание той самой духовно-эмоциональной преемственности и дискредитация попыток власти выполнять роль хранителя этой преемственности. Однако в споре трактовок «Победа-75», как показал Д. А. Андреев, власть, целенаправленно формируя национального лидера, делает упор на сохранение пафоса Победы. При этом, как отмечает исследователь, сама легитимная власть России данный пафос видит как триумфально-ликующий и возвеличивающий. Президент РФ В. В. Путин в год 75-летия Победы при отстаивании этой ценности корректен, жесток, но не выходит за рамки того, что может считаться объективностью (так, по крайней мере, следует из текста Д. А. Андреева). В дальнейшем же государственный тренд «сбережения» Победы тоже может привести к эрозии лично-теплого начала Праздника 9-го Мая, превращению его в официально-помпезное торжество, чьи основания защищены российским законодательством. Вот на этой проблеме, с открытым беспокорящим финалом завершается раздел «Контекст».

Внимательный читатель может вынести из «Контекста» еще одну мысль. Война/Победа в нынешней культурной ситуации стала средством. Не предмет постижения, осмысления, покаяния, радости, извлечения уроков, но средством, где могут моделироваться с разными целями разные ситуации, далекие от достоверности 19(39)41–1945 гг.

И, забегая вперед, скажем, что особенно выпукло это проступает в киноискусстве и художественной литературе.

Информационный блок «Среда» открывается обзором известного журналиста П. Г. Черемушкина «Война с памятниками в странах Центральной Европы и новые тенденции создания военных монументов в России» (с. 55–88). Организованный по лекалам профессионального ампула автора материал построен так, чтобы побудить читателя к размышлениям. Представлены три истории/стратегии политико-культурного отношения к памятникам победоносной и освободительной Красной армии — в Чехии (через осевую тему демонтажа монумента И. С. Конева), в Польше (через дихотомию уничтожения памятников Красной армии и бережного отношения к захоронениям советских воинов), в Венгрии (начало вытеснения советского скульптурного наследия о Победе памятными знаками презентации Венгрии как жертвы нацизма). При всем разнообразии причин удаления памяти об освобождении по-человечески автора не может не тревожить то, что происходит визуализация замены смыслов истории 1941(44)–1945 гг., за которой стоит огромное число соотечественников, погибших за освобождение Европы от нацизма.

Затем следует «репортаж» П. Г. Черемушкина о реставрации старых и возведении новых памятников, посвященных Подвигу и Победе, в России. И здесь, судя по приведенным материалам, происходит смещение смыслов с трагически-жертвенного на триумфально-победный. Это

проявилось в истории с конной статуей маршала Г. К. Жукова. Российской власти надо обозначать себя в сохранении и приумножении памяти о Победе. Самым эффективным и эффектным, доступным и понятным средством здесь являются монументы, но «места памяти» почти все уже заняты, что и породило поиск свободной ниши — в историко-географическом и морально-коммеморативном смыслах. Таковой стала Ржевская битва, в которой полегло огромное количество советских солдат. В рассказе об этом памятнике, конкурсе, спорах вокруг него привлекает внимание рождение «исторической экспертизы» от Мастера. Это явление просматривается в том, что актер, художник, скульптор, режиссер, кинематографист, создав произведение на историческую тему, вдруг оказывается экспертом по ней наравне с участниками тех давних событий. И в спорах вокруг монумента во Ржеве со всех сторон звучат слова о том, что были изучены исторические документы, свидетельства, и в результате возникает именно такой образ. Даже оставив в стороне сомнения в способности деятелей искусства в короткое время усвоить и творчески осмыслить тематический информационный массив, много вопросов возникает по поводу того, что получилось в результате такого освоения. Но нет, «инженеры человеческих душ» самонадеянно репрезентируют себя как специалистов.

В статье казанских исследователей Д. И. Люкшина и А. М. Межведилова «Молодые хозяева Победы: помнить, чтобы забыть, или забыть, чтобы помнить» (с. 89–115) постав-

лена важная проблема смены парадигмы знания о Войне в России. Уходит вместе с непосредственными участниками и свидетелями Победы надрывная память о ней и замещается новым нарративом. Нарративом славным, триумфальным, где-то отлакированным. Соответственно и средства государственной пропаганды под стать. Объектом данного воздействия становится молодежь, подрастающее поколение. Авторы в море данных пытаются найти ответ на вопрос, насколько образы Войны и Победы в таких условиях и процессах укореняются в душах молодых людей. И обнаруживают основания для оптимизма: есть живой нерв, «Праздник со слезами на глазах» оказывает мощное воспитательное влияние на детей и юношество.

Нижегородские историки А. А. Кузнецов и Д. В. Семикопов уже в начале своего текста «Дорогами Победы к храму: главное событие конфессионального мира России в юбилейный год» (с. 116–148) сделали претенциозное заявление о том, что возведенный в 2020 г. Храм Воскресения Христова (Храм Победы) знаменует начало реформатирования празднования 9-го Мая и самой Победы. Из главы-статьи следует, что советская Победа обретает православное понимание. Инициатива эта исходит от светских властей, а Русская православная церковь принимает данный дар. Однако со всеми выгодами Русская православная церковь обретает в результате и клубок проблем, касающихся отношений с Русской православной церковью за рубежом, православными церквями Украины, Румынии, Грузии, трактовок понимания советского

и Победы в Великой Отечественной войне в церковной истории. Все это создает во внецерковных сферах почву для скрытого конфессионально-этнического конфликта в России в понимании Победы, ее распределения по вероисповедальным нишам. События, происходящие в культуре, подтверждают вывод авторов о том, что с подачи и по инициативе Государства происходит смещение смыслов Праздника Победы — с советских на российские и православные.

Материалом А.Г. Ложкина «Защита правды о Победе: состояние историко-правового поля» (с. 149–169) завершается раздел «Среда». Взятая в исторической глубине (с конференции в Ялте 1945 г.) линия доводится до наших дней. Прослеженный вектор развития историко-правового поля приводит к выводу об ужесточении юридической охраны памяти и правды о Войне. И одной из причин уплотнения после чтения этого текста видится все та же потеря живой поколенческой памяти о Победе и Войне. Те или иные провокации в виде помещения фото нацистских деятелей в ряды «Бессмертного полка» и пр. становятся возможными при равнодушии среды провокаторов к Победе (эта тенденция идет в разрез с рядом выводов Д.И. Люкшина и А.М. Межведилова). А ведь те самые «провокаторы», как говорили раньше, находятся среди нас, составляют с нами одно общество. Поскольку сохранение памяти о Войне и Победе обеспечивается государством, то власть и берет на себя ответственность за противодействие провокаторам (что перекликается с частью, написанной Д.А. Андреевым). И, конечно, внешнеполитический фактор ревизии

памяти о Войне объективно способствует тому, чтобы именно Российское государство как правопреемник СССР отстаивало закрепленную международными договорами правовую оценку Войны и Победы.

Раздел «Рефлексии» (с. 171–380) имеет размытые границы с предыдущим разделом «Среда». Разве историография, обнародование ранее секретных и актуализация полузабытых архивных документов, целенаправленная музеефикация, художественные литература, кинематограф, театр о Войне не формируют среду Победы-75? Они не только рефлексиируют, но уже откликаются на призыв руководства Министерства культуры РФ и Росархива сохранить правду о Войне. Такая ситуация стирания границ между средой и того, что раньше относили к сфере рефлексии, стала заметной в 2020 г., что опять-таки можно связать с уходом поколений, знавших Войну и Победу. Это их представители могли рефлексировать в сфере литературы, театра, киноискусства, размышлять над тем, что значит Их Победа для них, для общества. Теперь же в жанрах, традиционно относимых к рефлексиирующим — изобразительное искусство, литература, кинематограф, музейное дело, театр, рефлексии о Победе становятся меньше. Сейчас самопознания в контексте и среде победного юбилея будет больше в журналистике, аналитических блогах и в самих мониторингах, подобных «Победе-75».

В интересном, логично-последовательном анализе П.В. Акульшиным академического изучения Великой Отечественной войны (с. 171–186)

представлено развитие данного направления — социум, демография и экономика СССР, вожди, полководцы, военная история, обобщающие труды. Но относительно последних отмечено, что не они сейчас являются основными и главными в представлении истории Войны. Их теснят «эксперты» из интернет-сообщества, многие из которых выросли из любознательных дилетантов до специалистов в тех или иных областях военной истории, военные реконструкторы (это перекликается с выводами исследования С. П. Щербины о ряде мемов на тему Победы-75 (с. 649–782)). П. В. Акульшин ставит вопрос об общественной востребованности действительно нужных многотомных историй Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Затем этот же вопрос о подарочных и/или пылящихся на полках наборах томов по истории Войны, готовящихся академическими структурами, обостряет Л. В. Максименков. Ответ исследователь находит в необходимости профессиональным историкам встраиваться в историческую политику, активно формировать ее повестку, а не ждать случайных обращений к ним как к экспертам. И в этом практическом совете кроется общественно-политическая значимость мониторинга «Победа-75».

Текст Л. В. Максименкова об «архивном фронте» за период 2015–2020 гг. (с. 187–267) в разделе «Рефлексии» представляет действительно полноценную рефлексию, гневную, беспокойную. Из его строк явствует, что Росархив и подведомственные ему учреждения в массе своей не определились со своей позицией в деле

адекватного следования официальному государственному курсу. Полузабытые публикации документов выдаются за те, с которых только что снят гриф секретности. Массивы документов, которые могут быть расскреплены, остаются запечатанными, а те, которые не потеряли своей военно-политической ценности, вот-вот будут переданы для издания группе, где доминирует Германский исторический институт в Москве. И виновата не эта академическая структура, а российское архивное начальство. И самое главное, что в результате такого непонятого курса лишеными важной информации о Великой Отечественной войне и Победе в ней оказываются потомки победителей, но приобретателями ее становятся зарубежные партнеры. Надо ли говорить о том, что это не способствует выработке иммунитета российского общества к пресловутым фальсификациям истории Великой Отечественной войны, противодействие которым объявлено частью государственной политики.

В определенном смысле важную роль в раскрытии живой, подлинной правды о Войне и ее отстаивании в 2020 г. сыграли музеи. Это продемонстрировано в статье Н. А. Уткиной, в заголовке которой и значится вопрос «Почему мы вам должны верить?» (с. 268–312). Заслуга музейщиков приобретает дополнительный вес с учетом того, что их просветительская деятельность в юбилейный год проходила в условиях ограничений. Тем не менее они справились со своей задачей. Н. А. Уткина указывает и на некоторые издержки в работе отдельных музеев. При организации тех или иных экспозиций,

реконструкций и онлайн-показов ставилась задача «давления на слезные железы (эмоции)». А потому предлагались почти натуралистические сцены мучений и страданий, рельефные образы палачей и карателей. И, как кажется, такое устрашение посетителя, формирование у него чувства вины перекроет выход на идею Победы и коллективного самопожертвования за нее. В некотором смысле так моделируется ситуация, которая положена в основу стихотворения-песни В.С. Высоцкого «Случай в ресторане»: «Я всю жизнь отдал за тебя, подлеца, А ты жизнь прожигаешь, паскуда!»

Желание некоторых деятелей исторической политики поместить нашего современника, чаще всего молодого, в невыносимые условия Войны обесмысливает завет предков-победителей, воевавших за то, чтобы этого (зла) больше никогда не повторилось. А его имитируют-повторяют в музейных экспозициях, в «блокадном хлебе» (материалы Г.А. Бордюгова, А.А. Гордина и А.Н. Маслова и др.), изображении гибели и страданий в исторических реконструкциях (мониторинг мемов С.П. Щербины, один из которых носит многозначительное название «Можем повторить»). Кроме прочего, такие «погружения» в Войну дают еще эффект дешевого, без эмоционально-душевного катарсиса, приобщения к Подвигу и Победе.

Рассмотренные в совокупности данные мониторинга по отражению юбилея в художественных литературе (с. 313–327; автор — В.В. Агеносов) и кино (с. 328–350; О.А. Чагадаева), на телевидении и в документальном

кино (с. 351–361; О.А. Чагадаева и А.А. Лиманов), в театре (с. 362–370; О.А. Чагадаева) подводят нас к интересным заключениям. Литература и кинематограф стали площадкой, на которой развиваются три тенденции. Первая тенденция — это военные приключения, в основном на тематическом каркасе Смерша (и других силовых структур). Как кажется, происходит эксплуатация романа В.О. Богомолова «В августе 44-го». Но если роман — это книга о Войне, то нынешние кино и литподделки — это увлекательное «чтиво» в военном антураже. Показательно, что другие тематические линии, идущие от других произведений В.О. Богомолова и писателей-фронтовиков (суровые солдатские будни, принятие трудных решений в условиях морального выбора, любовь и положение женщины на Войне и пр.), не развиваются. Вторая тенденция — использование темы Войны для проведения морально-этических экспериментов при искусственном моделировании ситуации. Причем такой ситуации, которой, судя по документам, либо не могло возникнуть в 1941–1945 гг., либо они были единичными. Такой жанр наблюдался и в прозе фронтовиков, например, у Василя Быкова, но там и тогда постановка и разрешение сложных вопросов органично были связаны с Войной. В прозе современных повествователей о Войне этой связи нет. Объяснить это можно и тем, что писатели, творцы фильмов делают произведения о людях Войны на основе своих представлений о современных людях, не чувствуя громадной разницы между ценностями тех или других. Наверное, обе тенденции определяются

доминированием в современной писательской плеяде представителей внуков-правнуков Победителей. Третья тенденция — это вульгарное выполнение госзаказа по возвращению патриотизма и хранению памяти о Войне. Есть запрос — создадим! В результате получаются агитки типа недавнего фильма о Зое Космодемьянской, факт которого подтверждает вывод А. А. Кузнецова и Д. В. Семикопова о вытеснении ныне советско-коммунистической подоплеку Победы православной аксиологией. Кстати, надо отметить неточность. Кроме фильма 1944 г. о Зое Космодемьянской был еще один. В фильме «Битва за Москву» (1985) одна из сюжетных линий воспроизводит путь героини от начала войны до подвига.

Три тенденции делают темы Войны и Победы уже не целью (рефлексия), а средством (среда). Эти две святости становятся только поводом для иных рассуждений. При такой экспансии переоценок становится понятным желание книгоиздателей найти и опубликовать неизданные еще воспоминания, сделать новые тиражи произведений В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, В. В. Быкова, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьева, К. М. Симонова, А. Т. Твардовского, Е. И. Носова, несущих Правду о Войне и Победе, рефлексию о них, заполнить праздничный телеэфир проверенными шедеврами 1960–1980-х гг. На этом фоне Театр России представляется островком, наряду с музеями, хранения и репрезентации Правды о Войне.

Раздел «Страна» мониторинга сложен из блоков нижегородского/

горьковского (с. 381–396; авторы — А. А. Гордин и А. Н. Маслов) и осетинского/северокавказского (с. 397–416; А. Ч. Касаев). Материалы разнятся: тыловой город («Кузница Победы») европейской России и национальная республика России, по которой проходил фронт; борьба за признание вклада в Победу и увековечивание признанных героев-Победителей. В этих стратегиях вырисовываются и разные проблемы. В Нижнем Новгороде борьба за восстановление исторической справедливости привела к присуждению звания «Города трудовой доблести» (с необходимой по регламенту стелой; вместе со знаком «Город воинской славы» — новый тренд монументальной пропаганды, который надо учитывать в последующих мониторингах), однако наряду еще с 19 городами. А в Северной Осетии глорификация героизма осетин потребовала борьбы с книгой о многочисленных осетинах, вставших на сторону Германии.

В разделе «Ближнее зарубежье» (по отношению к России) (с. 417–537) анализировались юбилейные процессы — события на постсоветском пространстве, государства которого являются полноправными наследниками Победы. Такая их самоидентификация размывается где-то открытым, где-то подразумеваемым отказом от советского наследия как части российского наследия. В непрекращающемся политическом строительстве на всем постсоветском пространстве, кроме России, принципиален отказ от российского-советского государственного опыта. А Победа-1945 накрепко вмонтирована в этот опыт.

Украинский сценарий юбилея Победы-1945 (с. 417–439; авторы — А. С. Каревин и В. С. Скачко) характеризуется украинскими авторами таким явлением, как манкуртизация. В связи с этим термином, обозначающим целенаправленное искажение истории, актуализируется рефлексующий потенциал книги Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Подобная «амнезия» определяется приписыванием решающего вклада в военную победу над нацизмом украинским частям, провозглашение Великой Отечественной войны как Второй мировой и как войны за независимость, резюмируя превознесением героями тех, кто признан пособниками нацистов.

Иные формы адаптации к дихотомии «Наследники Победы — отказ от Российского политического наследия» демонстрируют обзоры по Беларуси (с. 440–461; И. Л. Ластовский), Молдове (с. 461–488; Ирина Цвик), трем закавказским республикам (с. 489–511; А. Г. Аршев), тюркским республикам Средней Азии (с. 512–537; Н. Шильман, Р. Назаров). При всей разнице подходов и разрывов везде, не исключая Украину, живая семейная память о Победе, вкладе в нее предков, определяет эмоциональную отзывчивость к практикам, которые позволяют воздать благодарность Победителям. И вернуть интернациональное наполнение, что ярко выразилось в Средней Азии — «Нас миллионы панфиловцев!». Везде большое влияние на празднование, кроме исторической политики, оказывает собственно политический фактор: единственный в условиях пандемии парад 9 Мая в Беларуси предшествовал президентским выбо-

рам, народ и власть Молдовы, встречая праздник, конечно, оглядывались на другую сторону Днестра, а также не могли не учитывать и позиции Румынии. В Закавказье противостояние Армении и Азербайджана вынуждало к поиску изменников Победы в стане противника. Важно отметить, что главы этого раздела написаны не российскими авторами, а теми специалистами, что живут и трудятся в этих республиках. Единственное исключение — это материал по Южному Кавказу. Но это исключение надо считать оправданным из-за накаленного высокого напряжения любого вопроса, где могут пересечься мнения Азербайджана и Армении, Грузии и России. И для полноты раздела не хватает материала по Прибалтике.

Еще в большей степени ощущается недостаток материала по 75-летию окончания Войны в Германии и странах Юго-Восточной и Центральной Европы (в некоторой мере обзор П. Г. Черемушкина по Чехии, Венгрии и Польше компенсировал эту лакуну), по юбилею Победы — в Великобритании. Это не упрек, поскольку понятны трудности организационной работы по поиску авторов-корреспондентов. Сам же раздел «Дальнее зарубежье» (с. 539–647) получился ярким и насыщенным. Представлены в мониторинге страны-победительницы: Китай (с. 547–566; Ли Иннань), США (с. 598–623; Елена С. Белл), Франция (с. 624–647; С. А. Лиманова). Разное понимание Победы в этих странах в зависимости от международной обстановки, некоей модернизации не снижает ее общечеловеческой ценности.

Китай же по ряду моментов в отношении Победы СССР над Германией оказывается в большей степени хранителем ее «первозданности», той настоящей радости, которая действительно была «со слезами на глазах», чем иные российские издания, для которых Победа все чаще выглядит востребованным брендом. Вместе с тем нельзя не отметить, что китайские авторы в последнее время стали смотреть на Победу и под своим национальным ракурсом. Все более выпукло звучит мысль о том, что для СССР, его руководителей и советского командования на первом месте стояли собственные внешнеполитические задачи, тогда как китайские интересы, в частности, в войне с Японией были вторичны. Такие мотивы угадываются в тексте Ли Иннань. Может быть, так и есть, но нельзя забывать и того, что большое число советских солдат, погибших при разгроме Квантунской армии, объективно способствовали освобождению Китая от японских милитаристов. А затем советское руководство не стало открыто вмешиваться во внутреннюю борьбу в Китае и не позволило этого сделать США и Великобритании.

Весьма содержательными и любопытными для российского читателя окажутся разделы по Испании (с. 539–547; Хосе М. Фаральдо) и Латинской Америке (с. 567–597; Рене Тоапанта, О. Ю. Голечкова).

Победа в 1945 г. над нацистской Германией в Испании сопровождается решением вопроса об оценке участия испанских соединений против СССР и сложным отношением к франкизму. Воспоминания и автобиографии

членов «Братства «Синей дивизии»», участвовавшей в нападении Германии на Советский Союз, контрастируют с публикациями дипломатов российского представительства в Испании. Тем не менее в последние годы в Испании приобрело большую значимость именно российское видение войны. Растет осознание роли Советского Союза в уничтожении национал-социалистического режима в Европе. То есть для испанских рефлексий по поводу Победы характерно противоречие: с одной стороны, здесь жива память об испанской Добровольческой дивизии, помогавшей германским войскам держать блокаду Ленинграда, с другой — в последние годы стали все больше появляться материалы об испанцах, воевавших в Великой Отечественной войне на стороне СССР и ценившихся советским командованием за их боевой опыт и преданность идеям антифашизма.

Латинская Америка представляет регион, где история Победы-1945 написана США. Исторически латиноамериканские страны, хотя и объявили войну державам «оси», в военных действиях практически не участвовали. Они помогали экономически — ресурсами, на их территориях расположились военные базы США. По существу, большинство латиноамериканских государств видят военные события через североамериканские очки, т. е. через призму оценок историков США. Понимание важности 75-летия Победы с правдиво рассказанным подвигом советского народа складывается в основном у наших «друзей»: кубинцев, венесуэльцев и боливарианцев. Интересную тенденцию открывает

онлайн-опрос латиноамериканцев: чем старше участник исследования, тем вероятнее, что он видит СССР главным творцом Победы. Среди представителей возрастной категории до 25 лет 55% считают СССР «победителем», в то время как среди латиноамериканцев между 30 и 39 годами это число составляет 68%, а для категории от 40 лет и старше — уже 79%. Нельзя не заметить, что пропаганда США через фильмы, средства массовой информации действует именно на молодежь.

Раздел книги, посвященный особенностям юбилея Победы в странах Латинской Америки, очень точно назван авторами: «На периферии Второй мировой». Действительно, в регионе, столь далеком от событий 1939–1945 гг., вряд ли можно ожидать широкомасштабных торжеств по поводу столь важного для нас Юбилея. Публикации о войне носят здесь скорее ознакомительный характер. Истинную дань памяти этому событию, как отмечено выше, отдают прежде всего наши «друзья» с Кубы, из Венесуэлы и Боливии.

С.П. Щербина в объемном материале представил распространенные в обществе образы Победы-75 (с. 649–781). Анализ устойчивых знаков-символов праздника (мемов), их трансформации, переоценки представляет неосвоенное пространство, где происходят непредсказуемые процессы. И на него надо обратить серьезное внимание акторов истори-

ческой политики. Целенаправленно распространявшиеся в России мемы, как способствующие сохранению памяти о Победе, порой обыгрываются за рубежом с полярным знаком и дискредитируют идею священной жертвенной Победы над мировым злом. И С.П. Щербина справедливо отмечает, что естественный и простой выход из этого — приглашение квалифицированных экспертов к оценке образного ряда Дня Победы.

Нельзя не согласиться с заключительной фразой мониторинга «Победа-75»: «Гораздо более реальной становится перспектива усугубления конфликтности с возможным перерастанием многих локальных очагов противостояния в новую глобальную войну — Третью мировую. Тем более что она уже идет, пока мемориальная, но с перспективой выхода за пределы ставших уже привычными “войн памяти”». Авторы проекта будут считать свою задачу выполненной, если они сумели донести этот тревожный прогноз до читательской аудитории» (с. 786; Г.А. Бордюгов). Объемный и многогранный международный мониторинг решил эту задачу. Попытки ревизии Победы (или даже отказа от нее), умаление роли народов СССР в Победе над нацизмом, целенаправленное деформирование памяти о ней в угоду нынешним политическим интересам разобщают, девальвируют общечеловеческие гуманистические ценности, утвержденные Победой в страшной войне.

В. В. Тихонов

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Рец.: *Костырченко Г. [В]. Тайная политика: От Брежнева до Горбачева: в 2 ч. М.: Международные отношения, 2019. Часть 1. Власть — Еврейский вопрос — Интеллигенция. 592 с.; Часть 2. Советские евреи: выбор будущего. 480 с.*

Рецензируется новая книга Г. В. Костырченко — известного историка еврейского вопроса в Советском Союзе. Делается вывод о богатстве фактического материала и обоснованности основных выводов. Несмотря на фундаментальный характер монографии, в рецензии предлагается ряд перспектив дальнейшего исследования.

Ключевые слова: еврейский вопрос, еврейское движение, антисемитизм, Л. И. Брежнев, межэтнические конфликты.

Сведения об авторе: Тихонов Виталий Витальевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН (Москва).

Контактная информация: tihonovvitaliy@list.ru.

V. V. Tikhonov

THE SECRET BECOMES CLEAR

Rev.: *Kostyrchenko G. [V]. Tainaiia politika: Ot Brezhneva do Gorbacheva: v 2 ch. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia, 2019. Chast' 1. Vlast' — Evreiskii vopros — Intelligentsiia. 592 p.; Chast' 2. Sovetskie evrei: vybor budushchego. 480 p.*

A new book by G. V. Kostyrchenko, a well – known historian of the Jewish question in the Soviet Union, is being reviewed. The conclusion is made about the richness of the factual material and the validity of the main conclusions. Despite the fundamental nature of the monograph, the review offers a number of prospects for further research.

Key words: Jewish question, Jewish movement, anti-Semitism, L. I. Brezhnev, interethnic conflicts.

About the author: Tikhonov Vitaly V., Doctor of Historical Sciences, Leading Researcher at the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences (Moscow).

Contact information: tihonovvitaliy@list.ru.

© В. В. Тихонов, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-350-353

Новая книга известного историка Г.В. Костырченко завершает цикл его работ (предыдущие: *Костырченко* 2012; 2015), посвященных еврейскому вопросу в Советском Союзе и образующих своеобразную трилогию. Предыдущие издания стали важными событиями в исторической науке, привлекли повышенное внимание и оказались предметом активных дискуссий не только из-за своих научных достоинств, но и благодаря своей общественно-политической значимости. Не в последнюю очередь повышенному вниманию со стороны профессиональных историков и широких кругов читателей способствовало наличие в книгах множества ранее неизвестных фактов, почерпнутых в российских и зарубежных архивах и впервые введенных в научный оборот.

Новая книга концептуально и структурно является продолжением предыдущих книг трилогии. Объемное издание разделено на две части. Первая часть панорамно показывает общественную жизнь в СССР середины 1960-х — 1980-х гг. Автор демонстрирует различные общественные лагеря советской интеллектуальной и партийно-государственной элиты и тщательно выявляет место и роль еврейского вопроса в их взаимодействии и борьбе. Г.В. Костырченко сумел показать, сколь велика была роль еврейского вопроса в жизни СССР. Пожалуй, главный вывод, который можно сделать при чтении этой части книги, заключается в том, что еврейский вопрос пронизывал все советское общество и затрагивал его самые болевые точки. Калейдоскоп имен хоть сколь-нибудь заметных деятелей науки и куль-

туры, представителей номенклатуры 60–80-х гг. и их высказываний по еврейскому вопросу дает понять, что еврейский вопрос превратился в инструмент борьбы различных политических и мировоззренческих установок. В этой ситуации евреи становились центральными фигурами различных теорий заговоров и фобий. Еще один вывод после прочтения напрашивается сам собой: сталинизм и антисемитизм тесно связаны. Не случайно, что именно просталинские силы стали рассадником антисемитизма СССР. Можно смело утверждать, что Г.В. Костырченко удалась реконструкция антисемитского дискурса позднесоветского общества.

Большое внимание уделено и внешнеполитическому фактору. Еврейский вопрос играл в Советском Союзе такую большую роль во многом из-за его интернационального характера. В книге хорошо показано, как проблема эмиграции евреев превратилась в эффективный инструмент давления на СССР. В свою очередь советское руководство использовало еврейскую эмиграцию в качестве предмета внешнеполитического торга.

Огромный фактический материал, приведенный в монографии, не только касается еврейского вопроса, но и дает представление об интеллектуальной жизни советского общества в описываемый период. Вообще, в книге проводится мысль, что коммунистическая партия старалась подавить любые проявления национализма. Не был исключением и русский национализм. В то же время члены правящей элиты были частью

советского общества, с его идейными брожениями и борьбой, поэтому весь спектр общественных сил был представлен и в партийных кругах, что превращало мировоззренческие симпатии и антипатии конкретных людей в сложные закулисные игры. Получался своеобразный эрзац политической борьбы.

Г. В. Костырченко представлено немало новых фактов, касающихся межнациональных отношений в позднем СССР. По мнению автора, власть по большому счету предпочитала игнорировать еврейскую проблему, так же как и другие этнические проблемы СССР. Такая позиция превратила советскую империю в «нового больного человека Европы», что предопределило ее распад в 1991 г.

В первой части тема рассматривается в рамках своеобразного треугольника: «власть — интеллигенция — еврейский вопрос». Во многом такой подход оправдан несколькими причинами. Во-первых, отложившиеся в федеральных архивах документы ориентируют исследователя именно на такой ракурс. И властные органы, и интеллигенция являются акторами, не относящимися к «безмолвствующему большинству» и хорошо документирующими свою деятельность. Во-вторых, представители еврейской национальности составляли высокий процент среди советской интеллигенции. Все же кажется, что при таком подходе несколько смазывается проблема массового антисемитизма. Насколько бытовой национализм был распространен и какую играл роль в давлении на евреев и их решении об эмиграции? Как влияла

неофициальная государственная политика антисемитизма на массовые настроения? В книге эти вопросы рассматриваются, но, как представляется, недостаточно внимательно.

Стоит отметить и тот факт, что в монографии господствует «московско-центричный» ракурс рассмотрения проблемы. Описываемые события почти всегда либо происходят в Москве, либо на них бросается взгляд из Москвы. Это совершенно не умаляет проделанной работы, а скорее открывает большие перспективы в плане регионального исследования проблемы.

Вторая часть монографии непосредственно посвящена советским евреям. Подробно освещается их борьба за право свободного выезда из СССР. Автор показывает, что бытовой и неофициальный государственный антисемитизм стали важным фактором возрождения этнического самосознания среди вполне ассимилировавшихся советских евреев. Как тут не вспомнить знаменитое высказывание выдающегося французского историка М. Блока: «Я еврей, но не вижу в этом причины ни для гордыни, ни для стыда и отстаиваю свое происхождение лишь в одном случае: перед лицом антисемита». Становится ясным, почему советские евреи, сыгравшие очень существенную роль в становлении и развитии советского проекта в 1920–1930-е гг., в позднесоветскую эпоху начали массово эмигрировать. Окончательно вопрос с еврейской эмиграцией был закрыт в конце 1980-х гг., когда все искусственные барьеры для эмиграции из СССР были официально устранены.

Из-за колоссального фактографического объема монографию Г.В. Костырченко можно упрекнуть и в некотором эклектизме компоновки. Так, не очень понятно, почему в первой части рассказывается об антисемитизме в Польше и Чехословакии. Если это сделано для демонстрации восточноевропейского контекста, то возникает вопрос — а почему не была показана ситуация в других странах?

В заключение Г.В. Костырченко утверждает, что «к настоящему времени, когда проблема государственного антисемитизма в нашей стране уже не стоит, еврейский вопрос больше не актуален. Решенный в конце 1980-х — начале 1990-х гг. путем эмиграции, он утратил какую-либо политическую значимость, причем хотя бы в силу резкого сокращения евреев в Российской Федерации в последние три десятилетия» (часть 2, с. 440). В целом данное утверждение выглядит логичным: нет евреев — нет вопроса. Но все же сфор-

мированный в сталинское и позднесоветское время антисемитский дискурс никуда не делся и живет самостоятельной жизнью. Остается надеяться, что никакая влиятельная политическая сила не сочтет для себя выгодным его актуализацию.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Костырченко 2012 — *Костырченко Г.В.* Тайная политика Хрущева: Власть, интеллигенция, еврейский вопрос. М.: Международные отношения, 2012. 522 с.

Костырченко 2015 — *Костырченко Г.В.* Тайная политика Сталина: Власть и антисемитизм (Новая версия). В 2 ч. М.: Международные отношения, 2015. Ч. 1. 504 с.; Ч. 2. 670 с.

REFERENCES

Kostyrchenko G.V. *Tajnaja politika Stalina: Vlast' i antisemitizm (Novaja versija)*. Moscow, 2015. Vol. 1. 504 p.; Vol. 2. 670 p.

Kostyrchenko G.V. *Tajnaja politika Hrushcheva: Vlast', intelligencija, evrejskij vopros*. Moscow, 2012. 522 p.

В. Б. Аксенов

АРХЕОГРАФИЯ ИЗ АДА

Рец.: Хроники жизни в Советской России 1917–1921 гг. Воспоминания очевидцев / сост. и автор предисл. М. А. Ерохова. М., 2020. 624 с.

Автор рецензии рассматривает подготовленный канд. юр. наук М. А. Ероховой сборник документов личного происхождения, посвященных периоду Гражданской войны в России. На фоне участвовавших за последнее время непрофессиональных изданий на исторические темы, а также организованной Сахаровским центром дискуссии о допустимой степени общественной инициативы в деле публикации источников, В. Б. Аксенов на примере рецензируемой книги показывает, что подготовленные без надлежащих археографических знаний и навыков издания несут скорее вред, чем пользу делу публикации документов.

Ключевые слова: археография, М. А. Ерохова, воспоминания, Гражданская война.

Сведения об авторе: Аксенов Владислав Бэнович, доктор исторических наук, старший научный сотрудник ИРИ РАН (Москва).

Контактная информация: vlaks@mail.ru.

V. B. Aksenov

Archaeography from hell. Rev.: Khroniki zhizni v Sovetskoi Rossii 1917–1921 gg. Vospominaniia ochevidtsev, sost. i avtor predisl. M. A. Erokhova. Moscow, 2020. 624 p.

The author of the review examines the collection of personal documents on the Russian Civil War prepared by M. A. Erokhova, PhD in Law. On the background of more frequent recently non-professional publications on historical subjects, as well as organized by the Sakharov Centre discussion about the permissible degree of public initiative in the publication of sources, V. B. Aksenov shows by the example of the reviewed book, that publications prepared without proper archaeological knowledge and skills do more harm than good to the cause of publishing documents.

Key words: archaeography, M. A. Erohova, memoirs, Civil War.

© В. Б. Аксенов, 2021
DOI 10.31754/2409-6105-2021-3-354-360

About the author: Aksenov Vladislav B., Doctor of Historical Sciences, Senior Researcher, IRH RAS (Moscow).

Contact information: vlaks@mail.ru.

16 марта 2021 г. Сахаровский центр выступил организатором общественной дискуссии на тему «Свидетельства из ада: как публиковать мемуары советской эпохи?» Поводом стал выход сборника воспоминаний очевидцев Гражданской войны в России, подготовленный кандидатом юридических наук, доцентом ВШЭ и «Шанинки» Марией Андреевной Ероховой. Несмотря на достаточно провокационное и тенденциозное название мероприятия, нужно отметить, что в качестве дискуссионных были обозначены очень важные вопросы не только для научного сообщества историков, но и современного гражданского общества России в целом: «Много ли в государственных и личных архивах подобных свидетельств, точно схватывающих эпоху и интересных для широкой публики? Издавать такие свидетельства в комментированном виде или as it is? Оставить это дело историкам, или рассчитывать на гражданскую инициативу? Каким может быть взаимодействие между активистами, профессионалами и государством? Какие возникают публикаторские сложности, и как их можно решать?» (Свидетельства б/д).

Особенную актуальность эти вопросы приобретают в условиях, когда власти инициируют меры по «защите» исторической памяти, которые фактически наносят удар по просветительской деятельности общества, подрывают многие важные инициативы, идущие снизу. Один из аргументов сторонников закона

о просветительской деятельности, вступившего в силу 1 июня 2021 г., заключается в том, что бесконтрольная просветительская деятельность лиц, особенно не имеющих профильного образования, может привести к разжиганию социальной, национальной, религиозной розни. В этом контексте важным представляется тема исторического просвещения, в том числе издания архивных материалов. Здесь как раз и встает один из сформулированных вопросов: оставить это дело профессионалам или довериться и дилетантам? Очевидно, что введение профессионально-образовательного ценза для доступа к публикации документов из архивных фондов ограничило бы гражданские права россиян и в конечном счете негативно отразилось бы на самом сообществе ученых-историков. Вместе с тем участники дискуссии, среди которых были авторитетные специалисты по истории революции и Гражданской войны в России, обратили внимание на ответственность и кропотливость работы публикатора документов, требующийся от него высокий уровень исторических знаний об эпохе. При этом в адрес подготовленного М. А. Ероховой сборника звучали хоть и редкие, но комплиментарные отзывы. Однако, к большому сожалению, участники дискуссии внимательно не познакомились со сборником и не смогли понять главного казуса той ситуации, в которой они оказались: книга Ероховой обнаруживает признаки фальсификации исторических источников и может использоваться

адептами защиты исторической памяти «сверху» в качестве примера недобросовестной и вредной просветительской инициативы гражданских «низов».

Ерохова собрала под одной обложкой 12 источников личного происхождения (преимущественно воспоминаний) из фонда Р5881 ГА РФ («Пражский архив») и снабдила свою книгу предисловием и редкими постраничными комментариями. Вместе с тем чтение предисловия местами вызывает недоумение, а местами — просто шокирует той археографической некомпетентностью, которую демонстрирует Ерохова. Так, на первой же странице, рассказывая читателю о ситуации в Москве в ноябре 1917 г., она заявляет, что использование современной молодежью обценной лексики является «последствием победы большевиков» (с. 6). Аргументация Ероховой предельно проста: согласно мемуарным свидетельствам, в 1917 г. юнкера говорили вежливо, а красногвардейцы матерились; победили вторые, а вместе с ними и соответствующая лексика. Подобные исторические откровения «авторши», конечно же, занимают небольшое место в книге, однако они демонстрируют определенный аналитический уровень составителя сборника и ее понимание исторических явлений. Не менее обескураживающие познания демонстрирует Ерохова в области источниковедения: «На фоне искажения истории столетней давности наиболее достоверными источниками представляются мемуары очевидцев, живших в ту эпоху. Безусловно, личные воспоминания окрашены авторским восприятием реальности, но в

них точно нет стремления преподнести события в интересах какой-то политической группы» (с. 7–8). И этот вывод Ерохова делает несмотря на то, что часть авторов опубликованных ею воспоминаний демонстрирует явно непримиримо-враждебное отношение к большевикам, а то и всей демократии в целом, мечтая о Великой и Неделимой России. Кроме того, в изданных мемуарах упоминаются и пропагандистские плакаты ОСВАГ, воздействовавшие на настроения авторов. Но Ерохова явно не компетентна в вопросах классификации и критики исторических источников, что, однако, не мешает ей делать историко-источниковедческие выводы «космического масштаба и космической же глупости».

В предисловии Ерохова раскрывает свои принципы археографии, которые заставляют читателя позабыть о предыдущих несуразностях ее текста. Комментируя публикацию источника под названием «Ида Зими́на. Дневник сестры милосердия белогвардейской армии», Ерохова ничтоже сумняшеся сообщает: «Я добавила к ее записям два дня, в которых кратко отразила жизнь своих родных и трагическую гибель прадеда в Полтавской губернии [...]. Вымышленные, но правдоподобные события тех двух дней представлены мной на основе переписки [...]» (с. 11). То есть Ерохова признается в том, что вставила в исторический документ собственный вымышленный текст, который она к тому же старательно адаптировала к стилистике записок Зиминой, чтобы он ничем не выделялся. Справедливо ради отметим, что Ерохова отметила, какие именно записи Зиминой

являются сфальсифицированными ею, однако это не меняет того факта, что Ерохова нарушает элементарные базовые принципы публикации исторических источников. К тому же это далеко не единственная проблема ее сборника. Составитель признается (нельзя не отметить в этой связи наивную откровенность Ероховой), что чтение рукописных документов вызывало с ее стороны трудности расшифровки, в результате чего «отдельные слова могут отличаться» (с. 11). Было бы наивным со стороны читателя ожидать, что Ерохова каким-то образом выделит в тексте места, которые ей не удалось прочесть — она предпочла просто домыслить образовавшиеся вследствие отсутствия у нее навыков палеографии текстовые лакуны. Несложно догадаться, что сравнение опубликованных материалов в сборнике Ероховой с теми же материалами, ранее опубликованными в других изданиях, показывает, что речь идет отнюдь не об «отдельных словах». И не только о пропусках и заменах, но и добавлениях! Сравним публикацию «Дневника сестры милосердия» с добросовестной первой публикацией этого источника — «Дневником Ариадны» в 11-м томе альманаха «Российский архив» в 2001 г. (публикацию подготовил Ю. В. Алехин)¹.

Различия обнаруживаются с первых записей: «Прошел уж год, как над нашей мирной и счастливой жизнью разразилась страшным ударом

русская революция», — читаем мы в публикации Алехина (Дневник Ариадны 2001: 620). «Прошел уж год, как над нашей **относительно** мирной и счастливой жизнью разразилась страшным ударом русская революция», — исправляет автора документа Ерохова, демонстрируя свои знания о шедшей тогда Первой мировой войне (с. 363). Другая запись от 17 января 1920 г., в которой приводятся слова решившего уехать в Сербию белого полковника, в варианте Алехина приведена так: «Да, впрочем, мы уже тут ни к чему. *Мы сделали свое дело и должны уйти, очистить свое место другим.* Теперь нужны другие люди, другие способы, другие идеалы. Оставаясь на местах мы только губим дело. Мы лишние, бывшие люди» — с *невеселой* улыбкой закончил он» (Дневник Ариадны 2001: 636). Ерохова в этот раз проявила, с одной стороны, больше фантазии, с другой — поленилась переписать целое предложение: «Да, впрочем, **мы уже свое отжили, мы как бы все убиты.** Теперь нужны другие люди, другие способы, другие идеалы. А мы — "бывшие" люди», — закончил он с улыбкой» (с. 395). Можно найти множество других более мелких погрешностей: замены и перестановки слов, изменение пунктуации, структуры предложений. Например, фраза «когда я вижу ваше презрение, вас — здоровых, уравновешенных, корректных иностранцев» в публикации Ероховой изменена на вариант «когда я вижу

¹ Конечно, нельзя отрицать того, что в каких-то случаях и сам Алехин мог допустить неточность в наборе текста, поэтому окончательный вердикт можно было бы вынести, сверив публикации Ероховой с архивным оригиналом, однако сам факт признания Ероховой, что из-за трудностей распознавания оригинала какие-то части документов она искажила, а также слишком существенные расхождения с публикацией Алехина, демонстрирующие явное домысливание текста публикатором-дилетантом, позволяют признать ее работу крайне недобросовестной.

презрение со стороны вас — здоровых, уравновешенных, корректных иностранцев» (с. 401). Ерохова оставила без внимания такую важную деталь, что А. Д. Зими́на позже отредактировала текст своих записок, в частности, вставив некоторые даты. В тех случаях, когда Зими́на была не уверена в датировке, она помечала их знаками вопроса. Конечно же, Ерохова проигнорировала эти особенности документа. Все это говорит минимум о большой небрежности, с которой составительница сборника подошла к набору текста, а также о непонимании того, что текст несет в себе не только сюжетно-фактографическую информацию, но и своими стилистическими особенностями, самым языком повествования передает эмоциональное состояние автора, что также может являться предметом исторического исследования. Разночтения с вариантом Алехина удивляют тем более, что Ероховой известно о публикации этого документа в «Российском архиве», о чем она сообщила в комментарии, однако она не удосужилась ни сверить свой текст с более ранней публикацией, подготовленной куда более качественно с археографической точки зрения, ни даже просто объяснить эти расхождения (за исключением признания того, что не смогла распознать все места рукописи).

Завершая разговор о «дневнике Зиминой», нельзя не отметить проблему, на которую обратил внимание Алехин: текстологический анализ документа выявляет его художественную обработку и подчиненность повествования единой драматической линии. В этом случае возникает вопрос: а существовала ли в реаль-

ности А. Д. Зими́на? Период войн и революций (1914–1922 гг.) известен появлением художественных произведений, замаскированных под дневники. И если в случае, например, с «Игом войны» Леонида Андреева нет сомнения в том, что перед нами выдуманный сюжет (хотя в целом более чем соответствующий эпохе), то произведение И. Зырянова «В дыму войны», несмотря на выдуманного главного героя — вольноопределяющегося В. Арамилева, — основано на личном опыте писателя и тем самым сближается с мемуарной литературой. От новой публикации документа можно было бы ожидать более серьезного анализа с целью уточнения видовой принадлежности «дневника Зиминой», но не в случае, когда за дело берется дилетант.

В этой связи возникает вопрос: насколько оправдано оценивать подготовленный неопитом сборник с позиций академической науки? Прежде всего очевидно, что даже неопиту априорно должно быть ясно, что искажать документ, а тем более включать в него собственные фантазии — недопустимо. Фактически в работе Ероховой обнаруживаются признаки фальсификации исторического источника. Во-вторых, возникает вопрос адресации этой книги. В дискуссии, организованной Сахаровским центром, Ерохова призналась, что хотела этой книгой пробудить интерес к прошлому своих студентов и не рассчитывала на интерес к сборнику со стороны профессиональных историков. Однако в данном случае она явно покривила душу: книга вышла в публичное пространство, внешне сборник имеет минимальные атрибуты научной

публикации (предисловие, комментарии), в аннотации рекомендуется «широкому кругу читателей», а значит, вполне может оказаться в руках и «чужих» студентов, аспирантов, которые могут использовать его в своих письменных работах, приводя искаженные Ероховой цитаты. Следует признать, что любая публикация исторического документа с целью просвещения должна подчиняться единым нормам археографии. Знакомство же с рецензируемым сборником наводит на мысль, что хотя публикация любого источника, особенно впервые вводящегося в научный оборот, всегда дело полезное, подобные дилетантские работы несут в себе больше вреда, чем пользы. Ведь использовать эту книгу, в которой читатель не знает, в какой степени составителем изменена или заменена, умышленно или нет, та или иная фраза, никак нельзя.

Примечательно, что во время дискуссии прозвучало предложение скоординировать действия профессиональных историков и любителей по публикации документов, на что негативно отреагировала Ерохова, заявив, что это ограничит «свободу» публикатора, приведет к излишней бюрократизации. Что понимает Ерохова под «публикационной свободой», становится ясно после знакомства с ее археографическими принципами, и это не позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы активизации публикационной деятельности со стороны подобных любителей. В конце концов неспециалисту вполне можно было бы ограничиться публикацией оцифрованных оригинальных документов, ксерокопий источников, пусть даже

и рукописных. Пользы от такой работы было бы больше.

Конечно, проблема заключается не в доступности архивных материалов для широких слоев населения, а, во-первых, в общей низкой археографической культуре (знаком ли вообще Ероховой термин «археография?»), во-вторых, в свободе самиздата (что само по себе не является каким-то злом). Ерохова рассказала, что те издательства, в которые она обращалась, отказались опубликовать ее сборник, издательским грантам она не доверяет (естественно, ведь там, как правило, предполагается рецензирование текста специалистами), поэтому, заручившись финансовой поддержкой друзей, она самостоятельно и издала сию книгу.

Таким образом, вопрос о публикационной деятельности неспециалистов остается достаточно актуальным, и кейс Ероховой в данном случае показателен. Жаль, что организаторы дискуссии в Сахаровском центре не распознали в этом сборнике вопиющую халтуру, иначе они могли бы более точно сформулировать название мероприятия: «*Археография из ада*: как **не нужно** публиковать мемуары советской эпохи». При этом в вышедшем в свет сборнике Ероховой можно найти свою пользу, если использовать его в качестве наглядного пособия по критичным ошибкам публикаторов документов на занятиях по археографии. Правда, тревогу вызывает признание Ероховой в том, что она планирует издание второго тома воспоминаний из «Пражского архива». Не многовато ли в этом случае будет у нас таких пособий?

Несмотря на продемонстрированную автором-составителем сборника вопиющую недобросовестность, хочется надеяться, что в своей профессиональной деятельности в качестве юриста и преподавателя права М. А. Ерохова отличается куда большей компетентностью.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Дневник Ариадны 2001 — Дневник Ариадны // Российский Архив. Т. XI. М., 2001.

Свидетельства б/д — Свидетельства из ада: как публиковать мемуары советской эпохи? URL: <https://www.youtube.com/watch?v=xK-M0ijE774>.

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

Принимаются к рассмотрению оригинальные, ранее не публиковавшиеся тексты на русском и английском языках, объемом не более 1 а. л. Объем публикуемых рецензий не должен превышать 0,5 а. л. Тексты представляются в электронном виде (шрифт текста Times New Roman, 12 кеглем, сноски — 10 кеглем).

Обязательным является указание фамилии, имени и отчества (на русском и английском языках), места работы или учебы в аспирантуре/докторантуре, ученого звания и степени, адреса электронной почты и номера контактного телефона.

Тексты статей должны быть снабжены аннотацией на русском и английском языках (не менее 150–200 слов), перечнем ключевых слов (10–15).

Сноски к тексту — постраничные, нумерация сквозная по всему тексту. Текст не должен быть форматирован, нельзя использовать автоматические переносы слов.

Библиографический аппарат разделяется на три списка:

- 1) Источники и материалы
- 2) Научная литература
- 3) References

Ссылки на литературу в тексте даются посредством указания фамилии автора и года работы в скобках, при этом номер страницы отделяется двоеточием, а фамилия автора выделяется курсивом (*Петров* 1998: 25). Подробно о правилах оформления библиографии и внутритекстовых ссылок см.: <http://istorex.ru/rules.html>